Дорогой ценой...

ПИСАТЕЛИ О РУССКОМ КРЕСТЬЯНСТВЕ СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА



ПИСАТЕЛИ О РУССКОМ КРЕСТЬЯНСТВЕ
СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА

МОСКВА
«СОВРЕМЕННИК»
1989

Д69 **Дорогой ценой...**: Писатели о русском крестьянстве середины XX века./Сост. Ю. Сенчуров.— М.: Современник, 1989.— С. 412.
ISBN № 5—270—00361—9

Сборник посвящен сельским коммунистам послевоенного времени, людям нелегкой судьбы, на плечи которых легло и возрождение разоренного войной сельского хозяйства, и решение важнейших социальных и экономических проблем деревни. Публицистика тех лет, поднимающая общие проблемы, и рассказ, передающий события через частную судьбу, дают возможность проследить это трудное для страны время во всей его сложности. Написанные лучшими мастерами прозы, рассказы и очерки не потеряли своей актуальности и художественной выразительности для современного читателя, они воспитывают гражданственность и активную позицию. В сборник вошли рассказы и очерки Ф. Абрамова, П. Нилина, В. Овечкина, Е. Дороша, В. Тендрякова, Б. Можаева, В. Рослякова и др.

Д $\frac{4702010200-260}{М\ 106(03)-89}$ 112—89 ББК 84Р7

ISBN № 5—270—00361—9

ОТ РЕДАКЦИИ:

Мало кому в полной мере удалось сказать, какой судьбой жила послевоенные десятилетия русская деревня. Для историков и публицистов здесь великое множество неподнятых «пластов».

Однако писатели такой величины, как В. Овечкин, А. Яшин, П. Нилин, Ф. Абрамов, еще в конце 40-х — начале 60-х годов XX столетия подняли и высветили эту важнейшую,— особенно сегодня, когда мы пристально и взыскательно всматриваемся в приметы российской новейшей истории,— тему.

Предлагаемый читателю сборник «Дорогой ценой...» задуман как единое слово писателей-современников, трудно боровшихся с невероятными и многочисленными парадоксами сельского бытия, с теми силами, что порождали их. Уродство монопольной власти — вот главная беда, постигшая русскую деревню и значительно приостановившая поступательное тысячелетнее движение страны.

Эта истина, открытая еще более четверти века назад, обретает в наши дни политическую силу, становится движущей, а потому вселяет надежду.

Некоторые мысли, высказывания публицистов конечно же воспринимаются сегодня как отголоски сознания тех лет, вступающих в некое противоречие с нынешним представлением о трагедии русской деревни и путях ее преодоления. Но никакого противоречия нет; есть логика эволюции бытия, и, следовательно, сознания.

Потому факт обращения в то уже отдалившееся время, несомненно, представляет особый интерес для нынешнего читателя.

Трудный хлеб победителей

Хорошо растет осинник
на слезах человеческих.

Ф. Абрамов. Братья и сестры

...В затишье между боями делятся друг с другом сокровенными мыслями о жизни родных деревень командир и политрук батальона — герои опубликованной еще в 1944 году повести Валентина Овечкина «С фронтовым приветом!» — говорят о том, с чего бы они начали, вернувшись домой:

«Не дал бы никому сводить старые счеты тяжелыми обвинениями»,— твердо заявил комбат Спивак. И — словно из того письма, что пишет он в родной колхоз,— добавляет политрук Петренко: «Увидим мы или нет ту жизнь, какая наступит после войны, но свое слово о ней сказать должны. Жизнь начинается заново. Входите, друзья, в новый дом, оботрите ноги на ступеньках. Не повторяйте старых ошибок».

...Теперь мы уверены, что о жизни своих отцов в колхозной Стране Муравии, о допущенных ими ошибках знаем больше, чем они сами. Название поэмы Александра Твардовского тогда, в 30-е годы, олицетворяло новую жизнь деревни. Твардовский искренне считал «превращение ста миллионов собственников в социалисты» — велением времени. «Трудности, испытываемые после войны,— говорил он в конце шестидесятых годов, во время одного из своих посещений издательства «Художественная литература» (автор этих строк работал там в те годы),— порождены теми мерами, которые предпринимались перед лицом ее угрозы».

С какой-то «раздумчивостью» Александр Трифонович говорил тогда о том, как тихо, при укрупнении, «пропал» на Пензенщине колхоз, одноименный с его поэмой...

— Нужно ли это делать,— говорил он,— свозить семьи колхозников из пяти деревень в одну? Ведь это уже не крестьянин, а «работник» — раз он не знает, на какое поле его пошлют работать завтра. В то время как настоящий колхозник знает и поле и людей, с которыми вместе на этом поле растит хлеб,— знает всю свою крестьянскую жизнь.

И неожиданной показалась грусть, с какой он сказал:

— А знаете, как в китайском переводе названа поэма «Страна Муравия»? Страна Зеленой Свежести. Да...»

Реальную колхозную Муравию — еще до войны называли «Железной». И не только потому, что судьбу ее связывали с индустриализацией...

...25 миллионов полосок земли, по которым рассыпалось наше крестьянство после раздела помещичьих владений и которые всего за четыре года коллективизации стали общим полем.

...Триста тысяч крестьянских хозяйств, в которых использовался наемный труд беспосевных односельчан, и миллионы раскулаченных и высланных из родных деревень, чтобы не болели за свое, нажитое.

В 30-е годы наши писатели не могли сказать о трагическом участии «спецпереселенцев» в возведении Беломорско-Балтийского канала и других строек. В долгу литература и перед теми нашими соотечественниками, которые, расставшись с родным подворьем не по своей воле, продолжали выращивать хлеб на востоке страны. Помню, как во время войны эти люди приняли, обогрели и накормили нас, эвакуированных из европейских областей страны. Всего несколько слов, на единственной среди степи, но уже зеленеющей молодыми деревцами улице сказал, встречая семьи командиров действующей армии, председатель колхоза из «спецпереселенцев»:

— Миром с горя не давятся!

Привезенные сюда, в голую степь, в 1930 году, эти крестьяне и колхоз-то, видимо, создавали, помня эту заповедь.

Положение в нашей стране крестьян было козырной картой, на которую не однажды ставили иноземные захватчики. «Освободителем» думал предстать перед крепостной Россией Наполеон, «носителями порядка» перед колхозниками Советов — «гитлер-социалисты».

«Великая, неведомого доселе размаху сила двигала людьми. Она, эта сила, поднимала с лежанок дряхлых стариков и старух, заставляла женщин от зари до зари надрываться на лугу. Она, эта сила, делала подростков мужчинами, заглушала голодный крик ребенка. И самое большое счастье было в том, чтобы безраздельно, целиком подчинить себя этой силе»...

Так писал Федор Абрамов о деревне военных лет. «Общим», то есть колхозным, хлебное поле до войны было какие-то десять — двенадцать лет — теперь оно все стало *своим!* Потому что надо было кормить и одевать фронт — отцов, братьев, сыновей. А еще — Город, который встал у оборонного станка. И никто не думал тогда о низких государственных ценах: хлеб колхозники сдавали по восемь копеек за килограмм — на рынке килограмм муки стоил триста рублей. Имея в виду сегодняшние мнения о ценообразовании и дотациях, напомним, что в то грозное время государство само было на дотации у деревни. Воистину — святой была эта дотация голодающих!

Вот и герои рассказа Андрея Платонова «Ветер-хлебопашец»... Хотя в первые дни после освобождения от гитлеровской оккупации их союз неимущих и маломощных нужен был только им самим,— избрали председателя колхоза! Правда, семидесятилетнего старика, за неимением другого. А в заместители ему дали однорукого подростка, казалось иссушенного невзгодами жизни раньше, чем успел он расц-

весть... Но какого Человека видит в нем прохожий солдат! Нужда и рассудительность, а главное, боль за малых и престарелых односельчан поднимает мальчишку на работу, сообразить и наладить которую сможет далеко не каждый взрослый. А солдат?.. Что ж, если пятая на его счету пуля не оборвет его жизнь, он, идя после войны с сыном или внуком по школьному скверу, наверно, будет с душевной болью останавливаться в «аллеях юных героев» возле стандартных их портретов, чтобы задуматься о том, как все-таки могло это случиться? На какие пошел народ жертвы, чтобы спасти страну. *А врага пропустили так далеко... до мук и геройства детей!*

...Рассказ Платонова был тогда напечатан в детском журнале «Дружные ребята» (!)

Деревня после войны... Изуродованная войной, пошатнувшаяся без мужского плеча... Не случайно местные издательства выпускали тогда брошюры, в которых женщинам и подросткам рассказывалось о том, как покрыть избу соломой или камышом, исправить дымящую печь, заточить косу, как удержать зимой падеж поросят (колхозных поросят *иногда раздавали* по *домам*, и женщины вскармливали их из рожка)...

Работали не за колхозную «валюту» того времени — сухие палочки трудодней, но — за *совесть*. Понимали: государству *надо* встать на ноги. Выплачивали налоги даже области, перенесшие оккупацию. Брали с приусадебного, и без того еле питающего жизнь семьи хозяйства,— и оттуда же *отрывали последнее, от живота,*— на очередные займы Восстановления и Развития!..

Однако война уже осталась за первой послевоенной трудовой пятилеткой, а многие наши руководители все еще смотрели на жизнь глазами военного времени. И на жизнь деревни — тоже... Привычный героизм деревни, ее самоотверженный, на исходе всех сил, трудовой энтузиазм после войны, эти руководители планировали и на будущее. Не умея да и не желая вести народное хозяйство по-новому.

И именно как пробуждение в нашей стране общественного мнения в защиту деревни явилась книга Валентина Овечкина «Районные будни» в 1952 году!.. Писатель тогда жил и работал в Курской области. Впоследствии он вспоминал: «Очень тяжелое положение было. Несколько секретарей райкома — Борзовых. В обкоме — тоже Борзовы были. Воевал. Был членом райкома. Наконец начал писать эти очерки».

Заявление овечкинского Борзова: «Я не сплю — весь район не спит!» — по аналогии с известным образом жизни человека, работающего в своем кремлевском кабинете до утра, должно было принадлежать герою в высшей степени положительному. Однако именно эти, по тому времени символические слова приобретают в очерке отрицательное

значение! Как *прокламация вчерашнего дня, вчерашнего отношения к людям.*

«Узнаваемость» *в жизни* художественно обобщенных в очерках Овечкина типов партийных, советских и колхозных работников сделала его книгу как бы документом самой жизни: ее обсуждали на партийных собраниях, а после опубликования в «Правде» новых глав, по свидетельствам с мест, были «сняты с занимаемых ими постов» конкретные лица.

Поистине, это было Возрождение в жизни и в литературе! Впервые после войны судьба русской деревни вошла в сердца миллионов людей с такой гражданской настойчивостью.

Валентин Овечкин успел в литературе еще многое, и — справедлива та высокая оценка его жизни и творчества, с которой выступила «Литературная газета» после смерти писателя:

«Его называют отцом советского деревенского очерка. И это верно, хотя главное в том, что он, коммунист, был совестью литературы и, как подобает настоящему писателю, совестью нации...»

В этот сборник включена та глава из книги «Районные будни», в которой писатель-коммунист Овечкин, с присущей ему художественной прозорливостью, создает образ работника партии завтрашнего дня. Очень еще мало тогда было таких руководителей, как директор МТС Долгушин, и еще меньше — руководителей, которые бы их, долгушиных, понимали. И как раз Мартынов, первый секретарь райкома, умный и честный человек, видит его в будущем вместо себя, «первым»...

Но как, при каких обстоятельствах «расцветали» борзовы?

Рассказ Владимира Фоменко «Ночь секретаря» — не случайно поставлен в сборнике впереди других рассказов и очерков, хотя написан он позже многих из них, в 1959 году.

Влияние Овечкина на творчество этого автора внешне вроде бы не заметно. Если не считать влияния того Нового, которое приходило в литературную и общественную жизни нашей страны с выходом в свет «Районных будней».

Главный герой рассказа, Пахом Александрович, как и в очерках Овечкина,— секретарь райкома партии. Только что, как тогда бы сказали, «присланный на район»... Огромный это был, степной район, в котором после жарких суховеев прошлого, 1946 года, ничего не собрали в полях.

...Трансляцию по радио решений февральского, 1947 года, Пленума ЦК партии Пахом Александрович услышал на деревенской улице:

«Наличие извращений,— гудел репродуктор,— есть следствие неправильного руководства колхозами со стороны местных партийных и советских организаций».

Наконец человек, стоящий в Москве у микрофона, повысил голос, произнося последние фразы: «Пленум ЦК ВКП (б) придает первостепенное... делу восстановления...» Сколько еще потом придется Пахому

Александровичу слушать и выполнять решения «очередных Пленумов по сельскому хозяйству!»

...Но мы-то теперь знаем: «борзовщина» тогда — вся была впереди!

«Руководи!— бросает Борзов в споре с Мартыновым. — Ты — с этой самой крестьянской справедливостью, а я — по-пролетарски».

Не «руководить» деревней, не «поднимать» ее до городских этажей, но — признать ее уклад жизни, ее мир.

Между тем, в отличие от явно отрицательного отношения Овечкина к Борзову, сочувствие Фоменко к персонажу своего рассказа «прорывается» даже через объективно жесткое письмо... Да, собственно, и современный читатель, не признавая теперь «должностного ума», разве не готов в принципе уважать того, кому доверили столь ответственный, требующий многих хороших человеческих качеств пост секретаря райкома партии? Тем более что ведь с состраданием думает Пахом Александрович о колхозниках, питающихся не намного лучше колхозной скотины. И в то же время что, собственно, сможет сделать этот секретарь райкома отличное от того, что делает Борзов? Он, вчерашний командир (а Борзов, вспомним, тоже — воевал, был заместителем командира полка) — он тоже, во что бы то ни стало, но выполнит приказ: откуда, еще неизвестно, а — изымет семенное зерно, заставит засеять им указанное количество гектаров и сдаст, *во что бы то ни стало* сдаст потом государству указанное количество хлеба. Да, он знает, «что сейчас едят коровы: пусть солома с крыши согреет их изнутри, но коровы должны выносить в своих утробах запланированных телят... Понадобятся поворотные, может, жесткие меры. Он приехал сюда хозяином и пойдет на эти меры, как *за рога повернет район».*

Но спрашивается: разве Борзов, который в своем районе, наверное, делал в это время все так же,— разве он все это делал по собственному желанию? Да полно... Этот Пахом Александрович — уж не Борзов ли это в молодости, точнее, в первые свои годы «на районе»?..

С удивлением теперь читаешь в старых газетах рецензии на книгу Овечкина. Рецензии в основном положительные, но — какое, в полном согласии с духом недавнего еще тогда времени, окончательное «осуждение» Борзова, вплоть до его «антипартийности»...

Борзовых диктовало время. В глазах народа колхозный строй как будто бы оправдал себя великой победой в Отечественной войне, но он, этот строй, однако, уже не мог дать стране достаточно хлеба для нормальной жизни, особенно при том опустошении, которое принесла деревне война. Разве забыть город, оплетенный с ночи хлебными очередями? И зеленый туман в глазах от голода. Однажды в бараке, в котором жили семьи вернувшихся из эвакуации, ребята остановили вынос очередного «голодняка»: взрослые, видно, были не в себе — хотели вынести головой вперед. А ребята... они помнили. Насмотрелись!

И борзовы, получив приказ и зная, как забрать хлеб «по закону» строгали колхозный трудодень до той самой палочки...

Рассказ В. Фоменко «Ночь секретаря» обнаруживает истоки появления людей типа борзовых.

Почему повесть В. Тендрякова «Падение Ивана Чупрова» и повесть Ф. Абрамова «Вокруг да около» их авторы называли в то время очерками?

Отличительные черты этого жанра, возрожденного Овечкиным как самый боевой жанр художественной литературы, его особенная приближенность к жизни, острота поднимаемых им проблем — были так заразительны, что многие рассказы и повести того времени воспринимались современниками именно как очерки — настолько явно было их первоначально публицистическое звучание. И совсем не случайно, что многие художественные произведения впервые тогда появлялись в изданиях, более близких по своему назначению к публицистике. Например, рассказ С. Залыгина «Красный клевер» — в журнале «Партийная жизнь», рассказ В. Рослякова «Красные березы» — в газете «Известия». «Сельский дневник» Ефима Дороша утратил первоначальное наименование «повести», а повести Сергея Воронина и Григория Бакланова «Ненужная слава» и «В Снегирях» были Овечкиным названы «очерками». Тогда это было высшим одобрением литературных произведений!

Да, произошло именно так: реалистическое описание послевоенной жизни началось в нашей литературе с очерков о деревне — с рассказа об ее отчаянных попытках встать на ноги после жесточайшей разрухи. И что характерно: именно в «руководящих кругах» высветила тогда художественная литература «борзовых», «чупровых», «сергеев варфоломеевичей»...

Писатель не может быть ни «городским», ни «деревенским». Однако эта искусственная градация существует, она и «помогла» не заметить у Павла Нилина большой, почти повесть, рассказ «Знакомство с Тишковым», посвященный жизни именно послевоенной «колхозной глубинки».

На первый взгляд, «знакомство» в рассказе происходит лишь с человеком, фамилия которого и означена в заглавии. То есть Сергей Варфоломеевич, конечно, знает Тишкова как председателя колхоза «Желтые ручьи». Но как человека — пришлось узнавать в обстоятельствах, для него, председателя райисполкома, неожиданных...

Человеком этот Тишков, оказывается, действительно был интересным. И не сразу понимаешь, что на фоне знакомства с Тишковым автор знакомит нас с Сергеем Варфоломеевичем... С присущим особенно

этому писателю, прямо-таки дотошным вниманием к своему персонажу исследуется «руководящий человек» Сергей Варфоломеевич. Чиновник — «успокоенный», отторгнувший от себя подлинную, народную жизнь. И решительно все может произойти с людьми «в его районе», вплоть до осуждения невиновных. Как это чуть было и не произошло с Тишковым.

Да, конечно: думая сейчас об этом сборнике рассказов и очерков, нельзя не вспомнить отмеченную когда-то в печати особенность их авторов: «сведение всех бед и радостей к «председательскому корпусу», когда место пахаря, кормильца страны занимал в литературе руководитель с целой станицей или с двумя десятками российских деревень «на плечах».

Разумеется, что от того, каким был председатель колхоза или секретарь райкома в деле, во взаимоотношениях с людьми, зависело многое. Но, как известно, сами эти отношения во многом определяются социальным фоном. Его модель не идеальна, будем откровенны, и в наше время, а в 50—60-е годы существовавшая аграрная политика резко тормозила развитие страны. Да, мы справедливо называем годы руководства Н. С. Хрущева годами оттепели и надежд. Однако волевых, подчас волюнтаристских решений — предостаточно. И потому именно в эти годы рядовые колхозники в ответ на призывы вернуться душой к земле — стали отвечать: «А что мы!.. Землей пусть председатель с агрономом интересуются»... Эта позиция хлебороба, переставшего быть хозяином, стала болью литературы. Авторы этого сборника не возвеличивали «королеву полей» на месте вчерашних лугов, не доказывали ненужности скота в личном хозяйстве, не призывали молодых на целину, не благословляли их на целинную жизнь с комсомольскими путевками. Предвидя, что уже в 80-м году, вместе с редкими уже там «целинниками» тридцатых годов, эти молодые прочитают в центральной газете призыв родных российских областей: «Нечерноземье — твоя целина!» ...Когда уже начали выглядывать из пустых оконниц отцовских домов беспечно веселые осинки.

Те, кто вслед за Валентином Овечкиным возрождали в художественной литературе реальную русскую деревню, возрождали и саму литературу, ибо всегда в нашей стране самоосознание общества прежде всего проявлялось в осознании положения крестьянства. «Мы шли к Валентину Распутину через Овечкина, Тендрякова...— так сказал С. Залыгин, чей ранний, написанный тридцать лет назад рассказ «Красный клевер» — яркая веха на этом пути к правде о русской деревне середины нашего века.

Нет, совсем не случаен этот «красный цвет» в литературе о деревне того времени: это и «Красные березы» — рассказ В. Рослякова, и «Поднимающие Красное знамя» — один из самых ранних очерков С. Викулова... Это был цвет нашей борьбы за человеческое в человеке. Ибо литература начинается там, где начинается человек, где правда жизни *приводит к человеческому.*

И подобно тому, как в прошлом веке русская литература повлияла на отмену крепостного права, так и русские писатели середины нашего века, сформировав общественное мнение о необходимости демократизации жизни колхозной деревни, добились для нее немало... Например, обретением гражданства было для жителей деревни получение паспортов, учреждение пусть поначалу и небольших пенсий... Людям, вынесшим на своих плечах державу!

Но и к В. Овечкину и к Ф. Абрамову прислушиваться не хотели; человека тогда мало еще слушали: «наказ» сверху опережал знания и опыт на местах. А потому освобождение «от деревенской приписки» становилось для молодых колхозников... освобождением от земли: уезжали от земли. Ради спасения от такой беды выдающийся художник слова Ф. Абрамов, остановив свою работу над дилогией «Пряслины», обращается к очерку, к прямому разговору о проблемах деревни.

Извините, читатель, за, быть может, неожиданную здесь документальность... Из книги И. Золотусского «Федор Абрамов»: «Очерк «Вокруг да около» был неопровержимо конкретен — и это увеличивало его вес. Был взят один день из жизни председателя колхоза. Но в этот день вместилась вся история деревни Богатка...»

Федор Абрамов. Из очерка:

«Решение райкома: «За политическую недооценку силоса как основы кормовой базы колхозного животноводства председателю колхоза «Новая жизнь» коммунисту т. Мысовскому А. Е. объявить строгий выговор».

...Выговор «вынесли» за действия, по-крестьянски разумные: люди все были посланы на сенокос, потому «силос и в сырую погоду взять можно, а сено не возьмешь».

Между тем, как он, Ананий Егорович, в интересах прежде всего дела, превозмог страх и решился на еще более, он это понимал, горшую для себя «развязку»... Ведь пошли дожди, и кошенина начала гнить. То есть он, Ананий Егорович, лукавит сам с собой, будто лишь «по пьяному делу» решился на невиданное до тех пор в колхозе дело: пообещал колхозникам тридцать процентов от убранного, если выйдут они в воскресный день на луг...

И. Золотусский: «...и есть смысл прочитать «Письмо» земляков, напечатанное в местной газете после публикации очерка. Виня автора в создании «неприглядной картины», письмо само рисует такую картину — может быть, еще более неприглядную, чем в очерке. Авторы письма говорят о достижении колхоза. И как же они выглядят? «В 1954 году

на трудодень выдавали 6,4 копейки, а в 1962 году —55 копеек. Шесть престарелых колхозников получают пенсии» (на десятки нетрудоспособных стариков колхоза — шесть двадцатирублевых тогда пенсий)...

Предлагая путь «личного обогащения», Федор Абрамов, по словам автора «Письма», звал деревню не туда. «Не туда зовете нас, земляк»,— предупреждали его. Больнее всего для Абрамова было то, что под «Письмом» стояли подписи людей, которых он знал с детства. Абрамов понимал, что «Письмо» было составлено не в Верколе, что писали его не земляки. Но подписали-то его они. И фамилии, стоящие под «Письмом», были дорогие для него фамилии.

Из рецензии на очерк Абрамова, опубликованной в 1966 году в одной из центральных газет: «Символичны 30 процентов... Нетрудно догадаться, что в эти 30 процентов автор намеревается уложить общественное сознание колхозников, обречь его на былую кулацкую третейщину».

Да, трудно было сделать в то время шаг навстречу беспощадной правде. Но в «Вокруг да около» Абрамов его сделал...

Конечно, далеко не вся так называемая «малая проза» послевоенных десятилетий вошла в этот сборник, подбор определялся его темой: коммунисты русской деревни середины века.

И нет среди очерков и рассказов того времени другого произведения, которое бы «отвечало» этой теме больше, чем рассказ Александра Яшина «Рычаги».

Напечатан рассказ в 1956 году в альманахе «Литературная Москва»; почти сразу, однако, стал недоступен для широкого читателя. Хотя «говорить» об этом произведении в печати... дозволялось.

Особенно критиков обескураживал резкий перелом в настроении персонажей А. Яшина, когда высказывали они в беседе друг с другом думаное-передуманое о своей жизни — о ничтожной оплате трудодней, о бескультурье, на борьбу с которым негде взять денег («остались только кампании по разным заготовкам да сборам — пятидневки, декадники, месячники»), о тех, кто уехал из родной деревни куда только можно, в том числе и на целину, о том, наконец, что начальники районные с народом разговаривать разучились, стыдятся: сами понимают, а прыгнуть боязно. Где уж тут убеждать. На рычаги надеются. «...Как вдруг, выложив все это с такой болью, что «душа была готова выскочить», и начав наконец свое собрание,— начали *они то самое*, о чем с такой откровенностью и проницательностью только что говорили, понося «казенщину, бюрократизм, буквоедство в делах и в речах...»

...И даже в последнее время, отдавая должное смелости автора —

«Яшин призывал к тому, чтобы люди чувствовали себя не «винтиками»,— литературные критики говорили о некоей условности характеров

персонажей этого рассказа, подчеркивая, что «по-другому» его герои заговорили именно тогда, когда, с началом собрания, началось и «протоколирование». Мол, вот такое было время.

Но как раз — не о страхе здесь, в рассказе, речь... И вовсе не «винтиками» чувствовали себя его персонажи. Больше того: эта «условность» характеров — условие самой формы произведения.

Яшинские «Рычаги»— это притча. Притча о... солдатах.

Хотя ее персонажи совсем и не похожи на солдат. Один — без руки, другой — задыхается в астме, третий — с давней, по-крестьянски вольной бородой... Перед нами — солдаты партии!

И вот... представим их — без собрания. Да, вдруг, после всего того, что они всердцах выложили друг другу, оказалось бы, что собрание *по каким-то причинам не состоится: какими жалкими они, коммунисты*,— и даже в собственных глазах — возвращались бы домой: как будто после этой своей исповеди они отказались от боя. Но!.. «Начнем, товарищи! Все в сборе? Сказал он это и будто щелкнул выключателем какого-то механизма: все в избе начало преображаться до неузнаваемости — люди, и вещи, и, кажется, даже воздух».

Да, собрание — бой! Но почему — не вместе с народом? Высокое слово большевика, но почему за закрытыми дверями? Солдаты веры!.. Их любишь и ненавидишь одновременно. Но именно эта любовь-ненависть и эти их, уже на собрании, монологи о высшем смысле жизни, а не о *самой жизни*,— что и заставляет читателя решить: на земле, в крестьянстве, не может быть солдат.

Как не должно быть их — и в партии. Потому что партия — союз равных, союз соратников. А не армия «посвященных», верность которых тогда, в послевоенной деревне, становилась главным «рычагом» всей государственной машины: как будто государство — цель, а не средство в борьбе за счастье народа. Недаром — в другом своем произведении (рассказе «Угощаю рябиной») — Александр Яшин скажет: «Всей кожей своей я чувствую и жду, когда освободится эта земля из-под снега, и мне не все равно, чем засеют ее в нынешнем году и какой она даст урожай...».

Ясно, что художник слова говорит здесь не о просе или жите, которыми засеют поле... Он говорит о душе, о том, чем наполнят ее, человеческую душу, в будущей — он, писатель и коммунист, был в этом уверен,— неотвратимо весенней ростепели.

Русские писатели, авторы этого сборника, уже тогда, в середине века, внесли свою лепту в появление того нового мышления, которое теперь дало советскому обществу силу.

ЮРИЙ СЕНЧУРОВ

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

Ветер-хлебопашец

Когда свои войска наступают, солдату не с руки бывает попадать в тыловой госпиталь по нетрудному ранению. Лучше всегда на месте в медсанбате свою рану перетерпеть. Из госпиталя не нужно долго идти искать свою часть, потому что она, пока ты в госпитале томился, уже далеко вперед ушла, да еще ее вдобавок поперек куда-нибудь в другую дивизию переместили: найди ее тогда, а опоздать тоже нельзя — и службу знаешь, и совесть есть.

Шел я однажды по этому делу из госпиталя в свою часть. Я шел уже не в первый раз, а в четвертый, но в прежние случаи мы на месте в обороне стояли: откуда ушел, туда и ступай. А тут нет.

Иду я обратно к переднему краю и чувствую, что блуждаю. Вижу по видимости — не туда меня направили, моя либо правее будет, либо левее. Однако иду пока, чтоб найти место, где верно будет спросить.

И вижу я ветряную мельницу при дороге. В сторону от мельницы недавно было какое-то село, но оно погорело в уголь, и ничего там более нету. На мельнице три крыла целые, а остальные живы неполностью — в них попадали очередями и посекли насквозь тесину или отодрали ее вовсе прочь. Но, я гляжу, мельница тихо кружится по воздуху. Неужели, думаю, там помол идет? Мне веселее стало на сердце, что люди опять зерно на хлеб мелют и война ушла от них. Значит, думаю, нужно солдату вперед скорее ходить, потому что позади него для народа настает мир и трудолюбие.

Подле мельницы я увидел еще, как крестьянин пашет землю под озимь. Я остановился и долго глядел на него, словно в беспамятстве: мне нравится хлебная работа в поле. Крестьянин был малорослый и шел за однолемешным плугом натужливо, как неумелый или непривычный. Тут я сразу сообразил один непорядок, а сначала его не обнаружил. Впереди плуга не было лошади, а плуг шел вперед

и пахал, имея направление вперед, на мельницу. Я тогда подошел к пахарю ближе на проверку, чтобы узнать всю систему его орудия. На подходе к нему я увидел, что к плугу спереди упряжены две веревки, а далее они свиты в одно целое и та цельная веревка уходила по земле в помещение мельницы. Эта веревка делала плугу натяжение и тихим ходом волокла его. А за плугом шел малый не более лет пятнадцати и держал плуг за рукоятку одной своей правой рукой, а левая рука у него висела свободно, как сухорукая.

Я подошел к пахарю и спросил у него, чей он сам и где проживает. Пахарю и правда шел шестнадцатый год, и он был сухорукий,— потому он и пахал с натужением и боязливостью; ему страшно было, если лемех увязнет вглубь, тогда может лопнуть веревка. Мельница находилась близко от пахоты — саженях в двадцати всего, а далее пахать не хватало надежной веревки.

От своего интереса я пошел на мельницу и узнал весь способ запашки сухорукого малого. Дело было простое, однако же по рассудку и по нужде — правильное. Внутри мельницы другой конец той рабочей веревки наматывался на вал, что крутил мельничный верхний жернов. Теперь жернов был поднят над нижним лежачим камнем и гудел вхолостую. А веревка накручивалась на вал и тянула пахотный кружок. Тут же по верхнему жернову неугомонно ходил навстречу кругу другой человек; он сматывал веревку обратно и бросал ее наземь, а на валу он оставлял три или четыре кольца веревки, чтобы шло натяжение плуга.

Малый на мельнице тоже был молодой, но на вид истощалый и немощный, будто бы жил он свой последний, предсмертный срок.

Я опять направился наружу. Скоро плуг подошел близко к мельнице, и сухорукий малый сделал отцепку, и упряжка уползла в мельницу, а плужок остановился в почве.

Отощалый малый вышел с мельницы и поволок из нее за собой другой конец веревки. Потом вместе с пахарем они вдвоем поворотили плуг и покатили его обратно в дальний край пашни, чтоб упрячь там плуг снова и начать свежую борозду. Я им тут помог в их заботе.

Больной малый после упряжки плуга опять пошел на мельницу на свое занятие, и работа немного погодя началась сызнова.

Я тогда сам взялся за плуг и пошел в пахоте, а сухорукий следовал за мной и отдыхал.

Они, оказывается, мягчили почву под огород на будущее лето. Немцы угнали из их села всех годных людей, а на месте оставили только нерабочие, едоцкие души: малолетних детей и изнемогших от возраста стариков и старух. Сухорукого немцы не взяли по его инвалидности, а того малого, что на мельнице, оставили помирать как чахоточного. Прежде тот чахоточным не был, он заморился здесь на немецких военных работах; там он сильно остудился, работал некормленым, терпел поругание и начал с тех пор чахнуть.

— Нас тут двое работников на всем нашем погорелом селе,— сказал мне сухорукий.— Мы одни и можем еще терпеть работу, а у других силы нету — они маленькие дети. А старым каждому по семьдесят лет и поболее. Вот мы и делаем вдвоем запашку на всех, мы здесь посеем огородные культуры.

— А сколько же у вас всего-то душ-едоков? — спросил я у парня.

— Всего-то немного: сорок три души осталось,— сообщил мне сухорукий.— Нам бы только до лета дожить... Но мы доживем: нам зерновую ссуду дали. Как покончим пашню, так тележку на шариковых подшипниках начнем делать: легче будет, а то силы мало — у меня одна рука, у того грудь болит... Нам зерно надо с базы возить — от нас тридцать два километра.

— А лошадей или скотины неужели ни одной головы не осталось?— спросил я тут у сухорукого; я посмотрел на него — он показался мне пожилым, но на самом деле он был подростком: глаза у него были чистые и добрые, тело не выкормлено еще до мужского роста, но лицо его уже не по возрасту тронулось задумчивой заботой и посерело без радости.

— Не осталось,— сказал он мне.— Скотину немцы поели, лошади пали на ихней работе, а последних пятерых коней и племенного жеребца они с собой угнали.

— Проживете теперь?— я у него спросил.

— Отдышимся,— сказал мне сухорукий.— У нас желание есть: видишь — пашем вот вдвоем, да ветер нам на помощь, а то бы в один лемех впрягать надо душ десять — пятнадцать, а где их взять!.. Кой-кто от фашистов с дороги сбежит — тот воротится, запашку с весны большую начнем, ребятишки расти будут... Старики вот только у

нас дюже ветхие, силы у них ушли, а думать они могут...

— А это кто же вам придумал такую пахоту? — спросил я.

— Дед у нас один есть, Кондрат Ефимович, он говорит — всю вселенную знает. Он нам сказал — как надо, а мы сделали. С ним не помрешь. Он у нас теперь председатель, а я у него заместитель.

Однако мне, как солдату, некогда было далее на месте оставаться. Слова да гуторы доведут до коморы. И жалко мне было сразу разлучаться с этим сухоруким парнем. Тогда — что же мне делать — я поцеловался с ним на прощанье, чувствуя братство нашего народа: он был хлебопашец, а я солдат. Он кормит мир, я берегу его от смертного врага. Мы с пахарем живем одним делом.

ВАЛЕНТИН ОВЕЧКИН

Борзов. Мартынов. Долгушин

Дождь лил третий день подряд. За три дня раза два всего проглядывало солнце на несколько часов, не успевало просушить даже крыши, не только поля, местами, в низинах, залитые водой, словно луга ранней весной, в паводок.

В кабинете второго секретаря райкома сидел председатель передового, самого богатого в районе колхоза «Власть Советов» Демьян Васильевич Опёнкин, тучный, с большим животом, усатый, седой, коротко остриженный, в мокром парусиновом плаще. Он приехал верхом. Его конь, рослый, рыжей масти жеребец-племенник, стоял нерасседланный во дворе райкома под навесом, беспокойно мотал головой, силясь оборвать повод, ржал. Опёнкин, с трудом ворочая толстой шеей, время от времени поглядывал через плечо в окно на жеребца.

Секретарь райкома Петр Илларионович Мартынов ходил взад-вперед вдоль кабинета, неслышно ступая сапогами по мягким ковровым дорожкам.

— Больше с тебя хлеба не возьмем,— говорил Мартынов.— Ты рассчитался. Я не за этим тебя позвал, Демьян Васильич. Ты старый председатель, опытный хозяин. Посоветуй, что можно делать в такую погоду на поле? Три тысячи гектаров еще не скошено. На что можно нажимать всерьез? Так, чтоб люди в колхозах не смеялись над нашими телефонограммами?.. Я вчера в «Заветах Ильича» увидел у председателя на столе собственную телефонограмму, и, признаться, стыдно стало. Обязываем пустить все машины в ход, а сам пришел к ним пешком, «газик» застрял в поле, пришлось волов просить, чтоб дотянуть до села.

— Куда там! Растворило!..

— Косами, серпами не возьмем по такой погоде? А?..

— Я, Илларионыч, не имею опыта, как по грязи хлеб убирать,— усмехнулся Опёнкин.— Наш колхоз всегда за-

сухо с уборкой управляется... Жать-то можно серпами, а толку? Свалишь хлеб в болото. Если затянется такая погода — погниет. Порвет, дьявол, уздечку!— Опёнкин грузно повернулся к окну на заскрипевшем стуле, распахнул створки.— Стоять, Кальян! Вот я тебе!— Увидел проходившего по двору райкомовского конюха.— Никитыч! Есть у тебя оброть? Накинь на него оброть, пожалуйста, а уздечку сними.

Мартынов подошел к окну:

— Где купили такого красавца?

— В Сальских степях. Дончак. Крепкая лошадь. Лучшая верховая порода.

— Застоялся. Проезжать надо его почаще.

— Вот — проезжаю. Вчера в совхоз «Челюскин» на нем ездил. Во мне сто десять кило. Нагрузочка подходящая.

— А чего ты так безобразно толстеешь?— Мартынов похлопал по животу Опёнкина.— На кулака стал уже похож.

— Сам не знаю, Илларионыч, с чего меня прет,— развел руками Опёнкин.— Не от спокойной жизни. После укрупнения и вовсе замотался. Три тысячи гектаров, семь бригад. Чем больше волнуюсь, тем больше толстею.

— Покушать любишь?

— Да на аппетит не обижаюсь...

Ветер задувал в окно брызги, мочил журналы, лежавшие на подоконнике. Опёнкин закрыл окно. Мартынов отошел, присел на край стола.

— А не получится опять по-прошлогоднему?— Опёнкин вскинул на Мартынова глаза, черные, умные, немного усталые.

— Как по-прошлогоднему?

— Соседи наши на семидесяти процентах пошабашат, а нам опять дадите дополнительный?

— По хлебопоставкам? Нет, насчет этого сейчас строго... Может быть, только заимообразно попросим. У тебя много хлеба осталось, а у других нет сейчас намолоченного. Вывезешь за них, потом отдадут.

— Вот, вот!— Опёнкин заерзал на тяжело скрипевшем под ним стуле.— Я ж говорю, что-нибудь да придумаете. Не в лоб, так по лбу! Нам уж за эти годы после войны столько задолжали другие колхозы! Нет на меня хорошего ревизора! Судить меня давно пора за дебиторскую задолженность!.. Тысячу центнеров должны нам соседи милые.

И хлебопоставки за них выполняли, и на семена им давали. И не куют, не мелют! Станешь спрашивать председателей: «Когда ж вы, братцы, совесть поимеете, отдадите?» — смеются: «При коммунизме, говорят, сочтемся». А по-моему,— встал, рассердившись, Опёнкин и, тяжело сопя, стуча полами мокрого, задубевшего плаща по спинкам стульев, заходил по кабинету,— по-моему, коммунизм не будет до тех пор, пока это иждивенчество проклятое не ликвидируем! Чтоб все строили коммунизм! А не так: одни строят, трудятся, а другие хотят на чужом горбу в царство небесное въехать!..

— Погоди, не волнуйся, Демьян Васильич,— сказал Мартынов.— Может, обойдемся и без займов.

— Какие займы! Говорите прямо — пожертвования. Никто и в этом году не отдаст нам из старых долгов ни грамма. Придут к вам, расплачутся, и вы же сами нам скажете: «Повремените, не взыскивайте. У них мало хлеба осталось. Надо же и там чего-нибудь выдать по трудодням, засыпать семена».

Остановился против Мартынова — высокий, грузный, на толстых, широко расставленных ногах.

— Ты не подумай, Петр Илларионыч, что я жадничаю. Почему не помочь колхозу, ежели несчастье постигло людей — град, скажем, либо наводнение? Пойдем навстречу, с открытой душой. Но если только и несчастья у них, что бригадиры с председателем во главе любят на зорьке понежиться на мягких пуховиках,— тут займами не поможешь!.. Не о своем колхозе беспокоюсь. Мы не обедняем. Еще тысячу центнеров раздадим — не обедняем. Но это же не выход из положения! Вы же никогда так не поправите дело в отстающих колхозах — подачками да поблажками!..

— Я тоже не сторонник таких методов подтягивания отстающих,— ответил Мартынов, глядя Опёнкину прямо в глаза, умные, много перевидившие за десять лет его работы председателем колхоза.— Так мы действительно не наведем порядка в колхозах и район не поднимем... Дополнительного плана тебе не будет. Ни под каким соусом.

Опёнкин недоверчиво покачал головой:

— Это пока ты правишь тут за первого. А приедет Виктор Семеныч? Скажет: «Ну-ка, потрясти еще Демьяна Богатого!»

— Попробуем и Виктора Семеныча убедить. Это самый

легкий способ, потрясти тебя, других, выполнивших досрочно план.

— Когда у него отпуск кончается?

— Если не продлят ему лечение — в субботу приедет.

— Вот с дороги отдохнет, может, часика два и начнет шуровать!

Мартынов не ответил, отошел к окну, перевел разговор на другую тему.

— Все же плохо организовано у нас хозяйство в колхозах. Пошли дожди не вовремя — и мы садимся в калошу. А если такая погодка продлится еще недели две?.. Надо вдесятеро больше строить зерносушилок, крытых токов.

— У крестьян раньше были такие сараи — риги назывались,— сказал Опёнкин.

— Не сараи — навесы хотя бы, соломенные крыши на столбах.

— Ежели без стен — еще лучше,— согласился Опёнкин.— Продувает ветерком, быстрее просушивает... Посевные площади не те, Илларионыч. Раньше у хозяина было всего десятин пять посева. А ну-ка, настрой этих риг на три-четыре тысячи гектаров!

— Вот и я говорю,— продолжал Мартынов,— совершенно в других размерах надо все это планировать! Даем колхозу задание: построить три зерносушилки. А надо — двадцать, тридцать!.. То засуха нас бьет, то дожди срывают уборку, губят уже готовый урожай. Когда же это кончится?.. Тебя, Демьян Васильич, я вижу, это не очень волнует. Ты думаешь небось: «Мне хватило двух недель сухой погоды для уборки». Ну, знаешь, и ты не очень хорохорься. А если бы дожди пошли с первого дня уборки? Тоже кричал бы караул! Пусть это раз в десять лет случается, но и к такому году мы должны быть готовы.

Опёнкин слушал Мартынова спокойно, с улыбкой:

— Готовимся и к такому году. Из нашего колхоза десять человек третий месяц уже работают на лесозаготовках в Кировской области. Пятнадцать вагонов леса получили оттуда. Еще раза три по столько же отгрузят. Хватит там и на электростанцию, и на клуб, и на крытые тока, и на сушилки.

— У вас-то хватит!..

— Я тебе объясню, Илларионыч,— сказал, помолчав, Опёнкин,— почему в нашем колхозе работа спорится, люди дружно за все берутся. Потому что колхоз богатый, есть чего получать по трудодням и хлебом и деньгами.

У нас самое тяжкое наказание для человека, когда отстраняем его решением правления от работы дня на три.

Мартынов засмеялся:

— Объяснил! А колхоз богатый потому, что люди дружно работают.

— Да,— улыбнулся Опёнкин,— так уж оно, как пойдет колесом... А пережили и мы немало трудностей... Приехал ко мне как-то в военное время Михей Кудряшов, председатель «Волны революции», не помню уж по каким делам. Повел я его обедать к себе домой. А у меня — черный хлеб на столе. «Как тебе, говорит, не стыдно? Председатель, не умеешь жить! Не можешь для себя хотя бы организовать?» А чего — стыдно? Время было тяжелое, война. Сдали сверх плана в фонд Красной Армии полторы тысячи центнеров. Сами сдали, добровольно. Решили — переживем. Картошки в хлеб подмешаем, того, сего — выдюжим! Прошлым летом заехал я к ним в «Волну». Какой был лично у Кудряшова хлеб — не знаю, а у колхозников у всех — черный. И семян просят занять им. А у нас уж который год все белый хлеб едят, как и до войны. «Как тебе, говорю, теперь не стыдно?» Кабы себя от людей не отделял да черный хлеб ел, тогда, может, злее был бы, пуще стремился бы скорее одолеть трудности! Колхоз — не для нас только, председателей, так я понимаю, не для нашей роскошной жизни. Когда всем хорошо, то и нам хорошо...

...Долго еще думал Мартынов после ухода Опёнкина об этом человеке. Если бы все были такие председатели колхозов в районе! Вот у него пошло колесом — колхоз богатый, потому и люди хорошо работают. А в некоторых колхозах тоже идет «колесом», только наоборот: на трудодень — крохи, потому что был плохой урожай, плохо работали колхозники, а плохо работали потому, что и в прошлом году получили мало хлеба по трудодням. Тут уж получается не колесо, а заколдованный круг. Но этот круг надо разорвать во что бы то ни стало! Кто может его разорвать? Вот такие люди, которым народное дорого, как свое кровное... Мартынов был зимою в колхозе «Власть Советов» на отчетно-выборном собрании. Когда выдвинули вновь кандидатуру Опёнкина в председатели, один колхозник, выступая, назвал его: «Душевный коммунист».

Ветер сыпал в окна крупными каплями дождя, будто щебнем. Мартынов принял за день много людей — всех заведующих отделами райкома, каждого со своими

вопросами, районного агронома, заведующего сельхозотделом райисполкома. Оказалось, что по случаю ненастной погоды весь партийный актив был дома.

— Что-то неладно получается у нас, товарищи,— сказал Мартынов.— Такое тяжелое положение с уборкой, а мы отсиживаемся дома. Вот сейчас-то нужно быть всем в колхозах!

— А что же можно там сейчас делать?— спрашивали его.

— Спасать хотя бы то зерно, что намолочено. В кучах лежит, под дождем. Строить сушилки, крытые тока, перетаскивать туда зерно, лопатить. Машины не идут — волами возить просушенный хлеб на элеватор.

У него уже созрело решение — на что, в случае затяжки ненастья, можно и нужно сейчас поднять в районе все живое и мертвое. Он велел помощнику созвать членов бюро в девять вечера на небольшое заседание по одному этому вопросу.

В конце дня, когда Мартынов собирался уже сходить домой пообедать, в кабинет вошла Марья Сергеевна Борзова, жена первого секретаря, молодая, чуть располневшая женщина, миловидная, с широким добродушным лицом, усыпанным мелкими веснушками, с живыми, веселыми карими глазами,— директор районной конторы «Сортсемовощ».

На днях в одном колхозе Мартынову сказали, что у них третий год подряд не вызревают арбузы, убирают их осенью зелеными и скармливают свиньям. Он спросил — что за сорт? Оказалось, семена присланы с Кубани. Мартынов почувствовал завязку большого вопроса для постановки перед обкомом и Министерством сельского хозяйства и попросил Борзову составить ведомость, откуда получает их контора семена овощей, и зайти с этой ведомостью к нему.

— Вот, сделала, Петр Илларионыч,— сказала Борзова, кладя перед ним на стол исписанный лист бумаги.— Выбрала из накладных. Верно, что-то не по-мичурински получается. Есть у нас местные семена хороших сортов, их областная контора куда-то отсылает, а нам дают другие сорта. Арбузы, дыни — с Кубани, из Крыма. И помидоры — с Кубани.

— Там лето месяца на полтора длиннее. Арбузы привыкли к такому лету и растут себе не спеша,— сказал Мартынов.

Пока он просматривал ведомость, Марья Сергеевна, скинув мокрую дождевую накидку, села в кресло у стола.

— Мой-то, товарищ Борзов, сегодня приезжает,— сказала она.

— Как — сегодня?— Мартынов поднял голову.— У него еще отпуск не кончился.

— Должно быть, не высидел. Я ему отсюда посылала авиапочтой областную газету со сводками, по его приказанию.

— Если сегодня, ему пора уже быть,— Мартынов взглянул на настольные часы.— Поезд прошел.

— Вот и я думаю — каким же он приедет? Может, ночью, в час? Так то уж другое число. Он телеграфировал: «Буду двадцать третьего, целую».

— Погоди, тут мне какие-то телеграммы принесли, я еще не смотрел.— Мартынов порылся в бумажках на столе.— Да вот, есть от него: «Приеду двадцать третьего». Только без «целую».

Марья Сергеевна вздохнула:

— Опять пойдут у вас всенощные заседания? Будете ругаться с ним на каждом бюро до утра?

— Не знаю,— ответил Мартынов,— как он теперь, после ессентукских вод. Может, язва не так будет его мучить.

— А мы с ним поженились, когда у него язвы еще не было. Я-то его давно знаю. Это у него не от болезни. У обоих у вас — характеры! Коса на камень... Развели бы вас по разным районам, что ли!

— От третьего человека слышу: просись в другой район,— сказал Мартынов.— Выживаете меня?

— А я не сказала: просись в другой район. Я говорю — нужно вас развести. Либо ему здесь оставаться, либо тебе... Ну, скажи мне, Петр Илларионыч, чего вы с ним не поделили?

Мартынов усмехнулся:

— Почему меня спрашиваешь? Тебе ближе его спросить.

— Он по-своему объясняет.

— Как? Небось: был Мартынов газетчиком, борзописцем, так бы и продолжал бумагу портить. А в партийной работе он ни шиша не смыслит. Да?

— И так говорил...

Зазвонил телефон, Мартынов снял трубку, долго разговаривал по телефону. Потом ему доложили, что из кол-

хозов приехали пять человек за получением партбилетов, ждут приема. Борзова поднялась.

— Ладно, Марья Сергеевна, как-нибудь поговорим. Эту ведомость я оставлю у себя, а ты мне еще пришли сводку об урожаях местных сортов и привозных.

— Хорошо, пришлю... Пойду домой, похлопочу насчет обеда. Может, он все же приедет сегодня. Поезд, может, опоздал.

Выдав молодым коммунистам партийные билеты, поздравив их с вступлением в партию и поговорив с ними о делах в колхозах, Мартынов замкнул на ключ ящики стола, оделся, но успел выйти только в коридор — прошумела отъехавшая от райкома машина, на крыльцо взошел по ступенькам уверенной, хозяйской походкой Борзов, среднего роста, коренастый, с нездоровым, желтоватым лицом, в длинном, почти до пят, кожаном пальто.

— А вот и сам наконец,— сказал Мартынов, остановившись в коридоре.— Мы уж не ждали тебя с дневным. Здравствуй!

— Привет трудящимся!— подал руку Борзов.

— Трудимся. А ты что ж это Конституцию нарушаешь? Не используешь полностью права на отдых?

— Отдохнешь!— Борзов снял шляпу, отряхнул, расстегнул мокрое пальто.

— Зайдем в кабинет?

— Зайдем на минутку. Я еще дома не был... Отдохнешь! — Сняв у вешалки калоши и пальто, Борзов прошел к столу, но не сел в кресло секретаря, а сбоку на стул.— Дурачки в это время ездят лечиться! Только и слышишь по радио: уборка, хлебопоставки, сев озимых. Область наша «Правда» трижды помянула уже в передовицах как отставшую.

Мартынов тоже не сел в кресло, стал у окна. Он был выше коренастого, бритоголового Борзова,— загорелый, синеглазый брюнет, с поджарой, немного сутулой, несолидной фигурой. Разница в возрасте у них была лет в семь. Мартынову — лет тридцать пять, Борзову — за сорок.

— Сам виноват,— сказал Мартынов.— Съездил бы весною, когда сев кончали. Я тебе говорил: вот сейчас проси путевку и поезжай подлечись.

— Сев кончали — прополка начиналась. Разве из нашей беспрерывки когда-нибудь вырвешься? А зимою тоже не интересно ездить на курорты... Ну ладно, давай рассказывай, как дела?

— Когда же ты приехал? Поезд в тринадцать сорок прошел.

— Я с вокзала заезжал на элеватор. Не звонил насчет машины, подвернулся «газик» директора МТС. Проверил на элеваторе, как хлеб возят... Плохо возят, Петр Илларионыч!

— Да, можно бы лучше... До этих дождей выдерживали график.

— Как же вы могли выдерживать график, если три колхоза у вас уже с неделю не участвуют в хлебопоставках: «Власть Советов», «Красный Октябрь» и «Заря»?

— Другие колхозы вывозили больше дневного задания. «Власть Советов», «Октябрь» и «Заря» рассчитались.

— Как — рассчитались?

— Так, полностью. И по натуроплате — за все работы.

Борзов с сожалением посмотрел на Мартынова:

— Так и председателям говоришь: «Вы рассчитались»? Эх, Петр Илларионыч! Учить тебя да учить! Где сводка в разрезе колхозов?

Пересел на секретарское место, энергичным жестом отодвинул от себя все лишнее — лампу, пепельницу, стакан с недопитым чаем. Под толстым стеклом лежал большой разграфленный лист бумаги, испещренный цифрами: посевная площадь колхозов, поголовье животноводства, планы поставок. Мартынов невольно улыбнулся, вспомнив слова Опёнкина: «Два часа отдохнет и начнет шуровать».

— Да, вижу, правильно я сделал, что приехал.— Взял чистый лист бумаги, карандаш, провел пальцем по стеклу.— «Власть Советов». Сколько у них было? Так... Госпоставки и натуроплата... Так. Это — по седьмой группе. Комиссия отнесла их к седьмой группе по урожайности. А если дать им девятую группу?..

— Самую высшую?

— Да, самую высшую. Что получится? Подсчитаем... По девятой группе с Демьяна Богатого — еще тысячи полторы центнеров. Да с «Зари» — центнеров восемьсот. Да с «Октября» столько же. Вот! Мальчик? Не знаешь, как взять с них хлеб?

Мартынов с непогасшей улыбкой на лице подошел к столу.

— Я не мальчик, Виктор Семеныч. Эти шутки мне знакомы. Но пора бы с этим кончать, право! На каком основании ты предлагаешь пересчитать им натуроплату по высшей группе?

— На том основании, что стране нужен хлеб!

Мартынов закурил, помолчал, стараясь взять себя в руки, не горячиться.

— Во «Власти Советов» урожай, конечно, выше, чем в других колхозах. Но все же на девятую группу они далеко не вытянули. И убрали они хорошо, чисто, никаких потерь. А что на двух полях у них озимую пшеницу прихватило градом — то не их вина. Почему же теперь им — девятую группу, да еще задним числом? Что Опёнкин колхозникам скажет?

— Пусть что хочет говорит. Нам нужен хлеб. Чего ты болеешь за него? Старый зубр! Вывернется!

— Знаю, что убедит он колхозников, повезут они хлеб. Но объяснение остается одно: берем с них хлеб за те колхозы, где бесхозяйственность и разгильдяйство.

Вошел председатель райисполкома Иван Фомич Руденко — в одной гимнастерке, без фуражки — перебежал через двор. Райсовет помещался рядом, в соседнем доме.

— Здорово, Виктор Семеныч! С приездом! Гляжу в окно — знакомая фигура поднимается по ступенькам. Недогулял?

— Привет, Фомич. Недогулял.

Руденко посмотрел на хмурое, рассерженное лицо Борзова, на нервно покусывающего мундштук папиросы Мартынова.

— С места в карьер, что ли, заспорили? Может, помешал?

— Нет.— Борзов вышел из-за стола, не глядя на Руденко, подвинул ему стул.— Садись. Ну, продолжай, Мартынов.

— А что мне продолжать,— Мартынов затушил окурок в пепельнице и встал.— Как член бюро голосую против.— Обратился к Руденко:— Предлагает дать девятую группу Опёнкину и другим, кто выполнил.

— Ну-ну...— неопределенно протянул Руденко.— Это надо подумать.

— Чтоб и в тех колхозах, где люди честно трудились и где работали через пень-колоду, на трудодни хлеба осталось поровну!.. Я тоже знаю, Виктор Семеныч, что стране нужен хлеб,— продолжал Мартынов.— И план районный мы обязаны выполнить. Но можно по-разному выполнить. Можно так выполнить, что хоть и туго будет потом кое-где с хлебом, но люди поймут, согласятся: да, это и есть советская справедливость. У наших агита-

торов будет почва под ногами, когда они станут с народом говорить: «Что заработали, то и получайте». И пусть рядом, во «Власти Советов», люди втрое больше хлеба получат! И нужно строить на этом политику! А можно так выполнить, что...— Мартынов махнул рукой, заходил по кабинету.

— Да, Виктор Семеныч, как бы не зарезать ту курочку, что несет золотые яички,— сказал Руденко.

Борзов сел опять за стол.

— Хорошо. Подсчитаем, что мы можем вывезти из других колхозов, не трогая этих.— Провел пальцем по первой графе с наименованиями колхозов.— Какой возьмем? Ну, вот «Рассвет». Сколько у них на сегодняшний день намолоченного зерна?

— Нет ничего,— ответил Мартынов.— Они до дождей хорошо возили, все подбирали, что за день намолачивали. Скошенный хлеб у них в скирдах. И не скошено еще процентов десять.

— Их МТС подвела,— добавил Руденко.— Дали им молодых комбайнеров, курсантов. Новые машины, а больше стояли, чем работали.

— Так. Значит, в «Рассвете» нет сейчас зерна. А хлебопоставки у них...

— На шестьдесят два процента,— подсказал Руденко.

— В «Красном пахаре» как?

— Такое же положение.

— «Наш путь»?

— Там хуже дело,— подошел к столу Мартынов.— Не скошено процентов тридцать, и скошенный хлеб не заскирдован... У них же нет председателя,— помолчав, добавил он.— В самый отстающий колхоз послали самого ненадежного человека. В наказание, что ли? За то, что завалил работу в промкомбинате?..

— Так...«Вторая пятилетка»?

— Там есть много зерна намолоченного,— сказал Руденко.— Но лежит в поле, в кучах. Надо сушить.

— Так какого же вы черта толкуете мне тут про справедливость, политику?— Борзов стукнул ребром ладони по столу.— Где хлеб? Такой хлеб, чтоб сейчас, в эту минуту, можно было грузить на машины и везти на элеватор?

— В эту минуту, положим, машиной не повезешь,— Мартынов кивнул на окно, за которым лило как из ведра.

— Перестанет дождь — за день просохнет. А хлеб где? Те — выполнили, умыли руки, на районную сводку им на-

плевать. У тех нет намолоченного. Обком, думаете, согласится ждать, пока мы здесь эту самую справедливость будем наводить? Что мы реально сможем поднять в этой пятидневке? Что покажем в очередной сводке? По-ли-ти-ки!..

— А если без политики выполнять поставки, так и секретари райкомов не нужны. Каким-нибудь агентам можно поручить,— ответил Мартынов.

— Я вижу,— сказал Борзов,— что главная помеха хлебопоставкам в районе на сегодняшний день — это ты, товарищ Мартынов. Сам демобилизовался и других расхолаживаешь. «Выполнили!» Разлагаешь партийную организацию.

— Ну, это уж ты слишком, Виктор Семеныч!— задвигался на стуле, хмурясь, Руденко.

Мартынов сел, потеребил рукой волосы, откинулся на спинку стула, пристально глядя на Борзова. Загорелое лицо его побледнело. Но сказать он ничего не успел. Борзов позвонил, в кабинет вошел помощник секретаря, белобрысый молодой паренек, Саша Трубицын.

— Приехали, Виктор Семеныч?!

— Да, приехал. Здравствуй. Садись, пиши... «Всем директорам МТС, председателям колхозов, секретарям колхозных первичных партийных организаций... Безобразное отставание района в уборке и выполнении плана хлебопоставок объясняется исключительно вашей преступной беспечностью и полным забвением интересов государства...» Написал? «Предлагается под вашу личную ответственность немедленно, с получением настоящей телефонограммы, включить в работу все комбайны и простейшие орудия...» Написал? «Обеспечить круглосуточную работу молотилок... Безусловно обеспечить выполнение дневных заданий по хлебовывозу, с наверстанием в ближайшие два три дня задолженности за прошлую пятидневку... Загрузить на хлебовывозе весь наличный авто- и гужтранспорт... В случае невыполнения будете привлечены к суровой партийной и государственной ответственности...» Подпись — Борзов.— Покосился на Руденко.— И Руденко.

Руденко махнул рукой:

— Валяй!

— Один экземпляр этой телефонограммы, Трубицын, сбереги,— сказал Мартынов.— Может, когда-нибудь издадут полное собрание наших сочинений.

Саша Трубицын остановился на пороге, удивленно-вопрошающе поглядел на Мартынова.

— Иди печатай,— сказал Борзов.— Передать так, чтоб через час была во всех колхозах!

Трубицын вышел.

— Для очищения совести посылаешь эту «молнию»?— спросил Мартынов.— Все же что-то делали, бумажки писали, стандартные телефонограммы рассылали.

— Напиши ты чего-нибудь пооригинальнее. Тебе и карты в руки, литератору,— с деланным спокойствием ответил Борзов и повернулся к Руденко, хотел заговорить с ним, спросил его о чем-то, но тот не ответил на вопрос, кивнул на Мартынова:

— Нет, ты послушай, Виктор Семеныч, что он предлагает.

— А что он предлагает?

— Вот что предлагаю,— Мартынов придвинулся со стулом к Борзову.— Жерди, хворост в лесу рубить по дождю можно? Можно. Навесы крыть соломой можно? Неприятно, конечно, вода за шиворот потечет, но можно. На фронте переправы под дождем и под огнем строили. Машину не уговоришь по грязи работать — человека можно уговорить. Вот на что нужно сейчас нажать!

— Одно другому не мешает,— ответил Борзов.

— Нет, мешает! Забьем председателю колхоза голову всякой чепухой — он и дельный совет мимо ушей пустит. «Включить в работу все комбайны». Это же болтовня — такие телефонограммы!— взорвался наконец Мартынов.— Тогда уж вали все: и озимку предлагаем сеять, невзирая на дождь, и зябь пахать.

— А мы из обкома не получаем таких телеграмм! Нам иной раз не звонят: «Почему не сеете?» А у нас на полях еще снег по колено.

— Область большая. Там — снег, там — тепло, там — дожди, там — засуха... А у нас же все на глазах!.. Знаешь, Виктор Семеныч, чего никак не терпят хлеборобы в наших директивах? Глупостей. Они-то ведь знают не хуже нас, на чем булки растут.

Борзов долго молчал. Больших усилий стоило ему придать голосу некоторую теплоту, когда он наконец заговорил:

— От души советую тебе, Петр Илларионыч: поезжай в обком, пожалуйся на меня, что хочешь наговори, но скажи, что мы вместе работать не можем. Пусть тебя переве-

дут в другой район. Я со своей стороны буду рекомендовать, чтоб тебя послали первым секретарем. Да в обкоме у нас обычно так и делают. Если где-то второй не ладит с первым, хочет сам играть первую скрипку и парень будто энергичный — посылают его первым секретарем в другой район, испытывают: ну-ка, покажи, брат, как ты сможешь самостоятельно работать?.. Поезжай, поговори. Когда хочешь, хоть сегодня. Дадут тебе район, может, по соседству с нами. Будем соревноваться. Руководи! Ты — с этой самой крестьянской справедливостью, а я — по-пролетарски. <...>

Метель утихла. Решили ехать дальше в село — ближе на несколько километров к райцентру.

Дед Ступаков сказал на прощанье Мартынову:

— Хоть ночь не поспали, зато время неплохо провели. В прошлом году у нас в колхозе за зиму двадцать лекторов перебывало. И все рассказывали нам: из чего произошла земля, да как началась жизнь на земле... А вот как сделать, чтоб порядку было больше на земле — ни с кем так, как с вами, на эту тему не поговорили!..

— Скажите нам, Петр Илларионыч, если это не секрет,— спросил Василий Шатохин,— за что Борзова сняли?

— А вы же читали в газете,— ответил Мартынов, надевая тулуп.

— Да в газете-то было вкратце написано: за зажим критики.

— За зажим критики.

— Мы тут слышали такое: выступил один коммунист на партактиве против него, а Борзов на другой день будто звонит в милицию: «Нет ли у вас какого-нибудь хоть паршивенького дела на него? Если нет, то заведите!»

— Был такой случай.

— Ишь ты, как зарвался человек!..

— Значит, если бы не дошел он до такого безобразия, может, и до сих пор секретарствовал у нас?— сказал Шатохин.— Не за то сняли, что неправильно районом руководил?

— Плохо, что вот так у нас бывает,— сказал Григорьев,— когда уж совсем до какой-то невыносимой подлости дойдет ответственный работник — тогда только снимают его. А может, он вообще не годился в руководители, не

теми методами действовал, народа чуждался, не думал, как сделать, чтоб народу было лучше, о своей лишь шкуре думал?..

— Помню,— усмехнулся Бережной,— приехал как-то Борзов ночью в нашу бригаду. Зябь пахали. Все машины на ходу, работают. Я сплю в вагончике. Как раскричался он: «Какой ты бригадир! Трактора работают, а ты спишь!» Я говорю: «Товарищ Борзов! А что ж мне делать, когда все трактора работают? Бегать вокруг них по загонкам, высунув язык? Если все машины в борозде, ни одна не простаивает — стало быть, я, бригадир, потрудился возле них, наладил их. Могу теперь и отдохнуть». Покричал-покричал — уехал. Только и слышали мы от него: «Лодыри! Саботажники!»

— Жесткий был человек,— сказал Василий Шатохин.— Недружелюбный. Три года проработал он у нас, и нечем нам хорошим вспомнить его. Мотался по полям, как объездчик. Увидит председателя — подъедет, отведет его в сторону, поговорит с ним о чем-то по секрету, а больше — ни с кем ни слова.

— Не довели с ним дела до конца!— махнул рукой Юрчик Маслов.— Если бы вынесли вот такое решение, подробно: за что сняли, почему сняли?— и колхозникам бы все было ясно, и тем, кто после Борзова будет работать в райкоме,— наука!..

— Это теперь очень близко нас касается, товарищ Мартынов, кто нами руководит,— сказал дед Ступаков.— Время-то ведь какое. Не то время, когда каждый сидел в своем углу, как таракан за печкой. При царе Николае нам начальства век бы не видать! Приезжали в село только затем, чтоб недоимку из нас выколотить. Приехал и уехал — скорее бы уехал!— а жизнь своим чередом идет. Своя земля, ежели она есть, своя лошадь, опять же, ежели имеешь, свои семена: как посеял, как убрал — никому дела нет. А нынче — колхозы. Дело общее. Без вас, без партии, как же нам это общее дело-то строить? Без вас мы — ни шагу. Нынче мы очень интересуемся начальством — что за человека нам бог послал? Какой у нас, скажем, секретарь райкома или председатель исполкома? Надолго ли приехал к нам или погостить? Горячая ли душа или так себе, тепленькая? Речи от него слышим правильные, а умеет ли и дело делать? Веселый ли, смелый ли? С веселым — и нам веселее. Если смелый —

опять же неплохо. Когда командир не робеет — солдаты за ним в огонь и в воду пойдут!..

Дня через три Глотов был у Мартынова в райкоме.

— Почему я от рядовых трактористов больше узнал о ваших неурядицах, чем от тебя, директора МТС?— говорил Мартынов, стоя у стола, с неприязнью поглядывая сверху на сидящего в кресле Глотова, на его седую лобастую голову, багровую шею, отечные мешки под маленькими, глубоко запавшими глазами.— Не волнует это тебя, что ли? Привык к роли подрядчика, другой роли и не хочешь играть? На второстепенной роли спокойнее?.. Обо многом я еще передумал, товарищ Глотов, после разговора с трактористами. Конечно, чтобы укрепить МТС, нужны большие капиталовложения, многое нужно. Но вот еще чего не хватает ко всему: хороших директоров! Отобрать бы лучших коммунистов на эту должность! Авторитетные, образованные, хорошо знающие сельское хозяйство и, конечно, глубоко партийные, болеющие за дело люди — такими я представляю себе директоров МТС. И вот, как будут у нас настоящие директора, боюсь я, Иван Трофимыч, за тебя. Ты не выдержишь соревнования с ними. Как бы не пришлось уступить тебе свое место более подвижному человеку. Очень уж ты спокоен. Флегматик ты!

— Таков характер у меня, что поделаешь,— ответил Глотов.

— Характер? А что такое — характер? Это и есть — сам человек... Один, скажем, меланхолик. Другой — флегматик. Отчего этот меланхолик загрустил? Может быть, всем недоволен, не верит ни в свои силы, ни в силы народа? А другой равнодушен ко всему, живет по принципу: «Моя хата с краю», «Не лезь поперед батька в пекло», «Выше головы не прыгнешь».

— На твою власть — ты бы флегматиков и меланхоликов и в партию не принимал? Заглянул бы в анкету: «Вопрос: темперамент? Ответ: «спокойный». Не надо таких!..

— Видишь ли, товарищ Глотов, твое спокойствие — просто политическая пассивность. Давай уж найдем этому точное название. За целый год не услышал от тебя живого слова: как улучшить работу МТС?.. А читаешь, изучаешь решения Девятнадцатого съезда! Устав партии изучаешь, обязанности и права члена партии!..

Глотов усмехнулся.

— Пассивность... А я слышал, Петр Илларионыч, как ты с трактористами разговаривал, и удивлялся твоей активности: «Что еще, по вашему мнению, нужно поправить? Что еще нужно изменить?» — будто от тебя это все зависит: завтра же последуют нужные решения, и пойдут у нас дела как по маслу. Слушал я тебя и, по правде сказать, посмеивался в душе.

— Напрасно посмеивался! Не в наших правах изменять законы, издавать новые указы, да. Но мы обязаны доводить до сведения наших руководителей все, что слышим в народе, думы народа. Твои трактористы — люди государственного ума. Они понимают, что здесь — передний край борьбы за урожай. Они думают о своей МТС и колхозах не только в служебное время, как некоторые из нас. Мы в колхоз приехали и уехали, по трудодням нам в колхозе не получать. А для них это дом. Колхоз — это вся их жизнь, настоящая и будущая. Днем и ночью думают они о своей жизни!..

В кабинет вошла Марья Сергеевна Борзова.

— Не помешаю?— спросила она, приостановившись у порога.

— Нет, не помешаешь. Заходи. Садись.

Марья Сергеевна села на стул у окна, небрежно причесанная, какая-то осунувшаяся, с красными пятнами на щеках, будто недавно плакала. Мартынов внимательно посмотрел на нее.

— Вот женщина мучается не на своем месте,— сказал Мартынов, достав из ящика стола пачку папирос и закуривая.— Семенной конторой заведует. А бывшая трактористка. Да какая трактористка! С Пашей Ангелиной соревновалась!.. Слушай, Марья Сергеевна! Пойдешь к нему,— кивнул на Глотова,— замполитом? У них есть замполит, хороший парень, но больной, инвалид, ездить по бригадам ему тяжело. Найдем ему работу полегче. Это же твое любимое: степь, трактористы, машины!

— Что ты говоришь!— Глотов удивился.— Ее к нам замполитом? Так Виктора Семеныча-то послали в другой район... Куда его, Марья Сергеевна?

— Не послали,— ответила Борзова.— Он сам уехал. В Борисовку. Преподавателем истории в среднюю школу поступает.

— Я не знал, что он уехал,— сказал Мартынов.— Мы предлагали ему здесь работу, в сельхозснабе... Давно уехал?

— Позавчера.

— Вот, как же так?— пожал плечами Глотов.— Муж будет работать в Борисовке, а она — здесь? Это для нее неподходяще.

Борзова молчала.

— Он еще не снимался с учета,— сказал Мартынов.— Может быть, передумает?..

— Петр Илларионыч!— Борзова посмотрела на Мартынова.— Я пришла к тебе посоветоваться по очень важному делу... Для меня важному... Если ты занят, я позже зайду.

Глотов встал.

— Я пойду. Мы кончили, Петр Илларионыч?

— Нет, не кончили. Характер тебе придется менять.

— Попробуем... Если возможны в природе такие вещи.

— Бывает, бывает, Иван Трофимыч: с возрастом меняется характер у человека. Посиди там немного. В два — бюро.

Глотов вышел.

— Что случилось, Марья Сергеевна?— обойдя стол и остановившись у окна, спросил Мартынов.

Борзова отвернулась к окну, губы у нее задрожали. Вместо ответа она припала лбом к спинке стула и горько заплакала. Мартынов растерянно налил из графина воды в стакан, поставил его на подоконник возле Борзовой.

— Не хочу я ехать с ним в Борисовку, Петр Илларионыч,— справившись с собою, заговорила Борзова.— Как мне трудно! Что мне делать?.. Я бы осталась здесь. В МТС я бы пошла. Я сама хотела просить у тебя другую работу. Но как же мне быть?.. Я с ним не хочу жить. Не могу! Как с ним тяжело. Я ни одному его слову не верю... С кем я прожила двенадцать лет? Дура, почему не ушла раньше? А теперь стыдно. Пока был на высоком посту, жила с ним, примирялась, а в трудную минуту, когда ему плохо, бросить? А дети? Двое у нас. Я их не брошу! И ему не отдам!.. Кого он из них воспитает? Таких эгоистов, как сам? Не отдам! Что мне делать?..

Мартынов долго молчал. Часы пробили два раза.

— Прости, Марья Сергеевна... Сейчас ко мне придет народ. У нас в два часа бюро. Если хочешь со мною поговорить об этом, я приду завтра сюда пораньше, часов в восемь. Хорошо? Приходи, поговорим.

Борзова встала.

— Нет, не уходи, посиди. Сегодня у нас на повестке

вопрос: о работе МТС. Разошлем всех проводить партийные собрания. Может быть, и ты поедешь? А?

Вошли председатель райисполкома Иван Фомич Руденко, второй секретарь райкома Медведев, редактор районной газеты Посохов, Глотов, директор Олешенской МТС Никифоров, секретарь парторганизации этой же МТС разъездной механик Гришин, директор третьей МТС Зарубин. Мартынов хмуро поздоровался с ними, расстроенный слезами Марьи Сергеевны, помолчал несколько минут, собираясь с мыслями. Сел за стол, нажал кнопку звонка.

— Зови всех,— сказал он заглянувшему в дверь помощнику.— Кого еще нет?.. Товарищи члены бюро! Мы хотели сегодня заслушать доклады директоров и секретарей парторганизаций МТС. Но я думаю, давайте мы перед этим сделаем так: разъедемся по МТС и проведем там партийные собрания. Поговорим с коммунистами на месте. Пригласим коммунистов и из колхозов. Там мы больше выясним — в чем причины плохой работы наших МТС? Все выясним — где наши недоработки, что мы сами в силах преодолеть, а в чем нужно просить помощи у областных организаций и у Москвы. Только надо приехать не за полчаса до собрания, а пожить там, по крайней мере, денек-другой. Походить, поговорить с людьми, подумать. А?.. Ну, давайте решим: кто куда поедет?.. <...>

На другой день, как условились, Мартынов пришел в райком пораньше, до начала работы, но Марья Сергеевна Борзова не зашла к нему. Часа в два она позвонила из дому и сказала, что уезжает в Борисовку, к мужу — посмотреть, как он устроился там, на новом месте. «Что ж, счастливого пути,— подумал с сожалением Мартынов.— Не останется она здесь. «Когда был на высоком посту, в почете, жила с ним, примирялась, а когда ему плохо,— бросить?» — вспомнил он слова Марьи Сергеевны.— Переплачет, успокоится, и будут жить по-прежнему».

А через неделю к нему в райком пришел сам Борзов. Еще накануне Саша Трубицын, помощник секретаря, сообщил Мартынову, что видел в городе Борзова с женою: приехали за вещами, переселяются в Борисовку. Борзов пришел в райком поздно вечером, когда Мартынов сидел там один.

— Здорово!— протянул он руку Мартынову.— Как живешь-можешь?

— Помаленьку,— ответил Мартынов, пересаживаясь из кресла на диван.— Садись.

Закурили из портсигара Борзова.

— Ты ведь не курил,— заметил Мартынов.

— Курил много лет. Бросал, опять начинал... На что намекаешь? От переживаний, думаешь, закурил?

— Не намекаю ни на что. Просто, помнится, не курил...

Борзов оглядел бывший свой кабинет. В нем не было никаких перемен. Мартынов не принадлежал к числу тех ответработников, которые начинают свою деятельность с перестановки по-своему мебели в служебном кабинете.

— Ну, как оно здесь?— пожевав мундштук папиросы, спросил Борзов.— Много ли грязи льют на меня бывшие мои подхалимы?— В его голосе слышалась напускная игривость, вызывающая не то на шутку, не то на спор.— Бывает ведь так: уехал человек, которого боялись, он уже не у власти, и тут-то начинается на ушко: «Вы знаете, он на птицекомбинате тысячу яиц выписал за год!», «Ему из рыбхоза рыбу бесплатно возили!», «На охоту ездил на казенной машине!»

— А я таких, Виктор Семеныч,— ответил Мартынов,— что задним числом льют грязь на тебя, гоню в шею. Я им не верю. «Почему раньше молчали? Сегодня на Борзова капаете, завтра, может, меня снимут — про меня какую-нибудь сплетню пустите?» Гоню таких.

— Правильно делаешь! Это — не опора. Ищи опору среди других людей, среди тех, что не заискивают перед новым секретарем, не лезут ему в глаза.

«Совет-то дельный»,— подумал Мартынов.

Борзов был все такой же коренастый, бритоголовый, с сильными плечами и толстой шеей, не похудел, не изменился в лице. Если бы не землисто-желтоватый цвет лица, он бы выглядел просто здоровяком.

— Приехал за открепительным талоном,— сказал Борзов.— Отпустите?

— Если очень настаиваешь, отпустим,— ответил Мартынов.— Но мы и не гоним тебя. Нашли б и здесь тебе работу.

— Ну-у? Не гоните? Не рад тому, что уезжаю?.. Ты, говорят, и Марье Сергеевне предлагал тут другую работу? Ее удерживаешь или меня?..

— Что ж, Марья Сергеевна работник неплохой, жалко

ее отпускать,— насколько смог спокойно ответил Мартынов.

Борзов искоса, потемневшими глазами, с недоверчивой, недоброй усмешкой поглядел на Мартынова. Однако продолжал разговор в том же шутливо-развязном тоне:

— А какую дали бы мне работу? Директором инкубатора? В сельхозснаб послали бы? На Втором Троицке? Пять километров? Покорно благодарю!.. Войди в мое положение, Петр Илларионыч. Что-то неохота ходить пешком по тем самым улицам, по которым в «Победе» ездил. Лучше уж — в другом месте, по другим улицам.

— Пожалуй, лучше,— согласился Мартынов.— Поэтому и отпустим тебя... Не поминай нас лихом.

Борзов в две затяжки докурил папиросу, пустил клуб дыма к потолку, еще раз оглядел кабинет. После большой паузы заговорил — уже серьезно, без натянутой улыбки.

— Рано ли, поздно ли,— убежденно сказал он,— вспомнят Борзова! Позовут меня опять на большую работу! Нельзя так разбрасываться кадрами. Поймут товарищи!.. Я ли не просиживал в этом кабинете ночи напролет? Сколько сил я здесь положил! Я здесь здоровье потерял!.. Позвонишь в сельсовет: «Разыщите всех председателей колхозов и бригадиров!» В третьем часу ночи. Для чего я это делал? Чтобы люди чувствовали: от этого секретаря и ночью нигде не спасешься! Я, бывало, не сплю — весь район не спит! Государству нужны на руководящих постах энергичные работники!.. Теперь тут чего хочешь наговорят про меня. Одного только не скажут: что я размазней был. Умел держать район в страхе божьем!..

— Что умел, то умел,— согласился Мартынов.

А про себя подумал: «Если б ты был неэнергичный, это еще полбеды».

— Неправильно все же записали обо мне в решении бюро обкома,— продолжал Борзов.— «Грубый зажим критики»... Не так ведь все было, как растрезвонили. Ну, позвонил я прокурору насчет этого Мухина, что обозвал меня на партактиве самодуром. Но я же не приказывал завести на него дело. Глупости! Если человек не совершал преступления — за что же его судить? Сам прокурор как-то говорил мне: «Придется привлекать Мухина за нарушение Устава сельхозартели: сено трактористам на корню продал». Я только справился — в каком положении дело, ведется ли следствие?.. Просто — время сейчас такое. Ре-

шения Девятнадцатого съезда, новый Устав. «Зажим критики является тяжким злом. Тот, кто глушит критику...» Надо было кого-то пустить под нож, в назидание другим. Попал под колесо истории.

Мартынову стало невыносимо скучно. Он зевнул во весь рот, поглядел на стенные часы:

— Половина первого. Завтра мне к восьми утра надо быть в «Заре коммунизма».

Борзов встал.

— Думал я, Виктор Семеныч, что ты что-нибудь поймешь, прочувствуешь за эти дни,— сказал Мартынов.— А ты ерунду говоришь. «Время такое». Какое? В моде увлечение критикой, что ли? И ты стал жертвой этой моды? «Попал под колесо истории». Неумно обставил дело с Мухиным — вот и вся твоя ошибка?.. А в каком положении сейчас район? По сводкам-то числимся середняками, а по существу очень запущенный район! Почему он стал таким? Чего нам будет стоить его вытянуть?..

Хотелось Мартынову высказать Борзову все накопившееся у него с тех пор, как стал он здесь первым секретарем и почувствовал ответственность в первую голову за положение дел в районе... «Три года глушил ты здесь живую мысль. С членами бюро не советовался, в мальчиков на побегушках пытался нас превратить. Подшучиваешь над подхалимами — «мои подхалимы»,— а зачем же приближал таких к себе? Доверял ответственные посты начетчикам, бездумным службистам. По образу и подобию своему выдвигал и расставлял вокруг себя кадры. Авгиевы конюшни оставил нам. Расчищай теперь!»

Многое захотелось высказать, но подумал: «Пустая трата времени! Доказывай слепому, какого цвета молоко!» — махнул рукой, пошел к вешалке за пальто.

— Ничего ты не понял! И вряд ли поймешь. И разъяснить тебе невозможно. На разных языках разговариваем.

— Погоди, не горячись.— Борзов попытался изобразить на лице иронически-снисходительную улыбку.— Не горячись! Укатают сивку крутые горки. Давай-ка присядем еще на минутку. Расскажу тебе, с чего я начинал, какие у меня были благие намерения, когда сюда приехал. И почему у меня не вышло. Могу передать тебе свой опыт.

— А ну тебя с твоим опытом!..

Пропустив Борзова вперед через порог, Мартынов погасил свет в кабинете, крикнул ночному сторожу, дремавшему в коридоре возле жарко пылавшей печи, чтоб закрыл

дверь на ключ, и быстро сбежал вниз по ступенькам, обогнав Борзова на лестнице.

На улице мело. В лицо Мартынову ударил холодный ветер с колючим, сухим снегом. Он поднял воротник пальто, глубже насунул на лоб шапку и пошел домой, слыша сзади шаги Борзова, удалявшегося в другую сторону. На том они и расстались. <...>

В Доме культуры проходило собрание районного партийного актива.

Доклад об итогах недавно состоявшегося пленума обкома сделал председатель райисполкома Руденко: Мартынов, простуженный, осипший, с обвязанным шерстяным шарфом горлом, не мог громко говорить, а второй секретарь райкома Медведев был в отпуску.

Собственно говоря, доклад был не сделан, а прочитан, и поручить читку можно было любому человеку, даже техническому секретарю, лишь бы голос у чтеца был звучный. Или даже можно было совсем, для экономии времени, не читать — заранее отпечатать доклад в сотне экземпляров и разослать всем приглашенным на собрание.

Пленум обкома обсуждал два вопроса: о состоянии массово-воспитательной работы в колхозах области и мерах подъема и развития животноводства. О решениях пленума по этим вопросам и докладывал Руденко: полтора часа монотонного чтения, ни на минуту не оторвался от текста, подготовленного для него работниками райкома и райисполкома, ни разу не поднял головы, не глянул в зал перед собою. В зале кто дремал, кто шептался с соседом, кто — в задних рядах — украдкой покуривал в рукав.

Мартынов сидел в президиуме злой, нервно вертел в пальцах карандаш, бросал на Руденко исподлобья свирепые взгляды.

Вопросов к докладчику не было. Записавшихся в прениях — только два.

Первым выступил инструктор райкома Николенко. Все десять минут, положенные ему по регламенту, он перечислял недостатки в работе колхозных партийных организаций его куста: там не проводятся по три месяца собрания, там растеряли агитаторов, там не выпускают стенгазету, там коммунисты пьянствуют на престольные праздники. Как будто в этом только и заключались его обязанности: ездить из колхоза в колхоз и старательно

фиксировать все «упущения», «сигнализировать» о них членам бюро райкома. Его речь не улучшила настроения Мартынова.

После Николенко он предоставил слово колхознице Гончаровой, заведующей свинофермой.

В зале погасло электричество, и, хотя собрание проходило днем, за столом президиума на сцене было темновато — обмерзшие, запорошенные снегом окна пропускали мало света. Женщина читала речь по бумажке, мучительно запинаясь на каждом слове:

— «Наши достижения... результат упорного... труда и высокосознательного отношения... исключительно большое внимание... мы уделяем выращиванию поросят... опорос производится в чистом... продез... инфицированном станке... Применяя обильное и разнообразное... кормление свиней... и молодняка, создавая для них благоприятные условия, мы добились... получения от свиноматок здорового и жизнеспособного приплода... Сейчас мы ставим перед собой... задачу... и тем самым повысить... доходность от животноводства».

Запиналась она даже в таких местах речи, где предполагался подъем, пафос.

— Развернув живой... живое... соревнование, мы обязуемся...»

Под конец выступления она перепутала листки, сбилась, растерялась и, так и не договорив фразу, сошла вниз.

В президиуме все сидели, потупив головы от неловкости.

Мартынов встал, чтобы объявить перерыв.

— Есть здесь секретарь парторганизации «Дружбы»? — простуженным, сиплым голосом спросил он.

— Я,— поднялся в задних рядах мужчина в офицерской шинели без погон.

— Это ты, товарищ Мостовой, сочинял речь для нее?

— Я... С председателем колхоза.

— Потрудились!.. Лучший животновод в районе, сделал ферму образцовой, на это у нее хватило способностей, а выступить здесь, рассказать о своей работе — на это, боитесь, способностей не хватит?.. Не смущайся, товарищ Гончарова, что плохо выступила. Это не тебе стыд, это нам стыд... Прежде чем объявить перерыв, я вот что хочу сказать, товарищи.— Мартынов покосился на сидевшего в президиуме инструктора обкома, предчувствуя стычку с ним. У него с этим инструктором, Голубковым,

часто приезжавшим в их район, были давние нелады.— Давайте так договоримся: кому нечего дельного сказать, пусть лучше не выступает здесь, не отнимает время у себя и у других. Нам не нужна активность для отчетности: «На собрании выступило столько-то процентов присутствующих». А о чем говорили, для чего говорили? Николенко вот пересказал здесь свою докладную записку, которую мы читали уже три дня тому назад. Партактив собирается для делового обсуждения вопросов, а не для речей ради речей. Объявляется перерыв на пятнадцать минут.

Расходились покурить как-то не сразу, в недоумении.

Голубков, задержав Мартынова на сцене, сказал:

— Ты что, Петр Илларионыч, нездоров? Температура? Ну шел бы себе домой, в постель. Есть тут члены бюро, без тебя проведем. Хочешь сорвать партактив? «Не умеете выступать — не выступайте».

— Не так же я сказал, товарищ Голубков!

— С профессорами, что ли, имеешь дело? Здесь в зале — половина колхозников. Зачем ты их запугиваешь? Эта Гончарова — она же малограмотна! Ей нужно помочь!

— А я не для малограмотных сказал это,— отмахнулся Мартынов.— Для очень грамотных! Для тех, что мозоли на языках понабивали себе на таких собраниях!

— Непонятно,— пожал плечами Голубков.— Не знаю, что из вашего партактива получится. Как бы не пришлось Руденко сразу после перерыва делать заключительное слово.

— Может быть, и придется... Для тебя, Николай Архипович, это, конечно, большая неприятность. Чрезвычайное происшествие в твоем кусту! Собрание партактива сорвалось! Два человека только выступило. Как докладывать обкому? Тем более, что сам присутствовал.

— Думаю, что это и для тебя не очень большая приятность.

Подошел Руденко. Мартынов бросил ему:

— Черт бы вас побрал, таких читателей лекций о вреде табака!

— Петр Илларионыч!— взял его за плечо Руденко.— Ведь не было времени подготовиться!

— Пять лет работаешь в районе. Людей знаешь. И умеешь ведь поговорить с людьми! Пересказал решение обкома. Да его уже без тебя все успели прочитать! А своих мыслей — ни одной!.. Какой доклад, такие и прения!

— Иссякло мое красноречие. Пятый день разные заседания! Я думал, ты будешь делать доклад, а тебя угораздило заболеть.

После перерыва, несмотря на предупреждение Мартынова, первым выступил оратор именно из таких, с мозолями на языке, Коробкин, заведующий отделом райисполкома по сельскому строительству. Без пламенных речей Коробкина в районе не обходилось ни одно собрание.

Долговязый, в длинном черном драповом пальто, с высоким (за счет лысины) лбом, грозно размахивая руками над столиком для тезисов, он выкрикивал каждую фразу, как лозунг на площади перед многотысячной толпой. От его голоса вздрагивали и позвякивали стекляшки на люстре под потолком.

— Товарищи! Корма — это основа животноводства! Но некоторые товарищи упорно не желают этого понять, преступно недооценивают заготовку кормов для животноводства!..

Вол — это, товарищи, рабочее тягло! Рабочее тягло нужно беречь!..

Свинья дает нам, товарищи, мясо, сало, кожу, щетину! Свинья очень полезное животное! А как мы относимся к свиньям? По-свински, товарищи!..

Животноводство, товарищи, нуждается в теплых благоустроенных помещениях. Корова, товарищи, в тепле и чистоте дает больше молока, чем на холоде, в грязи! А некоторые председатели колхозов недооценивают строительство коровников!..

Переходя к массово-политической работе с колхозниками, я должен здесь, товарищи, со всей прямотой сказать, что мы плохо работаем с колхозниками!..

Стенная газета, товарищи,— это печать. А печать — это острейшее оружие нашей партии! Но во всех ли колхозах у нас выпускаются стенные газеты? Нет, товарищи, не во всех колхозах у нас выпускаются стенные газеты!..

Мартынов морщился, как от сильной головной боли.

— Это же нужно уметь,— просипел он на ухо сидевшему рядом с ним Руденко,— десять минут болтать и ни слова путного не сказать!..

В зале зашумели:

— Зачем выходил на трибуну, товарищ Коробкин?

— Что ты сказал нам полезного?

— Что свинья дает сало!

— А корова молоко!

— Просили же по делу выступать, а не отнимать зря время у нас!

Мартынов постучал карандашом по столу:

— Кто следующий?

Минут пять длилось тягостное молчание. Никто не просил слова. Казалось, действительно на этом и придется закрыть собрание. Голубков, бросив возмущенный взгляд на Мартынова, с треском отодвинул стул, поднялся, ушел за кулисы курить. Видимо, и Мартынов в эти минуты чувствовал себя неважно... Но вдруг в зале поднялась одна рука, другая, третья. Человек пять сразу попросили слова.

...На клубную сцену, к столу президиума, грузно ступая по лесенке, поднялся председатель колхоза «Власть Советов» Демьян Васильевич Опёнкин. Не спеша расстегнул пальто, достал из кармана пиджака очки, тетрадь, протер стекла очков полой пиджака, развернул тетрадь, откашлялся.

— Это у меня не тезисы, товарищи,— начал Опёнкин.— Это дневник председателя колхоза. То есть лично мой дневник. Я записываю сюда каждый день — где был, что делал. Ежели меня когда-нибудь за развал работы потянут к прокурору — это мое оправдание. Прокурор прочитает, поймет и посочувствует. Скажет: «Удивляюсь, товарищ Опёнкин, как ты успевал что-то делать в колхозе!»

При настороженном внимании зала Опёнкин продолжал, перелистывая тетрадку:

— Вот давайте подсчитаем — на котором это я уже заседании сижу за полмесяца и сколько их еще будет до конца месяца?.. Второго был пленум обкома. Я — член обкома. Вызвали, поехал. Два дня заседали, потом депутатам облсовета велено было сразу, не уезжая домой, остаться на сессию. Остался. Еще два дня. Дорога туда-сюда — в общем, неделю дома не был. Потом — здесь в районе: пленум райкома, сессия райсовета, сегодня вот партактив. Короче сказать, за эти полмесяца я был в колхозе всего два дня. Так это еще не все. Послезавтра сессия нашего сельсовета, мой доклад: об итогах сессии облсовета. Двадцатого по плану партсобрание в колхозе, тоже итоги пленума обкома будем обсуждать. Теперь еще посчитайте, товарищи, сколько раз в месяц вызывают председателя колхоза на бюро, в исполком. А там еще какие-нибудь комиссии. Да ведь мне времени не остается дома работать! А заседания все по вопросам: как улучшить дело, как то поднять, то укрепить. Но

когда же поднимать и укреплять, если на разговоры об этом все наше время уходит?.. Партсобрание — закрытое, пленум, конечно, закрытый, партактив — закрытый, на сессию тоже только депутаты приглашаются. А речь ведем о том, как с народом работать. Закроемся в четырех стенах и убеждаем друг дружку, что надо лучше с народом работать!.. Так можно, товарищи, до чего-то нехорошего докатиться! Самообманом занимаемся. Двадцать заседаний в месяц — вот работа кипит! А заседания-то все закрытые, сами себя тут агитируем! А общие собрания колхозников в некоторых колхозах раз в году проводятся, от отчета до отчета!..

Опёнкин, вообще редко выступавший на пленумах и активах, на этот раз разошелся:

— Я не возражаю, товарищи, посидеть в этом зале и час, и два. Послушать, скажем, хороший доклад, лекцию о международном положении, что ли. Пусть знающий человек расскажет нам, чего мы сами не успели прочитать или, может, в чем не сумели разобраться. Он нам расскажет — мы потом людям передадим. Но когда вот тут товарищ Коробкин доказывает нам, что свинья животное полезное!.. Этого же невозможно терпеть! А что греха таить, и на областных заседаниях немало приходится слушать таких речей. Выйдет человек на трибуну и тарахтит, тарахтит, как по коробке! После станешь вспоминать: о чем же он говорил? Да ни о чем! Все вот такое же: «мобилизовать усилия!», «поднять на высоту!» Иногда и председатель не остановит. Кричат уже все: «Довольно!», «Регламент!» — а он тарахтит. Будто ему сдельно за каждое слово платят. А мы сидим в зале и думаем: а кто же наше время оплатит? Пятьсот человек сидят здесь — сколько ты нашего времени загубил! Пересчитать бы его на человеко-часы! Шоферов за холостые пробеги милиция штрафует. Там — тонно-километры. Тут — человеко-часы. Тоже ценность немалая! И некому штрафовать этих расхитителей времени.

Опёнкин сошел вниз под одобрительный смех в зале и аплодисменты.

И почти все, кто выступал после Опёнкина,— а выступило еще человек десять, так что по «цифровым показателям» собрание партактива прошло «на уровне»,— почти все говорили о том, как вредно отражаются на работе обилие заседаний, долгие словопрения, келейность обсуждения таких вопросов, какие нужно решать с народом.

Редактор районной газеты Посохов, сидевший в президиуме позади Мартынова, усмехаясь, нагнулся к нему через спинку стула:

— До чего же страшна сила инерции, Петр Илларионыч! Смотри-ка, задал ты тему для разговора — о вреде пустословия,— и уж который человек об этом говорит, повторяют друг друга!.. «Еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний!»

Секретарь райкома комсомола Рыжков говорил:

— В древние времена в Спарте считалось доблестью, если человек сумел в двух-трех словах высказать то, что другой и в часовую речь не уложит. Не следовало бы нам возродить эти спартанские традиции?

Ему бросили реплику из зала:

— А сам не уложился в регламент, тринадцатую минуту уже говоришь!

Выступил секретарь парторганизации колхоза «Дружба» Мостовой, тот самый, что сочинял речь для заведующей свинофермой, и резонно, с фактами отчитал работников аппарата райкома за канцелярские методы руководства.

— Приезжает к нам в первичную организацию инструктор райкома. Что он проверяет, чем он интересуется? Когда партсобрания проводили, какие вопросы обсуждали. Опять же — сколько человек выступило в прениях, достаточна ли была активность. Ну, протоколы прочитает — грамотно ли написаны. План работы спросит — какие читки, беседы в бригадах наметили, проводим ли их? А что в нашей жизни изменилось после этих собраний — это его не интересует! Вот в такой-то бригаде проводили беседу о решениях пленума. А как оно там после этого пошло дело? Лучше ли стали работать колхозники? Может, новые передовики в этой бригаде появились? Соревнование закипело? А ежели никакого сдвига — как же вы, товарищи, проводили беседы? Чего-то, значит, не довели до сознания. А ну-ка, пойдемте вместе, еще поговорим с людьми, и я вам помогу! Так бы нужно. Но у нас так не делается. Бумажки, бумажки!.. Как говорится: можешь и не уметь работать, умей отчитаться гладко по бумажке — и все будет в порядке! Сами вы, товарищи райкомовцы, приучаете нас к этому! А вы, товарищ Мартынов, видимо, совсем не занимаетесь своими инструкторами. Прямо через их головы, по крутой траектории, достаете в колхозы. Хотите, чтоб в колхозах был порядок, а до сих пор не навели порядка в

своем аппарате! Под носом у вас, в самом райкоме, и бюрократизм и канцелярщина — все то самое, за что и нас ругаете!..

Мартынов почесал затылок. Что верно, то верно. До самого близкого у него как-то «не дошли руки». Не собирал он ни разу инструкторов, не беседовал с ними по душам, не учил их на практике живым методам партийной работы. Отношение секретарей к работникам аппарата райкома оставалось старое, по привычке — как к обычным «уполномоченным», которых всего проще и удобнее посылать в колхозы потому, что они всегда под рукой.

И выступила еще раз, уже без шпаргалки, Гончарова. Женщина, собравшись с мыслями, просто и интересно рассказала, благодаря чему их ферма стала образцовой. Рассказала, как они перевезли из села дома́ всех работников фермы, и там, в десяти километрах от села, образовался целый новый поселок, люди обосновались на жительство прочно, обзавелись садами, держат много птицы на хуторском приволье, и за последние годы из ее свинарок ни одна не ушла с фермы; рассказала, как добилась — не без скандала в правлении колхоза,— что учеников с их хутора, детей свинарок, теперь ежедневно возят в село в школу на санях. Рассказала, как она, чувствуя ответственность не только за производство, но и за хорошую жизнь колхозников в ее бригаде, организовала людей, и прошлым летом в свободное время они своими силами восстановили плотину на речке у старой мельницы. Колхоз с помощью шефов-железнодорожников электрифицировал ферму и хутор — теперь у них там и свет, и радио, по вечерам работает школа для взрослых, все свинарки учатся на зоотехнических курсах; сообщила, что полученные в премию деньги от областного управления сельского хозяйства они решили затратить на экскурсии — все свинарки за зиму по очереди побывают в лучших колхозах области, посмотрят там порядки в животноводстве, может быть, переймут оттуда для себя хороший опыт.

— Вот теперь нам понятно, товарищ Гончарова!— сказал Руденко.— Дело, стало быть, не только в дезинфекции и культурном опоросе? Можно было подумать, что тебя только свиньи интересуют. А ты — со свинарками работаешь! Тут-то и корень успеха!..

Мартынов не выступал на этом собрании. Не потому, что потерял голос,— как-нибудь прохрипел бы. Видимо,

не все еще обдумал, чем ответить Опёнкину и другим коммунистам, которых сам же вызвал на сегодняшний откровенный, взволнованный разговор. Так нельзя проводить собрания, как проводили до сих пор. А как можно?

Проект решения, подготовленный в аппарате райкома, читал заведующий отделом пропаганды и агитации Жбанов. Читал без малого час.

— Черт побери!— сгорбившись, опустив голову на руки, выругался Мартынов.— Не посмотрел перед собранием их сочинение. Ну и насобачились же пудовые резолюции писать!..

В проекте решения, в так называемой «констатирующей части», в сотый раз констатировалось то, что констатировалось и в решениях прошлых пленумов и партактивов: отставание такого-то участка, запущенность такой-то работы. Эти страницы были просто списаны из старых резолюций. Но и в «постановляющей части» мало было свежих, новых слов. И эта часть подозрительно смахивала на что-то очень много раз уже читанное с этой трибуны перед таким же собранием. Все то же: «обязать», «обратить исключительное внимание», «направить усилия», «поднять на должную высоту». В проекте было охвачено буквально все, чем только ни приходится заниматься райкому партии и первичным парторганизациям: и радиофикация, и колхозная самодеятельность, и наглядная агитация, и борьба с эпизоотиями, и ремонт дорог.

После проголосования проекта «за основу» Мартынов внес — опять к удивлению и возмущению Голубкова — предложение: сократить его раз в десять.

— В самом деле,— сказал он,— следовало бы, как вот говорил здесь Опёнкин, наказывать тех товарищей, которые не щадят нашего времени!.. Кто его будет читать, такое решение на пятьдесят страниц, в колхозных парторганизациях?

За сокращение проекта в десять раз взметнулся лес рук.

Голубков встал, хотел, видимо, что-то возразить Мартынову, но раздумал, махнул рукой...

Впопыхах никто не внес никаких изменений и добавлений к проекту.

Так, почти со скандалом, и закончилось собрание партактива.

Схватились Голубков с Мартыновым уже вечером, в райкоме.

— Мне неудобно было обрывать и поправлять тебя, первого секретаря, там на собрании,— говорил Голубков.— Но это же черт знает что, товарищ Мартынов! Ты воспитываешь у коммунистов неуважение к партийным документам, к нашим решениям!

— Именно из уважения к партийным документам,— отвечал теряющий самообладание Мартынов,— нельзя писать так резолюции! Топим главное в словесной воде! Двадцать раз «исключительное внимание»! А что же на самом деле требует исключительного внимания?.. Это вы, вот такие канцеляристы, превращаете партийные документы в пустую бумажку! Наш грех — у нас инструкторы плохо работают. Но и ты же, когда приезжаешь к нам, обращаешь исключительное внимание только на бумажки: как решения написаны? Это для тебя наши товарищи такие всеобъемлющие резолюции пишут. Чтоб, боже упаси, не придрался к чему-нибудь! «А где же стенная печать? Где работа среди учителей? Стало быть, вы этими вопросами не занимались?» — «Нет, шалишь, не придерешься! Занимались! Вот тут все написано. В десяти решениях эти пункты записаны!»

— Ты увел собрание партактива от основных вопросов!— стоял на своем Голубков.— Вы по существу и не обсудили итоги пленума обкома. Видите ли, сомнения у них появились: не слишком ли часто проводим пленумы, собрания? Не слишком ли много заседаем? Эти собрания — школа коммунистического воспитания!

— Они должны быть школой коммунистического воспитания,— отвечал Мартынов.— Какое собрание, как провести его! Если тебе поручить провести собрание, боюсь, что не та школа получится!

— Вот ты провел сегодня актив так провел!.. Я доложу, что, вследствие неподготовленности, твоего мальчишества, несерьезного отношения к делу и еще черт знает каких заскоков, ты сегодня почти сорвал партактив!

— Валяй докладывай!— Терпение у Мартынова лопнуло, и он стал убирать бумаги со стола в сейф.— Докладывай! Только поскорее. Время — к весне, пусть новый секретарь хоть успеет с районом познакомиться... Но только я не думаю, товарищ Голубков, что в обкоме все такие... как ты. Разберутся!..

Утром Руденко заглянул к Мартынову домой. Мартынов, Надежда Кирилловна и сын их, Димка, завтракали в столовой.

— Присаживайтесь, Иван Фомич,— придвинула к столу четвертый стул Надежда Кирилловна.

— Спасибо,— отказался Руденко.— На работу иду. Такого случая не было, чтоб жена выпустила меня из дому голодным.

Присел на диван:

— Не жалеешь, Петр Илларионыч, о вчерашнем?

— Нет, не жалею. Будь что будет!..— Мартынов допил чай, протянул стакан жене за добавкой.— Вот послушай, Фомич, до чего это доходит. Димка! Расскажи, что ваша пионервожатая на прошлом сборе говорила.

Димка, мальчик лет десяти, очень похожий на отца, такой же синеглазый, черноволосый, встал из-за стола, потянулся к окну, где на ручке переплета висел его ученический портфель с книжками и тетрадями.

— Она нам сказала: «Не надо, ребята, смущаться, когда выходите на трибуну. Это не речь: два слова — и назад. Надо долго говорить. Кто научится долго говорить, тот будет большим начальником, когда вырастет».

Мартынов и Руденко расхохотались.

— Смеемся, а в общем, не смешно — грустно,— сказал Мартынов. <...>

Есть горожане, выходцы из деревни, которые хоть в далеком детстве гоняли лошадей в ночное или воровали на бахчах арбузы. Долгушин ни в детстве, ни в юности, ни в зрелом возрасте никакого дела с деревней не имел. Узнал он немного деревню, лишь когда в отрядах ЧОНа гонялся за бандами. А после он видел ее только из окна вагона, едучи куда-либо железной дорогой.

Долгушин вырос в семье мелкого кустаря-лудильщика на Волге, в городе Вольске. Дед его, цыган, был изгнан из табора за то, что сошелся с русской женщиной. Отец, по наружности тоже цыган, был оседлым уже с рождения. И Христофор вышел лицом в деда. Часто на базаре цыгане, приняв Долгушина за соплеменника, заговаривали с ним на своем языке, но он в ответ лишь разводил руками и смеялся: не знал ни слова по-цыгански.

Жена Долгушина была по происхождению крестьянка,

до восемнадцати лет жила в деревне, пахала, боронила, вязала снопы. И вот к ней-то первое время, когда она еще жила в Москве, Долгушин и обращался частенько за консультацией по разным сельскохозяйственным вопросам.

Поздно ночью, оставшись один в конторе МТС, он вызывал почту и заказывал номер своей московской квартиры.

— Люда? Здравствуй! Разбудил?.. Ну, как живешь?.. Коля пишет? А от Нади есть письмо?.. Ну хорошо, хорошо... Дом? Пока только навез кучу бревен. Не скоро, пожалуй, отстроюсь. Придется тебе переезжать пока на квартиру... Да вот так, как и я живу, у хороших людей... Ничего, ничего, перетерпим. Весна на носу, сама понимаешь — не до строительства мне сейчас... Милочка, вот у меня к тебе вопрос. Перерыл все справочники, нашел разные породы коров: сентимен... симментальскую, костромскую, холмогорскую, ярославскую, швицкую, шортгорнскую, бестужевскую, остфризскую, а яловой не нашел. Часто слышу и не знаю, что это за порода — яловая?.. А?..

Из далекой Москвы доносился в трубке сначала сонный и недовольный, а затем повеселевший, смеющийся голос:

— Дружок мой, это не порода. Это нестельные коровы.

— Как?.. Давай по буквам. Никифор, Елена, Степан, Терентий, Елена, Леонид, мягкий знак... Так. А что значит — нестельные? Которые уже не ходят с телятами? От которых отняли телят?..

В трубке слышался хохот.

— Ох ты, господи, и зачем только таких городских пижонов назначают директорами МТС!..

— Ну ладно, брось смеяться, ты мне объясни по-человечески.

— Это небеременные коровы. Понятно тебе? Такие, что или вообще почему-то не способны давать приплод, или перегуливают.

— Ага, понятно. Не желают рожать, чтоб фигуру не испортить. И молока, конечно, такие красавицы дают меньше?..

— Меньше, меньше. Совсем не дают!

— Так, учтем... Милочка, вот еще вопрос. Какими машинами шаруют сахарную свеклу? Не вижу никаких шарообразных орудий на нашей усадьбе и спрашивать людей как-то неловко. Тут уже одного главного инженера в соседней МТС прозвали «зябликом» за то, что сказал: «зябликовая пахота»... А-а, вот что такое шаровка. По-

нятно... А это правда, что куры могут нести яйца и без петухов? Не разыгрывают меня колхозницы? Я вот на одной птицеферме здесь видел одних кур... Правда?.. Ну, спасибо. Нет, пока все. Хочу поездить дня два по колхозам, тогда еще будут вопросы... Какие отношения с начальством? Да так себе... Ничего, наладятся... Почему *поздно звоню?* После двенадцати ночи — по дешевому тарифу. Ну, отдыхай, спи. Прости, что побеспокоил. Целую. До свидания!

Но Долгушин зря опасался, что к нему может пристать какое-нибудь смешное прозвище, вроде «зяблика». Люди в МТС видели, что он берется за дело по-честному, всерьез, приехал в деревню не в гости, и охотно шли ему на помощь в изучении сельского хозяйства. Никто и не думал потешаться над его городской «необразованностью». Все знали, что он инженер-металлург, был, возможно, большим специалистом в промышленности, а что не пришлось ему повидать, как сеют и убирают хлеб, что ж тут удивительного. Так сложилась жизнь человека — все по городам, заводам, по металлу. Колхозники, простой народ, очень деликатны и чутки к новому, приехавшему к ним на работу человеку, будь он трижды горожанин, если только видят, что он действительно хочет жить и работать в деревне и всерьез интересуется их исконной земледельческой профессией, не ленится встать на зорьке, пройти пешком по полям, не гнушается похлебать с ними полевого супа «кондёра» и не зажимает нос надушенным платком, переступая порог свинарника. Пожилые колхозники помнили и двадцатипятитысячников-рабочих, и политотдельцев, которые поначалу тоже не знали сельского хозяйства, но были хорошими организаторами и с задачами, поставленными перед ними партией, справились успешно.

Добровольных учителей у Долгушина нашлось очень много. Даже шофер Володя, с которым он ездил на «газике», молодой парень, только что отслуживший действительную в армии, часто останавливал, без просьбы директора, машину среди пути, молча выходил на обочину дороги и подзывал к себе Долгушина.

— Вот тут, Христофор Данилыч, вспахано под зябь просто так, без предплужников. Видите — гребни корневища сверху. А вот это — с предплужниками. Как слитая пахота, и вся дернина уложена на дно борозды. Можно чуть тронуть боронкой, в один след, и сеять. А вот это мы называем — огрех. Заснул, должно быть, тракторист

и поехал с плугом не туда. Вон какую балалайку бросил. А вот это — перекрестный сев, озимая пшеница. Видите — и так и так рядки. А делается это вот для чего.

Володя садился на корточки и начинал чертить сухой бурьянинкой по земле, показывая, как размещаются семена в почве при обычном севе и при перекрестном, как увеличивается площадь питания для каждого зернышка и устраняется угнетение одного растения другим. И хотя Долгушин знал уже о таком способе сева от своих агрономов и из литературы, он терпеливо выслушивал и эти объяснения молодого своего наставника, чтобы не отбить ему охоту рассказать в другой раз, может быть, и такое, что ему, Долгушину, было еще неизвестно. Володя окончил в армии школу шоферов и там же прослушал курс лекций по агрономии, готовясь по возвращении домой поступить в сельхозтехникум. Но домашние обстоятельства — болезнь матери и маленькие братишки и сестренки — не позволили ему уехать на учебу. Пошел работать в МТС шофером.

За зиму Долгушин если еще не на практике, то все же хоть в теории овладел основами земледелия и животноводства. Дни у него были до отказа заполнены деловой сутолокой на усадьбе МТС, вызовами в область, в район, отчетами, сводками, заседаниями, совещаниями. Если Долгушина вызывали в областной центр, он прихватывал с собою и кого-нибудь из своих специалистов, агронома или зоотехника, чтобы всю дорогу в поезде, туда и обратно, десять часов, в разговоре с ним выуживать из его знаний необходимое и полезное для себя. На сессии райсовета Долгушин подсаживался в задних рядах к какому-нибудь старому опытному председателю колхоза и, если выступления ораторов были неинтересны, все шептался с ним, расспрашивал, как он ведет хозяйство, какие культуры в какие сроки высевает, как при нехватке леса думает обернуться со строительством и т. п.

Для сна Долгушин оставлял четыре-пять часов в сутки. Завалил свою квартиру учебниками, сборниками агрономических статей, читал и перечитывал ночами нужные книги по нескольку раз, занося все непонятное в особый вопросник для консультации со своими специалистами или с женой, при очередном телефонном разговоре с нею. Даже из художественной литературы в Когизе внимание Долгушина в первую очередь привлекали книги с сельско-

хозяйственными названиями: «Жатва», «Урожай», «Комбайнеры», «Глубокая борозда».

Инженер-металлург, старый коммунист, Долгушин отнесся к своему переезду на работу в деревню как к боевому приказу партии. За тридцать лет пребывания в партии он привык только так принимать ее поручения: как приказ, который надо выполнить беспрекословно, даже не заикаясь о трудностях, не щадя себя, думая лишь о деле, отодвинув все остальное на задний план.

Неладно складывались отношения у Долгушина и с Управлением сельского хозяйства.

Ему, свежему человеку из промышленности, выработавшийся в этом областном учреждении стиль руководства машинно-тракторными станциями показался просто пародией на руководство.

За зиму у него в МТС перебывало десятка два всяких ответственных работников из областного управления. Бог знает, зачем они приезжали. Ответственными они числились лишь по штатной ведомости там у себя, в учреждении. Здесь же, «на поле боя», они были обыкновенными сборщиками сводок и не решали самостоятельно ни одного вопроса, ни большого, ни малого. «Что делать с этими семью «ДТ-54», на ремонт которых еще Зарубин получил и израсходовал деньги?» — «Не знаем».— «Как быть, если глубокая пахота по системе Мальцева потребует горючего больше против норм? Дадите добавочные лимиты?» — «Не знаем».— «Планировать ли в колхозах на весну новые лесозащитные насаждения? Будет ли финансироваться это дело?» — «Не знаем».— «Можно колхозам отказаться от договоров с Водстроем, который дерет бешеные деньги за строительство колодцев, и бурить скважины собственными силами, если найдем специалистов и оборудование?» — «Не знаем».— «Вернут нам комбайны, которые в прошлом году отправили на уборку на Восток? Планировать их ремонт? Или заменят их новыми?» — «Не знаем».— «Ну, сможете хотя бы помочь нам достать шифер на крышу новой мастерской, если поставим стены своими силами?» — «Не знаем».

Пустая трата времени на разговоры с такими «ответственными» начальниками...

Бумаг из областного управления в МТС стали слать меньше, чем раньше. При Зарубине дневная почта весила до килограмма, при Долгушине уменьшилась граммов до трехсот-четырехсот. Зато стало больше телефонных звон-

ков из разных отделов. Редкий день обходился, чтобы директора не вызвали к телефону раз семь-восемь только из областного управления, не считая районных организаций. Настойчивый и сердитый голос требовал лично директора, его разыскивали по всей усадьбе. Он прибегал, запыхавшись, в контору, но оказывалось, что нужны всего лишь сведения о количестве вывезенного навоза за последние два-три дня после десятидневной сводки — для какого-то неочередного доклада обкому.

Долгушин терпел, терпел — шесть-семь таких звонков, и рабочий день пропал начисто!— а потом установил в общей комнате бухгалтерии второй телефонный аппарат, спарил его со своим и завел такой порядок: при звонке трубку поднимал кто-нибудь из работников бухгалтерии, спрашивал, кто звонит и откуда. Если звонил кто-нибудь из колхоза, то без дальнейших расспросов стучали в стену Долгушину, и он брал трубку и разговаривал. Если же звонок был из областного управления, то первый подошедший к телефону сотрудник обязан был подробно расспросить, по какому вопросу хотят говорить, и, в зависимости от характера вопроса, направить позвонившего либо к главному агроному, либо к зоотехнику, либо к главному инженеру, либо просто к статистику. И выяснилось, что в большинстве случаев нетерпеливых и грозных областных начальников вполне мог удовлетворить цифрами из своей неразлучной потертой и замызганной папки Онуфрий Артемьевич, статистик МТС.

С этим спаренным телефоном получился как бы бюрократизм, но необычный — снизу, по отношению к вышестоящему органу. И действительно, в областном управлении сельского хозяйства за директором Надеждинской МТС в первые же месяцы его работы утвердилась репутация заядлого бюрократа.

Однажды ему позвонил заместитель начальника областного управления.

— Это директор Надеждинской МТС?

— Да.

— Говорит Федоров. Можете назвать несколько фамилий лучших трактористов, отличившихся на зимнем ремонте тракторов?

— Нет, не могу.

— Что?

— Не могу назвать фамилий.

— Почему?

— Не знаю фамилий трактористов.

— Какой же вы директор МТС, если не знаете фамилий своих трактористов? Как вас там держат?

— Вот так и держат. Нет пока лучшего на мое место. Терпят.

В кабинете Долгушина рядом с ним сидел зональный секретарь Холодов. У него глаза на лоб полезли от такого разговора. На столе лежал только что подписанный Долгушиным приказ, в котором он объявлял благодарность десяти лучшим трактористам-ремонтникам. Холодов потянулся одной рукой к телефонной трубке, другой — к списку трактористов. Долгушин спокойно отстранил его.

— Так что же будем делать, товарищ директор?— гремел раздраженный голос в трубке.— Мне, что ли, приехать к вам и самому на месте узнать фамилии лучших ваших ремонтников? И вам их потом сообщить?

— Приезжайте, будем рады. А скажите, товарищ Федоров, вы знаете фамилию директора Надеждинской МТС?

— Как? Не понимаю. А... что вы этим хотите сказать... товарищ... Долгушин?

— Да, Долгушин. У вас в области директоров МТС меньше, чем у меня трактористов. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Мы, кажется, не поздоровались с вами.

— Здравствуйте... Христофор Демьянович.

— Данилович. Ну, неважно. Вспомнили мою фамилию? Ну и я запомнил фамилии трактористов, могу вам назвать их. Записывайте. Торопов Семен Ильич... По буквам: Терентий, Ольга, Роман, Ольга...

Не от хорошей жизни прибегал Долгушин к таким крутым мерам «воспитания» начальства, и эти крутые меры в свою очередь не способствовали улучшению его жизни. Все же в руках Федорова и других начальников были и лимиты, и кредиты, и снабжение, какое ни есть, там и шифер, и лес, и цемент. А «ласковое теля двух маток сосет». Не научил никто Долгушина этой мудрости с детства, а под старость уже поздно было учиться. Да и характер его не принимал таких мудростей...

В довершение всего и Холодов стал дуться на Долгушина. Медведев сдержал свое обещание поговорить с Холодовым и помочь ему составить план работы, но поговорил так, что получилось, будто Долгушин приходил в райком с жалобой на бездеятельность зонального секретаря. Холодов стал чаще выезжать в колхозы самостоя-

тельно, без директора, но с этих пор завел у себя на квартире особую тетрадку, вроде дневника, куда по вечерам заносил все обнаруженные безобразия в колхозах и МТС. Не всегда рассказывал он об этих безобразиях Долгушину, не для сообщения директору вел учет им. В этой же тетрадке он отвел место и для самого Долгушина, для всех его «трюков», вроде спаренного телефона и разговора с заместителем начальника областного управления. Ничего хорошего эта «особая папка» Холодова не предвещала.

До Мартынова стали доходить в больницу самые разноречивые слухи о директоре Надеждинской МТС. Рассказывала ему о Долгушине, что слышала от людей, и жена. Были у него и Руденко, и Грибов, и Щукин, и Рыжков. Редактор районной газеты и Саша Трубицын показывали ему письма, полученные в райкоме и редакции из Надеждинской МТС, с подписями и анонимные. Одни корреспонденты называли Долгушина актером, позером и бюрократом, другие горячо вступались за него, считали его настоящим коммунистом, а бюрократами называли тех, кто стал ему с первых дней работы в МТС чинить препятствия. Показал ему как-то Трубицын и донесение Холодова Троицкому райкому (копия обкому КПСС) о «художествах», как тот писал, директора Надеждинской МТС, где с большой точностью были перечислены все ошибки и промахи, совершенные Долгушиным за время его работы в МТС.

Мартынов передал Медведеву записку через Трубицына, попросил Медведева зайти к нему в больницу.

— Знаешь, Василий Михайлович,— сказал Мартынов,— я думаю, нам нужно бы для пользы дела перевести Борзову из Семидубовской МТС в Надеждинку к Долгушину. На ту же работу — секретарем парторганизации МТС.

— За Марьей Сергеевной дважды уже приезжал ее муж из Борисовки. Уговаривает ее вернуться к нему.

— Да?.. Почему — вернуться? Не она ведь ушла от него, он отсюда уехал без нее и не принял ее, когда она ездила туда.

— Не знаю, как у них было. Зовет, в общем, в Борисовку. Он опять пошел в гору. Заместителем председателя райисполкома работает. А сейчас там председатель болеет тяжело, отправили его на лечение — Борзов третий месяц сидит в райисполкоме за хозяина.

— А, вон что. И, вероятно, посоветовали ему испра-

вить свою бытовую ошибку? Разошелся с этой лаборанткой, чтобы не портила ему анкету, и зовет назад Марью Сергеевну с детьми?.. Ну и как она? Собирается переезжать?

— Ничего пока не заявляла нам.

— А если не заявляла, что ж... Вот, я думаю, надо бы сделать так. В Семидубовке зональный секретарь Кольцов — сильный работник. С Глотовым у них ладится. Старик тоже из тех коммунистов, что интересы партии на мелочи не разменивают. В общем, там у нас благополучно. Сработаются. А вот у Долгушина с Холодовым что-то не получается. Дело пахнет не контактом, в конфликтом. И кто прав, кто виноват — трудно пока разобраться. Оба для нас люди новые. Надо бы туда еще нашего проверенного работника. Марью Сергеевну туда — секретарем парторганизации.

— А в Семидубовку кого секретарем?

— Там можно из местных коммунистов выбрать.

— Нехорошее это дело — перебрасывать часто людей с места на место. Она в Семидубовке успела без году неделю поработать. Ну, если настаиваешь, поговорю с нею и обсудим на бюро,— согласился не очень охотно Медведев.

Прощаясь с Мартыновым, осторожно коснувшись кончиков пальцев его правой забинтованной руки, лежавшей поверх одеяла, Медведев заметил с некоторым неудовольствием:

— А вообще-то, Петр Илларионович, ты же сейчас на бюллетене. Чего беспокоишься? Лежал бы себе, почитывал романы. Я тебе пришлю двухтомник. О'Генри, американские рассказы. Вчера взял в Когизе. Занятные рассказы.

— Литературы-то у меня хватает.— Мартынов повел левой рукой вокруг себя, указывая на белые больничные табуретки, заваленные газетами и журналами.— Да, ты прав,— усмехнулся он.— Я на бюллетене и формально, так сказать, не у дел. В отставке на неопределенное время. Вы вообще можете к черту послать меня с моими советами. Пока я болен — ты первый секретарь. Но давай, Василий Михайлыч, без формализма. Заходи ко мне почаще. Ум — хорошо, два — лучше... Или думаешь, что я уже из больницы не вернусь на старое место? Привыкаешь к самостоятельности? Не знаю, может быть, и не вернусь.

Месяца два еще проваляюсь. Воды за это время много утечет. А там — как обком решит.

Марья Сергеевна, узнав, что это рекомендация Мартынова, и будучи тоже наслышана о Долгушине как об интересном человеке, дала согласие на переезд в Надеждинскую МТС. Через неделю она уже была избрана там секретарем парторганизации.

Из райкома позвонили в МТС Холодову и сказали, что Медведев требует представить ему к двенадцати часам дня социалистические обязательства на весенний сев всех бригадиров тракторных бригад и трех-четырех трактористов от каждой бригады.

Бригадиры по случаю последних сборов перед выездом в поле были все на усадьбе МТС. Были здесь и трактористы. Холодов разыскал Марью Сергеевну и вместе с нею быстро «оформил» понадобившиеся Медведеву сведения. Перед тем как передать их по телефону в райком, они зашли к Долгушину, показали ему список трактористов, взявших обязательства.

Долгушин, внимательно прочитав бумажку, усмехнулся, отложил ее в сторону, придавил пресс-папье.

— В десять часов, говорите, позвонили? И потребовали представить к двенадцати часам? И вы уже это дело провернули? Быстро, быстро!.. Марья Сергеевна! Когда вы были трактористкой, вы тоже вот так необдуманно давали соцобязательства? Называли первую пришедшую в голову цифру?

Борзова покраснела.

— Я, Христофор Данилыч, если обещала вспахать за сезон столько-то гектаров, то все учитывала, как именно я это смогу сделать. И сколько обещала, столько и вырабатывала.

— Все учитывали, говорите? А когда ж эти ребята,— Долгушин провел пальцем по списку,— успели все учесть? Они же это вам на ходу говорили, а вы на ходу записали... Григорий Петрович!— обратился он к Холодову.— Если эти сведения нужны товарищу Медведеву лишь для формы, то можете, конечно, их передать сейчас. Я-то их не подпишу. Не вижу смысла и пользы в этих взятых с потолка цифрах. Если же это нужно для дела, то прошу вас поговорить с Медведевым и убедить его подождать до завтра. Сегодня я занят, а завтра мы соберем трактористов

и потолкуем с ними обстоятельно. Целый день для этого отведем, если ничто не помешает.

Холодов ничего не сказал, взял свой список, сунул в полевую сумку, которую носил всегда на ремне через плечо, и пошел в соседнюю комнату звонить по телефону. Медведев разрешил представить сведения завтра.

На другой день у конторы МТС спозаранку кипела работа: трактористы вынесли из конторы табуретки и брились-стриглись прямо под открытым небом, на легком утреннем морозце. Предприимчивый надеждинский парикмахер, узнав о собрании механизаторов в МТС, сообразил, что в это утро ему представится там возможность хорошо подзаработать. Всем известны уже были новые порядки, вводимые директором Надеждинской МТС. Долгушин не раз делал замечания трактористам в шутливой форме, но довольно неприятные и надолго запоминающиеся,— приходившим на собрание в грязном виде, с небритой неделю бородой, а чуть выпивших просто выпроваживал из своего кабинета; за появление же в нетрезвом виде на работе строго наказывал, штрафовал. Не всем нравились такие «московские» порядки, кое-кто и за это поругивал Долгушина бюрократом.

Трактористы торопили парикмахера:

— Ты по́ разу брей, Варфоломеич, а то не успеешь всех обработать. Вишь, какая очередь.

— Почище пройди один раз, без огрехов, и хватит — следующего!

— Нету, товарищи, калькуляции на такое бритье — по́ разу. Как с вас деньги получать? Скажете: бреет наполовину, а берет деньги полностью.

— Вот законник! Это же с нашего согласия.

— Не бойся, не потребуем жалобную книгу.

— А кто вас знает?

— Нет, уж если один раз брить, пусть и плату берет в половинном размере!

— Вот видите, есть несогласные.

Парикмахер кинул взгляд на свои ручные часы, на ожидающих очереди бородатых трактористов.

— Да, всех не успею привести в порядок. Могу для ускорения дела дать вам две бритвы. Есть умеющие бриться самостоятельно?

— Есть, есть!

— Вот вам и помазок. Мыло я видел у вас в конторе на умывальнике. А вместо зеркала — вон ледок в кадуш-

ке с водой. Которые фронтовики — обойдутся таким зеркалом. За амортизацию инструмента на пол-литра мне.

— Много на пол-литра!

— И как ты, Варфоломеич, догадался прийти к нам сегодня?

— Прямо бог тебя к нам послал!

— Это я ему вчера сказал, что у нас собрание.

— Смышлен, смышлен, Варфоломеич!

— И сам подработал, и нас выручил.

— А не то опять бы кой-кому досталось!

— Как тогда директор на Михаила: «Вы что, говорит, в артисты записались? Для киносъемок партизанскую бороду отращиваете?»

— А к Селихову пристал: «Какое у вас несчастье дома случилось?» Тот не поймет, про какое несчастье спрашивает. «Дети у вас померли или жена тяжело болеет? Почему так себя запустили? Так,— говорит,— древние народы траур по покойникам справляли: разрывали на себе одежду и голову пеплом посыпали».

— Ваське дал трояк из своего кармана на бритье.

— А Васька, не будь дурак, пошел домой, побрился сам, а за ту трешницу кружку пива выпил.

— Не взял я у него трешницу! Еще чего не хватало! Будто я по бедности не брился. У меня тогда на щеке, вот тут, чирей сидел.

— Пусть построит нам сначала баню, а потом спрашивает культуру!

— Может, еще прикажет галстуки прицепить к этой робе?

— Это ему, мать его, не в Москве в министерстве по паркету ходить! Посмотрим, каким сам станет, пока сев закончим! Может, еще грязее нашего коростой обрастет!

Ровно в девять часов Марья Сергеевна позвала всех в кабинет директора. Тот тракторист, что обругал Долгушина, дольше всех, однако, обтирал сапоги соломой, наваленной для этой надобности у крыльца. В небольшую комнату, именуемую кабинетом, снесли все лишние лавки, табуретки и стулья из конторы и заполнили ее так густо, что дверь из бухгалтерии в кабинет можно было приоткрыть лишь с трудом, спрессовав, не жалея сил, уместившихся против нее на длинной лавке трактористов.

Долгушин сидел за столом не только гладко выбритый, но и со следами пудры на лице, в темно-сером, хорошо выутюженном, отличного покроя костюме, в сорочке с бело-

снежным воротничком, с аккуратно вправленным под шерстяной джемпер галстуком. Выглядел он гораздо моложе своих пятидесяти четырех лет. Даже густая проседь в пышных черных волосах не старила его. Он был, видимо, совершенно не расположен к полноте. По легкой, подтянутой фигуре его можно было принять за вышедшего в запас старого офицера-строевика, хотя в армии он после гражданской войны не служил. Щеку разорвало ему осколком бомбы не на фронте, а при эвакуации одного донбасского завода на Урал.

У края стола сидел Холодов, в военном кителе без погон, красивый мужчина лет сорока, чуть начавший лысеть блондин с темными бровями, бывший сотрудник областного управления МВД.

Подперев щеку рукой, Долгушин посмотрел на усевшихся трактористов, на список, лежавший на столе перед ним и открыл совещание.

— Вот вы, товарищи трактористы, вчера брали социалистические обязательства на весенний сев, и меня удивило несовпадение между этими цифрами и вот этими.— Он ткнул пальцем в список взявших обязательств и в ведомость производственных заданий тракторным бригадам.— Семен Васильич! Как это получается? По производственному заданию ты должен закончить весновспашку и сев ранних яровых в восемь рабочих дней, а в обязательстве стоит шесть дней? Значит, у тебя есть возможность раньше закончить сев? Может быть, у тебя еще один трактор где-то припрятан? Или открыл какой-нибудь секрет, как повысить выработку машин? Чего ж ты не признался нам, когда мы составляли задания бригадам?..

Бригадир седьмой тракторной бригады Семен Чалый, молодой парень лет двадцати пяти, не сразу сообразил, что это к нему обращается по имени-отчеству директор, и, помедлив минуту, встал.

— Никакого секрета мы не открывали... Это же, товарищ директор, так...

— Как «так»?— вцепился Долгушин.

— Ну, это же необязательно. Это так, для газеты...

— Необязательное обязательство! — рассмеялся Долгушин, и все сидевшие в кабинете заулыбались, кроме Холодова и Марьи Сергеевны.— Вот вы как привыкли брать соцобязательства!

— Конечно, это же добровольно, вроде как наше обе-

щание постараться. А законный план тот, что вы нам дали. За тот план спросят с нас... Нам товарищ Холодов сказал, что надо назвать срок поменьше, чем в производственном задании написано.

— Ну и ты, значит, бухнул: в шесть дней посеем! А сам не надеешься в шесть дней управиться?

— Нет, не надеюсь. Весновспашки дюже много. Чем пахать? Если бы вы хоть один колёсник нам заменили дизелем.

— Замены не будет. Машины все распределены. Общая нагрузка у тебя даже ниже средней по МТС. Так, ясно... А ты, Андрей Ильич,— обратился Долгушин к другому бригадиру,— тоже давал соцобязательство «так»?

Поднялся бригадир Андрей Савченко, фронтовик, ради собрания не только побрившийся дома, но подшивший к гимнастерке белый подворотничок и прицепивший орденские колодки.

— Нет, Христофор Данилыч, мы с ребятами это дело обсудили. И с председателем колхоза договорились. Надеюсь, что при таком председателе, как у нас сейчас товарищ Руденко, не придется нам стоять из-за семян или воды. Я не наобум сказал. Сможем в шесть дней управиться с ранними колосовыми. Конечно, не считая плохой погоды, ежели, скажем, дождь перебьет.

— Понятно. В шесть рабочих дней... А как же ты все-таки рассчитываешь поднять выработку против запланированной? За счет чего? Расскажи-ка нам подробно.

— За счет чего?.. Да вот подобрали хороших прицепщиков, не пацанов, таких, что спят на плугах и на пашню сваливаются. Заправляться горючим и водою будем только в борозде, есть уже развозки, лошадей нам выделили с ездовыми. И как рассчитали мы с председателем, через неделю в аккурат будет полнолуние. Такими светлыми ночами на наших полях вполне можно сеять. Лишь бы агроном не запретил. Но я за своих трактористов ручаюсь, что посеют не хуже, чем днем. И сеяльщики у нас мужики самостоятельные, можно доверить им ночную работу.

— Хорошо. Мы с главным агрономом приедем, посмотрим ваш ночной сев. Но ты дал обязательство за всю бригаду. А что трактористы твои скажут? Кто тут есть из твоих трактористов?

Поднялся богатырской комплекции, с пышущими жаром пухлыми щеками и большим животом тракторист Дудко.

— Посеем, Христофор Данилыч, за шесть дней. Отремонтировали трактора так, как никогда еще мы их не ремонтировали. И товарищ Руденко обещается хорошо кормить нас. Завтра кабана колют. А знаете, в здоровом теле и дух здоровый.

— После свинины?.. Тебе,— Долгушин раскрыл один из блокнотов на столе, искоса заглянул в него,— Иван Поликарпович, должно быть, вредно есть свинину. На сердце не жалуешься?

— Ого! — засмеялись трактористы.— У него сердце как у воронежского битюга!

— В прошлом году еще в футбол играл!

— Он на жену только жалуется!

— Почему на жену?

— А не слушайте их, товарищ директор! — смущенно ухмыльнулся Дудко.— Дурочку валяют. Издеваются надо мной, что жену себе взял не по росту. А чего они знают про мою жену? Что с того, что маленькая? Вовсе я не жалуюсь на нее.

Дудко, не зная, что еще сказать, затянул потуже пояс на штанах, вобрав живот, от чего полные щеки его еще ярче заполыхали румянцем, и опустился на лавку.

— Сколько у тебя детей, Андрей Ильич? — спросил Долгушин у Савченко, переждав смех.

— Четверо, с маленьким.

— Уже четверо? Родила жена?

— На прошлой неделе. А откуда вы знаете, Христофор Данилыч, что у меня жена собиралась родить? — удивился Савченко.

— Директор обязан все знать, что у него в МТС делается,— усмехнулся Долгушин.

— Уже всех нас по батюшке знают,— подал голос кто-то на задней лавке.— А от товарища Зарубина только и слышали — по матушке.

— Как здоровье жены? Благополучно разрешилась? — продолжал расспрашивать Долгушин бригадира.

— Благополучно. Здорова. Уже работает по домашности.

— Значит, за детей спокоен? Будет в доме хозяйка, мать?.. Слышал я, товарищи, такую хорошую пословицу: домашняя дума в дорогу не годится. Верно сказано? А ваш выезд в поле на всю весну — это же все равно что отправиться в дальнюю дорогу.

— Дом меня не тревожит, Христофор Данилыч,— от-

вечал Савченко. Подумав, добавил: — Этот дом, что здесь. А вообще-то есть беспокойство. Об другом доме.

— О каком другом?

— Отец наш живет у моего меньшого брата, в Челябинске. Поехал к нему в прошлом году погостить и заболел там. И пишет мне, что очень ему там плохо. Невестка — женщина безжалостная, такая, что только о себе думает, о нарядах да гулянках. Валяется он там без ухода, иной день и супу горячего не похлебает. А брат все в разъездах, в экспедициях, он по геологии работает. Забрать бы надо отца оттуда домой, но кто ж поедет за ним? Мне невозможно отлучиться. Зимою ремонтом был занят, теперь вот посевная начинается. И жену с маленьким не пошлешь. А без провожатого он один не доедет, такую даль. Боюсь, помрет отец и не увижу его больше. Может, вы бы помогли? Если бы как-нибудь договориться, чтоб дали ему оттуда сиделку в дорогу? Я бы ей и билет оплатил в оба конца.

Долгушин посмотрел на Марью Сергеевну, та понимающе кивнула головой и вытащила из своей дамской сумочки маленькую записную книжку.

— Попробуем помочь тебе,— сказал Долгушин.— Вот Марья Сергеевна, секретарь парторганизации, сделала себе заметку. Напишет в Челябинский областной здравотдел, попросим, чтоб отправили твоего отца домой с сиделкой. Должны бы уважить нашу просьбу. И в Цека профсоюза напишем. Поможем... А больше ничего такого нет? Колхоз рассчитался с тобою и с трактористами? Хлеб есть?

— Рассчитались полностью. Вот уже теперь, при товарище Руденко.

— С нами не рассчитались, товарищ директор,— поднялся один тракторист.— Колхоз «Рассвет». Дает нам прелую пшеницу, такую, что и куры клевать не станут, а мы не берем. Мы хорошую пшеницу убирали, а что колхозники погноили ее в кучах на токах — при чем мы? Себе пусть гнилую берут по трудодням, а нам пусть дают хорошую.

— Погоди, Селихов,— остановила его Марья Сергеевна.— Не перебивай. Дойдет до вас очередь.

— Значит, точно рассчитал, Андрей Ильич? — продолжал Долгушин.— В шесть дней можешь закончить сев?.. Рассчитал — и молчишь. А производственное задание тебе на восемь дней. Двойная бухгалтерия получается.

Нехорошо. Да садись, чего ты стоишь. За сокрытие резервов в промышленности, знаешь, нашего брата, руководителей, не хвалят... Ну, а ты как, Игнат Сергеич? — глянул Долгушин на бригадира Зайцева, работавшего в колхозе «Рассвет». Тот поднялся с лавки.— Сиди, сиди! Тоже давал обязательство?

— Давал.

— Сколько дней?

— А я не помню. Там товарищ Холодов записали...

Трактористы засмеялись.

— Вот это здорово! Давал обязательство и сам не помнит, на сколько дней!

Зайцев угрюмо поглядел на трактористов.

— Чего ржете? Потому не помню, что это есть одна голая бумажная писанина. Хоть шесть, хоть семь дней скажи — все одно не выполним. Куда нам уложиться в срок! Полмесяца нам долбаться с севом колосовых, а если еще дожди будут перепадать, то и целый месяц.

— Почему у бригадира такое паническое настроение? — нахмурился Долгушин.— В наших руках растянуть или сократить сроки сева.

— Кабы только в наших! Вы, товарищ директор, не знаете еще колхозной работы. Вам показывается, будто вы на заводе, где все в руках этого инженера или рабочего, который к машине поставлен. Нет, у нас маленько не так.

— Да уж разобрался, что не так.

Зайцев все же встал: так ему удобнее было говорить.

— Вот на нас, трактористов, валят всю ответственность за урожай. В ваших руках, мол, техника, вы, механизаторы, всю главную работу на полях делаете своими машинами. Мэтэес — фабрика зерна. Оно-то так, конечно. Похоже маленько на фабрику — дым идет. Только порядку нет такого, как на фабрике. Вот ежели мы, к примеру, пашем, культивируем, стараемся как лучше разделать землю, а колхоз дал негодные семена. Вот тебе и урожай! Либо навоза нет у них, скота не развели, нечем удобрять поля, либо вот, как Селихов говорит, готовое зерно погноили. Вот тебе и фабрика!

— Это я знаю, товарищ Зайцев, что над колхозным урожаем у нас пока два хозяина. Но ты все же объясни, почему целый месяц собираешься сеять?..

— Ну, не месяц, меньше. Это я сказал, если дожди будут нам мешать... С прошлого года беру пример. Как бы-

ло у нас в прошлом году? И сами ездили «Универсалом» за водой, и поля очищали под пахоту, и сами за прицепщиков работали. Какая она работа, ежели день за сеялкой, а ночь за рулем? Не было у нас ни вагончика, ни кухарки. За харчами домой за десять километров бегали. Опять же, хлынет ливень, негде ребятам обсушиться, расползлись по домам; назавтра с утра хорошая погода, можно бы запускать машины, а они только к обеду в бригаду соберутся. Сколько у нас вот так, дуро́м, пропало золотого времени! И в нынешнем году в этом колхозе, Христофор Данилыч, никаких перемен против прошлого не намечается. Опять те же полеводческие бригадиры, самогонщики, бездельники, что все лето под скирдами в карты резались. Будем, значит, опять загорать без прицепщиков и без горючего. Новый председатель там ни рыба ни мясо. Ничуть не лучше старого. Тот был малограмотный и пьяница, так хоть видели его колхозники в поле, хоть глаза мозолил, покрикивал кой-когда на людей. А этот три раза на неделе ездит к жинке в Троицк, покажется в колхозе, как молодой месяц, на час — и закатился. И зачем было посылать этого Бывалых председателем колхоза? Там народ так соображает, что Бывалых не справился на районной должности и это ему сделали вроде как последнее испытание: годится ли он вообще в ответственные работники? Оно-то не вредно, конечно, такой опыт сделать, может, его нужно проверить так, чтобы и партийным билетом больше не козырял, но это же все на колхозе отражается! Время-то идет! Вот он уже там четвертый месяц, весна на носу — и никакого сдвигу! Если верно, что районные организации хотели испытать его, то пора бы уже кончать с ним. Все ясно. И надо, пока не поздно, искать другого председателя... А есть там один человек, член партии,— поднял бы колхоз, дать ему только права в руки!

— Кто? — спросил с интересом Долгушин.— Я там знаю кой-кого из коммунистов.

— Артюхин, Филипп Касьяныч. Не приметили? Старичок такой, с бородкой, в очках, но еще крепкий. Он там у них сейчас на рядовой работе, по ремеслу — кадушки делает, ведра починяет. Человек он вообще замордованный. Пробовал бороться с этой шайкой-лейкой, что колхоз пропивают, так они ему подстроили штуку. Загорелся ночью телятник — а Филипп Касьяныч был тогда заведующим на животноводстве,— ни печку там не топили в тот день, ни корма не варили, и загорелся. Много погибло

телят, и помещение сгорело. Выезжала комиссия, установила, что не было у него там каких-то предохранений против пожара,— припаяли ему, в общем, по суду что-то много тысяч, до сих пор выплачивает. И опять же он не унялся, еще написал письмо в Москву, в Цека. Все описал, что у них в колхозе творится. А у этих бандитов дружок-приятель был на почте, перехватил, должно быть, письмо, не пошло оно в Москву. Через несколько там дней едут колхозники с поля, стучат Артюхину в ворота: «Касьяныч! Там в Гадючьей балке твоя корова лежит, дошла уже. Голова порубана топором». Вот так помыкался-помыкался человек — и согнулся. Что сделаешь один против них? Постукивает себе молоточком, обручики набивает, книжки по вечерам почитывает. А дельный старик. Грамотный. У него там дома и Ленина сочинения, и Карла Маркса, и Льва Толстого. Когда он заведовал животноводством, порядок был на фермах! Все делалось по науке, кормов в достатке, падежа не знали. Вот я и говорю: кабы этого Филиппа Касьяныча выбрали председателем, он бы повел дело не так! Только, может, сам не захочет, откажется. Надоело ему уже своей головой рисковать.

— Не знаю Артюхина,— сказал Долгушин.— Может быть, вы, Григорий Петрович, знаете его?

Холодов отрицательно покачал головой.

Долгушин задумался.

— Ты вот, Игнат Сергеич, негодуешь на пьяниц в «Рассвете», а говорят про тебя, что ты и сам грешен по этой части. Говорят, крепко зашибаешь.

— Не крепко, это неверно...

Зайцев, пожилой человек, с сединой на висках, с худым, морщинистым лицом, смущенно потупившись, мял в руках шапку.

— От хорошей жизни не запьешь, товарищ директор... Был за мной грешок. Прошлым летом товарищ Зарубин два раза застал меня в поле выпившим. Так по какой причине я выпил? По той причине, что нет порядку. Трактора стоят, людей нам не обеспечили, бригадиры магарычи за ворованное сено пропивают, никто об урожае не беспокоится. Ну и сам... Упадешь духом и выпьешь с горя... А ежели на то пойдет, чтобы бороться с этим, то обещаю вам в рабочее время не пить. За выходной, конечно, не ручаюсь.

— Хорошо. Запомню твое обещание.

Долгушин внимательно посмотрел на Зайцева.

— А у тебя есть корова, Игнат Сергеич?

— Есть. Корова и телок. Свинья есть.

— Не боишься, что вот этот наш разговор про шайку-лейку станет известным в колхозе и твою корову постигнет та же участь, что корову Артюхина? Или хату спалят?..

— Все может быть, товарищ директор... Как не бояться. Боюсь. Но и терпеть уже невмоготу! — Зайцев поднял голову.— Один посовался было — замолчал, другой будет молчать — что ж оно получится? Читаем газеты, кругом после постановления Цека жизнь пошла в гору, а у нас как в стоячем болоте!

— Ты коммунист?

— Нет, беспартийный... Коммунисты там примирились. А которые и сами замешаны... Есть там один тип, не коммунист, простой колхозник, Кашкин, «демократом» его зовут по-уличному. Когда-то давно, еще до коллективизации, все выступал на сходках: «Я за демократию! За братство, за равенство!» А сам у родного брата в голодный год за пуд муки хату купил; народный суд потом отменил эту куплю-продажу, как кабальную сделку. Вот этот «демократ» любит там коммунистов опутывать! Пасека у него большая, сад, рыбу вентерями ловит, всегда есть у него выпить-закусить. И уж если кого подобьет на грязное дело и привезет себе коммунист украдкой охапку сена или соломы, так этот Кашкин потом, вокруг того коммуниста, себе десять возов сена натаскает!

Долгушин, склонившись к Холодову, сказал ему тихо:

— Вот как, Григорий Петрович, переплетается наше эмтээсовское с колхозным! А Медведев говорит мне: не лезьте в колхозы. Как же не лезть? И наша тракторная бригада не может работать в полную силу, если такое творится в колхозе!

Холодов молча, как бы соглашаясь, кивнул головой.

— Ну, теперь еще расскажи нам, Игнат Сергеич, про свою бригаду.— Долгушин откинулся на спинку стула.— Насчет колхоза ясно. Ну, а как ты сам подготовился к севу? В каком состоянии машины? Как качество ремонта? Обкатал машины, испробовал? Как с прицепным инвентарем? В чем имеешь нужду? Какие у тебя претензии к нашей мастерской, к главному инженеру?

Зайцев рассказал, что недостает ему из инвентаря, какие нужны запасные части. Беседу с ним Долгушин завершил так:

— Значит, главное, что нам нужно сделать поскорее,— навести порядок в колхозе «Рассвет». Так?

— Так, Христофор Данилыч. Дольше терпеть нельзя.

— Порядок наведем.

Холодов вскинул глаза на Долгушина и тотчас опустил их. На губах его скользнуло нечто вроде улыбки. Его поразил самоуверенный тон директора.

— Наведем порядок. И если не будет тебе никаких помех со стороны колхоза, за сколько дней сможешь управиться с ранними колосовыми?.. Ты же старый механизатор, Игнат Сергеич, двадцать лет стажа, не одну, а три собаки съел на этом деле! И трактористы у тебя как будто неплохие.

— На трактористов не обижаюсь. Есть двое без практики, с курсов, ну ничего, подучим...

— Так за сколько рабочих дней?..

Зайцев сел, вытащил из внутреннего кармана пиджака, будто из-за пазухи, замасленную ученическую тетрадку, где у него было выписано количество гектаров весновспашки, культивации, сева, нормы сменных выработок, раскрыл ее и долго молча шевелил губами, что-то подсчитывая про себя.

— На таких условиях,— улыбнулся наконец Зайцев и решительно хлопнул тетрадкой себя по колену,— могу, Христофор Данилыч, подписать обязательство на семь рабочих дней!

— Вот это деловой разговор! Без паники. Твердо?

— Твердо! Лишь бы вы свои обещания выполнили.

— Жми руку.— Долгушин встал и потянулся через стол.— Марья Сергеевна! Разбивай, за свидетеля.

Борзова, под громкий смех трактористов, сильно рубанула ребром ладони по черным от въевшегося в поры кожи масла, заскорузлым, толстым пальцам бригадира, крепко сжавшим небольшую белую руку директора.

— Так и запишем... Бригада номер девять. Бригадир Зайцев. Сев ранних колосовых за семь рабочих дней.

Целый день продолжался такой разговор директора с трактористами. Было выяснено все: и обнаруженные в последние дни недостатки ремонта машин, требующие немедленного устранения, и обстановка в колхозах, и взаимоотношения тракторных бригад с полеводческими, и характер, слабости отдельных трактористов и бригадиров, и их семейные дела. Для себя Долгушин, кроме того, много узнал нового о сельскохозяйственной технике и особен-

ностях предстоящих посевных работ в каждом колхозе. Лишь обдумав и обговорив все, бригадиры со своими трактористами брали и подписывали социалистические обязательства на весенний сев.

— А теперь,— подвел Долгушин итоги собрания,— давайте условимся, что будем в своей работе следовать такому правилу: обещал — сделай! Я всю жизнь провел среди рабочего класса на заводах. Там люди дорожат словом, привыкли слово товарища считать реальной вещью. Там не дают обязательства «просто так», для газетки, как понял было это дело товарищ Чалый. Такие обязательства — это болтовня, липа. Болтовню будем изгонять из нашей жизни беспощадно! Я не для того потратил день на разговоры с вами, чтобы этот список с вашими обязательствами завести в красивую рамку, повесить вот тут и любоваться им. Я буду требовать выполнения обязательств. И поскольку мы здесь всем нашим собранием выяснили, что обязательства эти не фантастические, вполне реальные, мы, руководство МТС, пересмотрим производственные задания бригадам. То, что взято в обязательствах, будет записано и в производственные задания. Не к чему нам вести этот двойной счет — один для дела, другой для болтовни. Будем отныне заниматься с вами здесь, в Надеждинской МТС, только делом! Есть возможности сократить сроки сева ранних колосовых — сократим. И еще запланируем дополнительно какие-то работы тракторному парку на эти дни. Вот видите, как это важно — выполнить свое обязательство! На нем будут построены все расчеты. Не выполнит один, не выполнит другой — подведете МТС, сорвете все расчеты. А МТС — это твои товарищи, друзья по работе, это большой рабочий коллектив. Не подводить товарищей, не бросать слов на ветер; дав слово, помнить его как присягу! Самый опасный в обществе человек, слову которого нельзя верить. Пустую болтовню долой из нашей МТС! Вот так будем жить с вами, друзья. <...>

ВЛАДИМИР ФОМЕНКО

Ночь секретаря

— Отдыхай, Тимофей. Утром сюда подъезжай,— сказал Пахом Александрович, с трудом высвобождая из пристроенного поверх «виллиса» кузовка свои тучные плечи.

— Бензину нет,— буркнул Тимофей,— на чем же подъезжать?

От дыхания Пахома Александровича враз схватились изморозью отвороты черной шинели. Тимофей дернул контуженной шеей и, отъехав от крыльца, выругался:

— Барин!.. Не успел заявиться, уже ничего знать не хочет! Утром как человеку объяснил, что подшипники требуют перетяжки. Даже не глянул. «Раньше б перетянул. Заводи, повезешь по району». Битых десять часов по холоду ездил — и опять «подъезжай»!

Тимофей с досадой резко крутнул баранку, обминул выскочившую под фары собаку и поехал вдоль улицы.

Пахом Александрович постоял на крыльце кирпичного райкомовского дома и поднялся на второй этаж, зашел в слабо освещенный коридор. Сегодня утром, когда он приехал со станции и впервые в жизни вошел сюда, около всех отделов толпились районные работники, разговаривали и курили. Сейчас комнаты были заперты, никого, кроме спящего сторожа, не было, только окурки валялись по углам и сгоревшая, закапанная сургучом бумага лежала у дверей секретной комнаты, опечатанных на ночь.

«Опечатали, а печать ломай кто хочешь»,— скользнул глазами по двери Пахом Александрович.

Он шел по коридору медленно, но человек он был грузный, и шаги его отчетливо раздавались в тишине. Сторож, маленький конопатый дедок, спавший на стуле, раскрыл глаза и, окинув здоровенную фигуру в отдувавшейся на животе морской шинели, большое, скуластое лицо, догадался, что это, должно, новый, прибывший сегодня утром, секретарь райкома.

«Надо ж такой оказии, как раз заснуть!» — внутренне охнул старик и поднялся навстречу с таким видом, будто не спал.

— Я все вижу, смотрю... Вы кто будете?

— А вы кто будете? — спросил человек, шагая мимо.

— Я сторож...

Человек прошел к кабинету, достал ключ и, с непривычки долго ковыряясь в замке, сказал:

— Если и дальше будете так сторожевать, то того... подавайте бумажку об увольнении.

Справившись с замком, он вошел в кабинет и, пошарив по стене, включил электричество. В кабинете стояли два стола под зеленым сукном, расположенные буквой «Т», сейф, несколько стульев и диван.

«На диване и пересплю»,— подумал Пахом Александрович. Квартира его была еще не отремонтирована, идти было некуда, и не до того было — от усталости гудели голова и ноги. Сегодня на рассвете он прибыл сюда, в безводную задонскую степь, о которой раньше знал только понаслышке. Сойдя с поезда, он отправился на созванный по телеграмме из области пленум райкома и здесь, в кабинете, читал свою биографию, докладывал о себе и был избран первым секретарем. Через несколько часов, подписав акт приемки, выехал со своим новым шофером Тимофеем в колхозы. Тимофей оказался из «философствующих». Он не раскрывал рта, но всем своим невольным видом оценивал и критиковал каждое распоряжение нового хозяина. Пахом Александрович называл очередной колхоз, куда ехать,— и Тимофей обреченно вез.

То, что Пахому Александровичу рассказывали в области о районе, оказалось мелочью по сравнению с увиденным. Колхозы не только не имели посевного зерна, но даже магара, которую выделяли людям для питания, подходила к концу. Огромный степной район лежал на пути дующих с востока суховейных ветров, и в прошедший, 1946, год, когда всю страну поразили небывалые засухи, здесь, на открытой равнине, и подавно выгорели хлеба, огороды и даже травы.

Пахом Александрович сидел в кабине «виллиса» и, завидя новый хутор, протирал перчаткой ежеминутно замерзающее стекло, смотрел в отверстие. На крышах хат, больше по-хозяйски — со стороны навесов, была снята солома. Свежежелтые ее выгрызы резко отделялись от потемневшей, присыпанной снегом верхней корки.

— Скот кормят,— буркнул Тимофей.

В хуторах навстречу попадались подводы. Морды и груди лошадей были покрыты курчавым, льдистым инеем; колеса звенели по смерзшейся дороге; возчики, хоронясь от режущего ветра, полулежали.

Завидев людей, работающих где-нибудь около воловника или в кузне, Пахом Александрович останавливал машину и выходил. Почти на всех мужских работах стояли женщины. На вопрос: «Как живете?» — они неопределенно говорили: «Ничего». Пахом Александрович продолжал расспрашивать. Женщины без охоты отвечали, выжидательно разглядывая крупное, скуластое лицо Пахома Александровича. В большинстве это были солдатские вдовы, и многие кормили по четверо-пятеро ребятишек. Одна женщина, совсем молодая, оглянув набитую бумагами новенькую офицерскую сумку Пахома Александровича, спросила:

— Вы не с газеты? Не про нашу счастливую жизнь будете писать?

В колхозе «Большевик» женщины долбили ломами костяную от мороза землю. Летом не хватало рабочих рук, и колхоз сейчас рыл котлован для кирпичного завода. Порою та или другая женщина, прислонив лом к плечу, снимала с рук брезентовые, с варежками внутри, голицы и, отворачиваясь от ветра, прикладывала пальцы к губам, дула на них...

Пахом Александрович заезжал в правление колхоза и листал ведомости наличия посевного зерна. Зерна не было. Когда правленцы спрашивали его: «Что делать?» — он не торопясь отвечал им вопросом:

— Ведомости-то ваши не хвилькина грамота?

Уже вечером добрался он до села с веселым названием Гуляй-Ивановка. В сельсовете никого не оказалось. Пахом Александрович, желая познакомиться с начальством, послал Тимофея за председателем, и сам остался сидеть в кабинке.

Темнело. В хатах зажигались огни, но редко из какой трубы поднимался дым. Значит, верно говорили женщины, что топка пошла коровам на корм... Ветер нес лютое, сухое, как огонь, дыхание стужи. Далеко, на другой стороне улицы, кто-то открыл в сенях дверь, и дверь завизжала на холоде, словно ржавое железо. На окраине пустыря белели цементные развалины мельницы. Сыч, прижившийся в камнях с лета и почему-то зазимовавший,

изредка покрикивал и, наверное, перелетал с места на место, потому что то здесь, то там раздавалось его кошачье верещание.

Председатель не являлся. Внезапно затрещал и заговорил репродуктор, прибитый к высокому столбу около сельсоветского дома. Вначале Пахом Александрович не слушал, но через минуту вышел из машины и остановился, закрывая от ветра лицо шерстяной перчаткой.

«На днях,— хрипел репродуктор,— в Москве состоялся очередной Пленум ЦК ВКП(б)... обсудил вопрос о мерах подъема сельского хозяйства в послевоенный период...»

Пахом Александрович кивком ответил на приветствие председателя, подошедшего в армейской фуражке и в белом бараньем тулупе.

Молча стоял он на ветру, слушал вылетающие из репродуктора слова, еще не зная, что они войдут в партийный обиход как «решения февральского Пленума ЦК». Репродуктор гудел над обезлюдевшим к ночи перекрестком:

«...Наличие... извращений... есть следствие неправильного руководства колхозами со стороны местных партийных и советских организаций...»

Видимо, мороз на улице крепчал, потому что хрип и атмосферные разряды вплетались в речь диктора. Поземка несла выдутые с жесткой дороги ледяшки, комки задеревенелого навоза, щелкала ими о радиатор «виллиса», укутанный промасленным, смерзшимся капотом...

Долго, больше часа, слушал Пахом Александрович, отворачивая лицо от поземки. Тимофей залез в машину, а председатель сельсовета, пришедший в легких сапогах, переминался на снегу с ноги на ногу. Наконец человек, стоящий в Москве у микрофона, повысил голос, произнося последние фразы:

«...Пленум ЦК ВКП(б) придает первостепенное... делу... восстановления... сельского хозяйства, как необходимому условию... развития...»

Пахом Александрович, дрожа от холода, посмотрел на белеющие развалины мельницы и, вспомнив женщин с ломами, прислоняющих пальцы к губам, повторил слова диктора:

— «Условия развития...»

— Что? — спросил председатель, но, не получив ответа, застучал сапогом о сапог.

Сейчас, войдя в свой теплый кабинет и включив электричество, Пахом Александрович начал отстегивать пуговицы шинели и крючки ватника, поддетого внизу. Райком был пуст. В первом этаже, в райисполкоме, тоже никого не было,— выходя из машины, Пахом Александрович видел там темные окна. Потирая задубевшие от холода круглые щеки, он снял телефонную трубку:

— Мне парткабинет, барышня.

Заведующий парткабинетом оказался на месте.

— Митинг,— торопливо говорил заведующий,— нужно организовать посвященный постановлению митинг, чтобы...

— Бросьте там... митинг! Созывайте на завтра, на четыре дня, председателей колхозов с парторгами. Пусть возьмут документы по севу и эти... как их там?., в общем, отчетности по кладовкам. Пусть везут с собой и бухгалтеров... Что? До четырех часов не смогут собраться? — Пахом Александрович вздохнул, поморгал маленькими глазами.— Ну что ж, давайте на пять...

Он сел к столу. Сейчас следовало подумать, о чем говорить людям, которые съедутся завтра в пять часов. Пахом Александрович взял лист бумаги и, написав вверху «28 февраля 1947 года», оглядел комнату. Диван, столы под сукном те же, что были утром. Что же произошло с того момента, как в Гуляй-Ивановском сельсовете, потрескивая, заговорил репродуктор? Сейчас этот репродуктор передает какой-нибудь концерт, песенку про Карамболину, а слова постановления пронеслись на морозном ветру и затихли. В такую лютую ночь не многие слышали радио... А борьба уже началась. Уже послано за председателями, которые завтра услышат от него, секретаря райкома, как выполнять постановление. «Как именно выполнять?» Пахом Александрович не знает сам. Знает, что это будет ломка существующего положения.

Ломать... Дурное дело нехитрое. Что он, Пахом Александрович, конкретно посоветует председателям, когда председатели возвратятся из райкома в свои колхозы, разоренные войной и добитые засухой? Патриотические разговоры патриотическими разговорами, а пахать надо плугом и сеять зерном. *В этом году надо много сеять* — так говорилось в гудевшем на ветру приказе. Конечно, постановление Пленума — приказ, такой же, как в недавнее время приказ победить фашистов. Все сказанное не запомнилось. Ежеминутно диктор называл предлагаемые

для исполнения цифры — от цифр необходимых урожаев до цифр необходимого отела коров и ожереба конематок. Цену каждой цифре, данной Центральным Комитетом, Пахом Александрович знал. Если указано 5,2, то, значит, и должно быть 5,2 или больше. Но не 5,1...

Около двух часов по пунктам перечислялось то, что с завтрашнего дня начнут делать хутора и села. Но что едят коровы, которые должны выносить в своей утробе телят, уже запланированных в хозяйстве, и как обстоит дело с семенами, высокий урожай с которых предрешен постановлением, Пахом Александрович видел сегодня...

На чьи плечи, на чей ум возлагается вся сумма дел? В конце передачи коротко говорилось: «Пленум обязывает партийные органы поднять и организовать...»

Пахом Александрович повел прозябшими плечами. Видно, холод выходил из костей; все-таки десять часов ездил секретарь по своему новому району, разбросанному от посолонцованных берегов Маныча с его разбомбленными плотинами до Егорлыка и дальше, до границ с Кубанью. Бесконечность степей, пересеченных балками, хутора, поля и опять хутора не поразили Пахома Александровича. Еще получая назначение, он узнал, что в его районе семьдесят девять колхозов, два конных завода, союзного значения совхоз, десятки предприятий и школ. Как выражаются финансисты, в хлебном балансе области район играет решающую роль, но район — об этом сообщают понижая голос — весьма неблагополучен.

Пахом Александрович (это было позавчера) получал назначение в обкоме партии.

— В вашем районе, товарищ Данилов,— сказали ему,— не хватает для весеннего сева девяноста тысяч пудов зерна. Колхозы наши, как пострадавшие от засухи, были освобождены от поставок. Озимые семена вам завезли осенью из других областей. Конечно, вы можете получить семенную ссуду и на весенний сев. Но в Совете Министров и без вашего района достаточно заявлений о помощи, так что обойдитесь сами.

Выйдя из обкома, Данилов встретил в городе старых друзей, разговаривал с ними о посторонних вещах, выпил поллитровую банку пива, даже смеялся. Заехав домой, в Таганрог, щипнул за щеку дочку Дину, посоветовал поменьше получать троечек, потому что скоро ей переходить в другую школу и будет стыдно показывать новым учителям плохие отметки. Жене сказал:

— Капусту, Нюся, везти не стоит, громоздкая штука.— И, увидев ее крайнее неудовольствие, добавил: — Или ладно, вези уж...

Это были домашние дела. А сегодня утром приехал сюда, весь день разговаривал с людьми медленным, не допускающим возражения голосом, но внутренняя растерянность не покидала его, а, пожалуй, все больше увеличивалась. Когда же в Гуляй-Ивановке стоял под репродуктором и слушал передачу, он только из чувства стыда отгонял мысли о том, что совершенно не знает, как поступать. Пленум требует сева, а зерна в колхозах нет. Но что из того? ЦК потому и вынес постановление, что в селе дела тяжелы; обком для того именно и послал его, Данилова, сюда, чтобы он нашел зерно...

В колхозах оставлено понемногу зерна на общественное питание. Согласно Уставу, колхозы не обязаны обеспечивать людей общественной кухней, это можно отменить, взять зерно под метелку, и никто не укажет ему, Данилову, на незаконные действия. Но в том ли дело, чтоб обеспечить себе безнаказанность? В том разве дело, если тяжелый, способный раздавить, груз ни в каких актах не записанный человеческой ответственности за каждого колхозника лег на душу? В хутор Глубокая Балка (Данилов уже вечером узнал об этом) райторг направил триста пар детской обуви для ребят погибших на фронте колхозников. Хорошо, что послана обувь, но разве отмахнешься от факта, что в Глубокой Балке триста сирот? Райторг райторгом, а отцов у ребят нету. Чем кормить их до нового урожая — это с сегодняшнего дня стало его заботой. Он теперь отвечает за каждого Митьку и Костю, за кружку молока для них, за учебники, за солому и кизяк для топки. Совестью отвечает за ласковое слово.

Но он — этого требует Пленум ЦК! — отвечает и за другое: за обсев полей всего района. В этом — будущее глубокобалкинских ребят.

Понадобятся поворотные, может жесткие, меры. Он приехал сюда хозяином и пойдет на эти меры, как за рога повернет район.

Пахом Александрович остановил на стене, на карте района, узкие, сжатые крутыми скулами, глаза.

«Дело такое, нажать бы, да не сломать...»

Он начал ходить по комнате, осторожно ступая на

коврик, словно опасаясь кого-то разбудить. Надо обдумать все и назвать все словами.

Безусловно, план заготовок зерна будет выработан. Здесь, в пустом сейчас кабинете, как и во всем районе, закипит дело. Кто-то подскажет ему, Данилову, исправит там, где он споткнется. И сам он поддержит того, кому трудно, а кто откажется шагать вперед, того уберет с дороги. Все это, неизвестное еще «это», дающее девяносто тысяч пудов зерна, будут делать люди. Но людей-то, чтоб их расставить, надо знать. Знать не только то, что каждый думает, а и что будет через месяц думать. Изучить кадры можно, но требуется время, а они — ночь пройдет — явятся сюда, к этому столу: «Мы пришли, руководи...»

Пахом Александрович открыл сейф, достал сегодняшний акт приемки района и, вставив штепсель настольной лампы, выключил раздражавший его свет под потолком. В первой графе акта, под названием: «Всего коммунистов на учете», стояла цифра: «1240».

Данилов подпер щеку большой красной рукой, прикрыл глаза. Сегодня утром он заходил в сектор учета посмотреть учетные карточки коммунистов, и ему запомнились данные первой карточки:

«Абакумов Петр Сергеевич, рождения 1901 года, кандидат в члены ВКП(б) с 1944 года, в Отечественной войне участвовал, награжден медалью «За оборону Кавказа».

Кто он? Почему он прожил сорок три года и только тогда, когда Красная Армия погнала врага на запад, вступил в партию? Жжет ли ему уши сегодняшняя передача или он из тех, кто делает вид, что жжет?.. Этот Абакумов — единица в цифре «1240». В этой четкой цифре — его шофер Тимофей, которого он еще не знает, хотя проездил с ним целый день. С остальными он не может ездить по целому дню, а руководить ими должен завтра же. Число «1240» — это коммунисты, командиры района. Ну, а рядовой состав?.. Их восемьдесят две тысячи — детей, мужчин, женщин, по-особому переживших войну здесь, в селе.

От села Данилов оторвался еще в начале войны и сейчас, вернувшись из армии опять в село, понимал, что его довоенные знания колхозной жизни и колхозников теперь недостаточны. Люди изменились за последние, вскруженные событиями годы. Шутка сказать — восемьдесят

две тысячи живых душ! Они разбросаны на двести километров в округе, и у каждого свое «я», свои мысли... Война многому научила Пахома Александровича, но она и разбаловала его легкостью изучения людей. На корабле просто было до мелочей узнать каждого, все были «под рукой», любой через пять минут являлся по вызову, четко докладывая: «Старшина второй статьи Петров (или: «мичман Денисенко») по вашему приказанию явился».

Петрова можно было посадить к столу, и он с удовольствием читал письма из дома, показывал, что сам пишет матери или молодой жене, рассказывал, что понял сегодня в газете, почему получил низкий балл по математике, что собирается делать, окончив службу. Данилов беседовал с подчиненными, по-нижнедонскому говоря вместо «много дел» «много делов», и даже, забывшись, вместо «хочешь» произносил «хотишь». Но это было неважно, строго учил их делу. С его краснофлотцами каждый час занимались командиры, и краснофлотцы постигали боевую технику, читали книги, смотрели кинофильмы, а перед сном, выстроившись на палубах, пели Гимн Советского Союза. Наступала ночь, краснофлотцы спали, командиры же готовились к занятиям с ними на завтрашний день.

...А здесь — Пахом Александрович не хотел закрывать глаза на то, что видел,— люди предоставлены самим себе. В читальнях, куда он заезжал сегодня, осталось после войны по десять — двадцать брошюрок, радио восстановлено только в близких хуторах, и почти всюду средства, отложенные на культуру, пошли в хозяйство. При Данилове в правление крупнейшего колхоза приехала верхом девушка-почтальон, кинула на стол несколько газет — парторгу, на ленуголок и бухгалтеру.

— А колхозникам? — спросил Данилов.

Ему объяснили, что давать газеты колхозникам не позволяют лимиты.

— Доклады-то у вас бывают?

Учетчица, с которой происходил разговор, беспокойно глянула по сторонам:

— Бывают. Кажется, в июне приезжал из района лектор. Или в мае... Сейчас узнаю у счетовода, он записывал.

«Что это? Нежелание расти? Нет! Люди, даже сидя на магаре, растут. Всюду строят: тут мастерскую, там

воловни — то, что не может ждать, а до остального не дошли еще руки.

Воловни очень нужны! Но кто работает над душами людей?! В степях гудит зима. О чем долгими вечерами говорят в разбросанных по хуторам хатках? Женщины с вязаньем собираются на огонек, здесь же инвалиды войны, дети. Что́ и со своего ли голоса рассказывает им человек, пришедший из Германии? После пережитого горя легко пошатнуть человеку сердце. Война закалила сильных — многих оставила без рук и ног, но сердца их сделались еще крепче. Но есть и другие, те, что спрашивают, не о красивой ли их жизни приехал я писать. Разве эта молодая женщина, что спрашивала, не проводила на фронт мужа? И если у нее вырастет сын и это потребуется — разве не проводит и его?.. Но сейчас у нее дома маленькие дети, и они просят есть. Чтобы не посылать их, когда они вырастут, под снаряды, женщины обязаны пережить зиму и сиять! Если бы каждую секунду помнила, чувствовала эта женщина, за какое великое счастье всего мира погиб ее муж, на сердце у женщины было бы легче, и она помогла б достать семена!.. Но этого не объяснишь инструктивными письмами райкома, да и при встречах всего сразу не расскажешь. Обстановка требует вместо разговоров о счастье мира докладывать о цифрах и процентах, о том, что мало работаем, что надо работать больше! А тут и вкоренившаяся уже привычка военной службы — больше приказывать, чем объяснять...»

Пахом Александрович подошел к приколотой у стола карте района, расправив шнур, поднес лампу и начал всматриваться в заштрихованные многоугольнички — хутора. Их было множество, разбросанных на юге, на севере, во всех концах карты. Сколько в каждом дворов, в каждом дворе людей!.. Старожилы и семьи, приехавшие по эвакуации из других областей и осевшие здесь; люди, жившие дома при немцах — одни героями, другие — неизвестно кем; орденоносцы, вернувшиеся с фронта; молодежь, репатриированная из Германии; комбайнеры, трактористы, старые чабаны, доярки, счетоводы, учителя. Армия людей со своей неодинаковой личной жизнью и мечтами. Теперь Пахому Александровичу предстоит слить с ними свою жизнь, уделять им, еще не известным, больше внимания, чем собственной семье. Интересно: он никогда в жизни не думал об этих людях, так же как и они не

думали и сейчас еще не думают, даже не знают о нем, новом секретаре, спят сию минуту в своих хуторах.

Пахом Александрович поставил лампу, переложил оставленные утром около дивана свои вещи — чемодан и пару новых валенок, предусмотрительно навязанных на вокзале женой.

— Валенки — это неплохо,— вслух сказал Данилов.— Валенки — очень хорошо. Но дела-то будут!.. Вынь да положь девяносто тысяч пудов пшенички. Может, верно, хоть и мало ее, а забрать ту, что для питания? Так для себя и записать к завтрашнему разговору с председателями.

Пахом Александрович сел на диван и, расстегнув воротник, обнажил полную, черную, словно в шерсти, грудь.

«Слабак ты! Разве тебя прислали забирать? Тебя прислали сады насадить на обломках, сделать так, чтобы из новых домов в новые школы бегала добротно обутая, тепло одетая детвора. Прислали, чтоб электричеством заливались и фермы, и каждая жилая хата, и колхозные театры, а может, и институты!»

Пахом Александрович толкнул дверь и позвал сторожа. Старик вошел, подозрительно поглядывая.

— Нагрей, дедушка, кружку воды,— попросил Данилов.

Старик кивнул, застучал сапогами по коридору и через небольшое время вернулся, положил на стол свою рукавицу и на нее поставил измазанную копотью, видимо нагретую внутри печи, алюминиевую кружку. Уже откипевшая вода, прислоняясь к раскаленным стенкам, снова шипела, и Данилов обжигал губы.

— Отчего, объясните,— раздумчиво заговорил сторож,— обижают у нас стариков?

— Когда они на работе спят? — спросил Данилов.

Дед искусственно хихикнул:

— Це критика правильная. Я об другом. Я об нашем колхозе «Маяк», откудова как бы сбежал... Хочу сказать об наших женщинах с «Маяка». Справно существуют те, у кого мужья вернулись с фронта или и не были тамочки, сидели по броне. Они — молодежь, ударники, ну, и, значит, заработали, сейчас хоть и неурожай — живут. А старые женщины, у кого по трое сынов голову положило и они, то есть старые матери, не можут на хлеб заробить, им как существовать?.. Як шло наступление на

Гитлера и до нас в колхоз приносили похоронные документы, об цих убитых доклады с трибун произносили. И по радио сообщали, шо слава павшим героям! А зараз разве председателю колхоза Чубову и парторгу товарищу Ильченко рука короткая помогти их матерям? Может, у вас, товарищ новый секретарь райкома, дела сурьезнее? — Данилов увидел открытый вызов в глазах старика.— Тогда извиняйте. Но це не просто женщины. Це женщины, шо родили и воспитали спасителей государства. И мы должны кланяться им в святые ножки, пектись и уважительно называть «мамо».

«Верно,— вздохнул Данилов, когда сторож ушел, забрав свою рукавицу,— обязаны кланяться в святые ножки. Знаем. Но знаем и другое: вынь да положь семьдесят вагонов семян, ни на зернину меньше».

Пахом Александрович запустил руку под сорочку, начал растирать густую шерсть, растущую до самой шеи.

«Абакумов Петр Сергеевич, рождения тысяча девятьсот первого года... Знаешь ты, на какие дела вручен тебе партийный билет?»

Было недалеко до утра, когда Пахом Александрович кончил писать и черкать и, выйдя из-за стола, опустился на диван, отчего заскрипели все пружины, и долго лежал, прижимаясь затылком к холодному кожаному валику.

Он открыл глаза, когда в окнах уже серело. За стеной раздавались шарканье и скребки пришедшей уборщицы, и через минуту в распахнувшихся дверях появилась тетка с малюсенькими бойкими глазками, маслеными, словно смоченные дождем ягоды паслена.

— Разрешитя убрать? — громко сказала она уже после того, как включила свет, подошла к столу и швырнула на пол сор из пепельницы. Живот тетки поверх платья стягивался куценькой бархатной душегрейкой, расшитой спереди строгими, выпуклыми, как на ризе, узорами и цветами.

— Что это у вас? — спросил Пахом Александрович.

— Иде?.. А, это?.. Духоборский корсет.

Данилов окончательно проснулся.

— Почему духоборский?

Уборщица совсем прикрыла крохотные глазки и с большим удовольствием, привычно, как агитатор, заговорила:

— Это еще при царице Екатерине... еще когда Митрий Ильич Побирохин, наш главный просвитер, ходили по России — поднимали в народе борение духа,— велась форма. У молокан или у субботников этого нет, а у нас есть!

Она продолжала вытирать пресс-папье и чернильный прибор, быстро двигала темными, рабочими руками.

— До колхозов,— объясняла она,— и колпак на голове носили, а теперь уж не стали.

— Что ж так?

— А то, что ездить пришлося. То в Москву с буряками на выставку, то в Ростов, и везде нас, понимаете, принимали со взгляда за иностранных. А нам и в Турции это обрыдло. Мы ж там жили от Александра Второго, с тех пор, как нас повыслали, и до двадцать первого года, пока Владимир Ильич Ленин своим декретом нас оттудова не выписал. Всем обществом приехали. Нас тут, в районе, два сельсовета — самие духоборы... В тридцать четвертом году в колхозы вписались.

— Поздно?

— А конечно! Сперва не давали согласия, потом определили, что греха мало, даже подвиг есть — общинная жизнь.

«Здорово обернулось»,— подумал Данилов.

— А чего теперь,— прищурился он,— вы не в колхозе?

— К сыну приехала. Он здеся в райзо главным агрономом.

— И тоже того... духобор?

— Вы и скажете!.. Он же молод, институт кончал,— значит, мирской.

Уборщица, поблескивая строгими узорами бархатного корсета, подметала пол.

— Вы, Пахом Александрович, и семейство сюда перевезетя?

«Уже имя узнала»,— подумал Данилов.

— Перевезу, конечно.

— Та-ак... Значит, твердо до нас.

Она еще раз обтерла пресс-папье, задержалась у стола.

— Еще хотела вас спросить... правду говорят, что правительство вчера постановило в нашем районе по причине засух больше не сеять хлеба? Что, вас для того сюда и прислали?

— Кто это говорит?

— Мало ли кто... Вы ж на базар не ходите, а мы ходим, слышим. Так правда?

— А что ваш сын на это отвечает?

Уборщица засмеялась:

— Хитрые вы, начальники, пошли, пугливые, не хотите поговорить со старухой...— И, забрав ведро, пошла из кабинета.

Данилов посмотрел на захлопнувшиеся двери и начал развязывать чемодан.

«Значит, базар против хлеба? Крепко!»

Он вынул полотенце с завернутым внутри куском мыла, снял китель, нижнюю рубаху и пошел в коридор, где еще вчера приметил ведро с водой.

— Слей, папаша,— попросил сторожа, вставшего к нему навстречу.

— Гладкие вы! — завистливо сказал старик, поливая прямо на тугую, широкую спину, изуродованную от поясницы до затылка глубоким нежно-розовым шрамом, елочкой, зарубцевавшимся на границе со здоровой кожей.

— Давай, давай! — просил Данилов.

Старик лил на шею, на круглую, как арбуз, крупную голову. «Морж... и холод его не берет».

За ночь тепло из печей пронесло в трубу, вода под окном настыла, и пар поднимался от Данилова, от мокрого его тела.

— Хорош, отец. Спасибо.

Растираясь полотенцем, Пахом Александрович прошел в кабинет, оделся и начал завтракать привезенными из дому харчишками. Заметив, что скоро прикончит основное — засоленного «в корень» чебака, он завернул остатки в газету, вытер руки и захлопнул чемодан.

«Теперь можно воевать!» Он потер зашершавевшую за сутки скулу, вынул безопасную бритву и помазок.

«У англичан есть время бриться в день два раза.— И невесело вздохнул: — Значит, говорят, приехал ликвидировать хлеборобство?..»

Слышны были шаги в коридоре, отпирались двери отделов. Пахом Александрович завел часы.

«Четверть восьмого. Рано пришли. Хотят послушать, что я им скажу. А я бы и сам кого толкового послушал...»

Он засунул за угол дивана чемодан с привязанными валенками, вызвал настольным звонком технического секретаря и распорядился, чтоб аппарат райкома в восемь ноль-ноль явился в кабинет.

ВЛАДИМИР ТЕНДРЯКОВ

Падение Ивана Чупрова

Не зима и не осень. Снег еще не выпал, а прихваченная морозом травка похрустывает под ногами.

В эти дни в деревне Пожары самое оживленное место — двор колхозных складов. Идет выдача хлеба на трудодни. У тяжелых складских дверей, распахнутых на обе створки, стоит грузовик. Парни, сбросив с плеч пальто и ватники, щеголяя друг перед другом и перед весовщицей своей силой, таскают из склада мешки на весы.

Весовщица, статная девушка в пуховом платке и щегольской шубке, неторопливо снимает расшитую варежку, делает пометку в бумагах, и ребята, поеживаясь от холода, ждут, когда она сделает знак: «На машину!»

Посреди двора стоит председатель колхоза «Красная заря» Иван Маркелович Чупров — полушубок нараспашку, руки в карманах, ноги широко расставлены. Он хмурится, будто чем-то недоволен, но это сегодня никого не пугает — в такой день председатель не может сердиться.

Бойкая лошаденка вкатывает во двор легкий возок. Пронырнувший под лошадиной мордой мальчуган звонко возвещает:

— Никита Кузьмич приехал!

Помощники весовщицы кидаются навстречу приехавшему.

— Здравствуй, Никита Кузьмич!

— Давненько к нам не заглядывал.

С возка соскакивает высокий человек, повертываясь направо и налево, пожимает всем руки.

— Здорово, здорово, ребята!

Председатель колхоза ждет, когда приехавший подойдет к нему. Никита Кузьмич, улыбаясь, шагает к председателю.

— Здорово, Никита,— говорит Чупров, протягивая ему руку.— Обижен на тебя. Год прошел — ездишь мимо,

не заворачиваешь. Пошли, кой о чем побеседуем. Для встречи и по маленькой пропустить не грешно...

Всем в колхозе хотелось хорошей жизни, но не всем понравилось, как новый председатель решил добиваться ее.

Чупров задумал спалить бесполезный соснячок на Демьяновской согре. Просто сказать — спалить! Значит — вырубить все крупные деревья, выкорчевать пни. Первым, кто поддержал нового председателя, был Никита Бессонов.

Спалили согру. Теперь бы только на этом месте, по золе, посеять хлеб. Но Чупров повернул по-своему: «Ни рожь, ни пшеницу на согре сеять не будем. Нужно сеять лен, выгоднее!» И снова поднялись на председателя, кричали на собраниях: «Хлеба не густо, а ты — лен! Со щами твой лен есть, что ли?» Опять первым поддержал Чупрова Никита Бессонов.

Посеяли лен. Он вырос такой, что теленок заблудиться может. Выручили на льне сто сорок тысяч. Как-никак разделили на всех — деньги. А Чупров уперся — не дам делить! Будем строить свинарник на пятьсот голов! И опять первым поддержал Чупрова Никита Бессонов.

Через два года от свиней получили доход в четыреста тысяч. Построили молочную ферму... Год от году стал подниматься колхоз «Красная заря»— племенной скот, птица, лучший по району лен. И во всем председатель опирался на своего друга, секретаря колхозной парторганизации Никиту Кузьмича Бессонова.

И вот, когда все трудности в колхозе «Красная заря» остались позади, райком партии рекомендовал Бессонова председателем в крупный колхоз «Вторая пятилетка». Бессонов уехал, и с тех пор он встречался с Чупровым только в районе, на совещаниях. В гости к нему приехал теперь впервые.

Стараясь приладиться к размашистому шагу Бессонова, Чупров заговорил:

— На будущий год мясопоставку частично сдадим тухлым мясом.

Бессонов удивленно сдвинул брови. Чупров ухмыльнулся.

— Да, тухлым.

— Это государству-то?

— Государству.

— Чудно!

На красном крепком лице Чупрова держалась довольная ухмылка. Бессонов понял — Иван чём-то собирается поразить — и не стал спрашивать: сам расскажет, не утерпит.

Они пришли на место, где раньше лежал пустырь, поросший редким можжевельником.

Теперь все кругом было огорожено высокой проволочной сеткой. Внутри стояли дощатые будки с плоскими крышами.

Черный зверек пронес над жесткой травой пушистый хвост, прыжком нырнул в ближайшую будку, оттуда высунулась его остроносая мордочка. Блестящие глаза с любопытством уставились на людей.

— Лисички черно-бурые,— сообщил Чупров.— Десяток перед весной купил. Приплод уже подрос. Зимой забьем пятнадцать штук, глядишь — тысяч двадцать пять привалило.

— Новое в наших краях дело,— сказал Бессонов.

— То-то что новое. А ты спроси, чем их кормим. Отбросами. Мясо подаем на лопате, а сами отворачиваемся. Всякую падаль едят. Некапризные зверьки, некапризные. Дешево обходятся.

— Значит, тухлым кормите?

— Отбросами.

— Ну, а как же эти отбросы в мясопоставку попадают?

— Очень просто. Государство нам за каждую шкурку сорок килограммов мясопоставок скидывает. Закон! А шкурок сдадим пятнадцать. Посчитай — шесть центнеров хорошего мяса экономим. Нам выгодно, и государство не в обиде.

— Ловкач,— Бессонов улыбнулся. Лицо у него широкое, скуластое, сам он плечистый, костлявый, крепкий, и странно видеть на лице этого уже пожилого человека светлую, почти младенческую улыбку.

— В хозяйстве хитрость нужна,— заулыбался Чупров. Он похлопал друга по широкой спине.— Ежели лошадь падет у вас или корова — везите, купим. Нам чистоганом обернется. Дальше пойдем, что ли? Гусятник на тыщу голов поставил без тебя.

Новый гусятник стоял на высоком берегу, возле пруда,

густо синевшего молодым льдом в рамке обындевевшего ивняка.

— Живем в лесу, а каждое бревнышко с весу,— жаловался Чупров.— Такое общежитие для краснолапых тысяч в двадцать обошлось. Зато и гусятник хорош.

Бессонов окинул взглядом постройку.

— Да, бревнышко к бревнышку. Жалеть нечего — окупится.

— Само собой. Я, брат, не люблю рубли в банках держать. Рубль — зернышко. Найдя ему место, посади — сотня вырастет. А где Аксинья? Аксинья!

— Аюшки! — Из дверей вышла пожилая женщина, увидела Бессонова.— Никита Кузьмич! Здравствуй, сокол ты наш! Уж не совсем ли вернулся?

— Здравствуй, Аксинья. Ты, вижу, на новой должности.

— С курами-то Мария. Мое дело теперь — гуси. А не скажи, хлопот не меньше. Прибавилось хлопот-то...

— Аксинья,— строго перебил Чупров,— Никита Кузьмич — гость у нас.— И он значительно повел бровями в сторону одиноко стоявшего на тропинке гуся.

Аксинья понимающе поджала губы. Осмотрели скотный двор, конюшни, направились к дому председателя. По дороге их нагнала облезлая легковая машина. Из нее выскочил парень в кубанке, надвинутой на брови,— секретарь партийной организации колхоза Алексей Быков.

— По всей деревне вас искал.

— Алексей! — воскликнул Бессонов, пожимая парню руку.— Ну, здравствуй. Откуда у тебя экипаж такой?

Чупров усмехнулся.

— У самойловского председателя купил. Старье для свалки. Отговаривал — купи лучше мотоцикл. Нет, загорелось легковую иметь.

Алексея это не смутило. Он распахнул дверцу.

— Чего пешком-то... Садитесь.

— Доедем ли? — сказал Чупров, но все же, кряхтя, полез в тесную кабину.— У председателя нет машины, а секретарю парторганизации, видишь ли, нужна. Для авторитету, что ли? Мотоцикл по нашим дорогам куда способнее.

— Машина ничего, только подремонтировать задний мост,— ответил Алексей.— «Оппель-кадет».

— От этого «кадета» одна бляха на радиаторе осталась.

К дому председателя дорога поднималась в горку. «Оппель-кадет», судорожно стучавший мотором, вдруг смолк, задумавшись, постоял на месте, затем неторопливо пополз назад.

— Вылезай, приехали!— возвестил Чупров.— Я ж говорил...

В доме председателя около печки уже лежали снежной кучкой гусиные перья.

— Федотовна! — весело крикнул Чупров.— Гость пришел. Готова ли?

— Уж повремените чуток, не поспела,— разогнулась от печки жена Чупрова Лукерья.

— Ты что, пир думаешь закатить? — спросил Бессонов.— Посидим, потолкуем, ничего не надо.

— Э-э, праведник! — засмеялся Чупров.— Год не заглядывал, а отговариваешь. Помолчи уж, помолчи, я покомандую.

Не успели усесться за стол, вошла дочь Чупрова Раиса и за ней — Алексей.

— Здравствуй, крестница. Ну, как дела? — заговорил Бессонов с Раей.

Рая из-за войны не успела окончить среднюю школу. Работала в колхозе на огородах. И как-то Бессонов предложил ей: «А что, доченька, посоревнуемся? Давай учиться. Кто быстрей до института доберется? Смотри не красней, коль старик впереди окажется».

Было ли то уловкой Бессонова или на самом деле он всерьез мечтал об институте, но, так или иначе, он «увяз»: читать читал, а экзамены сдавать и не пытался. Рая же окончила экстерном восьмой, девятый и десятый классы, поступила на заочное в областной сельхозинститут и сейчас училась на последнем курсе, писала работу о пасленовых культурах.

Поэтому-то Никита Кузьмич и звал Раю «крестницей», а она его «крестным».

— Диплом готовлю. Да еще... Ой, крестный! Ведь ты не знаешь!..

Рая бросилась в соседнюю комнату. Она принесла листы кальки, разложила их на столе.

— Теплицу думаем строить. Почти триста пятьдесят квадратных метров. Свежие овощи круглый год. Арбузы, дыни в наших сугробах.

Бессонов взял чертеж, стал рассматривать его.

— Да-а,— вздохнул он,— нашему колхозу такая теплица — не по Сеньке шапка.

Лукерья Федотовна, сухонькая, маленькая, не под стать тяжеловатому мужу, поднесла к столу широкое блюдо с дымящимся картофелем и кусками жареной гусятины. Аппетитно запахло. Иван Маркелович достал из-под лавки бутылку, вышиб пробку, наполнил всем.

— Ну-с!— Чупров поднял глаза на Бессонова.— Выпьем, гостюшко...

— За что же? Может, за молодых? — кивнул Бессонов на Алексея и Раю.

— За них успеется... На свадьбе выпьем, коль надумают... Выпьем, Никита, за колхоз «Красная заря», за счастливый колхоз!

Когда Бессонов сказал, что из «Красной зари» едет в город, Чупров вдруг решил: «Вместе едем». Почему бы и не съездить? Есть дела в облисполкоме, заодно можно поискать кожи для шорной. Он пошел дать последние наказы перед отъездом.

Бессонов, одетый в дорогу, стоял возле своего возка с Алексеем и ждал Чупрова.

— А изменился Иван,— сказал Бессонов.— Как ты думаешь?

— Что-то не заметил,— ответил Алексей.

— Мне со стороны вроде видней. Прибавилось в нем этакого «я решу» да «я сделаю». Колхоз — это «я»!

— Что ж, за пятнадцать лет колхозники к нему привыкли, он — к колхозникам. Трудно отделить колхоз от себя.

— Вот-вот... Сперва трудно отделить себя от колхоза, потом — свое от колхозного.

— Это к чему, Никита Кузьмич?

— Так, к слову. Приехал гость, нужна на стол гусятина, мигнул — на тебе гусь! Не жизнь — сказка по щучьему велению.

— Мелочь.

— Вот именно мелочь. Если бы не мелочь, а крупное, и говорить не о чем. Тогда уж поздно. Смотри, как бы не споткнулся. Споткнется — ты ответишь. Ты партийный секретарь... Спросят, и на молодость не посмотрят.

Алексей смущенно смотрел под ноги.

Подошел Чупров.

— О чем разговор?

Алексей отвел глаза. Бессонов, влезая в возок, уклончиво ответил:

— Все про гуся.

— Дался тебе гусь! Кто пасечника попрекнет, что съел стакан меду? А гусь в нашем хозяйстве даже не стакан, это чайная ложка, капля в море!

В городе они расстались, договорившись встретиться вечером у базара.

Выйдя на площадь, Чупров столкнулся с Ефимом Арсентьевичем Трезвым, председателем райпотребсоюза. Человек этот — постоянно растрепанный, суетливый — был ходячим справочником, где что достать. Он схватил Чупрова за рукав полушубка:

— На складе сельхозснаба — вагон кровельного железа! Торопись!

Чупров, не простившись, бросился к такси.

Кровельное железо было дефицитным материалом, чтобы приобрести его, да еще в облсельхозснабе, где сидел «тугой» народ, требовались крепкие нервы, громкий голос и умение вовремя прикинуться несчастным.

Чупрову предлагали залежавшиеся на складах ветровые установки, корнерезки, жмыходробилки, а он жаловался, что скотный двор в колхозе стоит раскрытый, что надо менять крышу на конюшне, что построили клуб, а покрыли толем — никакой красоты, смешно смотреть — очаг культуры... Пришлось постучать кулаком по столу, припугнуть облисполкомом, побегать из кабинета в кабинет с бумагами. Никто, конечно, не поверил, что в колхозе у Чупрова половина общественных построек требует перекрытия, однако выписали.

Уладив дела, Чупров встретился с Бессоновым.

— Слыхал? Железо кровельное привезли в облсельхозснаб,— сказал он небрежно.

— Ну, а ты? — У Бессонова даже голос упал.

Чупров похлопал по карману.

— Вот оно где.

— Да? Ну, ладно, езжай один, меня не жди.

Чупров, улыбаясь, глядел ему вслед. «Удачливее меня вряд ли будешь». И ему стало весело. Побегает от стола к столу Никита: скотный не крыт, свинарник не крыт, и не соврет — и скотный у него действительно не крыт, и сви-

нарники, и даже, поди, в конторе правления крыша подтекает. Это не за чужой спиной сидеть. Пока чего-либо добьешься, соль на спине выступит. Ему, Чупрову, не так нужно это железо, но запас карман не рвет, шею не трет, полежит — все сгодится. Весной он будет строить водонапорную башню. Потребуется десяток листов, а с ног собьешься, не найдешь сразу. Не плохо бы свой дом под железо. Все одно крышу заново перекрывать. Совсем не плохо.

Иван Маркелович на радостях завернул в закусочную и «пропустил соловья», чуть-чуть, так, чтобы душа веселей пела.

Обратной дорогой он думал о Бессонове, о теплице, о стеклах для теплицы, о том, стоит или не стоит крыть железом свой дом. Вспомнилось, что кузнец Егор Постнов осенью жаловался: течет крыша кузницы. Не тесом же ее крыть! Да и склады полатать не плохо... Чупров уже склонялся к тому, что на свои нужды брать железо не стоит, но когда он вернулся в колхоз и сказал бухгалтеру: «Занеси-ка, Никодим Аксеныч, в свои талмуды: купил кровельного железа на десять тысяч восемьсот», когда он увидел покорно опущенную к столу голову бухгалтера, старческую руку, ползущую с канцелярской ручкой по книге, готовую бесстрастно поставить любую цифру, то почему-то сразу же уверенно решил: «Стоит! Кузню покроем, а склады латать не к спеху». И он небрежно бросил:

— Учти, себе на крышу хочу взять листов полтораста...

Бухгалтер понимающе кивнул головой.

Удобный человек Никодим Аксенович. Сидит себе за дверью, сунув подшитые валенки под стол, в помятом пиджачишке, серой косоворотке, к маленькому черепу приглажены мягкие, как у младенца, волосики,— нужны выкладки о сдаче молока или яиц, вспомнишь о Никодиме Аксеновиче, не нужны — словно его и на свете нет. Тишайший, воды не замутит.

Утром, набегавшийся, уставший и плотно позавтракавший, Чупров отдыхал в кабинете. Он был рад приходу Алексея.

— А-а, садись-ка, садись. Читал? В Болгарии, слышь, новый комбинат построили. Громаднейший! Удобрения выпускает.

Алексей знал, что если не перебить Чупрова, тот будет говорить, пока не придет пора идти на скотный или на свинарник.

— Иван Маркелович, Бессонов звонил.

— Никита? А что ему?

— Просит кровельного железа.

— Чего? Железа кровельного? Что это он? Мы ему база снабжения? Я ж его направлял: беги доставай.

— Не достал, разобрали.

— Так у нас, выходит, легче достать? По старой дружбе. Эх, Никита, Никита! Где умный мужик, а где, ну прямо малое дитя!

— Иван Маркелович, так он же достанет, вернет. Никите можно верить.

— Да как тут верить, коль он плохой доставала? Нет, нет, Алешка, и не хлопочи! У нас колхоз, а не частная лавочка.

Их разговор прервал посетитель, пожилой, полный, в полушубке с выпушками, в белых чесанках до паха. Он вошел в кабинет к Чупрову с грустным и покорным выражением на лице. Алексей узнал директора райпромкомбината Романа Губина.

— Здравствуй, Маркелыч,— произнес посетитель, снимая шапку и одновременно протягивая через стол руку.— Дело до тебя маленькое. Помнишь, скобы к нам на промкомбинат заказывал?

— Помню, Роман, помню. Полгода заказ выполняли, полгода жилы из вас тянул, было время запомнить. Садись. Что тебя-то заставило вспомнить? Мы же заплатили вам.

— Заплатить заплатили, да подпись вместо тебя о получении ваш шофер оставил. Твоя подпись нужна.— Губин вздохнул и признался: — Ухожу с работы, вот хвосты подчищаю.

— Уходишь? Сам? — Чупров с прищуром пытливо взглянул на директора.— А может, ушли тебя? Признайся.

Губин махнул обреченно рукой, начал негромко и обиженно жаловаться:

— Я не вор, не растратчик, я, Маркелыч, человек, у которого руки связаны. Только и слышно со всех сторон: местная промышленность отстает, местная промышленность не выполняет заказов, не удовлетворяет потребностей... А что мне прикажете — какой-нибудь распиловочный цех из пальца высосать? Добро бы, воровал, добро

бы, государственные средства тратил... Так нет, не справляюсь, не подхожу...

— Сняли, значит. Так, так... Говоришь: не вор, не растратчик... Нет, Роман, прямо тебе скажу, хошь обижайся, хошь нет: ты — вор!

— Это с какой стороны?

— С такой!.. В нашем районе при промкомбинате кирпичного завода нет? Нет! В прошлом году откуда мне кирпичи возить приходилось? За семьдесят пять километров из города! Каждый кирпичик чуть ли не по полтинничку обошелся. На одну перевозку я около десяти тысяч угрохал. Был бы у тебя кирпичный завод, эти десять тысяч в нашей кассе лежали целехонькими. Украл ты их из моего кармана.

— Имей совесть такое говорить! Что я — из твоего кармана в свой положил эти десять тысяч? Да я за всю жизнь гроша ломаного себе не присвоил. Постеснялся бы, Иван...

— Не присвоил? Да мне от этого не легче. Какое мне дело — в твой ли карман ухнули или по дорогам нашим тысячи растряслись! По твоей же вине их нет. Ты директор промкомбината, так, будь добр, болей душой за мой карман. Не болел, ввел в расход — значит, ты для меня вор! А то, что себе в карман не положил, не отговорка. Выходит, ни себе пользы, ни людям. Ни богу свечка, ни черту кочерга! Сняли — и правильно сделали. Может, кого умней поставят. Нашему брату председателю авось легче дышать станет: за десяток кирпичей да за воз тесу в городе шапку ломать не придется. Обидно, вижу, слышать, да, прости, посочувствовать не могу. Душа-то против воли радуется. Так-то!

Директор промкомбината, отвернувшись, принял подписанную бумагу, обиженно бросил, уходя:

— Спасибо, не ожидал от тебя такой охулки...

— То-то не ожидал. Думал: слезу я по тебе пролью,— проворчал вслед ему Чупров.— Не дождешься! Мест-на-я промышленность!

Он увидел сидевшего в стороне Алексея, вспомнил о их разговоре.

— Настаиваешь, значит, чтоб помочь Никите? Твоя воля. Можем поговорить на правлении. Отчего не поговорить.

Алексей не настаивал.

После демобилизации принес Алексей домой погоны

младшего лейтенанта да армейские знания — мог разобрать и собрать с завязанными глазами пулемет, умел скомандовать: «Длинная очередь! Закрепленным в точку! Огонь!» А это в колхозе было не нужно. Офицер, орденоносец, заслуги перед родиной, а не хочешь быть иждивенцем, работай рядовым — вози навоз, езди прицепщиком или становись конюхом.

Выдвинул Алексея Чупров. Строили колхозную ГЭС, нужны были специалисты, и Чупров приказал: «Поезжай на курсы».

Чупров позаботился, чтобы в каждой избе над семейным столом висела электрическая лампочка, чтобы в кормокухне, на токах, в столярке, в кузнице — всюду стояли электромоторы. Маленький домик у плотины над рекой Пелеговкой стал сердцем колхоза. Если утром на мраморной доске, что висит на бревенчатой стене этого домика, не включить рубильник, то циркульная пила в столярке не зальется визгом, не завертится барабан картофелемойки. Не включи рубильник — не сможет колхоз «Красная заря» начать свой трудовой день. А за мраморную доску с рубильником, за турбину, за генераторы, за все, что есть в доме над Пелеговкой, отвечает Алексей Быков. Он стал начальником колхозной ГЭС, одним из самых нужных людей колхоза. И в этом заслуга Чупрова. Нет, спорить с ним Алексею трудно.

Можно было и не за триста тысяч поставить теплицу, дешевле. Но Чупров считал: раз строить так строить — с паровым отоплением, с железным каркасом. Деревянная теплица не простоит и десятка лет. При постоянной сырости в теплом воздухе столбы и венцы стен быстро сгниют, на один ремонт потом придется расходовать вдвое больше.

Строить так строить — навечно, чтобы потомки вспоминали Ивана Чупрова.

Решено было начинать строительство весной, с первых же теплых дней. Но к этому времени надо достать весь материал, чтобы не оглядываться — того не хватает, этого нет.

У Чупрова был надеждый друг — Ефим Трезвый, председатель райпотребсоюза. Он всегда помогал колхозу — или сам доставал, или указывал, где достать.

И на этот раз он не подвел. Сначала сказал: «Надо подумать», а через неделю позвонил: «Завтра принимай князя».

«Принять князя» — значило встретить полезного человека. Встретить так, чтобы тот понял — тут живут люди с широкой душой, с ними не зазорно иметь дело.

«Князь» прибыл на попутной машине, в Пожары от тракта дошел пешком.

В сумерки, когда только-только вспыхнул свет на деревне, он появился в правлении, справился у бухгалтера Никодима Аксеновича, где найти председателя.

Никодим Аксенович хорошо знал ценность таких людей, «случайно» заворачивавших в колхоз. Разыскивать Чупрова был послан помощник бухгалтера Сеня Киселев. Не прошло и десяти минут — явился Чупров.

— Здравствуй, Виталий Витальевич!

— Здравствуйте, Иван Маркелович!

Они поздоровались, как старые знакомые, хотя видели друг друга первый раз.

— Что ж, ко мне пошли? Признаться, не обедал еще. А вы обедали?

— Спасибо, не откажусь.

Дома у председателя стол накрыт чистой скатертью. В чайных блюдечках грибки: маринованные белые, соленые рыжички — каждый грибок с пуговицу, грузди в сметане. В глиняной плошке — гусь, рядом — молочный поросенок, чуть не полстола занимает сковорода с глазастой яичницей. И только в одном нет разнообразия — в напитках. Стоит бутылка простой белой, одна-единственная, а под столом еще целая батарея таких же.

Выпили по первой «за знакомство», закусили грибками, выломали у гуся по ножке. Чупров пытливо посмотрел на гостя.

— Где работаете, Виталий Витальевич?

— На строительстве станкозавода.

Хозяин понимающе кивнул, наполнил стаканы. «Не плохо. Строительство солидное, можно вести крупный разговор».

Выпили по второй — «За ваше здоровье».

— Прямо беда в колхозе со стройматериалами,— начал Чупров.— Вам, государственным строителям, не приходится из кулька в рогожку перевертываться. На всем

готовеньком. Пришел наряд — поезжай и получай. А у нас... Эх, да что говорить! Еще по стаканчику?

— Не хватит ли?

Однако выпили. Хозяин поспешно сменил пустую бутылку.

— У вас там нельзя купить какие-нибудь отходы? Скажем, железо трубчатое?

— Можно.

— Ну, а стекло?

— Можно.

— Так что ж, еще пропустим?

Гость мотнул головой, отодвинул стакан. Чупров спросил, отбросив всякую вежливость:

— Сколько стекла дадите?

— Я простой экспедитор. Надо поговорить, не от меня зависит.

— Ящиков двадцать пять для начала достанешь?

— Постараюсь.

— Добро! Выпьем!

Но гость держал ладонь на стакане.

— Один уговорец. Не знаю, понравится ли.

— Ну? — насторожился Чупров.

— Платить наличными. Никаких счетов, никаких расписок!

— Понятно: товар на прилавок, деньги в руки. Перед банком вывернемся.

— Ваше дело.

Гость пододвинул стакан. Чупров налил.

— За знакомство!

— За знакомство!

Это уже было не то знакомство, за которое они выпили вначале, а новое, деловое.

Дело было начато. Чупров поставил на стол третью бутылку.

Утром следующего дня председатель «Красной зари» провожал гостя. Он вызвал конюха Сашу Братухина и приказал:

— Подбрось-ка товарища до станции на Шайтане.

Сашка кивнул головой:

— Вмиг!

Через неделю пришла машина, груженная ящиками со стеклом. Чупров проверил каждый ящик — стекло было

хорошее. Председатель взял деньги, накопленные в кассе от базарной выручки, и уехал в город. Вернулся через два дня с новой машиной стекла.

Тишайший Никодим Аксенович заприходовал покупку. Никаких счетов не было — нарушение, но что за беда? Будет ревизия? Так в ревизионной комиссии председателем старик Евсеев, членами — кузнец Егор Постнов и Алексей Быков. Свои люди, не враги же они колхозу.

И раньше колхоз строился, и раньше приходилось Ивану Маркеловичу «доставать», минуя банк, то строевой лес для гусятника, то проволочные сетки к вольерам для черно-бурых лисиц. Но теперь стали чаще заглядывать в колхоз разные «князья». Чупров уводил их к себе, оставлял ночевать, а наутро ходил по колхозу с багровой, налитой кровью шеей, разговаривая, старался отворачиваться.

Все это видели, но успокаивали себя: «Уж наш-то Маркелыч не промах. Построим теплицу — окупится. В накладе не будем».

И только один человек с тревогой присматривался к председателю — Алексей Быков.

Как-то он провожал из клуба Раю. Был тихий, мягкий зимний вечер. Из окон на сугробы падал свет.

— Вчера стали квартальный отчет проверять,— заговорил Алексей,— смотрю — куплено стекло-бой. Какой же бой, когда настоящее стекло привезли? А счетов нет!

Рая опустила голову.

— Отец раньше редко выпивал,— сказала она тихо,— по праздникам или в гостях. Теперь каждую неделю пьянка...

— Не нравится мне это, Рая.

— Я и теплице не рада,— призналась девушка.— Да что поделаешь?

— Поговорить бы начистоту.

— Отца моего не знаешь, что ли? Если загорелось — не удержишь. Раз намекнешь, другой, а на третий он подальше пошлет и будет делать по-своему.

Алексей шел рядом с Раей и думал: «Не миновать крупного разговора с Иваном Маркеловичем».

И разговор этот состоялся.

Шло обычное заседание правления. Плотник Андрей Долгоаршинных посасывал свою трубку, старик Евсеев дремал, сторожиха Глафира, хоть и не член прав-

ления, но, как всегда, вытянувшись, сидела в своем углу.

Поговорили о ремонте старого свинарника, о скотном дворе. Потом Чупров сказал, что надо посылать на городской базар с продуктами не одну, а две машины.

— Маловаты обороты, маловаты,— пожалел он.— Кругом строимся. Не хватает казны. Вчера предлагали отходы углового железа, пришлось отказаться — нет денег под рукой.

— В банке триста тысяч лежит,— напомнил Алексей.

— Это железо, Алешенька, на банковские деньги не укупишь,— ответил Чупров.— Не переведут.

— Не переведут,— нечего и связываться.

— А это почему?

— Потому, Иван Маркелович! Нечистые дела заводятся. Обходим банк, счетов не берем. Кроме тебя, никто и знать не знает, откуда товар, почем куплен.

— Тебе-то что? Весь колхоз верит Чупрову, один ты не доверяешь. Строимся, нужен стройматериал, мне предлагают, я покупаю. Вот и все! Без всяких «откуда»! Плачу не дороже государственной цены.

— А если ворованное покупаешь?

— Мне отчета не дают. А я знать не хочу. Благо сам чист перед колхозом и в колхозе чисто, никто не ворует. Что там в иных местах делается — не моя заботушка. Так-то!

— Ты член партии!— с неожиданной для него жесткостью проговорил Алексей.— Партийной совести у тебя нет!

— Член партии! Совесть! Ты, Быков, перестань этим шпынять! Не впервые слышу! Это Никите Бессонову я мог позволить, не тебе. Он мне и по годам ровня, и в партию с ним в одно время пришли, а ты — мальчиш-ка! Молодо-зелено, чтоб указывать!

Алексей вспыхнул.

— Слова не скажи против! Вроде царька ты в колхозе, Маркелыч.

— Алексей, что это тебе шлея под хвост попала? — удивленно спросил Долгоаршинных.— Ну, право, чего напал?

Чупров, навалившись грудью на стол, тяжело глядел на Алексея.

— Вот что,— обрубая фразы, медленно заговорил он,— иль ты будешь указывать, иль я. Садись, стул очищу!

— Да бросьте вы! — поморщился Иван Кустов, не любивший споров.

Чупров смотрел на Быкова злыми глазами.

— Ночами не сплю, стараюсь, думаю, лишь бы колхозу на пользу, других мыслей нет, а тут...

— «Не сплю, стараюсь»,— перебил Алексей.— Молчат все, а я скажу: лишка стараешься, Маркелыч! Так стараешься, что редко трезвым увидишь нынче!

— Алексей, не доводи до греха!

— Уж что правда, то правда, Маркелыч,— неожиданно подала голос Глафира.— Даже мы, бабы, жалеем, как бы не спился стараючись-то.

У Глафиры вырвалось это без злого умысла, так, лишь бы слово ввернуть. Чупров резко повернулся к ней.

— А ты что суешься, старое веретено? Что тут торчишь? Марш отсюда!

Но Глафира была не из тех, кого можно запугать криком.

— Ох ты! Я-то с чистым сердцем, жалеючи! А ты... Не любо слушать-то? Прямо скажу — поговаривают люди, поговаривают: председатель — пан в колхозе, что душеньке надо, берет, не спрашивает. Не поводи глазищами-то! Не боюсь!

— Глафира! Выведем! — приподнялся старик Евсеев.— Только крикни еще, возьму за локоток!

— У-у, выводило! Старуху свою выводи!

Чупров стукнул кулаком по столу.

— Марш отсюда! Кому сказано?

Глафира подхватила свой стул, вздернув острый подбородок, вышла.

— Уж говорят, голубчики, говорят! Не любо слушать-то? — раздалось за дверью.

Чупров вяло махнул рукой.

— Правление кончилось. Хватит, наговорились.

Все стали поспешно подниматься.

Алексей выходил последним. Он был смущен. Попытка одернуть председателя, попытка, на которую он с трудом решился, не удалась. Он уже думал: «А может, я слишком резко говорил? Ведь ради колхоза старается».

Лукерья Федотовна молча поставила тарелку со щами и ушла в боковую комнату. Оттуда донесся протяжный вздох.

— Срамота! Дожили...

Чупров не торопясь принялся за щи. Он знал, что Федотовна не заставит долго гадать, почему сердита и чем недовольна; пяти минут не вытерпит, снова появится, сложит руки на животе и начнет пилить.

Так и случилось. Он не доел щей, как Лукерья Федотовна вышла к столу, минуту-две молча смотрела на мужа и, наконец, убедившись, что ее красноречивый взгляд нисколько его не смущает, сказала:

— Трескает — и горюшка мало, а тут от людей совестно.

Это «от людей совестно» было знакомо Ивану Чупрову. Еще в те времена, когда он стоял за то, чтобы палить Демьяновскую согру, а в ответ ему кричали: «Не желаем! Сменить с председателей!», Лукерья Федотовна так же стояла перед ним и говорила: «От людей совестно».

Он отставил пустую тарелку.

— Что там на второе?

— Второе ему! И не краснеет! А слышал, что по деревне говорят?

— Пока нет, но, видать, услышу. Глафира, что ли, наболтала? Она может, язык без костей у бабы.

— Не одна Глафира была на правлении...

Федотовна стала торопливо выкладывать все услышанное за утро.

— Ушла со двора корова,— хоть и муж дома, да все одно, что место пустое, ворот починить некому. Пошла искать, встретила Настасью, не Кустову Настасью, а Большухину: не видала ли, мол, коровы моей? И та — нет чтоб прямо, а с усмешечкой, жалостливо да ласково: как, мол, Иван твой чувствует?.. «Что, говорю, Ивану сделается? Чуть свет шапку в охапку — и был таков...» А она ехидно так, с улыбочкой: «Говорят, баня ему вчерась была».

Чупров помрачнел, забыл про второе. «Вон как обернулось! Меня пачкать! Ну, Алешка, покаешься!»

Вошла Рая, как-то бочком, тихо, словно невестка в злой семье. Иван Маркелович поднялся, пошел от стола, по пути отбросил подвернувшуюся под ноги кошку, не снимая валенок, завалился на кровать.

Он боялся разговора с дочерью. У этой упреки не старушечьи: «Я как комсомолка... Ты как член партии...» Второй Алешка. Молода, глупа и по глупости такое может сказать — душа кровью умоется.

Рая отказалась от обеда.

Лукерья Федотовна долго ворчала:

— Господи! Варила, варила, ждала к обеду. Один завалился, другая — нá тебе, хвостом верть — не хочу! Разнесчастная я...

И замолчала.

Чупрову стало душно. Он поднялся, оделся и вышел на улицу. Кончался короткий зимний день. Жиденькие сумерки уже робко затягивали дорогу. Снег казался серым. И ни одной души, пусто, словно вымерло. Чупрова охватила тоска, скучными показались родные Пожары. Такое находило на него иногда в первые годы работы председателем, когда колхоз был еще слаб и беден, а народ не хотел его понимать. «Уехать бы, пропади все пропадом, живите как хотите!» Но тут ярким, веселым светом вспыхнули разом все окна в деревне. Сразу же вспомнился день пуска электростанции. Тогда отец Егора Постнова, дед Евлампий, восторженно хлопал себя по острым коленкам и повторял: «Мигнул — и другая деревня! Только мигнул — и другая!..»

— Мигнул — и другая,— проворчал вслух Чупров и подумал: «То-то и оно, другая. Не я б — сидели б, поди, до сих пор, как в «Свободе», при керосинчике. Легко сказать «мигнул».

С новой силой нахлынула обида: мальчишки вроде Быкова учат, призывают к порядку! К кому пойти? Кому раскрыть душу? Ночей не спал, сколько крови испортил... Нечего сказать, отблагодарил! Но это так не пройдет! Покаются!

Он заметил, что подошел к низенькому домику, закрытому кустами. Крыша в снегу, кусты в снегу, и если бы не светящиеся окна, дом был бы похож на сугроб. Устоявшимся миром, покоем потянуло на Чупрова от этих окон.

«А ежели зайти? Живем почти рядом, а в гостях не был. Вот живет в стороне от всего, делает свое дело, спокоен, доволен жизнью».

По расчищенной дорожке Чупров направился к калитке.

Увидев неожиданного гостя, бухгалтер Никодим Аксенович обрадовался.

— Удивлен, Иван Маркелович, удивлен! Не скрою. В кои-то веки.

— Слышал, что про меня плетут? — в упор спросил Чупров.

— Не спеши, всему свое время. Полушубочек снимай. Холодищем от тебя разит. Бр-р-р! Мария, матушка, самоварчик изготовь да поищи в шкафчике — может, чего погорячей найдешь. Примощайся, Маркелыч, к столу...

Из-за полинявшей занавески вышла жена бухгалтера Мария Мироновна, медлительная, водянистая старуха. Она поставила на стол темную бутылку, тарелку с кусками сала, хлеб, стаканы.

— А лучок, матушка, забыла. Лучок — первая закуска!

Выпили, закусили. У Никодима Аксеновича на щеках выступили красные пятна.

— Никакой благодарности нет у людей, Иван Маркелович,— начал хозяин.— Иду сегодня с обеда, вижу у никифоровского дома стоят Марья Петухова и Алевтинка Рыльцева. Сам знаешь: две бабы — базар... И чешут они языками. На тебя обижаются, видишь ли. Мол, ты власть большую забрал (уж прости, с чужих слов говорю), куда только хочешь, свою руку запускаешь.

Чупров налил себе водки.

— Запускаю, говорят?

— Запускаешь.

— Ну и пусть говорят. Этим Марьям да Алевтинкам не впервой. Когда колхоз поднимал, я от них и слова-то доброго не слышал. И такой я был и сякой. Потом опомнились. И нынче опомнятся. Дойдут куриными мозгами, что если запускаю куда руку, то на их пользу. Вот, скажем, колхозу скоро нужны будут трубы. Кто знает, где их достать? А знать, к примеру, может Ефим Трезвый, председатель райпотребсоюза. Он, конечно, мне друг, может и без корысти подсказать. Но раз он друг мне, то и колхозу моему друг, и я должен вести себя по-дружески: надо пригласить на блины, угостить медовухой.

— Как же, как же,— закивал головой Никодим Аксенович.

— И трубы приходится доставать, и проволочные сетки, и стекло,— сколь народу побывает, подсчитай-ка! А ведь своих ульев не держу, и коровенка у меня незавидная — не для себя живу, для колхоза!

— Вот-вот и я говорю, Иван Маркелович. А ты послушай...— Никодим Аксенович тронул сухонькой ручкой тяжелую руку Чупрова.— Откажись-ка от руководства.

В ножки поклонятся, просить будут: «Не покинь нас, Иван Маркелович».

Чупров об этом думал и еще дома решил так поступить. Но то, что Никодим Аксенович ему подсказывал, было сейчас неприятно. Вообразит, что он, Иван Чупров, его умом стал жить.

— Не учи, Никодим. Как-нибудь своей головой дойду.

— К слову я,— улыбнулся бухгалтер.— Знаю — себя в обиду не дашь.

Чупров простился и вышел.

Одно к одному — перегорела обмотка на якоре, стала электростанция. Света нет. Утром доярки на скотном поругались из-за фонарей. Пилорама в столярке не работает. В кормокухне барабан картофелемойки приходится крутить вручную. Кузнец Егор Постнов вспоминает у горна и бога и черта, а пуще всех Алексея Быкова, «электрического начальника». Чтобы двигать руками мехи, надо снимать все приспособления, поставленные самим Егором.

И в такой-то день председатель не вышел из дому.

Случалось, что он оставлял колхоз не на день, не на два, а на недели, даже уезжал как-то на два месяца в город на курсы. Но всегда перед отъездом Чупров обходил хозяйство, бригадирам, заведующим фермами давал наказы. «Так-то и так-то без меня действовать». Иван Кустов тогда заменял председателя. Теперь же Чупров никого не предупредил.

Поговаривали — заболел. Но плохо верилось. Никто в деревне не помнил, чтобы Иван Маркелович залеживался в постели.

Старик Евсеев решил зайти к председателю.

— Что с хозяином случилось? — спросил он у Лукерьи.

— На такой работе и лошадь надорвется,— сердито ответила Федотовна.— Работает, работает, а какая благодарность! Одни укоры!

Евсеев хотел потолковать с больным, но хозяйка выпроводила старика за дверь.

— Нечего беспокоить! Довели человека...

Чупров валялся в постели одетый, листал от скуки книжки Раи, но чтение не шло на ум. «Нет, нельзя показать, что все эти обиды как с гуся вода. Не прежнее время! Пора бы научиться уважать Ивана Чупрова!»

К вечеру лежать стало невмоготу. Чупров оделся, сунув глубоко в карманы полушубка руки, пошел в правление.

Едва переступил он порог, сразу понял: «Ага, вот оно что! Припекло!»

В конторе было полно народу: бригадиры, члены правления, просто колхозники — все тут. Председателя встретили виноватыми взглядами. Иван Кустов поспешно соскочил со стула, освободил место.

— Так вот, дорогие товарищи колхозники,— сурово начал Чупров,— много раз обижали меня несознательные элементы. Но это было в начале, так сказать, нашей общей жизни. Уж я бы должен авторитет заработать. Ан нет. На днях были пущены грязные слухи. Повторять их здесь? Сами разносили, знаете... Скупаю ворованное, пьянствую.

— Не все же разносили эти слухи,— подал голос Андрей Долгоаршинных.

— И верили им не все! — прогудел бас кузнеца Егора.

— Глафира наболтала.

— Я? Не ты ль бегала по деревне языком трепала! — вскинулась Глафира.

— Тихо! — привычно, как на собрании, сказал Чупров, и кругом стихло.— Знаю — не все. Знаю — верят в меня еще в этом колхозе. Потому и пришел к вам. Но есть и такие, кто вставляет мне палки в колеса. Это не Глафира, нет! Глафира — темный элемент.

— Ой, наговоры на меня, Маркелыч! Истинно говорю — все наговоры.

— Помолчи. Мне обидно слушать упреки от таких людей, как Алексей Быков. Я его на высоту поднял, а вот вместо благодарности... Не вижу его здесь, а жаль, поговорить бы при народе начистоту!

— Ишь, как до дела, так и не пришел!

— Да некогда ему. На электростанции ремонт делает.

— Сбегать за ним! Коль люди попросят — время найдет!

Несколько парней выскочили на улицу. Глафира тоже, накинув на голову полушалок, нырнула в дверь, но не за Алексеем — надо сообщить всем: «Идите в правление! Быкова Алексея обсуждать будут! Сам Иван Маркелович пришел».

И пока бегали за Алексеем, народ плотно забился в контору.

Алексей пришел запыхавшийся, в расстегнутом полушубке. Ему уступили дорогу.

— В чем дело? — спросил он, удивленно глядя на Чупрова и уже смутно чувствуя, что над его головой нависло недоброе.

— Спроси людей,— движением подбородка указал Чупров на тесно сбившихся колхозников.

— Пусть покается перед Иваном Маркеловичем!

— Проси прощения!

— Что такое? — оглядывался Алексей.— В чем дело, ребята?

— Председатель из-за тебя заболел!

— Иван-то Маркелович нам дороже тебя!

— Сплетням способствуешь!

— Председателя грязнишь!

Алексей, побледнев, молчал.

— Ишь глаза-то бегают!

— Совесть заела!

Иван Кустов, напуганный случившимся, кричал надрываясь:

— Тихо! Нельзя же так! Пусть Алексей извинится перед Иваном Маркеловичем. Ей-богу, ничего страшного нет, а раскричались!

— Правда! Пусть извинится!

— Повинись, Алексей!

Чупров, видя бледное и решительное лицо Алексея, понял, что тот не извинится, что пахнет скандалом, что слух об этом дойдет до райкома.

— А ну, тихо! — Он повернулся к Алексею.— Не надо твоих извинений. Я не оскорбленная барышня, чтобы пардоны выслушивать. Одно пойми — хочу добра колхозу, и не становись поперек, не учи меня жить. Молод!

Алексей молчал.

— Вот и все,— произнес Чупров.— Расходитесь!

На другой день Рая узнала все, что произошло. Все обвиняли Алексея, его ругали, сочувствовали председателю. Рая поняла: все отвернулись от Алексея, он остался один.

Едва стемнело, Рая пошла к электростанции.

Алексей выскочил к ней без шапки, в накинутом на плечи полушубке.

— Ты, Рая? Пришла! Спасибо. Думал, и ты сердита.

— Сердита я, Алеша, сердита! Ведь предупреждала же, ведь говорила! Не послушал, вот и случилось.

— Да...

Он стоял перед ней, наклонив голову со спутанными волосами, поглядывая испуганно из-под бровей.

— Иди шапку надень. Простудишься.

— Подмял меня твой отец, Рая,— вздохнул Алексей.— В землю втоптал. Я ж за него боялся, предупредить хотел, добра ему желал. Не понял, не захотел понять! А за ним все уж следом. Никто не понял. Ты б слышала, как кричали, словно враг я им.

Голос Алексея сорвался. Он помолчал.

— А ведь коммунисты среди них были: Иван Кустов, Евсеев. Какой же я секретарь партийный? Разве посмели бы так орать на Бессонова? Выходит, пустое я место. Страшно, Рая... От меня сейчас все шарахаются. Пусть виноват, ошибся, не надо бы при Глафире лишнего болтать. Обсудили бы на собрании, освободили бы, дали бы выговор — пусть! Все легче! А он перед народом унизил! А сталкивать меня с секретарей твой отец не хочет, невыгодно ему. Райком ведь заинтересуется...

— Так ты сам в райком иди!

— Эх! Думал об этом! Ну, пойду, так ведь сейчас против меня весь колхоз. Пришлет райком человека, тот встанет на мою сторону, меня здесь еще больше возненавидят: ага, мол, жаловаться полез! Ничего я этим не добьюсь, глаза им не раскрою. Опять для них Иван Маркелович свят и чист, а я жалобщик, клеветник. Да и в райкоме-то Ивану Маркеловичу больше поверят. Он старый председатель, а я — молодо-зелено.

— Так что же делать?

— Не знаю.

Чупров сидел дома. Раскрасневшийся, потный, он допивал пятый стакан чаю.

— Садись,— добродушно сказал он, когда Рая вошла в избу.— Мать, медку нам подкинь. Еще станканчик выпью.

Рая тяжело дышала.

— Кто за тобой гнался?

— Никто.

— То-то и видно. Да не бойсь, пытать не стану, сам молодым был.

— Отец!

— Что?

— Сейчас видела Алексея.

Иван Маркелович насторожился.

— Ну и что же? Чего тебе с ним не видеться, чай, каждый вечер встречаетесь?

— Говорила с ним.

— Коль не секрет — о чем?

— О том, как ты его перед народом осрамил.

— Я?.. Я тут ни при чем. Колхозники срамили.

— Он же тебя хотел предупредить.

— О чем?

— Сам знаешь.

— Ну, хватит! Предупреждения надоели.

— Если он виноват, почему ты на партийном собрании вопрос не поставил?

— Много будешь знать — скоро состаришься.

— А я знаю! Будешь настаивать, чтобы его сняли, райком заинтересуется, а это тебе невыгодно. Всплывет кое-что.

Чупров свирепо крякнул, поднялся из-за стола.

— Раз и навсегда говорю: миловаться с ним милуйся, а меня не трожь!

— Нет, трону!

— Тогда из моего дома уходи! К нему, коли он дороже!

— И уйду!

— Да это что же такое? Матушки мои! — испугалась Федотовна.— Иван, опомнись! А ты, вертихвостка, против кого кричишь?

— Молчи! — повернулся Чупров к жене и холодно кивнул дочери.— Можешь собираться!

— Не пущу! — крикнула Федотовна.— На позор-то всей деревне. Без свадьбы. Не пущу!

— Мать! Пусти ее! Мать! Старая дура! Кому говорят — отстань! Пускай идет, коль совести нет.

Федотовна села на лавку и запричитала:

— Головушка моя горькая! И за что такое наказание? Кормила, холила, в люди выводила... На позорище-то всем!..

Рая стала собирать свои платья и книги. С тяжелым чемоданом она вышла на улицу.

В колхоз приехал Ефим Трезвый. Он сообщил Ивану Маркеловичу, что есть возможность купить цемент. На новом скотном надо было цементировать дорожки. Чупров

пригласил гостя к себе. Федотовна, забыв о том, что когда-то упрекала мужа — «от людей совестно», бегала то на склад за свининкой, то на птицеферму за свежими яичками.

Все улеглось. Мало ли бывает неприятностей в беспокойной жизни председателя колхоза!

...Бухгалтер Никодим Аксенович, как всегда, заприходовав покупку цемента, принес документы на подпись к Чупрову. Тот расчеркнулся и вернул бумаги. Никодим Аксенович молча стоял у стола.

— Чего там еще?

Бухгалтер нерешительно поежился.

— Оно твоя воля, Маркелыч. Ведь мы без счетов покупаем. Сам понимаешь, как мне приходится изворачиваться. А вдруг что случится. Рискую!

— Кто спросит? Я один могу спросить. Я председатель!

— Все же опасно. Могут притянуть за нарушение финансовой дисциплины.

— Меня притянут, я и отвечу. Ты за мной, как за каменной стеной. Чего таким трусливым стал?

— Я не к тому, Иван Маркелович.

— Тогда к чему же?

— Старуха больная, хозяйство в упадке...

Чупров начал понимать, в чем дело.

— Уж не хочешь ли погреться на колхозных покупках?

— Твоя воля,— со вздохом ответил бухгалтер.— Ты ж, к примеру, Ефима Арсентьевича не обижаешь.

Чупров нахмурился.

— Ты кто? — спросил он в упор.

— Чего?

— Колхозник ты или нет? Колхозник! Так служи без корысти колхозу, не оглядывайся на Ефимов Арсентьевичей. Им наш колхоз — с боку припека. Потому-то иной раз и приходится благодарить. Так-то! Я же себе ни копейки не беру!

— Твоя воля,— подавил обиженный вздох Никодим Аксенович.

Когда бухгалтер ушел, Чупров призадумался: «А ведь при таких оборотах, какие я провожу, трудненько ему изворачиваться. Другой бы перечил, на стенку лез, а он молчит, делает, что ни скажу. Напрасно обидел, напрасно. Сам к нему несправедлив был. В чем его можно упрекнуть

по работе? Ни в чем! Тих, потому и неприметен. А надо приметить».

Чупров в тот же вечер написал приказ о премировании бухгалтера Ляпина деньгами в сумме двухсот рублей. Сам Чупров скоро забыл этот случай. Никто из правления не обратил на него внимания.

Для теплицы нужны трубы, заменяющие столбы, что поддерживают крышу, и трубы парового отопления. Чупров решил съездить в город сам, встретиться с людьми, которые могут помочь. Такие люди не предложат услуг, их надо просить, с ними надо подружиться.

Чупров знал, как это делается.

Городской ресторан «Север» на языке «деловых» людей назывался «Черная ночка». Там весело и непринужденно заключались всякие сделки. Чупров занял кабинку и стал ждать. Скоро появился знакомый Чупрову Виталий Витальевич, с ним — высокий, представительный человек.

— Познакомьтесь: Николай Степанович Рябчик.

Чупров и Николай Степанович поздоровались.

У Рябчика были большие волосатые руки, крепкая шея, выпуклые, с веселой улыбочкой глаза.

— Что тут нам в закутке сидеть? — сказал Рябчик.— Не люблю! А ну, перейдемте ближе к народу!

По тому, как новый знакомый сочно произнес свое «не люблю», и по тому, что он захотел быть «ближе к народу», Чупров уверился: «Да, птица не маленькая. Стоит обхаживать».

Прошли в общий зал. Мгновенно вырос перед ними официант.

— Мы люди русские,— веско заметил гость.

— Двух братцев нераспечатанных,— значительно кивнул Чупров.— И... закусить... соответ-ствен-но.

За первым графинчиком Чупров начал жаловаться на трудности со стройматериалами. Но новый знакомый был или очень прост, или хитер без меры. Едва только Чупров заикался о трудностях, он обрывал его:

— Выручим! Еще по маленькой.

Официант менял графинчик за графинчиком. Багровела шея у Чупрова, багровела шея у Николая Степановича.

— Выручим! Мое слово свято! А ну, еще.

— Он выручит,— твердил Виталий Витальевич заплетающимся языком.— Его слово свято. Он бог у нас.

— Ты мне нравишься! — трепля по плечу Чупрова, говорил Николай Степанович.— Всем выручу! Ты мужик. Черноземная силища! Я сам из мужиков. Вельского уезда! Стал инженером. Строятся мужики, разворачиваются! Выпьем за мужиков, которым не хватает строительных материалов.

Сверкавшие под электрическим светом бокалы на столе начали туманиться в глазах Чупрова.

— Выпьем! — нажимал Рябчик.

— А выручишь?

— Дай руку!

— Тогда выпьем!

Виталий Витальевич упал головой на стол, зазвенели рюмки.

— Э-э, не годится. Рано! — произнес Николай Степанович.— Некрасиво! Каждый раз вечер так портит. Слабоват! Придется кончить.

Виталия Витальевича свезли на квартиру.

Николай Степанович, в добротном пальто, краснолицый, с улыбкой в выпуклых глазах, остановился у машины и, пристально глядя на Чупрова, спросил:

— Кончим или продолжим?

Чупров на морозе чуть протрезвел. Он понял, что сказать «кончим» — обидеть, испортить вечер и, возможно, проиграть то дело, ради которого они собрались.

— Продолжим,— ответил он.

Николай Степанович одобрительно улыбнулся.

— Тогда едем, компанию соберем. Двоим скучно.

Через полчаса битком набитое незнакомыми Чупрову людьми такси неслось обратно к «Черной ночке».

...Чупров проснулся. На стенке, оклеенной голубыми обоями, висел коврик: большеголовая, с загнутыми длинными ресницами девочка гонит двух краснолапых гусей.

«Где это я?»

Он спал одетый, но босой, на неразобранной койке. На полу лежали валенки.

«Где я? Что случилось? Ах да!» Чупров начал припоминать. Ресторан, шумная компания. Улица. Качающиеся фонари. Какой-то полуподвальный буфет. Испуганное лицо буфетчика. Оно пухнет, шевелится в его глазах, кажется жидким. Значит, падает на пол посуда.

Чупров сел на смятой кровати. Голова тяжелая, во рту гадко.

Комната совсем незнакомая. Через полузамерзшее окно видна городская улица. Ходят люди, проплыл голубой автобус. На полу валяется детская игрушка — тряпичный зайчонок с мятыми ушами.

Дверь открылась. Чупров поспешно спрятал под койку босые ноги. Вошла женщина с желтым и сердитым лицом. Мельком взглянула и отвернулась.

— Умываться — по коридору направо,— резко сказала она.

Уже на улице Чупров вздохнул свободно: «Слава богу, вырвался!»

Зашел в столовую, заказал чаю и вынул из кармана деньги. Он взял с собой восемь тысяч. Сейчас оставалось пятьсот рублей с мелочью.

«Не может быть, чтоб все прогуляли. Ну, тысячу, ну, две, а за три так совсем мертвым ляжешь!»

На улице из автомата Чупров позвонил к Виталию Витальевичу.

— Как насчет труб? Можно ли надеяться?

— Трубы будут. Николай Степанович обещал. В любое время посылай машину.

Чупров задумался.

«Дорогонько обойдутся эти трубы».

Было раскаяние, была злость на себя и на Рябчика, но страха, что придется отвечать за растрату, не было. Семь тысяч, подумаешь! Колхоз не убогий, уладится!

На колхозной машине привезли из города первую партию труб, с ними — письмо председателю. В письме размашистым, сильным почерком всего несколько слов: «Уважаю за широту души. Надеюсь, что ни в чем не обижу. Договаривайся с В. В.— Н. С.».

Чупров выругался: «Широта, черт бы тебя взял! От такой широты недолго по миру пойти». Было неприятно вспоминать, как он сорвался в городе: «Что молодой жеребчик, очертя голову с дороги — в яму».

Однако узелок был завязан. Оставалось щекотливое дело — уладить с Никодимом Аксеновичем, чтобы тот сумел как-то обойтись с этими пущенными на ветер семью с половиной тысячами.

Покашляв в сухонький кулачок, Никодим Аксенович

присел к столу, уставился на председателя. Очки у бухгалтера были старенькие, сидели на носу криво, придавали мелкому лицу значительное и таинственное выражение. Он молчал, ждал, что скажет ему Чупров.

— Так-то, Никодим, трубы пришли, но вот они куда сели! — Иван Маркелович похлопал себя по загривку.— Пришлось все пороги обить. Мы люди не гордые, ног не жалко. Только под каждым порогом приходится оставлять...— Председатель вытянул руку, выразительно потер большим и указательным пальцами.— Понимаешь?

— Сколько? — со вздохом спросил Никодим Аксенович.

— То-то и оно, что много. Семь с гаком.

Никодим Аксенович снова вздохнул.

— Широкий ты человек, Иван Маркелович. Одному готов шубу из сотенных шить, а другому — кусок бросишь, и то с оговорками.

— О чем ты?

— Да все о том. Не хотелось говорить, ждал — сам смекнешь, а, видно, придется напомнить. Я твой первый помощник. Без меня — как без воздуха. Ты считаешь, что только сам достаешь трубы да стекло. Не только ты, и я достаю. Без меня ты по рукам и ногам связан, ржавого гвоздя не достанешь на стороне. А что я от тебя вижу? Ничего. Сам-то себя не забываешь, пьешь вволю с дружками, ешь всласть... Тебе стоит только шепнуть словечко: ну-ка, мол, скатерть-самобранка,— и готово. Не жизнь, а масленица.

— Никодим! Забываешься.

— Не я, а ты, Маркелыч, забываешься. Кинул кусок — на, подавись. Дороже я стою, ей-богу, дороже.

Сначала шея, потом уши, скулы Чупрова стали наливаться краснотой. Никодим Аксенович зябко повел плечами: все в колхозе знали — страшен бывал председатель в гневе.

— Та-а-ак! Уходи-ка отсюда, божий человек! Уходи с глаз, пока не раздавил и душу твою поганую не вытряхнул! Благодарности выпрашивает! Семью тысячами пугает! Иди вон! Эти семь тысяч на себя возьму.

Никодим Аксенович не уходил.

— Ладно, пусть уйду я, пусть ты повинишься в этих семи тысячах. Пусть даже простят их тебе. А дальше как?

— Не твоя заботушка!

— Не моя, то правда. Твоя заботушка. Что дальше

будешь делать? Кого на мое место посадишь? Сеньку Киселева? Тот, конечно, что ни скажи, сделает. Только по неопытности он в первом же деле себя и тебя запутает. Да ведь и я просто так не уйду, дам знать кой о каких документиках. Уйти, говоришь? Могу! Да сам не пустишь.

— Что тебе нужно, старый пень?— поморщился Чупров.

— Жить вместе по совести.

— По совести? Еще на такое слово язык поворачивается!

— Ты трубы достал. Кто-то помог. Кого-то, знаю, ты благодарил. Не в воздух же ушли семь тысяч. А я каждый день помогаю. Грешно, Иван Маркелович.

Чупров вышел из-за стола, расставил толстые ноги в больших, крепких валенках. Его руки, перевитые набухшими жилами, грузно повисли вдоль тела. Казалось, поднимет руку, толкнет легонько, и сухонький Никодим Аксенович вылетит в дверь вместе со стулом. Но Чупров не поднял руки.

— Не зна-ал, Никодим, что у тебя такая корыстная душа. Ладно, не обижу!

— Иван Маркелович, сам посуди...

— Сказал — не обижу! Моему слову не веришь? Все!

Никодим Аксенович вышел.

За труды было «выплачено» на пятьсот рублей больше: эти пятьсот взял себе Никодим Аксенович.

Чупров долго вертел в руках документы, хмурился, бросал на бухгалтера тяжелые взгляды, но все же поставил подпись.

Со строительства привезли отходы углового железа.

И снова мрачно вертел перед глазами бумагу председатель.

— Не накладно ли будет каждый раз куш отрывать?— спросил он Никодима Аксеновича.

— Вольному воля,— вздохнул тот.— Можешь не подписывать, Иван Маркелович. Только я по-другому оформлять отказываюсь.

— Смотри, Никодим, выведешь из терпения!— погрозил Чупров.— Дороговато обходишься колхозу.

— Не дороже, чем ты, Иван Маркелович.

— Я себе ни копейки не беру!

— А вот обожди, покажу.

Никодим Аксенович вынул из кармана обыкновенную смятую ученическую тетрадку.

— Что еще?— насупился Чупров.

— Прочти, увидишь.

Чупров небрежно взял тетрадь.

— «Двадцать первого октября — один килограмм масла». Что это?

— Списочек, Иван Маркелович. Когда что брал для себя и для гостей.

Чупров перелистывал страницы, исписанные плотным почерком. Только бухгалтер мог так старательно отметить все, даже самые мелкие грешки, оценить их в рублях и копейках.

— Вот оно что! С октября за мной следил. Ждал, когда споткнусь.

Ноздри Чупрова раздулись.

— Вот твоя писанина!.. Вот!.. Грош ей цена!

Он разорвал тетрадь, бросил под стол.

— Заново, Иван Маркелович, не трудно составить, заново...

— Пошел вон!

Никодима Аксеновича как ветром сдуло.

Документ о покупке углового железа остался на столе и весь остаток дня смущал Чупрова.

Вечером он ушел домой, не подписав счета.

На другой день бухгалтер подал заявление об уходе с работы. Чупров скомкал и бросил его. Он знал теперь, что если не существует, то может существовать копия ученической тетради с таблицей умножения на обложке. Знал, что в любое время Никодим Аксеновия может доказать документами каждую цифру, записанную в ней. И рад бы избавиться, и нельзя отпускать от себя этого подлого человека.

Чупров выбросил Никодиму Аксеновичу бумагу о купле углового железа.

— Смотри, Никодим, доведешь меня.

Бумага была подписана. Никодим Аксенович скромно уставился в пол. А Чупров даже съежился на стуле от злобы: «У-у, старая перечница, рад, что верх взял!»

Прежде, когда бухгалтер приносил на подпись бумаги, Иван Маркелович как-то не замечал его. Он глядел в бумаги, а не на тех, кто их подает. Теперь он подмахивал бумаги, не читая. Читать — расстраивать себя. Зато в такие минуты он, не поднимая взгляда на Никодима Аксе-

новича, ощущал его всей кожей, каждой клеткой, ощущал с болезненным зудом. У Чупрова дрожали руки, он с усилием их сдерживал, чтобы они сами собой не сжались в кулаки. Все же он подписывал бумаги. Подписывал и молчал. Было стыдно за самого себя. И он знал — долго не выдержит.

Чтобы Никодим Аксенович не мог сорвать куш с очередной сделки, Чупров прекратил покупки. Стало легче дышать, Иван Маркелович начал даже по-старому покрикивать на бухгалтера.

Маломощные колхозы возили продавать свои продукты на базар в райцентр, колхозы покрепче, имеющие по четыре, пять грузовых машин, везли на базары областного города. Хоть и дальше, но выгоднее.

Каждую неделю из деревни Пожары отправлялись в город две трехтонки. Продавец Максим Боровков аккуратно сдавал под расписку Никодиму Аксеновичу базарную выручку.

Максим давно упрашивал Чупрова освободить его от торговли. «До седых волос за прилавком покрикивать буду, что ли?— спрашивал он.— Ребята учатся. Алексей Быков меня на год старше, а уж на электростанции начальствует, журналы по электротехнике читает. Мне и за книжку сесть некогда. Только приедешь — собирайся обратно. Цыганская жизнь!»

Чупров отказывал Максиму — некого поставить. Тот пожаловался в райком комсомола. Приходилось освобождать.

Щекотлива должность базарного продавца. Цены на продукты обычно устанавливает правление. Но продавец может их чуть повысить, может и снизить. Это его право. Он должен приспосабливаться к базару. Сегодня большой привоз мяса — цена падает, завтра привезут меньше — цена подскочит. Базарному продавцу приходится иметь дело с большими деньгами. Только людей, в честности которых нельзя сомневаться, можно ставить на такую работу.

Прежде посылали торговать двоих: не для того, чтобы один следил за другим, просто двоим удобнее работать. Но Максим отказался от второго: «Справлюсь. Лишний человек в колхозе пригодится». Будь кто другой на его месте, могли бы подумать: а не для того ли он отказался, что одному вольготнее? Но в Максиме не сомневались.

Кого теперь назначить?

Чупров остановился на Павле Штукине, учетчике сепараторного пункта. Это был парень мало приметный, кончил семь классов, ушел делопроизводителем в «Маслопром», проработал там три года, соскучился за конторским столом, вернулся в деревню. Чупров решил: «Пожалуй, по нутру придется Павлу работа продавца».

Первый раз Павел Штукин поехал на базар с Максимом. Вернулись оба довольные. В бухгалтерии при сдаче денег присутствовал Чупров.

Максим вышел на середину комнаты и, шутливо раскланиваясь перед Чупровым и Никодимом Аксеновичем, сказал:

— Внимание! Наш казначей достает капиталы!

Павел Штукин уселся на стул.

— А чего, а чего?— ворчал он.— Ты-то привык. А вдруг что случится? Сумма-то большая.

Он стянул один валенок, потом другой, на пол упали скомканные бумажки. Павел осторожно собрал их в кучу, для верности потряс над кучей валенки, пошарил в них рукой. Так, в полушубке, босиком, он, сосредоточенно сопя, принялся считать выручку.

Чупрову это даже понравилось: «Смех смехом, а парень без ветра в голове. Дорожит честью».

На другой день он отправлял Павла одного, сам проводил его до машины, на прощание пожал руку.

— Базарный доход — становая жила колхоза. И новые скотные, и новые теплицы — все на нем держится. Ты отвечаешь за то, чтоб эта жила не подсыхала. Ты большой человек в колхозе. Максим это недопонимал.

Жизнь шла обычным порядком. Иван Маркелович с утра до вечера занимался хозяйством. Никодим Аксенович присмирел. Казалось, все улеглось.

Павел Штукин должен был становиться опытнее, набираться торговой смекалки, но доход с бараза почему-то не рос.

Чупров заметил, что у парня появились новые галстуки, что он курит дорогие папиросы. И это еще полбеды. Беда была в том, что Павел Штукин стал увиваться возле Никодима Аксеновича.

Базарный продавец всегда связан с бухгалтером. Он сдает деньги, расписывается в получении новых товаров. Но почему все же вечерами молодой парень, вместо того чтобы идти в клуб, где и танцы, и радио, и девчата, сидит со стариком? О чем они толкуют?

Чупров решил принять меры. Он каждый день начал звонить по телефону в город, узнавать цены на базаре.

У стола бухгалтера, развалившись, положив ногу на ногу, сидит Павел Штукин. Никодим Аксенович чему-то весело, по-стариковски лукаво посмеивается. Они оба оборвали смех, когда появился Чупров.

«Не надо мной ли?»— подумал Чупров и кивнул продавцу:

— Павел, зайди!

Даже то, что Павел не сразу вскочил, не бросился следом, показалось председателю подозрительным: «Марку выдерживает, хочет показать: мол, не боюсь».

Павел вошел. Невысокий, большеголовый, он сел неловко на стул, уперся руками в колени, расставив в стороны локти.

— Как торгуешь?

— Ничего, Иван Маркелович.

— А по-моему, плохо! У Максима дела веселее шли.

— Тогда что ж...— Павел развел плечи, выставил грудь.— Что ж, коль не нравлюсь, освободите.

— С такой должности освобождают знаешь как? Передав суду!

— Меня в суд?

— Не меня же. Я не воровал. Почем в этот раз свинину продал?

— По двенадцати. Известно же, записано.

— Врешь! По восемнадцати! Тысячу восемьсот рублей за один выезд в карман положил.

— Да что это такое! Не поеду больше, снимайте.

— Снять недолго. Сначала заставим признаться и заплатить все до копеечки. Уж раз заметили, значит ты не только эту тысячу восемьсот прикарманил.

— Ничего я не брал! Чего вы на меня напали?

— Запомни!— строго сказал Чупров.— У тебя две дорожки: стать честным человеком или... Слышишь меня? Или под суд! Других дорог нет! И не надейся меня одурачить. Я стреляный воробей.

— Снимайте! Судите! Ничего я не брал, ничего не знаю!

Павел поднялся.

— Куда?

Но тот не слышал, у дверей повернулся, произнес с угрозой:

— Смотри, Маркелыч: не хватай — руки обожжешь!

Минут через пятнадцать тихо открылась дверь. Вошел бочком Никодим Аксенович, остановился у порога.

— Маркелыч!— сухо произнес он.— Ты брось приставать к Павлу.

— Снюхались, подлецы! Я вас...

— Не пугай, не страшно! Судом стращаешь! Нам не высоко падать, а тебе из партии, с председателей да под суд — высоконько, вдребезги расшибешься.

Никодим Аксенович шагнул ближе.

— Подобру-то решить лучше. Пашка-то у нас в ежовых рукавицах. Не отбрыкивайся, а пойми — подле нас тебе выгоднее. Не обделим.

У Чупрова похолодели руки. Его подкупали! Его, Ивана Чупрова!

Он вскочил, через стол схватил Никодима Аксеновича за грудь, протащив животом по чернильному прибору, легко притянул к себе.

— Задушу стервеца!

Они смотрели друг другу в лицо, оба бледные — один от испуга, другой от обиды, гнева, унижения.

— Святое бы дело, да руки пачкать...— Чупров оттолкнул от себя старика.— Жди, гад, гостей! Себя не пожалею, а тебя припеку! Все расскажу. Хватит!

Он вышел, хлопнув дверью.

Никодим Аксенович, помятый, все еще бледный, торопливо оправил на себе пиджачок.

Чупров размашисто шагал к конюшне.

Сейчас он поедет в райком, все расскажет. Начистоту! Прямо первому секретарю! «Так и так, Борис Степанович. Я, быть может, и сам некрасиво поступал, но для колхоза старался. А вокруг меня повылезли поганки. Ступить не дают, душат, тянут к воровству». Признаться, а там пусть казнят или милуют. Он все примет.

Ему показалось, что дежурный конюх слишком медленно запрягал лошадь, он отодвинул его: «Копаешься». Сам накинул хомут, затянул супонь.

Лошадь шла от деревни лениво. Чупров сидел в санях и горбился от тяжелых мыслей.

Каким он был раньше! Ругали его, сплетни пускали, на собраниях кричали против — и ничего не пугало, знал твердо: все эти сплетни, вся эта брань, что дорожная грязь на сапогах, пока свежа — держится, подсохнет — сама отпадет, лучшие колхозники всегда поддержат.

А последнее время стал бояться брошенного случайно косого взгляда. Совесть нечиста.

Он встряхнулся, начал похлестывать лошадь. «Скорей бы приехать, назад пути нет. Разорву веревочку. Может, с кровью рвать придется, но все одно. Жалеть нечего. Даже семья развалилась. Дочь ушла из дому. И правильно сделала. Не ушла бы — ее бы запачкал. Стали бы говорить о Райке: «У нее отец вор». Признаться! Очистить душу!»

Районное село засыпало, лишь в отдельных домах мигали неясные огни. Чупрова охватили сомнения.

«Не поздно ли к секретарю? Не сгоряча ли я?»

Окно в кабинете на втором этаже светилось. Чупров привязал лошадь, подкинул ей сена, вздохнул и пошел к двери.

Пока поднимался по лестнице, по-ночному тускло освещенной всего одной лампочкой, он вспомнил, как в прошлом году секретарь райкома Сутулов разделался с инструктором Шубным. Шубный, разъезжая по командировкам, не любил отказываться, когда ему «клали на дорожку». А на дорожку некоторые усердные председатели подсовывали в сани то живого поросеночка, то пудик крупчатки, то туесок меду. Шубного сняли с работы.

Секретарь райкома поднялся навстречу и сожалеюще чмокнул губами.

— Вот беда, и ночью не спрячешься,— произнес он добродушно.— Садись, садись, знаешь, что не выгоню.

Чупров опустился в кресло.

Они знали друг друга года четыре. Оба придерживались в разговорах полушутливого, полусерьезного дружеского тона. Секретарь райкома обращался к председателю на «ты», у председателя к секретарю «ты» проскакивало, когда увлекался разговором.

— Раз добрался до кабинета, знать не прогонишь,— ответил Чупров, улыбаясь.

— Только все же особенно корни не пускай в кресло, хочу еще почитать. Выкладывай, с чем пожаловал.

«С чем пожаловал?» Если сказать, голос секретаря станет жестким, лицо сухим. Чупров почувствовал: он не в силах нарушить этот приятный, дружеский тон. Сами собой подыскались слова.

— Много в райкоме читают. Да-а, много. В прошлый раз пропагандист наш Колосков заезжал к нам. Мы его просим — лекцию прочитай, а он нам — некогда, завтра

к семинару «Анти-Дюринг» проштудировать должен.— Чупров говорил, хитро улыбался, а в душе с тоскливым холодом спрашивал себя: «Что я говорю? Что?»

Сутулов качал головой, осуждающе улыбался. Продолжал улыбаться и Чупров. Он улыбался, а в виски тяжело стучала кровь: «Кончено! Не туда заехал, теперь не повернешь».

— Так. Ну, а как жизнь идет? Давно к нам не заглядывал.

Нужно было говорить, и Чупров, сам удивляясь зазвучавшей в его голосе неподдельной обиде, торопливо стал жаловаться:

— Бессонова-то у нас взяли, а Алексей Быков еще молодой, неопытный. Не ведется у нас никакой идеологической работы. То есть ведется, но с пятого на десятое. Районные лекторы да докладчики мимо ездят.

Сутулов слушал серьезно.

— Ладно, учтем.

Начался разговор о политкружках, о клубе, о подготовке к севу. Секретарь райкома говорил с ним, как с хорошим товарищем, уютно горела лампочка под матовым абажуром, в мягком кресле было очень удобно — так бы и сидел всю жизнь, забыл бы, что есть деревня Пожары, колхоз, правление, крючком согнувшийся за столом Никодим Аксенович.

— А ты, брат, осунулся,— посочувствовал Сутулов.

— Нездоровится,— ответил Чупров.

— К врачу сходи. Может, путевку на месяц выхлопочем.

Защемило сердце, даже во рту ощутил Чупров какой-то сладковатый привкус: «Вот бы скрыться на месяц. Утряслось бы, вернуться и жить, как жил. И не так, а умнее». Но сказать: «Хочу, не плохо бы!»— не хватило смелости, куда проще оказалось ответить бодреньким голосом:

— Ничего. Придет посевная, побегаю по свежему воздуху, вся хворь слетит.

...К себе в деревню! Зачем? Никодим Аксенович, скрывая под ласковыми улыбочками злобу и презрение, сядет крепче на шею, уж теперь начнет помыкать вовсю. Вези, Иван Чупров, безответная душа, вези на себе вора, коль потерял людское обличье. А дома — запуганная, пере-

ставшая соображать, что к чему, Федотовна, на улице мерещатся косые взгляды колхозников.

И Чупров в эту ночь не поехал в колхоз, переночевал в селе у знакомых.

Утром, чтобы только оттянуть отъезд, он направился на районный базар. Сегодня воскресенье, там будет много знакомых.

В будние дни на базарной площади, около фанерных ларьков и по длинным дощатым столам, прыгали галки и вороны. Но в воскресенье там разгоралась жизнь. По окраине площади выстраивались рядами сани. Лошади с накинутыми на спины тулупами своих хозяев лениво, словно от скуки, жевали сено. Между ними терлись вороватые козы. Грузовики врезались прямо в базарную сутолоку. Басистые крики: «Берегись!», автомобильные гудки, визг свиней, и над всем этим какой-нибудь захлебывающийся, режущий уши крик: «Клю-у-уквы мороженой! Клю-у-уквы!» Шум базара — это воскресный, праздничный шум.

Колхоз «Красная заря» вырос в дружбе с этим базаром. Сколько сюда, на площадь, было свезено из деревни Пожары муки, сала, мяса, масла! Когда-то между нагруженными снедью прилавками ходил здесь хозяйской поступью Чупров, председатель колхоза, начинавшего завоевывать себе славу.

Теперь у колхоза «Красная заря» пять грузовых машин, и на них мясо, масло, муку из Пожаров везут прямо в город: там и цены повыше и покупатель сговорчивее. И все-таки дорог Чупрову этот шум, как воспоминание.

Такой же хозяйской походкой, какой, бывало, ходил Чупров, шагал навстречу ему Бессонов. Перед ним, высоким, сутуловатым, спокойно и задумчиво озирающимся по сторонам, почтительно сторонились.

— Никита!

— Маркелыч! Каким ветром?

Рука Бессонова, только что из рукавицы — теплая, твердая, мослаковатая, стиснула широкую ладонь Чупрова. Стиснула и быстро разжалась. Когда-то они каждое утро здоровались так — тиснет Бессонов руку Чупрова и быстро отпустит, затем усядутся, закурят, начнут не конченный вчера разговор. Не знал тогда Чупров, что он был счастлив в те дни.

— Эх! А ведь я рад! Рад тебя видеть! Грешен, брат, соскучился,— растроганно заговорил Чупров.

Бессонов пытливо взглянул в похудевшее, небритое, с отечными мешочками под глазами лицо старого друга. Что такое? Вроде Иван не из тех, кто на сердечность падок?

— Не совесть ли тебя мучит, что в железе кровельном отказал?— посмеиваясь, пошутил Бессонов.— Брось, давно забыл. Да, признаться, не особо и ждал, что ты отвалишь.

— Никита!— воскликнул Чупров.— Не часто и видимся, а сразу надо кольнуть. Уж коль так — бери железо. И с деньгами обожду.

— Не надо. Через тот же сельхозснаб я достал. Что-то ты, Иван, изменился, помятый какой-то?

— Нездоровится.

— Достал кровлю, лес рублю, строюсь,— рассказывал Бессонов.— Сегодня воскресник в колхозе. Постановили на днях — всем народом на порубку выйти. Но постановили, а, пожалуй, целая бригада, как всегда, здесь. Вон глянь — один из моих на воскреснике.

Чувствуя близость председателя, переваливался виновато с ноги на ногу мужичонка в жесткой собачьей шапке, в потертом нагольном полушубке. Перед ним на базарном столе лежал маленький сверточек.

— Живут близко, вот и привыкли. Такому и неделя не в неделю, коль на базаре не проторчит. А спроси, что продает? Петуха старого зарезал да десяток яиц в узелке. Коммерсант!

К «коммерсанту» в собачьей шапке подошла старушка, стала что-то придирчиво спрашивать, он отвечал ей нехотя, вполголоса. Но как только Бессонов и Чупров отвернулись, стали удаляться, он ожил, поколачивая рукавицей о рукавицу, запокрикивал:

— А кто супу с курятинкой хочет? Кто петуха во щи положить забыл?

— Я против таких коммерсантов,— продолжал Бессонов, собирая морщинки у глаз,— тяжелую артиллерию выдвинул. Вон стоит,— он указал на две груженые машины.— И битую птицу привез, и свинины, и баранины. Минут так через десять начнем подготовочку. Цены сразу упадут. Везде, по всему базару. Этим коммерсантам или придется мерзнуть около своих петушков да яичек, или спускать их вполцены, или поворачивать оглобли обратно, домой, а там — милости просим участвовать в воскреснике.

«Правильно,— подумал Чупров, поглядывая на Бессонова с завистью.— Каким был, таким и остался. Никита — не унывает, легко с ним. Эх! Надо бы зубами, руками, коленками держаться за него, не отпускать из колхоза».

Деловым шагом, со строгим лицом к Бессонову подошел молодой парень.

— Ну, Вася, как дела?— спросил Никита.

— Все готово. Разреши открыть торговлю.

— Открывайте. Как только цены упадут, сразу наших торгашей начинайте агитировать, а то они полдня мерзнуть будут. Время-то идет. Сразу на машины их — и на делянки.

— Есть.

— Видишь Сильверста-то?— подмигнул Бессонов на торговца в собачьей шапке.— Петушка принес.

Паренек сразу же перехватил его улыбку.

— Живого?

— Да нет, мертвого.

— Жаль, а то б еще пожил петушок.

Оба весело рассмеялись.

Этот парень чем-то напоминал Чупрову Алексея Быкова. Может быть, румяным лицом, на котором нарочитая строгость так быстро сменилась улыбкой. «И там, видать, молоденькие-то липнут к Никите. Оброс дружками. А я, как старый пень, не дружками, поганками оброс».

Чупрову захотелось поговорить по душам, пожаловаться на жизнь, все, все рассказать Бессонову.

— Может, пойдем «помолимся»?— предложил он.

— Что ж, можно для встречи и «помолиться». Мое дело теперь в шляпе, ребята не подведут,— согласился Никита.

В старые времена, когда еще не было базара на этом месте, на окраине пустыря стояла каменная часовенка, поставленная в честь какой-то, ныне забытой, божьей матери. Позднее к этой часовенке пристроили два кирпичных крыла, повесили над дверями вывеску: «Чайная». В воскресные дни сюда заезжали председатели колхозов «помолиться».

В чайной председатели лучших колхозов, люди солидные и степенные, садились ближе друг к другу, остальные — в сторонке кучками, парочками или унылыми одиночками.

Бессонов сразу направился к столу, где уже сидели

трое: толстый и лысый Мартын Лопарев, жиденький, с бородкой Федор Лошадкин и, тоже толстый, тоже лысый, только объемом помельче да лысиной потусклее Лопарева, Игнат Сивцев. Все трое — не менее известные председатели по району, чем Чупров. Бессонов же по своему колхозу был намного ниже их всех. Но по тому, как он уверенно направился к этому столу, и по тому, как трое председателей с веселой готовностью протянули навстречу руки, Чупров понял: «Не только сам верит, но и этих заставил поверить, что его колхоз скоро поднимется до них».

— Здравствуйте, здравствуйте!— воркующе приветствовал их Лопарев.— Подставляйте стулья, присаживайтесь.

Сам Чупров любил так «помолиться» в степенной компании. Приятно сидеть, разговаривать, зная, что за соседними столиками завистливо перемигиваются: ишь, мол, сила уселась! Теперь же ему хотелось приютиться где-нибудь в уголке, побеседовать наедине с Бессоновым. Но отказываться от компании было неудобно. Подставили стулья, попросили официантку Настеньку «не обойти».

— Как же ты, Маркелыч, сюда заглянул?— начал Федор Лошадкин, двигая бородкой, переваливая в беззубом рту кусок соленого огурца.— Ты теперь высоко летаешь, все больше по городу бьешь. Не мы, бедолаги.

— Хорош бедолага,— затрясся животом Мартын Лопарев,— что ни месяц, то новая постройка! Овощехранилище завернул, что твои палаты. Бедолага!

— Что овощехранилище, когда хранить нечего! Чупров вон теплицу думает поставить. Как ты ее мыслишь — на столбах, каркас деревянный?

— Нет, каркас железный. Вместо столбов трубы. Не погниет.

— Это да!— завистливо вздохнул Лошадкин.— Где ж ты эти трубы выцарапал? А стекла достаточно? Уймищу стекла ведь нужно.

— Хватит.

— Молодец ты, ей-богу! Завидую...

Бессонов с ухваткой человека, рано вставшего утром, успевшего проголодаться да к тому же пропустившего стопочку, уничтожал поставленную перед ним баранину с кашей. Он неодобрительно посмотрел на Чупрова.

— Все достаешь? Смотри!

— Что «смотри»?

Чупров сейчас вдруг понял, что от этих людей, а больше всего от Никиты, нужно скрывать все, что случилось. Не распахивать душу — скрывать!

— Что «смотри»?— повторил Чупров вызывающе, в душе же побаиваясь, что Никита сейчас все разгадает.

— Уж больно быстро все достается.

Чупров густо покраснел и поднялся.

— Завидуешь, Никита... Счастливо оставаться. Спасибо за компанию. Не осудите, некогда мне...

Он повернулся и твердым шагом пошел к выходу.

— Что это он? Вроде обиделся,— удивился тихий Игнат Сивцев.

Приехав из района, Чупров сказался больным, не показывался из дому. Страшно было идти в правление, где его встретит торжествующий Никодим Аксенович.

Он лежал с головной болью и думал об одном: как случилось, с чего началось, чем кончится?

Сначала все шло просто и безобидно.

Начали строить теплицу, доставать материал.

Алексей Быков упрекнул его на правлении: «Занимаешься темными делами». Если б тогда круто повернуть, отказать всем Виталиям Витальевичам, ничего бы не случилось. Заплясал под дудку Никодима, волей-неволей помогал ему воровать. Поехал в райком — не хватило духу признаться!

Теперь все, теперь не жди пощады!

Никодим, ядовитая бестия, уж, верно, понял: если Чупров не показывается, не появляется и участковый, значит струсил председатель.

А завтра? Завтра хочешь не хочешь, придется встречаться. Теперь он возьмет за горло...

«Напьюсь!— решил Чупров.— До смерти напьюсь!»

И он напился, вернулся домой в полночь, спал не раздеваясь. А утром опохмелился.

С этого дня он пил уже регулярно.

С бухгалтером Чупров стал разговаривать грубо, не стесняясь, посылал его за водкой. Никодим Аксенович без возражений бегал в ларек, даже покупал водку за свои деньги — выгодно! Хотел или не хотел того Иван Чупров, но он входил в «базарный» пай к бухгалтеру и Павлу Штукину. Только с той разницей, что брал свою долю не деньгами, а натурой — водкой.

Всем казалось, что Алексей и Рая живут счастливо. А счастья в их маленькой семье не было.

Алексей никак не мог забыть того вечера, когда он, бледнея от позора, стоял перед колхозниками, слушал их выкрики. Ему теперь казалось, что все относятся к нему настороженно, подозрительно. Раздавался случайный смех за спиной, он считал — не иначе, над ним смеются; Митрофан Евсеев не протянул руку при встрече — гнушается; Иван Кустов, наоборот, долго жмет руку, заглядывает в глаза — жалеет; на лице Глафиры таинственная улыбочка — ходит по деревне новая сплетня о нем. Алексей стал дичиться людей.

Один человек оставался для него близким и дорогим — Рая. Но даже и с ней Алексей не мог быть до конца откровенным. Они между собой не говорили об отце.

А тут что ни день, то новые слухи разносились по деревне про Чупрова. В последнее время и Рая и Алексей встречали его опухшего, небритого, опустившегося, но молчали, скрывая друг перед другом свою тревогу.

Рая не осмеливалась просить Алексея: «Помоги, мне страшно за отца». Как он поможет? Что сделает по милости ее же отца опозоренный секретарь парторганизации? Если б знал, как помочь, первый бы заговорил. Не знает. А может, просто не хочет помочь, торжествует про себя?

Алексей смутно догадывался о том, что думает Рая. Но что делать? Ехать в райком, рассказать все, остановить разгулявшегося председателя? Простой выход. Рая знает о нем. Если б она хотела этого, давно бы послала его: «Поезжай!» Но она молчит.

Настороженно жили Алексей и Рая. Камнем лежал между ними Чупров. Однажды Алексей, не застав на работе Раю, пришел домой один. Она сидела и плакала.

— Что случилось?

Рая долго не отвечала.

— Да скажи: что?

— Отца видела. Идет, шатается, сам с собой разговаривает.

«Вот оно,— подумал Алексей.— Сейчас решится. Столько времени молчали».

— Стыдно мне,— продолжала Рая.— Свернула с дороги. Отца своего стыжусь! Делать что-то надо, Алеша. Не могу больше. Ты-то чего молчишь? То воевал, воз-

мущался, а сейчас словно воды в рот набрал. Доволен, что отец так упал.

— Рая!

По его дрогнувшему голосу она поняла, что Алексею самому больно, он тоже переживает, хочет помочь, а как — не знает. Рая склонилась к столу, ее плечи затряслись в рыданиях. Алексей присел рядом и, с неловкой осторожностью дотрагиваясь до ее вздрагивающих плеч, произнес:

— Придумать ничего не могу.

— Съезди к Никите Кузьмичу, посоветуйся,— сказала ıхо Рая.

— А ведь правда! Как я его забыл?

На другой день Алексей поехал к Бессонову.

Бессонов, выслушав Алексея, сразу же поднялся.

— Идем.

— Куда?

— Осторожничать поздно. В райком идем.— И уж на ходу кинул холодно:— Ну, смотри: коль вовсе запоздали, не вытянем Ивана, добра себе не жди! Что раньше-то думал?

Через полчаса они сидели в кабинете Сутулова. Секретарь райкома смотрел на Алексея сузившимися глазами, у него напряженно подергивалось веко, вопросы ронял короткие, холодные. И Алексей только тут понял угрозу Бессонова — за позор Чупрова отвечать придется ему, секретарю парторганизации.

— Пьет? Сильно?— переспрашивал Сутулов.

— Сильно, Борис Степанович.

— А слухи о темных делах верные?

— Говорят...

— Могут ложно говорить.

— Нет, есть и правда.

— Надо узнать поточнее.

— Я узнаю,— сказал Бессонов.

— Как ты узнаешь? Вон Быков рядом живет, да и то определенно сказать не может.

— Сам Чупров мне расскажет.

— А если не расскажет?

— Вместе росли, вместе работали, должен рассказать.

Сутулов кивнул.

— Так и решим: поезжай.

Опухший, с красными веками, подчеркнуто твердой, тяжелой походкой ходил Иван Маркелович по хозяйству, стараясь не глядеть людям в глаза.

Но в тот день, когда Алексей уехал к Бессонову, на Чупрова нашло просветление. Утром, как всегда с тяжелой головой, чувствуя и в душе и в теле какую-то омерзительную муть, он вышел из дому.

Было уже светло. Стояла оттепель. Снег на дороге мягко подавался под валенками. Под окнами, на голых ветках двух березок, кипела большая воробьиная стая. Яростное чириканье разносилось по всей деревне. «Продержится оттепель. Ишь воробьи празднуют»,— отметил Чупров.

Его воспаленное лицо тронул влажный ветерок. Он донес тонкий горьковатый запах. И Чупров почти задохнулся сырым воздухом, в котором был растворен этот запах...

Далеко, далеко еще весна. Быть и метелям, быть и трескучим морозам. Но такой запах — запах весны. Это у ствола рябины подопрел снежок, размочил кору, и кора горьковато пахнет.

Чупров по привычке направился в плотницкую. Там срочно делали еще одни тракторные сани.

Что бы такое совершить? Как очистить себя? Вымыть душу, соскоблить с нее грязь, чтоб можно было ходить по колхозу, как ходил раньше, без страха и стыда глядеть в глаза колхозникам. Хоть неделю, одну б неделю прожить прежним Чупровым, суровым и справедливым хозяином колхоза, а там — хоть смерть, не страшно!

В плотницкой он увидел, что плотник Сидор Воронин сколотил такие широкие тракторные сани, что они не смогут уместиться ни на одном проселке. Чупров рассердился:

— Этакую баржу по Волге пусти — за берега цеплять будет. Ты думал, как их по лесной дороге трактор повезет? Может, специальную просеку рубить прикажешь?

— Так ведь на поля навоз возить. Где там лес-то?

— На одну неделю сделал? Навоз вывезем, дрова понадобятся. Тогда что? Новые сани сколачивать? Переделать!

Он сердился, плотник виновато оправдывался — это было так привычно, так буднично, так далеко от всех прошлых и настоящих несчастий, что уже казалось — доброе старое время вернулось назад.

Влетела в плотницкую раскрасневшаяся скотница Настенька Большухина. В светлых, широко открытых глазах ее — радостный испуг. С минуту она смотрела на председателя и вдруг бросилась к нему.

— Иван Маркелыч! Миленький! Краснуха отелилась! И так-то легко, прямо счастье! Бычок. В отца вылитый! Идем скорей! Порадуешься! Я зоотехника Павла Павлыча везде ищу.

Чупров непривычно засуетился.

— Пойдем, дочка, пойдем.

Краснуху, лучшую корову «Красной зари», водили за пятьдесят километров в совхоз к знаменитому на всю область быку Загораю. Сейчас сын Загорая, с такой же широкой пролысиной на лбу, знакомой по описаниям животноводческих брошюр, лежал в родилке на свежей соломе. Мать слабо и жалостно мычала в стороне.

Чупров наклонился, бычок дернулся, попробовал встать, но, дрожа всем телом, снова свалился. Глаза его, маслянисто-влажные, тоскливо глядели на председателя.

— Ты что, брат, печалишься? Для больших дел на свет появился. Племя новое колхозу дашь. А ну, встанем, встанем, покажем себя. Ишь шатает молодца.

А сзади на возившегося с теленком председателя смотрела Настенька. Взгляд этой девятнадцатилетней девчонки был тихий, счастливый, почти материнский. И Чупров догадывался об этом взгляде, чувствовал его спиной и сам был счастлив.

— Так, так. Держись, милый. Стой крепче, дорогая душа,— оглаживал он теленка.

Выйдя из родилки, Чупров снова услышал расшумевшихся к большой оттепели воробьев, снова вдохнул горьковатый запах мокрой рябиновой коры, носившийся по деревне.

Он уже деловитым, чуточку торопливым шагом направился дальше, к маслобойке.

А славный выпал день! Он пришел к Чупрову, как к выздоравливающему после долгих кошмаров приходит светлый сон о далеком детстве. Только бы не вспугнуть его, только не надо заглядывать вперед. Славный день! Зачем отравлять себя тем, что будет завтра?

В чистой, с побеленными стенами и низеньким потолком маслобойке слышались громкие и сердитые голоса: один — ломающийся от гнева басок, другой — визгливый, захлебывающийся.

Чупров вошел.

— В чем дело? Что за война?

Техник-маслодел Петя Бочкарев, в белом халате, с гневным румянцем на щеках, держал в руках грязную тряпицу. На ней круглый и ноздреватый, как булыжник, желтел большой кусок масла.

— Что?— яростно обернулся Петя.— Погляди, Иван Маркелыч, масло ворует! Второй раз тебя, Матрена, уличаю.

— И совсем не ворую! Я просто взяла. В счет трудодней своих взяла!— вскипела дородная, с круглым безбровым лицом Матрена.

— Матрена!— веско оборвал ее Чупров.

— Чего Матрена? Чего ты-то пристал? Чего обидчику потакаешь?

— А то! С работы сниму.

— Как же с работы? Мы-то на несчастный грош возьмем, нас и то шпыняют. А тут тысячи загребают, да все с рук сходит. С работы! Сам-то небось пригрелся на тепленьком местечке.

— Кто пригрелся, кто загребает?— глухо спросил Чупров.

— Не слепые. Все видим!

— Не бреши!— С потемневшим лицом Чупров повернулся, а вслед ему летело:

— У самого небось рыльце-то в пушку! «Не бреши» еще!

По-прежнему на крышах и на деревьях шумели воробьиные базары, по-прежнему тянуло не по времени весенним горьковатым запахом, но счастливый день кончился для Чупрова.

Он пришел в свой кабинет, выдернул нижний ящик стола и крикнул злобно:

— Никодим!

Появился Никодим Аксенович. Чупров показал глазами на пустой ящик, скрипнул зубами:

— Дела своего не знаешь, старый пес!

— Денег нет, должен скоро Пашка привезти.

Чупров впился взглядом в косо сидевшие на носу очки. За ними бегали выцветшие стариковские глаза. В них были и страх, и бессильная злоба, и нагленький, трусливый вызов.

Оба нуждались друг в друге, но ненавидели один другого. Смертельно ненавидели!

Отпотевшее оконное стекло обволокла снаружи черная зимняя ночь. Чупров сидел за столом. Он был один во всем доме. Когда он садился так, ставил перед собой бутылку, Федотовна боялась оставаться с мужем с глазу на глаз, уходила к соседям.

Вечера — самое страшное время. Днем хоть и приходилось прятать от людей глаза, но все же он был не один: заботы заполняли голову. А тут — четыре стены да черные, мокро поблескивающие стеклами окна. Один!

«Вот тебе и колхоз, жизнь по-семейному! Вот уже и на сепараторке воруют масло. Эх! Что там думать! Выпьем, Иван Чупров!»

Он наливал полный стакан, опрокидывал, тряс головой и снова сидел неподвижно, снова в голову лезли обрывочные мысли.

«Говорят: рыба гниет с головы. Но как получилось? Разве я хотел плохого? Не хотел! Э-э, что там! Опять оправдываюсь. Хватит, надоело! Еще стаканчик, Иван Чупров».

Чупров наполовину опорожнил бутылку, начинал уже пьянеть, как за дверями послышался шум. Без стука, склонившись в низких дверях, бараньей шапкой вперед, шагнул через порог Бессонов. Он разогнулся и негромко сказал:

— Здравствуй, Иван!

— Никита?

За Бессоновым вошел Алексей, за Алексеем — Рая, нерешительная, неловкая, по-настоящему чужая в чужом доме. После всех проскочила Федотовна, суетливо принялась расстегивать шубейку. В ее суетливых движениях чувствовалась радость: и Рая пришла, с мужем! И гость-то какой! Никита Кузьмич! Он все обернет по-старому. Он может, все может!

Бессонов снял полушубок и шапку, повесил их около дверей на гвоздь, пригладил ладонью волосы, подошел к столу, присел.

— Поговорить хочу. Одним нам остаться или как?— спросил он.

Чупров молчал.

— Ну?

— Что говорить?— Чупров, не глядя на Бессонова, потянулся к бутылке, налил в стакан.— Вот!— Голос его скрипуче сорвался.— Вот выпей, Никита. Выпей за

помин души своего друга, председателя колхоза Ивана Чупрова.. Вып-пей!

Рука Чупрова задрожала, водка полилась через край стакана по пальцам на стол. Чупров поспешно поставил стакан, прижался лицом к судорожно сжатому кулаку. Под электрическим светом в его густых волосах блестела седина. Стало тихо.

Федотовна, схватившись за голову, неподвижно замерла.

Молчал за столом Чупров, молчал Бессонов, молча стоял в стороне Алексей, текли слезы по лицу Раи. Что говорить — все было ясно!

ЕФИМ ДОРОШ

Иван Федосеевич

1

Напротив базара, в одноэтажном кирпичном доме, побеленном известкой, помещается чайная райгородской артели инвалидов. В обычные дни народу здесь немного, а вот в среду или в субботу, особенно зимой, когда со всего района съедутся на базар колхозники, то и дело хлопает, скрипя пружиной, набрякшая дверь, и вместе с посетителем в чайную входит облако морозного воздуха. Посетитель останавливается, снимает шапку, отдирает намерзшие на усы ледышки, стряхивает иней с косматого воротника овчинной шубы и степенно оглядывается, словно пришел в гости. «Пожалуйте в залу!»— угадав приехавшего из деревни человека, говорит буфетчица Раиса Кирилловна, худощавая женщина в белой курточке, с нестерпимо красными губами и ногтями.

Помещение, где за буфетной стойкой и большой пивной бочкой властвует Раиса Кирилловна, базарные остряки называют «скорой помощью». Единственным его украшением служит темная, писанная маслом картина, влажная от встречных потоков холодного и теплого воздуха. Под картиной теснятся накрытые липкой клеенкой столики. Здесь задерживается лишь мимо бегущий райгородский житель, которому поскорее бы принять свои полтораста граммов, запить их стаканом пива или томатного сока и побежать дальше по неизвестным делам. А приезжий из деревни, иззябнув с дороги, желает получить полное удовольствие и поэтому проходит в зал, куда ведет широкая, в виде арки, дверь.

В зале за столиками, застланными поверх скатертей белой бумагой, полным-полно народу. Разговоры, если прислушаться, как в старое время на красную горку или в мясоед, когда по деревням играли свадьбы.

— Сватали нам его, сватали,— рассказывает дородная, уже немолодая женщина с опущенными на плечи платком и шалью, красная и распаренная от выпитого

чая.— Возили его к нам, возили... А мы его: «Несогласные мы». Так и досватался, что ославился!

— Чем же не показался он вам?— осведомляется сидящая напротив маленькая старушка, схлебывая остатки чая, и отставляет блюдечко в сторону.— Может, слабограмотный? У нас вот тоже, покуда агронома себе не нашли, с полгода был такой: напишут ему все как есть, а он и по бумажке сказать не умеет — спотыкается. А то еще, бывает,— говорит она осуждающим шепотом,— вино жрут. А вино не снасть, дела не управит. Намаялись мы с таким вот виножором. В городе он теперь, в живом сырье, говорят, заведующим сидит. Бывало, представитель приедет, а он в стогу отсыпается, по ногам только и угадают. Что стыда мы с ним натерпелись, что горюшка...

Старушка достает из стакана разбухший кусок баранки, жует, шевеля запавшим ртом, затем, случайно взглянув на вошедшего в зал нового посетителя, показывает на него сердитыми глазками.

— А!.. Живая душа на костылях!— приветствует старушку посетитель, но та не отвечает, с достоинством поджав губы.

Человек этот, как я вскоре догадываюсь, и есть тот самый «виножор», о котором рассказывала старушка. Чуть покачиваясь, он идет к свободному столику, усаживается, берет нетвердой рукой меню, долго не может совладать с картонной коркой, наконец, раскрыв ее, принимается читать вслух нехитрый перечень блюд. На вид ему лет за пятьдесят. Когда официант приносит заказанную им рыбную солянку, он брезгливо копается ложкой в тарелке и говорит тоном знатока:

— Ого! С маслинами! Откуда вы их получаете?

— Из Кинешмы,— язвительно отвечает старый официант.

Я не знаю ни биографии этого человека, ни того, как стал он, если можно так выразиться, низовым руководящим работником. Легко представить себе, что году в двадцатом, вернувшись из армии, был он чуть ли не единственным грамотеем в деревне и по этой причине стал секретарем сельского совета. В простоте душевной он полагал, что рабочие и крестьяне свергли царя, прогнали капиталистов и помещиков только лишь для того, чтобы ему, в прошлом батраку, можно было жить не работая. Он обленился, оброс писарским жирком — деревенские бабы, приходя за какой-нибудь справкой, по старой при-

вычке приносили начальству и сало и самогон,— и когда его все же попросили из сельсовета, то он, питая отвращение к физическому труду, правдами и неправдами пробрался в председатели сельпо. С тех пор, хотя никакой специальности у него нет,— впрочем, может быть, в силу именно этого обстоятельства,— о нем вдруг вспоминают в райкоме или в райисполкоме, когда возникает нужда заткнуть где-нибудь прореху. И он охотно соглашается на любую работу, лишь бы не работать...

Райгородские товарищи, ведающие кадрами, могут опровергнуть все мои предположения безукоризненной анкетой сидящего сейчас в чайной человека, могут возразить, что если и были у него выговоры, то все они в положенный срок снимались, но я предпочитаю прислушиваться к тому, о чем рассказывает старушка своей пожилой собеседнице и подсевшей к ним широколицей румяной девушке с льняными кудерьками.

— Ревизия ему была,— доверительно и чуть ужасаясь шепчет старушка.— Как же! Открывает ревизия сгораемый шкаф, а там, не соврать, одни бумажки. И все фальшь. Селедку, пишет, покупали для борова — десять рублей, пол-литра для хворой коровы — двадцать три...

Пожилая женщина ахает и охает, правда, больше из вежливости, а девушка беззаботно смеется. Я знаю эту девушку, она из Вёксинского колхоза, где вот уже скоро двадцать пять лет председательствует Иван Федосеевич Варфоломеев, мой давнишний знакомый. Ее еще и на свете не было, когда Ивана Федосеевича впервые выбрали председателем, и она, должно быть, не представляет себе своей Вёксы без дяди Вани, как называют Варфоломеева не только в районе, но и в областном центре.

Рассказанная старушкой история о председателе, который ездил в город покупать веревку и вместе с отчетом о командировочных расходах представил акт на покупку водки для коровы и селедки для свиньи, по всей видимости, воспринимается девушкой как некая вариация щедринской истории о глуповцах, тащивших теленка на баню и конопативших острог блинами.

— Это еще не диво!— улучив минуту, перебивает старушку пожилая колхозница и продолжает с тем оттенком хвастовства, с каким рассказывают иной раз о своих болезнях:— Нас-то свиньи мучают. И огороды все перерыли и ночью, Никола свидетель, так и лезут в избу-ту,

так и лезут. На ферме им ни прокорму, ни тепла, вот и спасаются, как звери лесные.

— Вы бы себе, дочка, тоже из агрономов поискали,— несколько покровительственно советует старушка и принимается, в который уже раз, хвалить нынешнего своего председателя: и аккуратный-то он у них, и уважительный, слова черного от него не услышишь...

— Сватали нам и агронома,— вздыхает женщина.— Такое оно молоденькое, такое деликатное... Где уж ему с нами!

— Неужто крысолова?— заливается вдруг девушка, и тугие кудерьки ее подрагивают, как пружинки.— Теперь и он в женихи вышел.

Должно быть, она имеет в виду фитопатолога, агронома по защите растений, которого, как мне говорили, действительно «сватают» какому-то колхозу. Здешние девчата всегда поднимают его на смех, когда он появляется на полях со своим сачком и ботанизиркой. Не то чтобы он был смешон, этот старательный, застенчивый юноша,— просто девчатам нравится наблюдать, как он смущается и краснеет, когда они начинают его дразнить.

Признаться, я никак не возьму в толк, почему специалиста по грызунам и гусеницам, к тому же еще робкого характера, недавно окончившего институт молодого человека, рекомендуют в председатели колхоза. Разве только лишь потому, что в анкете у него написано — агроном.

— И нам с ним не жизнь,— рассуждает женщина,— и его жалко. У нас-то один Федька с конефермы, Михайлы Шилова зять, на чем хочешь его опутает. Только и славы, что ученый, а самостоятельности в нем никакой.

И она по-вдовьи вздыхает о хозяине, который вот как нужен ихнему колхозу. Все здесь в этой тоске по хозяину — и чисто бабья боль за свиней, бегающих без призору, и обида на неизвестного мне Федьку, который, надо думать, присосался к общественному добру и вертит нынешним председателем как хочет, и обычное женское беспокойство о доме, о детях, еще не настолько взрослых, чтобы уехать из деревни в другие места, где живут по-людски. Да хотя бы и взрослыми были они,— каждой ведь матери хочется жить со своими детьми, нянчить внуков!

Я слушаю этот разговор, один из многих, какие ведутся об эту пору по деревням, и прихожу к мысли, что в «анкете», которую предложила бы заполнить кандидату

в председатели почти каждая колхозница, куда больше вопросов, нежели в обычных анкетах. Разумеется, слово «анкета» употреблено мною фигурально. Речь идет о том интересе к человеку, который появляется, когда знаешь, что от этого человека зависит твоя жизнь.

Тут нет никакого преувеличения, потому что, сколько бы ни старалась вот эта женщина, ничего не достанется ей на трудодни, если в хозяйстве, как говорится, ни складу, ни ладу. А колхозное хозяйство, конечно же, в руках председателя. «Голова»,— называют его на Украине, и я не знаю более точного слова, каким можно было бы одновременно охарактеризовать и должность и то, что означает она для такой вот женщины.

И вот именно потому, что женщина эта на себе испытала, каково жить с плохим председателем, она рассуждает куда правильнее иных райгородских руководителей. Женщина смотрит на «виножора», как он с пьяным упрямством тычется в каждую стену и не может угадать, где же здесь дверь. Потом она произносит с неторопливой, обдуманной жесткостью:

— Не-е-ет! Своего мы так не отпустим! Мы уж и сказали ему: «Скинуть скинем, а из колхоза никуда не поедешь, не надейся. Будет, походил с портфелем! Дадим самую что ни на есть плохую лошадь, а ты поработай на ней, поломай, как мы, хребтину». А то ведь,— обращается она к собеседницам,— выпусти его только, сейчас к другим повезут сватать.

— Чудно как-то у вас получается!— говорит девушка.— Все-то вы перебираете да все меняете!

— От добра добра не ищут,— возражает женщина.— Был бы у нас Иван Федосеев, небось не меняли бы. Несчастливые мы на председателей. И нам-то с нашим — ничего, и государству от нас — ничего.

— Ругатель он, Иван Федосеев!— неодобрительно замечает старушка.— Как чуть не по нему, так становит перед собой и ругает. Я ведь тамошняя, из Вёксы была выданная, Ваньку ихнего знала мальчонкой. Вам-то он — Иван Федосеев, а мне — Ванька. Где ни встречу его, прямо в глаза говорю: «За черные твои слова быть тебе, Ванька, в аду». А он, богохульник, смеется. «Я, говорит, бабушка, и сейчас вроде в аду».

Девушка объясняет, что у Варфоломеева с начальством нелады, все ему выговоры да выговоры,— не поймешь, право, чем не угодил.

А старушка, недовольная тем, что ее прервали, будто не слышит этого и продолжает про свое. Видать по всему, она надеется на сочувствие пожилой колхозницы и говорит, ужасаясь:

— «Меня, говорит, бабушка, только помру — ангелы в рай возьмут!»

— И заслужил,— к удивлению старушки, соглашается женщина.— Люди-то за ним как живут! Позавидуешь. Хозяйство-то какое нажили!

Пригладив ладонями волосы, она повязывает голову косынкой, затем платком, а поверх платка — шалью. Она просит девушку подать ей на плечо мешок и корзину, связанные полотенцем, и, подумав, добавляет:

— По старине сказать — угодник он, Иван Федосеев, пускай не богу, так людям. Вот они, вёксинские,— кивает она в сторону девушки,— и гладкие, и одеты-то как, и ученые... А осенью идешь — чьи машины в Москву с товаром бегут? Опять же вёксинские. Одной мы с ними земли, одного звания, да председатели разные. Так-то!

И, повернувшись, она осторожно ступает между столиками, чуть наклоняясь вправо под тяжестью корзины с городским хлебом и мешка, должно быть, с комбикормом для коровы,— рослая, выносливая женщина в залоснившейся стеганке и больших разношенных валенках.

2

— Покупным хлебом живут,— вздохнув, говорит девушка о пожилой колхознице.

— Нет,— продолжает про свое старушка,— мы своим очень даже довольные... Уж так довольные... сказать нельзя.

Но я больше не прислушиваюсь к разговору, потому что в чайную входит Иван Федосеевич, с которым мы условились встретиться в «задней комнате у инвалидов», как называют здесь третье, самое маленькое помещение, нечто вроде отдельного кабинета.

Года три, пожалуй, прошло, как мы познакомились с Варфоломеевым, и все же каждый раз, когда я его вижу, меня удивляет, насколько не похож он внешностью на того расчетливого, прямо сказать, оборотистого «председателя-миллионера», грозного с нерадивыми колхозниками

и строптивого с недальновидным начальством, каков он есть по своим делам.

Трудно поверить, что этот неприметный пожилой человек в обвислом овчинном полупальто с грубой шинельной покрышкой, в сдвинутой на затылок шапке с опущенными ушами, неспешно, как бы безучастно входящий сейчас в зал, вот так же вошел однажды к председателю облисполкома и тихим, ровным своим голосом проговорил: «Я совхоз-от надумал купить. Как бы мне оформить купчую?» — «То есть как это... совхоз?»— несколько даже растерялся председатель облисполкома. И когда Иван Федосеевич объяснил ему, что речь идет об инвентаре и постройках недавно ликвидированного подсобного хозяйства, он уже с интересом спросил: «Ну, и сколько же просят?» — «Миллион»,— спокойно ответил Иван Федосеевич. Председатель облисполкома, что называется, опешил. «Где же ты такие деньги возьмешь?» — «Так они рассрочку дают на четыре года,— все так же спокойно продолжал объяснять Иван Федосеевич, достал карандаш и тут же на сорванном календарном листочке показал все свои подсчеты и расчеты.— Мы выплатим!» Было это еще до войны, и старожилы утверждают, что именно с этой покупки пошло развиваться хозяйство Вёксинского колхоза.

— Вон вы где!— найдя меня взглядом, по обыкновению негромко, с улыбкой говорит Иван Федосеевич.— Пошли в заднюю комнату!

И опять же ни этот несколько усталый голос, ни тем более улыбка — мягкая, деликатная, пожалуй, даже застенчивая — не дают основания предполагать, что Иван Федосеевич способен с обидной прямотой высказать все, что думает он о человеке, как это было вчера на партийном активе. «Будет тебе горшки лепить!— постукивая кулаком по трибуне, говорил он заместителю председателя райисполкома, ведающему местной промышленностью.— К этому кого-нибудь из городских можно приставить. А ты — мужик, шел бы в колхоз председателем. Конечно, в какой поменьше, с большим-от не сладишь». И, нисколько не смущаясь тем, что нажил себе врага, Иван Федосеевич спустился со сцены и пошел на свое место, помахивая черной рыночной сумкой с застежкой «молния», с которой он никогда не расстается.

Удивительная вещь сумка Ивана Федосеевича! Точно так же, как внешность самого Варфоломеева не от-

вечает ни его характеру, ни положению, точно так и сумка эта нисколько не отвечает тому, что в ней содержится.

Иван Федосеевич, раздевшись, кладет сумку на стул, и, если не знать, можно подумать, что сейчас он достанет из нее какую-нибудь привезенную из дому или же купленную на базаре снедь — печеные яйца, огурцы, домашнее сало,— как это делают многие посетители чайной.

— Читали, что «Правда» пишет?— спрашивает меня Иван Федосеевич и достает из сумки газету.— Тут хотя про виноград, как он исчез в одном среднем районе, но это и к нашему луку можно применить.

В сумке, кроме газеты с полюбившейся Ивану Федосеевичу статьей, хранится колхозная печать, лежат в ней и деловые бумаги — тезисы последнего выступления на партийном активе, памятные заметки, таблицы, выписки. И тут же, среди бумаг, обязательно лежит какая-нибудь книга, чаще всего «Хаджи-Мурат» или же «Фома Гордеев», с которыми Иван Федосеевич почти никогда не расстается и при случае охотно цитирует.

— Телятину не будем брать!— откладывая в сторону меню, не то спрашивает моего согласия, не то решает Иван Федосеевич.— Свинину возьмем. Свиней-то мы стараемся откармливать, чтобы упитанные были, а телят сразу продаем — лишь бы не кормить... Тощая она, телятина.

Что бы ни делал Иван Федосеевич, с чем бы ни встретился в жизни, из всего он старается вышелушить то самое ядрышко, которое сокрыто под скорлупой. Помнится, когда я однажды приехал в Вёксу, он показал мне только что построенный маслодельный завод. Мне хотелось сказать ему что-нибудь приятное, настолько хорош был этот деревянный домик с цементным полом, где еще пахло смолой и известкой, и я сказал нечто вроде того, что масло, конечно, прибыльнее продавать, чем молоко.

— Тут не в одном доходе выгода,— возразил Иван Федосеевич.— Тут вот еще в чем расчет: если торговать молоком, поросят поить нечем, а если маслом — все снятое молоко, так называемый «обрат», останется в хозяйстве. Заводик этот не столь для масла нужен, сколь для свинины. Не из коммерции мы его открыли, а для правильного развития животноводства.

Должен сказать, что подобные рассуждения Ивана Федосеевича, подсказанные природной мужицкой смет-

кой и большим хозяйственным опытом, как это ни странно, очень часто вступают в противоречие с иными установлениями и правилами. Почему-то так получается, что председателя Вёксинского колхоза никак не втиснешь в эти правила и установления, как не вобьешь, бывает, ногу в тесный сапог. На мой взгляд, виноват здесь сапог, однако в Райгороде существует мнение, что всему виною нога.

Когда я впервые собрался в Вёксу, второй секретарь Райгородского райкома партии Евдокия Афанасьевна Ростовцева, услышав об этом моем намерении, снисходительно улыбнулась и сказала с вежливой сдержанностью:

— Ваше дело, разумеется. Но только ставлю вас в известность, что на ближайшем бюро мы собираемся вынести Варфоломееву выговор.

Я спросил, в чем провинился Варфоломеев.

— Срывает план развития животноводства,— ответила Ростовцева.

Это меня удивило, потому что я слышал, что у Варфоломеева лучшие в районе фермы, и в тот же день, едва познакомившись с Иваном Федосеевичем, я без всяких околичностей спросил его, что у них тут стряслось.

Сперва он не понял моего вопроса, но когда я рассказал о своем разговоре с Евдокией Афанасьевной, большое продолговатое лицо его с тяжелым подбородком и высоким, переходящим в лысину лбом сразу поскучнело, словно ему смерть как не хочется говорить о случившемся, да вот докучают. Вероятно, чтобы не показаться невежливым, он все же ответил:

— Да тут у нас... бычка прирезали. Не по акту.

И вдруг, оживившись, как будто уже не мне, а кому-то другому, с кем приходится препираться чуть ли не каждый день, он стал объяснять, что при хорошо развитом животноводстве никак не обойтись, чтобы не прирезать иной раз бычка, свинью, а то и корову. «Или оно съест чего ему не надо, или вред себе какой-нибудь сделает, или другая с ним стрясется беда».

— А резать нельзя... Акт от ветеринара нужен, что животное не способно дальше существовать и поэтому разрешается его забить. Только покамест этот ветеринар приедет, бычок-то возьмет да издохнет. Конечно, лучше бы ему дождаться, чтобы по всей форме пойти на котлеты, так ведь глуп! Впрочем сказать, от этой его глупости никто не в обиде. У ветеринара — порядок: составил форменный акт. У председателя тоже не хуже: получил по тому акту

страховку да еще чего ни то за шкуру. И у начальства никакого беспокойства — по законной причине пал означенный бычок.

Иван Федосеевич посоветовал мне помножить бычка на количество колхозов и подсчитать, сколько же мяса теряем мы ежегодно, а потом произнес то, что впоследствии, когда мы сошлись ближе, я слышал от него не раз и что было едва ли не самым любимым его выражением.

— Мешает еще канцелярия производителям общественного продукта!— После чего добавил:— Ну, я не дамся!.. Хотя и нет у меня бумажки на бычка, зато кооперация парной убоинкой торговала.

Затем без какой-либо связи с предыдущим он вдруг сказал:

— У меня ведь как? Куда ни приду — в районное учреждение, в областное ли,— у меня везде друзья. Все старые комсомольцы из моей ячейки. И в партию-то они у нас вступали, по нашему поручительству.

Я подумал, что Иван Федосеевич несколько струсил и успокаивает себя тем, что, когда его вызовут на бюро, друзья не дадут в обиду. Только много позднее, хорошо узнав Ивана Федосеевича, я понял, что если он и рассчитывал на друзей, то не из боязни выговора, а как солдат, которому легче драться, когда рядом товарищи. Будучи человеком практичным, пожалуй, даже осторожным, Иван Федосеевич никогда не употреблял эти свои свойства к тому, чтобы оградить себя от личных неприятностей. Он и должностью-то своей, казалось, не дорожил, во всяком случае, теми материальными благами, какие она давала ему, и на этот счет имел своеобразное суждение. Это было то место, на котором он мог принести наибольшую пользу, и если бы нашелся человек, еще более полезный колхозу, Иван Федосеевич посчитал бы естественным передать ему руководство хозяйством. Конечно, ему было бы трудно это сделать, потому что он очень любит свою работу, полагая, что другой такой не бывает.

Вот и сейчас, когда я ему рассказываю, как рассуждали тут женщины о председателях, он говорит не без гордости:

— Ниже нашей должности не бывает. Но и выше — не скоро найдешь. Центральная в государстве должность!

Он сидит, опершись локтями на стол, сцепив пальцами большие огрубелые руки, которыми с детства привык делать любую крестьянскую работу. Сосредоточен-

ность, с какой он смотрит в окно, заставляет предположить, что он увидел на улице нечто занимательное, но там, приткнувшись к тротуару, стоят лишь пустые грузовики, шоферы которых, вероятно, любезничают с Раисой Кирилловной. Когда официантка приносит на двух селедочницах жареную свинину, Иван Федосеевич, по своему обыкновению, решает за нас двоих:

— Вина не будем брать! Я к нему смолоду не привык, а теперь и вовсе уж незачем. Давайте лучше какао возьмем. По две порции.

При всей своей редкостной неприхотливости, Иван Федосеевич любит сладкое. Я подозреваю, что и в заднюю комнату он забрался отчасти из-за того, чтобы знакомые председатели, которыми в базарный день полна чайная, не потешались над тем, как «миллионщик» и «воротила» Варфоломеев пьет какао. Принимаясь за еду, Иван Федосеевич негромко спрашивает меня:

— Где побывали? Может, поучительное что-нибудь видели?

Мне и самому хотелось рассказать Ивану Федосеевичу о том, что я наблюдал недавно во время своей поездки по одной из центральных областей страны. Мне любопытно было узнать не только его суждение о тех фактах, с которыми я встретился. Я ожидал услышать от него, как поступил бы он, если бы ему пришлось оказаться в обстоятельствах, похожих на те, в каких находился председатель колхоза, где мне случилось остановиться проездом.

И я рассказал следующее.

3

В начале зимы, часу в четвертом пополудни, подъезжал я к большому селу, где предполагал заночевать, так как темнеет об эту пору сравнительно рано, а от этого села до следующего оставалось еще километров сорок непроезжей лесной дороги. В районном центре, откуда я выехал утром, на мой вопрос о здешнем колхозе мне ответили, что ничего, крепкий колхоз: электростанцию недавно построили, провели радиофикацию, а председатель там — бывший сотрудник райисполкома. Все это сообщили мне в редакции районной газеты, показали даже заметку, в которой говорилось об открытии электростанции, и однако же, когда впереди в еще не померкшем свете

мглистого зимнего дня вспыхнули вдруг неяркие, колеблющиеся электрические огни, я удивился им, так неожиданны были они в этом болотном и лесистом крае.

Минут двадцать спустя, обогнув высокое, с колоннами здание школы, я ехал меж двух порядков почти новых, срубленных на диво изб, за освещенными окнами которых теснились на подоконниках обернутые в бумагу горшки с цветами. Улица была безлюдной и тихой, как всегда в деревне в эти предвечерние зимние часы, когда хозяева, пока еще не совсем стемнело, задают корм скотине, вносят из сарая дрова, чтобы к утру они подсохли в печи. И в этой тишине, как бы перекликаясь, с особенной отчетливостью звучал голос диктора, доносившийся из разных концов села.

В правлении колхоза уже никого не было, и я отправился к председателю на квартиру. Встретила меня немолодая женщина. Она сказала с некоторой принужденностью, что председателя нет дома и где он сейчас, она не знает: может, в конторе или еще куда ушел, кто его ведает! Но в конторе я уже был, искать человека зимним вечером в незнакомом селе — дело трудное, и я попросил, если можно, пускай она сама сходит за председателем или же пошлет кого-нибудь.

Тут как раз в избу вошел здоровый, плечистый парень, должно быть, сын хозяйки, и охотно вызвался поискать председателя. Я заметил, что женщина при этом несколько растерялась, и, грешным делом, подумал, уж не загулял ли где-нибудь председатель по случаю субботнего вечера. Это подозрение еще больше укрепилось во мне, когда парень вернулся и смущенно объяснил, что, сколько ни искал, куда ни заходил, нигде, мол, его нет.

Никаких, в сущности, дел в колхозе у меня не было, задерживаться здесь я не предполагал, и так как о ночлеге успел договориться с самой хозяйкой, то и не стал настаивать на продолжении поисков.

Однако спустя какой-нибудь час, не больше, председатель неожиданно явился сам. Это был молодой, очень скромный с виду человек, молчаливый, как мне показалось, чем-то озабоченный. Разговор у нас сперва не получался — я все время чувствовал в председателе непонятную мне настороженность. У меня было такое ощущение, будто о моем приезде он узнал сразу и медлил появиться только лишь потому, что ожидал встретить кого-нибудь вроде уполномоченного. Во всяком случае, стоило ему

услышать, что человек я проезжий и к начальству не принадлежу, как он стал держать себя много свободнее. Он извинился, что не может меня устроить с должными удобствами, потому что хотя и работает здесь вот уже скоро год, но семьи у него нет, живет он в чужом доме постояльцем.

Мы разговорились, и я спросил председателя, много ли выдал он в нынешнем году на трудодень. Председатель почему-то смешался, некоторое время угрюмо молчал, наконец как бы через силу ответил, что на трудодень нынче ничего не пришлось выдать. Разумеется, я этого не ожидал и поинтересовался узнать, в чем тут причина. И тогда он, словно оправдываясь, стал говорить, что и в прошлом году почти ничего не выдали и в позапрошлом...

Он как бы сказал этим, что и до него не лучше, однако же не объяснил — почему. И я продолжал спрашивать об урожае, о продуктивности скота, на что он все так же неохотно отвечал, что ржи они и трех центнеров не собирают с гектара, картофеля — тридцать, а молока коровы дают в год литров шестьсот, не больше. Каждый раз, когда он называл какую-нибудь цифру, я переспрашивал его, полагая, что он оговорился. Но все было именно так, как он говорил, и мне приходилось снова задавать вопросы.

Таким образом, я узнал, что всему причина земля, точнее — навоз, которого недостает, чтобы как следует удобрить здешние песчаные почвы. А недостает его только лишь потому, что скотины мало. А мало ее из-за того, что с кормами плохо. А кормов не хватает все по той же причине: без навоза на легких песках ни корнеплодов, ни зерна, ни трав не вырастишь.

Мы снова пришли к тому, с чего начали, и, поскольку еще одно перечисление уже известных мне обстоятельств едва ли могло что-либо прибавить, я спросил председателя, как же в таком случае живут колхозники. Он ответил, что неплохо живут. Почти в каждой семье один либо два человека работают в соседнем леспромхозе, а заработки там подходящие. Вот и сын здешней хозяйки, к примеру, всего только год как пришел из армии, однако успел купить и мотоцикл и аккордеон. Да и почему бы не купить, если, кроме крупы и хлеба, все непокупное. В селе не найдешь такого двора, где бы не было коровы, а это ведь не только молоко, но и навоз. И хотя на усадьбах у колхозников тот же песок, картошки собирают они изрядно: и сами едят, и свиней откармливают...

В заключение, с печальной улыбкой, председатель сказал, что село у них «самоедское», и тут же пояснил: сами, мол, едим, а обществу никакого продукта не даем, только землю попусту занимаем.

Оставался еще один вопрос, который я не преминул задать: откуда же взял колхоз деньги на постройку электростанции и радиоузла?

Оказалось, государство выдало ссуду.

Председатель признался, что сейчас как раз подошел срок очередного платежа, а касса пустая. Он и ночей теперь не спит, все думает, как бы вывернуться. Ему бы только отсрочку дали, а там он что-нибудь продаст и заплатит, после чего можно еще просить ссуду. Надо ведь с весны животноводческие помещения строить, потому что так дальше жить нельзя — того и гляди, за зиму весь скот поморозишь. Осенью, правда, позатыкали кое-какие дыры, но и заплаты-то ставить уже не на что — шутка сказать, с самой коллективизации ничего не строили! Да вот не дают отсрочки!..

Я уже и не рад был, что затеял этот разговор. Ничего дельного посоветовать я не мог, напрасно лишь растревожил человека, да еще в канун воскресного дня, когда он, вероятно, собирался отдохнуть. Мне стало понятно, что та принужденность, с какой встретила меня хозяйка, вызвана была ее желанием хоть ненадолго оберечь председателя от неприятных ему расспросов, что и парень-то, конечно, сразу нашел его и это сам председатель велел сказать, будто его никак не разыщут. И не столько потому, что я и впрямь надеялся получить ответ, сколько из вежливости я спросил председателя, что же он думает делать.

Вероятно, он все же решил, что я если и не уполномоченный, то какой-либо другой «представитель», и сказал, как привык в подобных случаях говорить докучливому начальству, что он будет бороться за повышение урожайности всех культур и за высокую продуктивность животноводства.

После этого разговаривать как-то стало не о чем, и мы улеглись спать, а утром, едва рассвело, к удовольствию хозяев, приглашавших, правда, дождаться завтрака, я попрощался с ними и уехал из села.

Я миновал околицу, и долго еще из памяти моей не шел угрюмый председатель, как он стоял, насупившись, у стола, когда мы прощались, а в зеркале, в металлических украшениях аккордеона, занявшего весь под-

зеркальник, в никелированных шариках кроватей сияли слепящие отражения большой, ничем не прикрытой электрической лампы.

4

— А я думал, вы что-нибудь интересное расскажете, опыт какой-нибудь,— выслушав меня, говорит Иван Федосеевич.

Все же мне хочется знать, как поступил бы Варфоломеев, доведись ему работать в таком колхозе, как тот, о котором я рассказал.

— Никакой тут хитрости нет,— отвечает Иван Федосеевич.— Ошибся, конечно, ваш председатель, а ему не подсказали. Видать, молодой, не знает, что иной раз и хочется мясца, а зарежешь свинью — и всю продашь, только уши оставишь. В хозяйстве иначе нельзя... Ему бы ссуду на свинарник истратить. С этого и пошел бы жить. А он электростанцию!.. Кто ж это покупает подойник вперед коровы?

И он принимается рассуждать о том, что половина успеха в каждом деле зависит от того, с чего начать. Он говорит, что это плохо сложили, будто конец — делу венец. Начатие — всему корень. А конец надо в голове держать, и все примерять да прикидывать, угадаешь ли к тому концу.

В связи с этим мне вспоминается, как минувшей весной ехали мы с одним журналистом в Вёксу и встретили у выезда из села Ивана Федосеевича, который стоял, придерживая велосипед,— он куда-то собрался ехать, но увидел нас и решил подождать. Журналист сказал Ивану Федосеевичу, что такому, мол, колхозу, у которого пять грузовых машин, пора, давно пора иметь «Победу». Он повел разговор о культуре, о том, что и здание правления в Вёксе выглядит неказисто и что надо, дескать, по этой линии подтянуться. Иван Федосеевич промолчал, и я бы забыл об этом случае, но неделю спустя, когда мы шли с ним из Стрельцов — одной из деревень Вёксинского колхоза,— мое внимание привлекли потемневшие от времени бревна, лежавшие среди поля у дороги. Я спросил о них Ивана Федосеевича, и он сказал, что тут у него запланирована центральная усадьба — правление, амбары и склады, навесы для машин. Дело в том, что сейчас

все это в разных местах, главным образом в Вёксе, потому что там шоссе рядом,— в распутицу из всего колхоза одна только Вёкса и связана с миром. А село ведь строилось без расчета на колхозное хозяйство, и когда, к примеру, весной приходят тракторы, они стоят прямо на улице, чтоб из окна правления было видать, не балуют ли ребятишки. Да и ставить-то их больше некуда.

— А здесь у нас все вместе будет,— как бы мечтая вслух, говорил Иван Федосеевич.— И опять же не станет этой вредной привычки считать, что колхоз — Вёксинский. Имени Ленина он, а в Стрельцах, в Любогостицах, в Николо-Перевозе да в Усолах, как и до укрупнения, кое-кто говорит: у них, мол, в Вёксе... Коллективное сознание мы этим строительством воспитаем.

Он шагал несколько впереди меня по раскисшей грунтовой дороге, и как только вытаскивал ногу из грязи, отпечаток сапога тотчас же наливался водой. Вода стояла в канавах вровень с землей. Шумел дробный весенний дождик, грязь хлюпала под ногами. Иван Федосеевич остановился, смерил взглядом расстояние от бревен и до темневшей далеко впереди Вёксы, показал на дорогу и, словно отвечая кому-то, проговорил:

— С дороги надо начинать. А там «Победу» купим.

С такой же точной убежденностью он говорит теперь о свинарнике, с которого, по его мнению, должен был начинать хозяйство неизвестный ему председатель колхоза. Легко заметить, что Иван Федосеевич уже увлекся этим, что ему интересно представить себе, как взялся бы он хозяйствовать в отстающем колхозе, на неродящих песках и гиблых болотах.

Рассуждать о хозяйстве для Ивана Федосеевича истинное наслаждение, самое слово это — «хозяйство», которое он выговаривает, чуть нажимая на первое «о», воспринимается им, я думаю, как иным человеком поэзия.

Надо было слышать, например, как в поле, где на месте распаханного заболоченного кустарника росли подсолнечник и горох, посеянные на силос, Иван Федосеевич рассказывал, что нынче он придумал сеять с подсолнечником не простой горох, созревающий к осени, а так называемый консервный, который он успеет собрать до того, как начнут косить зеленую массу. Надо было видеть, как он сорвал стручок и, перекатывая на ладони мясистые ядрышки, стал подсчитывать, сколько дополнительного общественного продукта даст эта его счастливая вы-

думка. Надо было наблюдать председателя в эту минуту, чтобы понять, что хозяйство и поэзия и впрямь для него равнозначны.

Иван Федосеевич берет нож и кончиком его принимается водить по пустой селедочнице слева направо короткими, решительными движениями, будто отбрасывает костяшки на счетах. За перегородкой шумит чайная; слышно, как чей-то пьяный голос, ища сочувствия, слезливо жалуется на Раису Кирилловну, а другой, не менее пьяный, рассудительно поучает: «Терпи!.. Насколько ты глупее, настолько она умнее». И еще один голос, певучий женский, принадлежащий, должно быть, базарной спекулянтке, рассказывает об открывшейся недавно комиссионной торговле колхозными продуктами и горько сетует: «Ну, скажи, от груди меня отняли». Весь этот шум ничуть не мешает Ивану Федосеевичу излагать свои мысли.

— В ихних местах,— говорит он неторопливо,— торф есть. А с торфом и на песке картошка хорошо пойдет. Вот вам и кормовая база для свиноводства. Я бы и вовсе не стал там сеять зерна. Польза от ихней ржи, по вашим словам судить, как у нас от овечек,— только что на бумаге значится. Взял бы кто да подсчитал, во что ихняя рожь обходится при урожае в три центнера или шерсть с нашей овцефермы, если у меня что ни год половина овец дохнет. Не живут они в наших условиях, а зоотехник говорит: по плану положено... Как же это с объективными законами согласовать?

Здесь надо пояснить, что почти весь Райгородский район лежит в обширной котловине вокруг древнего озера Пучибожь. Дно озера покрыто илом, озеро мелеет, зарастает тростником и не способно принять в себя всю ту воду, какую несут в него бесчисленные речки и ручейки. Здешние земли, можно сказать, покоятся на воде, здесь много болот и заболоченных вересковых пустошей, а весною и осенью даже в полях стоит вода. От этой постоянной сырости овцы болеют, и, чтобы иметь определенное планом поголовье, колхозам приходится ежегодно покупать овец на стороне.

— Суворова читали когда-нибудь?— неожиданно спрашивает меня Иван Федосеевич.— У нас вот в войну командиром части один майор был, некий Степанов, так он всегда Суворова нам приводил: «Каждый солдат должен знать свой маневр». Чтобы и председателю колхоза так

говорили: применяйся, дескать, к местности и к обстоятельствам — знай свой маневр! Для чего бы я стал держать тогда овец, если у меня все условия для молочного хозяйства? Или зачем нам пятьдесят гектаров цикория сеять, когда мы их обработать не в силах, а машины еще для этого не придуманы,— лучше уж мы посеем двенадцать, даже десять гектаров, да будут они у нас ухожены как следует, тогда мы с них столько же соберем, как с пятидесяти. А остальную землю можно еще чем-нибудь занять. Теперь-то она считается под цикорием, на самом же деле цикория за сорняками не видать. Сказали бы мне,— мечтательно вздыхает Иван Федосеевич,— сдай такой-то продукции в таком вот количестве, а где там посеять да сколько — это уж мой маневр.

— Однако,— продолжает он развивать свою мысль,— чтобы председателю колхоза «знать свой маневр», необходимо ему изучить две науки: сельскохозяйственную и экономическую. Но если с первой наукой сейчас вроде бы благополучно — прошли уже те времена, когда он, Варфоломеев, и семена попусту гноил и не знал, отчего у него клевер не растет, то про вторую что-то не слыхать: либо ее вовсе нет, либо она отстающая.

— И про обработку почвы нам известно,— говорит Иван Федосеевич,— и про удобрения, и про то, как составить правильный рацион. А вот как учесть да подсчитать, чтобы выгода была,— этому нас не учат.

Не первый раз слышу я, как Иван Федосеевич рассуждает о выгоде, и невольно задаю себе несколько наивный вопрос: кем бы он был, крестьянин из Вёксы, коммунист с двадцатых годов, доведись ему жить в старое время? Такой вот, по-мужицки костистый и крепкий, чуть сутулый, с загорелой морщинистой шеей в просторном вороте косоворотки, с мечтательным и спокойным взглядом больших серых глаз,— он почему-то представляется мне деревенским книгочеем, мирским, живущим «по справедливости» человеком или же, уйди он в город, рабочим, нашедшим «правду-истину» в подпольном марксистском кружке.

Ведь и ухватливым он стал, и оборотливым, и копейку научился считать потому только, что хозяйство-то у него не свое, а мирское, коллективное, и отвечает он за него перед колхозниками и государством.

— Вот вам задача,— продолжает рассуждать Иван Федосеевич.— У нас в колхозе доход полтора миллиона,

и у соседа нашего — полтора. Мы выдали, не считая продукции, по четыре рубля на трудодень, а сосед-то — рубль с двугривенным. Спрашивается: почему?

Он смотрит на меня с хитринкой, затем, не дождавшись ответа и весьма довольный этим, рассказывает, что у соседа плотники наемные, тогда как он, Варфоломеев, своими обходится, что сосед за одну лишь пастьбу скота платит сто тысяч в год, тогда как у него, Варфоломеева, пастухи ненанятые, за трудодни работают.

— Но здесь еще не вся отгадка,— посмеивается Иван Федосеевич.— Придумали мы госконтроль у себя завести. Специальную девушку посадили в конторе. Сосед-то на учете экономит: накладный, говорит, расход. А нам не жалко — пишем ей за ее работу трудодни. А работа вот в чем: положено, скажем, по производственному плану на такое-то и такое дело столько-то трудодней,— она и контролирует, чтобы перерасходу не было. Очень полезная девушка, хотя и ругают ее иной раз бригадиры,— бюрократ! Вы поинтересуйтесь, сколько у соседа в год трудодней выходит да сколько у нас. У него в колхозе так называемая инфляция, а мы лишнего трудодня не выпустим в оборот.

Забота об общественной выгоде, свойственная Ивану Федоссеевичу, вступает в противоречие с тем пониманием выгоды, какое имеется еще у иных колхозников, и это доставляет председателю немало неприятностей. Живет, скажем, в Любогостицах ленивый и вздорный мужичонка Афанасий Гунькин. Еще не было случая, чтобы Гунькин больше полугода поработал на какой-либо одной должности: был он и кладовщиком, и молоко возил на сливной пункт, и в пастухах ходил — все ищет, где прибыльнее. Родня у него большая, так что на общих собраниях, когда решают, например, отчислить двадцать процентов дохода в неделимый фонд или какое-нибудь другое дело, от которого ему, Гунькину, не воспоследует немедленной выгоды,— все Афанасьевы родичи голосуют против.

А сколько заявлений и жалоб на Ивана Федосеевича написал Афанасий Гунькин! И в райисполком, и в милицию, и прокурору... Минувшей осенью, когда Гунькин кончил пасти скотину, он потребовал, чтобы ему оставили в личное пользование резиновые сапоги и плащ, выданные колхозом. При этом он ссылался на соответствующий пункт правительственного постановления по вопросам развития животноводства. Иван Федосеевич отказал

Афанасию, и тот немедленно настрочил жалобу прокурору. Пришлось Ивану Федосеевичу ехать в Райгород, объяснять, что в правительственном решении сказано «рекомендовать колхозам», раз так, то имеет он право действовать по своему усмотрению: хорошим пастухам оставить плащи с сапогами, а Гунькину, у которого теленок в болоте утоп, ничего не давать.

Вот и сегодня, рассказывает мне Иван Федосеевич, вызывали его по жалобе Гунькина в прокуратуру. После снижения налога с приусадебных участков, когда стало выгодно разводить сады и сажать дорогие сорта овощей, Афанасий надумал разделиться со своей одинокой семидесятилетней матерью, чтобы получить еще одну усадьбу. Правление колхоза, разгадав его хитрость, отказалось признать этот раздел, и тогда Гунькин завопил, что Варфоломеев нарушает социалистическую законность.

— Он ведь не какой-нибудь жулик,— усмехается Иван Федосеевич,— украсть не украдет, а на законном основании ищет свою выгоду, норовит содрать кусок пожирнее...

Удивительно, что это слово «выгода» звучит совсем по-иному, когда Иван Федосеевич произносит его применительно к Гунькину! Оно как бы принадлежит к числу тех слов, которыми определяются низменные, темные понятия. А вот в применении к колхозным делам это же самое слово в устах Ивана Федосеевича теряет свой изначальный торгашеский смысл, становится в ряд с благороднейшими словами.

— Пошли!— прерывает мои размышления Иван Федосеевич.

Расплатившись, мы выходим с ним из задней комнаты, пробираемся к выходу, отделенные друг от друга длинным рядом столиков, за которыми сидят люди, и Иван Федосеевич через их головы громко спрашивает меня, читал ли я такой роман... про семью Журбиных.

— Там дед один есть,— рассказывает он.— Так этого деда ни уволить на пенсию, ничего с ним не сделать — хозяин на заводе. Вот и мечтается мне: как бы это научиться таких людей воспитывать.

Он открывает дверь, и сквозь облако мгновенно остывшего воздуха, хлынувшего вслед за нами, мы выходим на улицу.

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН

Красный клевер

(Рассказ инструктора райкома)

Тридцатого октября пленум райкома освободил от обязанностей первого секретаря Петра Федоровича Савостина в связи с его переходом на работу в обком, но на другой день, в понедельник, Петр Федорович пришел в свой кабинет, как всегда, к девяти.

Через часок весь аппарат собрался у Савостина, появился кто-то из районных работников, и новый секретарь тоже был здесь. Перелистывая какое-то дело в зеленых корочках, он часто поднимал голову, чтобы посмотреть на присутствующих.

Получилось что-то вроде райпартактива, хотя никто и не собирал людей.

Савостин подозвал случившегося здесь Кубрина, председателя колхоза «Маяк», и тихо, но внушительно говорил о чем-то с ним, должно быть, журил на прощанье, потому что грозил пальцем, правда, не совсем Кубрину, а немножко в сторону. Кубрин же торопливо и согласно кивал, морщился, должно быть, крепко хотел запомнить все, что говорил ему Петр Федорович.

Другие тоже разговаривали между собой вполголоса, просто так, чтобы не сидеть молча, на самом же деле внимательно смотрели то на старого, то на нового секретаря. С одним прощались, с другим знакомились.

Петр Федорович был человеком крупным, внушительным, с крупными же чертами лица. Лоб, карие глаза, слегка розовый нос, яркие губы и чуть синеватый подбородок были у него округленными, выпуклыми и крепкими, на коже не заметно ни единой морщинки, хотя ему уже под пятьдесят. Только между шеей и подбородком намечается первая складочка. Голос у Савостина тоже солидный, когда он сердится, голос становится даже красивее — с этаким внутренним гулом. Савостинскому голосу завидовал наш райвоенком, высокий и худой подполковник со странной фамилией Чиж.

— Тебе бы, Петр Федорович,— говорил обычно Чиж,— парадами командовать. Если уж не на Красной площади, так, по крайней мере, где-нибудь в крупном военном округе!

Фигура Петра Федоровича и этот его голос уже внушали к нему уважение. К тому же за все семь лет, пока он был у нас первым, наш район почти никогда не ходил в отстающих.

Умел Савостин ладить и с областным руководством. Приходили и уходили начальники областного управления сельского хозяйства, сменялись секретари обкома, а наш Савостин перед каждым мог постоять за район, быстро умел схватывать стиль вышестоящего руководителя.

Был одно время секретарем обкома товарищ Кашин — суровый, но справедливый человек, который терпеть не мог расхлябанности, пьянства, вообще всяких таких дел. Сколько при нем было наложено взысканий — не счесть! И еще в области не знали об этой черте Кашина, а Савостин уже наводил по району порядок. Я, помню, только удивлялся: откуда что взялось? Откуда пошли строгости? И лишь много позже догадался.

Кашина перебросили в одну из южный областей. Пришел на его место Гусев. Это был работник неиссякаемой энергии, но вспыльчивый и грубоватый. Он сам о себе говорил, что иногда проводит бюро обкома «слишком нервозно».

И наш Петр Федорович повел дело тоже энергично, каждую неделю проводил в районе радиопереклички и стал, чего греха таить, погрубее.

Но в любом случае, всегда в райкоме царила ясная обстановка. Каждый точно знал, что ему делать, как делать, в какие сроки. Я начинал работать в райкоме при Савостине, и передо мной даже в самом начале работы никогда не вставал этот вопрос: что делать? Перед поездкой в район обязательно хоть на пять минут, но забежишь к Савостину лично, запишешь памятку и знаешь, что, как только вернешься, он за все спросит, ничего не забудет. И заведующие отделами привыкли к такому порядку и, давая указания своим инструкторам, говорили: «Еще хоть мельком, а поговори по этому вопросу с Петром Федоровичем! Посоветуйся!» И не было случая, чтобы у нас в райкоме с запозданием ставились вопро-

сы пропаганды, подготовки к уборочной или к посевной. Всегда все вопросы ставились вовремя.

А как-то придется работать с новым секретарем? Сказать о нем пока нечего. Роста небольшого, светлый и слегка кудрявый. Моложавый. Больше всего, кажется, похож на студента. Не очень-то солидный. Правда, про него говорили, будто он вытянул из прорыва один трудный район в западной части области, так ведь известно, как возникает такая молва: выпали вовремя осадки, и только. Всякое бывает.

— Ну что же, друзья,— сказал наконец Савостин громко.— Так получилось, что мы на прощанье снова собрались все вместе. Благодарю за внимание! Раз такое дело — позвольте несколько слов...

Воцарилась тишина. Новый секретарь Баженов отложил в сторону папку — тоже приготовился слушать.

— Что основное и главное в нашем районе?— начал Савостин.— За что вам придется бороться в первую очередь? Главное — культура земледелия! Нужно на этом участке работать! Второе — неотделимое от первого,— животноводство. Повторяю истину: у коровы молоко на языке. Так, товарищ Кубрин? По твоему опыту?

Председатель «Маяка» быстро встал, как будто собираясь произнести речь, но сказал только одно слово:

— Точно!

И снова сел.

— Точно-то точно,— усмехнулся Савостин,— да за этим тоже стоит огромная работа, с напряжением всех сил, с использованием всех имеющихся возможностей. Дальше. Ты не обижаешься, Константин Сидорович,— обратился Савостин к Баженому,— что я тут вроде бы вас наставляю? Нет? Я от чистого сердца советую — ведь семь лет отстукал в районе. Так вот, дальше. Бойтесь авралов. Дело делать без спешки, по плану, в своевременные сроки. Как это говорится: готовь летом сани, зимой телегу. О посевной думайте уже сейчас, в октябре, об уборочной — в марте. Так... Самое же главное, бесценный капитал — люди. Хочу сказать, Константин Сидорович, вот аппарат райкома перед тобой — хороший, работоспособный аппарат, только управляй им. От масс не оторван, людей в колхозах знает. Да вот хотя бы, Кубрин, скажи: знает, к примеру, Иванов людей в твоем колхозе?

— Пять пальцев,— снова поднялся Кубрин, показав

руку с растопыренными пальцами.— Как свои пять пальцев.— И улыбнулся мне очень дружелюбно.

Баженов уставился на меня из-под очков, похлопал колено, должно быть, про себя произнес: «Так, так, так...» Все присутствующие тоже смотрели на меня, и я понял, что Савостин таким образом представляет инструктора новому секретарю.

Закончил Савостин словами:

— Надеюсь, не подведет райком областную парторганизацию. Крепко надеюсь. А ко мне в обком — в любое время дня и ночи, с любым вопросом. Двери будут открыты. Вот так... Может, ты теперь скажешь, Константин Сидорович? О задачах?

— Нет, пожалуй...— ответил Баженов, опираясь обеими руками о колени и все еще покачиваясь в такт каким-то своим мыслям.— Нет! О задачах ты как есть обо всех сказал...

После этого Петр Федорович попрощался с каждым из нас за руку. Я сидел в углу у крайнего окна, и, когда Савостин подошел ко мне с протянутой рукой, мне показалось, будто что-то привычное обрывается, такое, что прочно вошло в мои представления о жизни.

Конечно, о жизни — мы ведь живем работой, придерживаемся какого-то стиля этой работы, каких-то отношений с людьми, а все это связано у меня с Петром Федоровичем, с его требованиями. Все!

До сих пор, когда я выезжал в колхоз с каким-нибудь заданием и мне нужно было поднажать на председателя, я говорил: «Петр Федорович за это спросит! Строго спросит!» Когда я хотел подбодрить председателя, я говорил: «Петр Федорович передавал привет! Одобряет вашу работу!» Если же я попросту не мог ответить на тот или иной вопрос... да вы и сами знаете, как говорят в таком случае: «Надо подумать... Обговорить... Провентилировать». Я добавлял еще: «Надо посоветоваться с Петром Федоровичем!»

А что будет теперь? Вместо слов «Петр Федорович» не скажешь ведь «Константин Сидорович»? Нет, не скажешь. Для этого новому секретарю нужно много, очень много поработать, завоевать авторитет, поставить себя перед областным руководством. Нужно, как говорят у нас, оправдать доверие. Когда-то это будет? И будет ли? Великое это слово: доверие.

И что-то будет нынче, что-то будет?

Спустя неделю Баженов, вернувшись из поездки по району, вызвал меня к себе:

— Задание вам, товарищ Иванов. Серьезное... Пока ваш заведующий отделом на курсах, поработайте-ка за него.

Я подумал о чем-то сложном, заковыристом. Мне почему-то сразу показалось, что от Баженова будут исходить только такие, очень сложные указания. С фантазией.

— Набросайте, товарищ Иванов,— сказал Баженов,— вопросы по сельскому хозяйству, которые следовало бы обсудить на бюро райкома в ближайшие несколько месяцев. Которые вам кажутся заслуживающими внимания и постановки. По району в целом, по отдельным МТС и колхозам.

Я облегченно вздохнул и спросил:

— Это все?

Баженов пожал плечами:

— Если вам ясно, значит, все.

Через полчаса я уже поднял протоколы заседаний бюро райкома за последние три года и выписал из повесток дня все вопросы по сельскому хозяйству. Взяв за основу получившийся таким образом список, я стал его конкретизировать. В прошлом году о зимовке скота отчитывалась на бюро Белореченская МТС. Теперь я наметил отчет Кочетовской станции — с кормами у нее дело хуже, да и нехорошо, когда по одному и тому же вопросу из года в год отчитывается одна и та же МТС или один колхоз. Нужно разнообразие.

В прошлом году о подготовке к посевной как передовой докладывал колхоз «Красный семеновод», как отстающий — «Заря». На этот год как передового я наметил «Красный льновод», а отстающим снова пришлось записать «Зарю». В данном случае пришлось повториться.

Хотя это и не входило в задание, я по своей инициативе наметил сроки постановки всех вопросов на бюро, сделал графу «Кто отвечает за подготовку» и наметил ответственных товарищей по каждому пункту. На другой день я пришел к Баженову и положил ему на стол свою работу.

Он удивился, что я так быстро справился с заданием, прочел мой список, похлопал себя по колену и сказал:

— Мало! Мало наметил вопросов. А главное — все общеизвестные...

Петр Федорович, тот определенно заставил бы сократить список, а этому было мало. Он так и сказал:

— Пишите все, что считаете нужным. Вы лично. Ну, к примеру, известно вам, что в колхозе «Заря» плохо обстоит дело? Слабое руководство? Тогда пишите: «Причины отставания колхоза «Заря». Отчет секретаря парторганизации колхоза». Или вот не хватает из года в год кормов в «Маяке». Так? Пишите: «Об использовании сенокосных угодий в колхозе «Маяк». И дальше в том же духе. Не думайте, будто мы рабочую повестку дня составляем,— до этого еще далеко. Нет, просто вы открываете передо мной свои соображения, свою записную книжку. Еще два дня вам на работу!

И два дня я пополнял свой список вопросов, так что он стал умопомрачительной длины, и снова, когда Баженов вернулся из очередной поездки по колхозам, я пришел к нему. На этот раз он сказал:

— Теперь тут, кажется, кое-что есть...— И расспрашивал меня несколько часов.— Вот тут намечен отчет раймаслопрома. Почему?

Я объяснил, что маслопром только и знает, что жалуется на колхозы, сам же не организует, не стимулирует сдатчиков. Больше того, имеются сигналы о неправильных расчетах с колхозами за молоко.

Баженов кивал головой, похлопывал себя по коленке и говорил:

— Так-так-так... Так-так-так... Ну, а вот тут: «О работе школы механизации»?

И снова я объяснял, что уже два года в райкоме собираются поставить отчет директора школы, что сам директор об этом просит, дело же в конце концов дойдет до того, что из области нас упрекнут за невнимание к подготовке механизаторских кадров. Может случиться и такое.

Баженов ставил на моем списке вопросов крестики, кружки, фамилии людей. Потом пересел из-за стола на диван, вытянул ноги и позвал меня:

— Сядьте-ка сюда, рядом...

Когда я сел рядом с ним, он и меня похлопал по коленке, а потом спросил:

— А не заметили вы такого вопроса, такого, знаете ли, чтобы он сам к нам просился прямо из жизни, прямо с колхозного поля, чтобы вот так врывался в кабинет без спроса?— Баженов посмотрел на дверь кабинета, слов-

но кто-то и в самом деле входил к нам. Я не понял и молчал, помолчал и Баженов. Сняв очки, он внимательно посмотрел в окно подслеповатыми глазами, а когда снова очки надел, начал пояснять свою мысль:— Ну вот, предположим, люди заинтересованы чем-то, каким-то своим хозяйственным делом, но не знают, как лучше поступить...— говорил он тихо и прищуривал глаза.— Люди спорят, доказывают друг другу, и начинает у них появляться такое чувство, что кто-то должен им помочь разобраться, нужно к кому-то обратиться. А тут райком сам заметил это и ставит спорный вопрос на бюро. Ставит так: приглашает людей из колхоза, из МТС, и эти люди обмениваются мнениями, продолжают спор уже в райкоме, а члены бюро говорят как можно меньше — они слушают и делают выводы. Все происходит так, будто мы поменялись местами: члены бюро находятся в колхозе на рабочих местах — полеводами, бригадирами, председателями, механиками МТС, а колхозники и эмтээсовские механики заседают на бюро и несут перед всем районом ту самую ответственность, которую мы несем. Вот это было бы очень кстати, очень нужно... А?

Совсем еще моложавый, Баженов помолодел как будто еще больше; разговаривая, он тихонько посмеивался над кем-то: не то над собой, не то надо мной — за то, что я так и не мог его как следует понять.

— Вот,— повторил он,— это нужно. А раз нужно, значит, интересно!— Потом Баженов посмотрел на меня, увидел, что я ничего не могу сказать или посоветовать ему, и уже другим, решительным тоном закончил:— Какой мы поставим на бюро вопрос: «Опыт возделывания красного клевера в колхозе «Маяк». Понятно? Острый вопрос!

Я был удивлен и озадачен. Совершенно непонятно было, для чего этот вопрос нужно ставить на бюро? Больше того: каверзнее ничего нельзя и выдумать! В районе отношение к многолетним травам неопределенное: одни — за, другие — против, и что будет решать бюро при таком положении — неизвестно.

Ну, а в колхозе «Маяк» этот вопрос выглядел попросту скандально. Дело обстояло здесь так.

Года два или три тому назад директор Белореченской МТС Рудашов достал в области семена клевера и на собрании колхозников «Маяка» протолкнул постанов-

ление о посеве двухсот гектаров этой культуры в низине, вдоль большака на райцентр.

Председатель колхоза Кубрин на собрании не очень поддерживал Рудашова и даже упрекнул его в превышении полномочий. Но это было только начало распри. Осенью в «Маяке» завалили уборку зерновых, и Кубрин все списал на МТС: дескать, виной затея директора с клевером. Кубрин своей властью перебрасывал комбайны с клевера на зерновые; Рудашов эти комбайны возвращал, а потом предъявил колхозу счет за непроизводительные перегоны комбайна. Дальше — больше. В районе расширялись площади посева под кукурузой, распахивались многолетние травы, и тут Кубрин уже в районном масштабе резко выступил против Рудашова, обвинив его в антизерновых настроениях, в покровительстве травам, в нарушении указаний вышестоящих организаций.

Всему бывает конец. И здесь поговорили бы, поругали Рудашова, раз уж он попал в струю этой проработки, а потом новые заботы — и старым страстям конец. Но события развивались дальше. В один прекрасный день Кубрин получает извещение, что ему лично за сдачу семян клевера причитается премия — девять тысяч рублей.

Кубрин что-то такое промямлил, что, дескать, тут не его заслуга, а колхозников, что он всегда за инициативу, отметил с положительной стороны роль райкома, упомянул даже одного комбайнера МТС и поехал в область получать премию. Заодно тут же, не откладывая, начал рыскать по всему району и по соседним районам тоже в поисках семян клевера — из своего посева он семян в колхозе не оставил.

И вот Кубрину предстоит отчитываться на бюро об этом «опыте»? Что задумал Баженов? Поднять на щит Рудашова? Проработать Кубрина? Столкнуть их еще раз лбами? Показать близорукость бывшего руководства райкома в остром вопросе?

Что и говорить, Петр Федорович в настоящий момент ни за что бы не поставил вопроса о многолетних травах на бюро! Никогда не стал бы он искусственно обострять отношения между директором МТС и председателем колхоза — ведь им работать вместе, зачем же это? И еще неизвестно, как Петр Федорович оценит эту затею, работая нынче в обкоме?

Но Баженов не дал мне хорошенько собраться с мыслями.

— Как вы считаете,— спросил он,— кого нужно пригласить на бюро? Я думаю, из «Маяка» человек пять-шесть: бригадиров, одного-двух рядовых колхозников, которые имели дело с клевером. А кого пригласим из специалистов? К вам из области, из ученых никто не наезжает?

Мысленно я махнул рукой на Баженова: пусть делает, что хочет! И я сказал, что в особенно важных случаях мы приглашаем Никитичну.

— Это кто же такая? И почему она так называется?

Я объяснил, что Никитична — научный работник из сельскохозяйственного института, очень боевая, активная, назубок знает все постановления, мастер по составлению всяких резолюций и постановлений. Район наш она тоже знает очень хорошо, неофициально как бы шефствует над нами со стороны науки. Всех руководящих товарищей она зовет только по отчеству: Николаич, Андреич, Кириллыч, потому и ее называют Никитичной.

— Значит, она агроном?

— Конечно, агроном!

— А где она работала агрономом: на севере или на юге области?

— Насколько я знаю, Никитична кончила институт, потом аспирантуру, ну и работает в институте.

— Так-так-так...— проговорил Баженов.— Так...

— У нее книга по многолетним травам, Константин Сидорович. Она кандидат наук! Чуть ли не доктор!

— Решено: приглашаем! Наверное, нужно позвонить в обком, чтобы оттуда передали Никитичне о нашей просьбе?

— Действительно, так лучше. Можно и самим ей позвонить, но через обком лучше.

— Наверное, нужно позвонить мне лично, не передоверять никому?

— Конечно, ваш звонок авторитетнее.

— Понятно... А у меня тоже есть предложение: пригласить Марию Трофимовну. Наш районный работник, условия знает Согласны?

Я сказал, что согласен. Сказать-то сказал, но машинально, не подумав, уверенный в том, что я всех знаю в своем районе.

— Ну, если согласны,— сказал Баженов,— возьмите

трубку и позвоните ей. Спросите: может ли она подготовиться к выступлению на бюро?

Баженов кивнул в сторону аппарата, а я встал, положил руку на трубку, и следующая минута показалась мне часом. Хоть бы Баженов рассердился или засмеялся. Так нет. Смотрит на меня и молчит. Наконец произнес:

— Ладно, я сам позвоню.

Попросил библиотеку районного Дома культуры и спросил там Марию Трофимовну.

Только тогда я догадался, кого он имел в виду. Мария Трофимовна Шульпина была раньше учительницей, хорошо организовала работу кружка юннатов, за что и была неоднократно премирована и отмечена в печати. Потом заболела, ушла из школы на библиотечную работу. Кажется, у нее что-то случилось с горлом: она не могла говорить подолгу и громко.

— Она рассказывала,— заметил Баженов,— что вы учились у нее в школе.

— Учился... Но я никак не мог подумать... Константин Сидорович, да ведь эта старушка-то в жизни не принимала никакого участия в работе партийных органов! Аполитичная. Да она и до райкома-то не дойдет!

— Вот это правильно подсказали,— кивнул торопливо Баженов.— Что правильно, то правильно. Значит, не забудьте, когда нужно будет, пошлете за Марией Трофимовной машину. Обязательно!

Я все думал, что вопросы зимовки скота, агроучебы, другие первоочередные мероприятия и директивы областных организаций по сельскому хозяйству, одним словом, вся наша напряженная обстановка так и не позволит Баженову осуществить его затею.

Но вот началось бюро в присутствии Никитичны, приехавшей по командировке обкома, Марии Трофимовны и еще целого ряда товарищей.

Слово для обмена опытом возделывания красного клевера получил председатель колхоза «Маяк».

Хитрый был этот Кубрин, тертый калач! Он ни словом не обмолвился насчет истории, которая разыгралась между ним и Рудашовым, не упомянул о премии, а рассказывал только, когда и как клевер сеяли, когда убирали, какой получился урожай и доход.

Говорил он стоя, громко, хотя и не совсем гладко, и

только изредка поводил глазами в угол кабинета, где сидел Рудашов.

А у того желваки ходят под кожей, он сидит как на иголках, но молчит, не перебивает, реплик не подает, только теребит себя за лохматые брови. Это у него признак волнения. Еще, бывало, Петр Федорович Савостин, когда критиковал Белореченскую МТС, всегда посмеивался: «Факты — упрямая вещь, товарищ Рудашов, и придется тебе бровь на палец мотать!» Вообще Рудашов плохо переносит критику: возражает, ищет оправдания. А к чему? Если уж в проекте резолюции или решения записано порицание,— а какой директор МТС обходился без порицаний, предупреждений и взысканий?— к чему тут оправдания?

И Рудашову многие давали, в общем, один и тот же совет:

— Чего ерепенишься, всегда затягиваешь заседания? Только время отнимаешь у себя и у других!

— Больше помалкивал бы — реже получал бы по затылку!

— Брось, Рудашов, демагогию!

Но Рудашов эти советы будто не слышит, хватает советчика за рукав и доказывает, что виноват не он или не только он, а еще такой-то и такой-то. Когда виноваты многие, ему будто легче. Чудак!

Говорит Рудашов всегда басовито, но торопливо и как-то несолидно. С высоты своего роста он смотрит на собеседника, словно заглядывает ему в лицо снизу вверх. В поведении Рудашова Петр Федорович Савостин всегда видел «слабину» и предупреждал, что это до добра не доведет. «Слабина» проявилась у Рудашова еще больше, когда заварилась эта клеверная каша между ним и Кубриным.

Легко представить, как волновался, теребил брови и оправдывался Рудашов, после того как Кубрин обвинил Белореченскую МТС в срыве уборочной, в том, что станция заботится только о травах, а не о зерне!

Будь на месте Рудашова другой человек, Кубрин бы, конечно, не рискнул пойти на это: ведь МТС может в два счета зажать колхоз и председателя! Таких возможностей у нее хоть отбавляй! Но Кубрин знал, с кем имеет дело: Рудашов пуще всего боялся упреков, будто где-то, в каком-то вопросе он сводит личные счеты.

Только намекнет Кубрин, что вот, мол, после моих

критических выступлений против Рудашова из МТС пришел в «Маяк» самый что ни на есть плохой трактор, как у Рудашова брови начинают ползти вверх, и он нещадно теребит их.

При всем том Рудашова любили и уважали не столько в райцентре, сколько в МТС. Происходило это оттого, что Рудашов был врожденным механиком, из тех, о ком говорят, что они любят машины до потери сознания. Он был и токарь, и слесарь, и медник, и водитель первого класса, имел какие-то изобретения и напечатал статью в журнале «МТС».

Теперь, еще до начала заседания, к Рудашову подходили люди и советовали:

— Слушай, дай-ка ты жизни этому Кубрину! Давно пора!

— На твоей улице праздник! Расскажи во всех подробностях, как было!

— Неужели стерпишь, промолчишь?

— Не стерплю!— грозил кулаком Рудашов.— Дам жизни! Вот только все и без меня знают, как было дело. О чем рассказывать-то?

— Ничего, повтори, проучи как следует Кубрина!

— Проучу!— И лицо у Рудашова сердитое, даже злое, никогда не видал у него такого.

А Кубрин, маленький, толстенький, на вид такой простачок, в сереньком дешевом костюмчике, кроет про посев и уборку клевера и как будто не замечает настроения присутствующих.

С самого начала я в душе вообще был против постановки вопроса о клевере на бюро, а тут даже и не заметил, как заразился общим настроением. Думаю: «Раз уж пошло на это, надо бы действительно тебе всыпать, Кубрин!»

Должно быть, и Баженов так думал, потому что, когда Кубрин кончил, стал спрашивать его:

— Вот вы говорите о сроках сева да уборки. Так говорить может любой, кто имеет перед глазами сводку о полевых работах. А вы руководитель хозяйства, коммунист. Значит, должны понимать, что от вас требуется. Скажите: как вы пошли на посев клевера, из каких соображений? Как это дело восприняли люди? Что это дало для колхоза? Что даст государству?

Но Кубрин все еще, видно, надеялся уйти от неприятных вопросов.

— Уж как умею...— ответил он.— Попросту, без бухгалтерии, а по-крестьянски!

— Э-э, нет!— вздохнул Баженов.— Раз без расчета, значит, не по-крестьянски. Ну хорошо, еще один конкретный вопрос. Скажите: вы сами за клевер или против? Знаете установку — распахивать малоурожайные травы?

Еще бы Кубрину не знать этой установки, если, выступая против Рудашова, он десятки раз ссылался на нее?!

Он и ответил:

— Как же, знаю...

Но ответил как-то неуверенно. Немного помолчал и вдруг начал расхваливать клевер! Получалось, что без клевера колхоз не смог жить, не живет и в дальнейшем без него дня не просуществует! И кормовую-то базу клевер укрепляет прочнее прочного, и денежность поднимает — колхозная касса вот-вот начнет ломиться от бесчисленных тысяч, а уж плодородие земель от клевера повышается так, что через два года колхоз «Маяк» поставит всесоюзные рекорды урожайности по всем культурам! О будущем колхоза Кубрин говорил особенно горячо: оно все заключено в красном клевере!

Рудашов, слушая, только двигал бровями.

Все до крайности были удивлены таким оборотом кубринской речи, а Никитична особенно взволновалась, стала покусывать губы.

Она сидела по другую сторону стола от меня и сначала невнимательно слушала все, что здесь происходит, разговаривала с главным агрономом Кочетовской МТС, который учился когда-то у нее в институте. Вот они и перебирали старых знакомых. Потом Никитична подтолкнула своего собеседника локтем: помолчим, дескать, нужно послушать, что говорят. Когда же Кубрин закатил свою речь в пользу клевера, она нагнулась ко мне через стол и, пахнув запахом табака и духов, спросила:

— Слушай, Иванов, что это у вас происходит? При новом руководстве? Или вы не понимаете, какая существует точка зрения на многолетние травы? Не понимаете, да?

Я пожал плечами.

Немного спустя она снова наклонилась ко мне:

— Слушай, Иванов, неужели у вас в районе нет более важных вопросов для постановки на бюро, чем посев клевера в одном каком-то колхозе?

Я снова пожал плечами.

Она еще послушала и опять спросила:

— Слушай, Иванов, чья это инициатива — пригласить меня на бюро? Баженова?— Почему-то в этот раз она называла нас не по отчеству, а по фамилиям. Изменила своему собственному правилу.

Я сделал руки трубкой и шепотом ответил ей через стол:

— Не знаю...

Теперь она пожала плечами, ничего не ответив. Когда же Кубрин кончил наконец расхваливать клевер, Никитична не очень громко, но и не очень тихо, так что несколько человек все-таки слышали ее, сказала:

— Надо выправлять это положение...— И поднялась с места, и видно было, как собиралась с мыслями.— Позволь, Сидорыч?

Баженов утвердительно кивнул, и Никитична заговорила низким грудным голосом, который всегда привлекал внимание слушателей. Недаром она читала лекции в институте.

— Не то!— проговорила она со строгим и грустным выражением.— Прямо скажу, товарищи, не того требует в настоящий момент от нас обстановка! Обстановка требует от нас, тружеников сельского хозяйства, получить десять миллиардов пудов хлеба! Десять, и ни пуда меньше, если мы не хотим совершить преступления перед народом. В разрезе именно этой задачи нужно ставить и решать вопросы на бюро райкома. В этом разрезе ставить отчет председателя колхоза! А что происходит? Здесь всем присутствующим внушается вредная мысль о том, что клевер — это панацея от всех бед! Извините! Это далеко не так!— И Никитична очень крепко пощипала клевер: она говорила о трудностях получения семян этой культуры, о ее полегаемости, о ее высокой требовательности к плодородию почв, так что в конце концов всякие достоинства клевера померкли совершенно.— Было увлечение многолетними травами,— говорила она,— мы все отдали дань этому увлечению — хватит! Если были ошибки — нужно их признать, нужно перестроиться решительно! Отбросить заблуждения. Раз и навсегда! Я приведу вам пример: у нас в институте один товарищ работал над темой о влиянии красного клевера на обогащение подзолистых почв азотом. Что же вы ду-

маете? В порядке перестройки мы на ученом совете эту тему сняли. Отсюда можете судить...

— А жаль, что сняли,— бросил неожиданно реплику Баженов.— Тема полезная, скажем, для нашего района...

Никитична не рассердилась, наоборот, она улыбнулась и так погрозила Баженову пальцем, что я сразу подумал — она ответит какой-нибудь шуткой. И в самом деле, Никитична сказала:

— Смотри, Сидорыч, как по осени у тебя спросят хлеб, а хлебушка-то будет в обрез, то с тебя лапотинку приспустят и клевер этот вспомнят... Товарищи!— продолжала она уже совершенно иным тоном.— О чем говорят последние решения?

Одно за другим она стала цитировать решения, и выходило так, что мы у себя в районе действительно занимаемся бог знает чем, но не делом. Я всегда удивлялся той памяти, которой обладала Никитична, но на этот раз она перещеголяла самое себя. Можно было ей позавидовать, как знала она все решения, все передовые «Правды».

Создавалось или уже создалось очень неприятное положение для Баженова. В такие переделки Савостин никогда не попадал, и можно было с уверенностью сказать — никогда не попадет.

Я взглянул на Константина Сидоровича, ожидая увидеть его растерянным, рассерженным, наконец, чрезмерно спокойным и даже добродушным: люди, умеющие владеть собой, иногда делаются такими в острые моменты.

Ничего этого я не увидел. У Баженова было очень заинтересованное лицо, и только, когда в речи Никитичны получалось уж очень ловко, внимательность, с которой он поглядывал на присутствующих, становилась особенно заметной. Вместе с тем было что-то во всей его настороженной фигуре, что заставило меня подумать: «А ведь, пожалуй, поддаст он сейчас жару Никитичне!» Стало как-то не по себе от этой догадки. В районе мы высоко ставили авторитет этой женщины. Она была ученой, представляла в своем лице науку, а вместе с тем и обком, поскольку всегда приезжала по его указанию.

Когда она приезжала, по какому-то неписаному правилу каждый районный работник считал долгом с ней встретиться, рассказать о своей работе и послушать ее, угостить ее папиросой или самому занять одну-другую, отпустить в меру присоленный анекдот и получить свежие новости областного центра. Даже очень солидные

товарищи позволяли ей похлопать себя по плечу и сами могли пошутить насчет ее не очень быстро, но неуклонно полнеющей фигуры. Одним словом, Никитична имела все основания считать себя своим человеком в районе.

Но, видно, я не напрасно опасался сейчас за Никитичну: Баженов начал задавать ей вопросы. Сначала он спросил:

— Вы, Ольга Никитична, бывали когда-нибудь в колхозе «Маяк»? Знаете его земли?

— Я, Константин Сидорович, бывала во всех колхозах вашего района. И не раз и не два.

— Тогда, Ольга Никитична, может быть, вы расскажете нам, как выглядели посевы клевера в этом колхозе? Хороши они или плохи? А если вы знаете колхозы других северных районов, скажите, как там оправдывает себя клевер?

— Я, Константин Сидорович, уже отметила место клевера в современных условиях не только для одного или нескольких колхозов — для всей области. В целом.

Баженов был настойчив, он добивался прямого ответа:

— Мы, Ольга Никитична, не просим у вас консультации для всей области. Для одного колхоза, для колхоза «Маяк» посоветуйте: стоит ему и дальше сеять клевер или не стоит?

Должно быть, эта настойчивость вывела из равновесия всегда такую сдержанную и добрую Никитичну. Торопливо она стала объяснять, что для ответа на этот вопрос нужно не только бывать в колхозе, но досконально изучить его экономику, нужно иметь перспективные планы развития хозяйства, нужно сообразовать эти планы с последними решениями по сельскому хозяйству. И, совсем уже разволновавшись, она сказала:

— Вы извините меня, товарищ Баженов, но постановкой на бюро мелочных, хозяйственных вопросов вы уводите райком от большой политики. Я знаю подоплеку вопроса. Это распря между Кубриным и Рудашовым, в которую вы зачем-то хотите вовлечь всех присутствующих товарищей, сделать ее общерайонной! Зачем это нужно? Кому и зачем? Я говорю это не как частное лицо, которое вы пригласили... Я в вашем районе по командировке обкома партии!

Было слово за Баженовым, но он не торопился: неподвижным, злым взглядом нацеливался на Никитичну,

и в наступившей тишине каждый с напряжением ждал. что же будет дальше?

Было время для размышлений, и я подумал, что произошло что-то неладное, нехорошее. Нельзя было говорить Никитичне того, что она сказала. Мы, местные работники, знавшие всю подноготную районных дел, и то не решались сказать, будто вопрос о клевере поставлен ради такой мелочной цели. Конечно, была опасность, что спор перейдет в перебранку между Кубриным и Рудашовым, больше того — многим, вот и мне тоже хотелось, чтобы Кубрину попало сегодня по заслугам. Верно, что некоторые члены бюро вообще были против постановки этого вопроса. Но разве бюро допустило бы весь этот вопрос разменять на мелочи? Если уж вопрос поставлен, каждый выступающий должен всеми силами поднимать его на принципиальную высоту, говорить о деле, об интересах дела. Только так. В некотором роде я был единомышленником Никитичны, когда мысленно упрекал Баженова в том же, в чем она упрекнула его сейчас. Но теперь мне было стыдно, что я так думал: я видел искреннее желание Баженова разобраться в вопросе самому и помочь разобраться другим, мне например, желание помочь колхозу принять правильное решение. И все так понимали задачу нашего заседания, я был уверен. Для этого же мы пригласили и Никитичну. А она...

На лицах людей, сидевших рядом с нею, было недоумение, замешательство. Особенно расстроенное выражение было у Рудашова: он сидел неподвижно, кажется, даже не моргал, и такие тоскливые стали у него глаза, словно он видел перед собой чье-то большое несчастье.

— Вот как...— проговорил наконец Баженов.— Чтобы уклониться от конкретного вопроса, можно, оказывается, использовать и решения ЦК, и обком, и, так сказать, местный материал... Все подходит...— Он помолчал, потом открыл ящик письменного стола и достал книжку с изображением цветов красного клевера вперемежку с листьями еще какой-то травы на обложке.— В своей книге, Ольга Никитична, вы рекомендуете красный клевер для всей северной группы районов.— Он полистал и открыл страницу, на которой был изображен хорошо всем знакомый контур нашей области, вверху заштрихованный черными полосками.— Вот здесь, под штриховкой, наш район и еще десяток других районов, для которых вы рекомендовали красный клевер. Поэто-

му мы и обратились к вам за советом — не для района, для одного колхоза...

Ольга Никитична снова заговорила о перестройке, о новых требованиях, еще о чем-то, не закончив, села, оглянулась по сторонам. Тонкая нить дымка из папиросы, которую она мяла в руке, изгибаясь, поднималась вверх и растекалась в маленькое облачко. Сквозь это сизое облачко я видел Никитичну, и мне казалось, что лицо ее блекнет, стареет. Все, что было в нем привлекательного: и в меру еще свежая дородность, и уверенность, и даже некоторая горделивость в посадке ее головы, в прическе,— все как-то сникло.

Еще раз повторяю: у нас в районе любили эту женщину, и было теперь неловко за нее, что она показала себя по-бабьи. Стало трудно присутствовать здесь, при ней.

Но, видно, Баженов был не из тех, кто легко прощает,— он предоставил слово следующему товарищу таким образом:

— Продолжаем нашу работу...— сказал он.— Мы выслушали Кубрина, который был сначала против клевера, потом за, и Ольгу Никитичну, которая сначала была за клевер, потом против,— тоже выслушали. Теперь слово имеет Кубрин, бригадир!

Поднялся не председатель Кубрин, а его двоюродный брат. Это тоже низенький и уже пожилой человек с выцветшими волосами. Так это или нет, но сам он утверждал, будто был когда-то рыжим, как огонь, но потом выцвел, потому что «в шестнадцатом году на фронте немец обкуривал газом». Колхозники и особенно колхозницы звали его сивым Кубриным.

До укрупнения сивый Кубрин тоже был председателем небольшого колхоза, дела вел хорошо, но при слиянии избрали не его, а брата, который руководил тогда самой крупной из трех объединяемых артелей. В районе о Кубрине-бригадире было сложившееся мнение, что человек он спокойный, знающий, но большое хозяйство ему не по плечу — непроворный.

Кубрин-бригадир заговорил, и через минуту вопрос, который мы обсуждали, как бы встал на свое место.

— Вот ты говоришь, Александра Иванович,— сказал бригадир, называя брата по имени-отчеству, но почему-то в женском роде,— клевер — это денежность. Смотря как понимать! Правильно: деньги мы получили и в колхозную кассу, и себе лично. Ты девять тысяч,

я поменьше, но тоже подходяще. Как тебе, а мне в ту пору деньги пришлись в самый раз. И сейчас соображаю: нельзя ли еще разок? Но вот разница: что мы лично получили — у нас осталось; что в кассу колхоза — того нет: пошло на покупку кормов. Как так? А так, что клевер семена нам дал, а сена... Какое там сено! Все видели, в поскотине больше накосишь!

— Ну вот,— заметил Баженов,— дошло и до братоубийственной войны!

Все засмеялись. Кубрин-бригадир тоже усмехнулся и продолжал:

— Дело в чем? Если где травостой сгущенный — семян не жди, их не будет, и нужно косить. Косили. По тридцати центнеров с гектара косили. А на другой год он уже и выпал, этот клевер: ни семян, ни сена. По-другому: травостой редкий. Как у нас было. Семена взяли — сена нет. И то — семена при хорошем пчелином взятке, Александра Иванович. Теперь: против я клевера или — за? Скажу: за! Но только против того самого, который мы с тобой возделывали, Александра Иванович!— Кубрин-бригадир достал из кармана записную книжечку, обернутую в бумажную кальку, полистал ее.— Нам нужон клевер, чтобы он дал не меньше пятидесяти центнеров сена и два центнера семян. С таким клевером мы пойдем на мировую. Откуда цифры? Начато с партийного подхода. Пленумом сказано: малоурожайные травы — в распашку. Понимай так: те травы останутся существовать, которые выдержат против других культур. Те — должны остаться!

Что у нас надо клеверу выдержать? Посчитано: сена нам на все поголовье нужно полторы тысячи тонн; под клевером будем иметь почитай триста гектаров. Значит, по пятьдесят центнеров с каждого гектара надо взять.

Еще посчитано: если не будет такой урожайности клевера, то ему не выдержать, хотя бы и против овса, когда овес даст до двенадцати центнеров зерна да соломы сорок, то есть тоже — средне-хорошую урожайность.

Еще догадка: кормовая мелкозерная рожь — она из Забайкалья поступает — может побить клевер, если не взять с него того урожая.

Кубрин-бригадир все листал и листал свою книжечку, а потом снова обратился к брату:

— Правильно, Александра Иванович, клевер даст на будущее зарядку плодородию почвы. О будущем забо-

титься нужно: человек не птаха. Однако и сегодняшний день тоже не перескокнешь! Было: нам в церквах очень свободную жизнь обещали — на том свете. А мы все ж таки не стали ждать — воевали за нее, за свободу на земле. Или — я лично получил премию, и ждать мне следующую два, то ли три года очень было бы прискорбно! Так и всей артели...

Слушал я этого человека, и, хотя он утомил всех своими цифрами, много мыслей возникало от его слов.

Вот два брата Кубриных, из одного колхоза, оба занимались посевом клевера, оба получили премии — факты одни. Но в понимании этих людей они выглядят совсем по-разному, одни и те же факты.

Кубрин-председатель единственно потому за клевер, что лично он получил премию. Однако он о премии не говорит ни слова, толкует о пользе колхоза, о будущем.

Кубрин-бригадир не скрывает своей заинтересованности, доволен премией, хочет получить еще такую же, но потому, что свои интересы он связывает с колхозом, с другими людьми, они перестают быть только его личным делом. Вот его и слушают внимательно.

В том, что говорили Никитична и Кубрин-председатель, было много слов о политике, о будущем колхоза, но настоящей кровной заинтересованности в судьбе людей у них нет. А без этого нельзя, без этого их не будут слушать. Они это понимают, с поспешностью ищут слова, чтобы убедить присутствующих в обратном, думают, что нашли такие слова, а на самом деле?

Кубрину-бригадиру здесь сейчас искать ничего не надо.

Мне приходилось бывать в его небольшом пятистенном домике на берегу тихой речки, почти в самом конце длинной деревенской улицы.

И сейчас передо мной возникает картина позднего зимнего вечера в этом доме. Уложив на кроватях, на печке, на полатях внучат, которые по субботам сбегаются со всех окрестных деревень и устраивают здесь что-то вроде Дома пионеров или интерната, пошумев на них и кое-кому дав на сон грядущий легкого подзатыльника, Кубрин-бригадир достает с полки книги, календари колхозника за несколько лет, счеты и газеты со статьями по сельскому хозяйству и решениями Пленумов ЦК, а из небольшого сундучка — стопку потрепанных тетрадей и записных книжек.

Здесь запись всему: погоде, срокам посева и уборки,

разливам реки, трудодням бригады, расходу кормов. Здесь же изображены разные приспособления к машинам, дымоходы печей, амбары для хранения зерна и других продуктов, крытые тока и даже узлы, которыми вяжут паруса.

Если в доме ночует кто-нибудь из района или сосед забрел на огонек, хозяин охотно дает посмотреть все эти записи — секретов нет, наоборот, он дополняет каждую цифру, каждый чертеж своими соображениями, и так возникает какое-то необыкновенное чтение-беседа о крестьянских делах.

Иной раз собеседник утомится, уйдет на отдых, а Кубрин-бригадир все сидит и сидит за столом, брякает костяшками счетов, шуршит листами газет и книг. Вот когда он ищет. А сейчас, на бюро, он как будто только продолжает размышления над своими записями, и больше ничего.

Совсем другой человек Кубрин-председатель: выглядит этаким сереньким простачком, всякий разговор начинает со слов: «уж как могу», «как понимаю своим умом». И не один я думал, а все-все в районе, что человек прикидывается, а на самом деле он не такой — себе на уме, толковый человек. Но оказалось, что он такой и есть: серый и корыстный. Если не придавать значения наскокам, которые он совершил, скажем, на Рудашова, да лишить его советов брата-бригадира, он сразу таким и предстанет. Сегодняшнее его выступление это ясно показало. Как же случилось, что председателем в «Маяке» именно этот Кубрин, а не другой? Почему мы в райкоме Кубрину-бригадиру сами внушили, будто он не способен руководить крупным хозяйством?

Почему только сейчас я вспомнил, с каким уважением однажды в поле говорили мне колхозницы: «Наш-то, сивый-то Кубрин — правильный человек, работяга!» Вот еще над чем заставляет думать сегодняшнее бюро!

— А есть ли у нас такой клевер, такая агротехника, земли такие, чтобы он вышел вперед других культур?— спрашивал Кубрин сам себя.— Скажу: есть. А лучше меня скажет, кто в это растение вник до точности. Мария Трофимовна скажет!

Такое заключение Кубрина-бригадира было неожиданным: никто ведь не предполагал, что Мария Трофимовна будет выступать.

Баженов подтвердил:

— Слушаем вас, Мария Трофимовна.

Старая учительница поправила очки, коснулась волос на голове, одернула прямые складки платья и только тогда заговорила со строгостью и даже официальностью, которая всегда отличала ее еще в школе.

— У товарищей может возникнуть недоумение, почему товарищ Кубрин обратился сейчас ко мне таким образом. Поясню. Дело в том, что еще до войны дочь товарища Кубрина, Наташа, работала со мной на пришкольном юннатском участке. Отец заинтересовался нашими опытами и с тех пор систематически принимал участие в работе кружка. Позже мы перенесли опыты к нему в колхоз. Когда я по состоянию здоровья вынуждена была покинуть школу, я в районной библиотеке подбирала для товарища Кубрина интересующую его литературу. Вот чем объясняется, что товарищ Кубрин предоставил мне сейчас слово, чтобы подкрепить некоторые свои соображения...— Мария Трофимовна, должно быть, почувствовала, что допустила какую-то нетактичность, оглянулась вопросительно, взгляд ее остановился на лице Баженова, потом она посмотрела на Никитичну и вдруг моментально так и залилась краской. Она вздохнула и быстрым движением руки провела по лицу, как будто хотела смахнуть с него эту краску, и я слышал, как она тихо произнесла: «Ах!», и видел, как под редкими седыми волосами голова ее покраснела еще больше.

Баженов сидел, облокотясь на стол, смотрел на Марию Трофимовну строго и внимательно и был в этот момент очень похож на учителя, а смутившаяся Мария Трофимовна выглядела, как ученица, споткнувшаяся при ответе.

И так именно, как учитель должен был сказать ученице, немного рассеянно, Константин Сидорович сказал:

— Да, да... Продолжайте, Мария Трофимовна, продолжайте. Вас слушают!

Мария Трофимовна оправилась от волнения:

— Мы работали с пермскими и вятскими клеверами. Последние показали себя лучше, мы остановились на них. Одноукосный озимый клевер давал у нас наибольшую зеленую массу при укосе шестнадцатого—двадцатого июля. Но уже к этому времени он полегает, сильно грубеет, при подсушивании теряет листья. Жизнеспособность его снижается, на следующий год он заметно разрежен, иногда выпадает почти полностью. Если скосить

клевер раньше — в первых числах июля, даже в июне, он лучше сохраняет жизнеспособность, но сена будет немного. Об этом говорил здесь товарищ Кубрин...

Помнится, та компания в школе, которую я водил, вся состояла из будущих пилотов, капитанов дальнего плавания и Героев Советского Союза. «Травки», которые нам преподавала Мария Трофимовна, мы считали делом девчоночьим, и если все-таки аккуратно учили все уроки по ботанике и зоологии, так только потому, что откровенно боялись учительницы.

Мария Трофимовна, не моргнув глазом, могла поставить двойки хоть всему классу. Как бы мне хотелось сейчас снова послушать от начала до конца все, что говорила нам когда-то Мария Трофимовна на уроках!

Теперь она была не той, какую я помнил по школе,— поседела, высохла и стала как будто ниже, резкие черты ее лица обострились еще больше, а на щеках появилось множество мелких морщинок, голос был совсем тихим. Тихим, но все с той же выразительной интонацией, которая четко выделяла главные предложения от вводных, а среди главных — главенствующие по смыслу. И та же строгость была во всей ее фигуре и значительность, которые относятся не к ней самой, а ко всему тому, что она говорила о красном клевере.

— Выход основан на использовании свойства многолетнего растения хорошо отрастать и заключается в том, чтобы произнести раннее подкашивание клевера числа десятого июня на высоте в десять сантиметров, а в последней декаде августа сделать второй укос на семена. Иначе говоря, одноукосный клевер становится двухукосным, и это позволяет получить ту урожайность семян и сена, о которой говорил товарищ Кубрин...

— Истина давно известная...— заметила Ольга Никитична.— Давно известная, дорогая Мария Трофимовна.

Замечание ничуть не смутило старую учительницу. Она стала объяснять Ольге Никитичне, что растения одноукосного клевера — озимые растения, у которых подкашивание вызывает к росту нижние, спящие пазушные почки; задача же состоит в том, чтобы в течение лета получить побеги также и из верхних почек.

Ольга Никитична снова заметила, что об этом написано в ее собственной книге, которую только что и так умело демонстрировал здесь товарищ Баженов.

Мария Трофимовна охотно согласилась, подтвердила, что она читала об этом и в книге Ольги Никитичны, и в книге академика Лысенко тоже, но нигде она не читала, что даст подкашивание здесь, в северных районах области. Поэтому они вместе с товарищем Кубриным и поставили опыты, которые дали положительные результаты. Но разве этого достаточно — два-три года опытов? Конечно, недостаточно, как все понимают. Поэтому Мария Трофимовна обратилась к литературным источникам. Оказывается, Томский университет, который находится в таких же природных условиях, как наш район, тоже проводил опыты и опубликовал результаты в томе 14-м за 1951 год, в томе 122-м за 1952 год и частью в томе 130-м за 1954 год, но в этом, последнем, томе речь идет о технике уборки клевера на семена. Это уже не ее область, она хотела только помочь товарищу Кубрину некоторыми сведениями.

Было что-то очень убедительное, очень искреннее в том уважении, с которым совсем старенькая, образованная и такая интеллигентная Мария Трофимовна относилась к небольшому и простецкому сивому Кубрину. Должно быть, это было не от личного расположения, тем более не служебный долг — просто она считала: все, что делает Кубрин-бригадир у себя в колхозе, имеет большое значение, всему этому надо помогать по мере сил, оказывать поддержку.

А бригадир, раз дело касалось его колхоза, его бригады, чувствовал себя основной фигурой на бюро и, кивнув Баженову, продолжал так:

— Теперь надо второе доказать,— с механизацией. Комбайн на клевероуборке еще с оглядкой применяют, хотя бы это и про нас с Александрой Ивановной сказать! А без комбайна как? Посчитано: шестьсот трудодней и двести пятьдесят коне-дней нужно затратить на сто гектаров клевера без комбайна! Это голая теория безо всякой реальности, потому что такой возможности в колхозе нет.

Но человек со своим интересом к делу как зерно с ростком: куда его ни бросай, росток в небо смотрит. Как мы в колхозе ни мытарили комбайнера Парушина, он все ж таки на «Коммунаре» в распределительном битере четырнадцатизубовую звездочку поменял, заместо нее поставил десятизубовую, то есть увеличил обороты. Раз. В вентиляторе первой очистки заменил, наоборот,

десятизубовую на четырнадцатизубовую. Два. На первую же очистку поставил решето двадцать два, а на вторую — девятнадцать на девятнадцать. Три. Мотовило обшил брезентом — это чтобы сберечь головки клевера. Четыре. Товарищ Рудашов! Да ежели ты и твои механики задумаетесь, вы не то что до четырех — до сорока четырех досчитаетесь, а клевер уберете как надо! Предлагаю высказаться директору эмтээс, поскольку техника у него, а не у нас и он, значит, на решающем участке!

Неожиданно быстро менялись на этом заседании обязанности Баженова. Только что Баженов пробивался сквозь строй чужих мнений, задавал выступающим продуманные вопросы, заставляя говорить то, о чем они не хотели говорить, а теперь лишь головой кивал: толкуйте, дескать, а бюро будет слушать.

Но вот и выступление Рудашова, от которого поначалу ждали, что оно будет гвоздем заседания. Правда, потом о Рудашове на некоторое время забыли, но сейчас все снова смотрели на него с особенным интересом: что-то он скажет? Как-то разложит Кубрина-председателя? Баженов тоже насторожился.

Рудашов поднялся, зачем-то нескладно взмахнул руками и сказал:

— Испробуем «Коммунар», «Сталинец-шесть» и самоходный комбайн. Обеспечим!

— Все?— спросил Баженов.

— Все.

— Понятно... Кто еще хочет говорить?

Еще выступал, еще что-то уточнял Кубрин-бригадир. Когда сложный вопрос вдруг начинает приобретать ясность, сразу появляется много соображений, много толковых замечаний.

В решении было записано:

«Бюро райкома отмечает, что руководство колхоза «Маяк» не обеспечило достаточно высокой урожайности клевера на семена и особенно на сено и посев клевера, не содействовало укреплению кормовой базы (следовали цифры урожайности)».

«...принимает к сведению заявление бригадира тов. Кубрина и директора Белореченской МТС тов. Рудашова о том, что они могут осуществить агротехнику и механизацию работ, которая обеспечит получение урожайности (следовали цифры)...»

«...отмечает инициативу, проявленную бригадиром тов. Кубриным, директором МТС тов. Рудашовым и работником библиотеки тов. Шульпиной...»

Но никак не вместит официальное решение все те события, которые произошли потому, что колхоз «Маяк» посеял двести гектаров клевера в низине, протянувшейся вдоль большака на райцентр, рядом с бугром, на котором стоит геодезическая вышка, похожая на египетскую пирамиду.

Кончилось заседание. В приемной, в коридоре, куда вышли покурить, поднялись толки и пересуды.

Никитична похлопывала по плечу председателя райисполкома, делала вид, будто ничего не произошло. А мне казалось, что все ждут от нее другого, что она скажет: «Ну и всыпали мне сегодня! Учту на будущее!»— или еще что-нибудь в этом роде.

Рудашов, против обыкновения, не размахивал руками и не держал за рукав собеседника. Наоборот, люди окружили его со всех сторон, он же пальцем рисовал на черной поверхности печки схему — доказывал, что на комбайне «Сталинец-6» при уборке клевера на семена нужно наглухо закрыть вентилятор второй очистки, поднять до отказа деки, увеличить обороты битера, еще что-то такое сделать. Рядом с ним стоял Кубрин-бригадир, смотрел снизу вверх, но по-хозяйски, слушал внимательно и только иногда говорил:

— Думай, Рудашов, думай!

Ко мне подошла Мария Трофимовна и строго, так же, как когда-то в школе вызывала для ответа, позвала:

— Мне вас нужно, товарищ Иванов!

Когда мы отошли в сторонку, она сказала:

— Очень вам признательна. От всего сердца.

— Что вы? Почему?

— Признательна, что вы не забыли учительницу и пригласили сюда. Ну-ну, не отказывайтесь.— Она слегка улыбнулась.— Знаете, поется «...старикам везде у нас почет»? Не скрою, я бываю тронута, когда меня выбирают в президиум торжественного заседания, скажем, Восьмого марта. Больше того, я догадываюсь, что меня проводят с цветами и духовым оркестром. Не перебивайте меня: в моем возрасте подобные размышления вполне логичны. Но почтение к старости, как вы пра-

вильно поняли, товарищ Иванов, заключается в том, чтобы ее выслушать. Это бывает: учитель многие годы учит, а в старости все, что накоплено им в течение жизни, выносит на суд своих учеников. И если они внимательные судьи, ничего больше не надо. Вот и сегодня я имела возможность поддержать товарища Кубрина. Спасибо!

* * *

А на другой день утром меня вызвал Баженов с тем самым списком вопросов, который я готовил для него.

— Посмотрим, как получилось? Вот в списке был вопрос: «Об использовании кормовых угодий в колхозе «Маяк». Теперь можно вычеркнуть!

Одни вопросы мы вычеркнули, для обсуждения других появился новый материал, третьи стало возможным объединить. В общем, список мой заметно сократился.

— Константин Сидорович,— спросил я у Баженова,— как вы нашли этот вопрос, о клевере? Как узнали, что за ним кроется? Ведь такой, кажется, небольшой, незаметный обычный вопрос. Потом — вы же недавно в районе, когда вы узнали об отношениях между Кубриным-председателем и Рудашовым? Между Кубриным-бригадиром и Марией Трофимовной?

Вместо ответа Баженов сам спросил меня:

— А знаешь, что мы обсудили вчера? Одну-единственную строчку из производственного плана колхоза: «Посеять трав столько-то». Понятно?

И я вспомнил страницу производственного плана колхоза, на которой напечатана эта строка.

Потом Баженов снова посадил меня на диван рядом с собой и сказал:

— Вот что, товарищ дорогой, нужно поехать в колхоз «Маяк». Не откладывая. Решение приняли, начало положено, надо продолжать. Там, в колхозе, будет еще Черезов из инструкторской группы Белореченской МТС, может быть, и зональный секретарь — дела всем хватит. Надо наладить работу парторганизации. Помочь Кубрину-бригадиру, Кубрину-председателю. Я несколько дней провел в «Маяке», а там надо много поработать. Не хочется сейчас свои соображения вам выкладывать — преждевременно... Лучше так: встретимся в колхозе и свои впечатления сопоставим...

В колхоз «Маяк» я добрался поздно вечером.

В правлении была только одна дежурная — женщина средних лет в пестрой косынке. На плечах у нее была накинута ватная телогрейка, хотя она и сидела рядом с печью, натопленной так жарко, что я сразу же принялся снимать с себя шарф и расстегивать полушубок. Встретила меня дежурная строго, узнала, зачем я, откуда и надолго ли, а узнав, усмехнулась:

— Вы, верно, насчет клевера приехали?

Я удивился такой осведомленности, а дежурная продолжала рассказывать, что сегодня председатель три раза звонил насчет семян клевера, причем один раз вел переговоры с какой-то ученой женщиной, которая долго «водила» Кубрина, потом обещала посодействовать в области, что Константин Сидорович Баженов все клеверище исходил вдоль и поперек, когда был в колхозе, и дала некоторые комментарии нашему недавнему заседанию бюро, так что я понял, что в колхозе об этом событии идет много разговоров. Рассказав обо всем, женщина спросила, правда ли, что райком возьмется за их колхоз «как есть со всех сторон»? И говорила и спрашивала она меня об этом очень просто, будто мы давным-давно были знакомы.

Я ответил, что об этом лучше знает первый секретарь райкома, а она внимательно посмотрела на меня и ответила сама себе:

— Это очень видать, что товарищ Баженов взялся. Так ведь он не один, поди-ка, в райкоме?

Нужно было поддержать прерванный разговор, и я, в свою очередь, спросил:

— Хозяйство у вас большое, задач много, так неужели все сводится к клеверу? Видно, в колхозе только об этом и разговор?

— Так ведь он-то, Баженов, чай, не сам выдумал клевер,— заговорила дежурная, как будто очень всерьез заподозрив меня в том, что я не согласен с секретарем райкома.— Не сам выдумал! У нас тут какие шли споры! Одним нужны деньги за клеверные семена, а трава хоть бы и совсем не росла, другие доказывали, что раз траву сеем, то траву и убирать должны, потому что кормов у нас нет; еще доказывали, что имеется закон — не сеять клевер. Тут не по газетке читали — о своем спорили... А как решить? Вот он, секретарь, видит интерес у людей и зацепился за интерес, чтобы уже и ко всему хозяйству

с умом подойти. В доме-то как бывает? Начнешь один угол скрести или лавку какую выскабливать, а потом уже дым коромыслом на всю избу, и покуда все до соринки не выметешь — все убираешься. Тут, видать, такое же дело должно быть. Обязательно!

— Кем вы работаете в колхозе?— спросил я.

— Да никем.

— Как это? Ну, кладовщица вы, учетчица, член правления?

— Так вот я же и говорю вам: нет у меня должности. Работаю в полеводстве — и все. Фамилия у меня — Фирсова. Кубриных у нас полдеревни, а Фирсовых — мы одни только и есть. Да и об том ли у нас с вами нынче разговор? Я-то ведь спрашиваю, как решить, а вы — кто я такая есть.

Немного спустя я шел ночевать к Кубрину-бригадиру. Было уже совсем темно, падал густой снег. Я шел и все думал-думал — как решить?

Я вспоминал Баженова, Никитичну, Рудашова... Вспоминал Савостина. Было очень интересно узнать — как повернется дело с клевером, у нас в районе, где командует теперь Баженов. Как посмотрит на вопрос Савостин у себя в обкоме? Как вообще все это сложится? Кто же все-таки прав? Кто не прав? К чьим словам прислушаться? Савостин, бывало, всегда любил говорить на собраниях: «Товарищи! Нам необходимо прислушаться...»

ПАВЕЛ НИЛИН

Знакомство с Тишковым

1

Первым этого посетителя заметил секретарь райисполкома Акатьев. И хотя в посетителе не было на взгляд ничего необычного, Акатьев все-таки сразу встревожился.

Встревожился, правда, на одно мгновение.

«Не может быть,— тут же успокоил он себя, вглядевшись издали в этого неопределенного возраста человека, шедшего по коридору несколько неуверенной походкой.— Не может быть, что это сам Перекрёсов. Больно простоват. Это, наверно, какой-нибудь командированный. Мало ли их...»

И Акатьев прошел в свой пасмурный кабинет: по случаю весны топить перестали, а солнце еще слабо греет, и от каменных стен отдает холодом. Он закурил, включил приемник и, однако, раньше чем диктор заговорил о весеннем севе, опять подумал: «А вдруг это все-таки Перекрёсов? Здóрово похож лицом...»

Акатьев выглянул в коридор, но посетителя уже не видно было.

Посетитель прошел прямо в приемную. И Олимпиада Семеновна, тоже, как Акатьев, слушавшая радио, даже не подняв глаз на вошедшего, сказала, что председателя нет, что председатель еще не приходил и что она, в конце концов, не может знать, где сейчас Сергей Варфоломеевич. Он, мол, приходит когда хочет. Может и вовсе не прийти.

— Как же это так?— мягко возразил посетитель.— Ведь начало занятий, кажется, в девять...

В этот момент и вошел в приемную Акатьев.

— А вы по какому вопросу?— спросил он, глядя на посетителя и внимательно и взволнованно.

— Да я, собственно, хотел видеть Сергея Варфоломеевича,— как бы замялся посетитель.

— По личному, что ли, вопросу?— еще поинтересовался Акатьев.

— Да нет, пожалуй, не по личному,— улыбнулся посетитель и сам спросил:— А вы кто?

И вот так он это спросил, как будто и просто и мягко, но все-таки с чуть уловимой строгостью, что Акатьев вдруг растерялся и, отбросив все сомнения, понял, что перед ним стоит действительно сам Перекрёсов, которого он видел до этого только один раз, и то в областной газете на снимке. Да и посетитель, когда Акатьев назвал свою должность и фамилию, сказал:

— Я Перекрёсов. Вот что, товарищ Акатьев: нельзя ли все-таки поискать Сергея Варфоломеевича?

Всех удивило не то, что Перекрёсов сюда приехал. И до Перекрёсова в Утаров приезжали не раз секретари обкома. Непонятно и просто загадочно было, на чем он прибыл, на каком, так сказать, виде транспорта.

Поезд очередной прошел через Утаров часа два назад. И едва ли секретарь обкома поехал бы на поезде. Проще же всего на машине — на «ЗИСе», на «ЗИМе» или в крайности на «Победе». Но никаких автомобилей близ райисполкома не было, когда Акатьев пешком пересекал площадь, чтобы лично известить председателя на квартире о таком неожиданном визите.

Марина Николаевна, веселая толстушка, поливала цветы на открытой террасе. Увидев Акатьева, она помахала ему рукой, потом поставила лейку и, кивнув на окна, приложила палец к губам, что значило: «Не шуми, Сергей Варфоломеевич спит».

— Перекрёсов,— сказал, тяжело дыша, Акатьев, даже забыв поздороваться.

— Что Перекрёсов?

— Перекрёсов приехал. Будите скорее Сергея Варфоломеевича. Вот сейчас начнется компот...

2

— Убил меня Терентьев,— тяжко вздохнул Сергей Варфоломеевич, когда Марина Николаевна наконец растолкала его на кровати и он с трудом уяснил, в чем дело.— Просто убил... Устроил, понимаешь ли, в такое время свадьбу своей дочки, оторвал от дела столько ответственных людей — и вот теперь пожалуйста... Звони, Марина, к Коршуновым... Ой, да ведь и Коршунова-то нет! Ну, теперь все!

Сергей Варфоломеевич, заспанный, всклокоченный вышел в столовую и, заметив в растворенную дверь Акатьева, стоявшего в передней, крикнул раздраженно:

— Да чего же ты там стоишь? Заходи!

— Вы не беспокойтесь, Сергей Варфоломеевич!— взволнованно начал Акатьев.— Что касается цифрового материала, у нас все под руками. Мы как раз вчера подбили итоги...

— Глупый ты человек,— слабо улыбнулся председатель.— Извини меня, но ты, ей-богу, глупый. Перекрёсову цифры не нужны. Это Виктор Иваныч любил цифры. Он за цифры и пострадал. А Перекрёсов, это известно, любит все поглядеть в натуре. Любит с черного хода зайти. Он вот так же, передавали, в Заюрск заехал. К нему кинулись с цифрами, а он говорит: «Назовите мне лучше, какие вы знаете сорта ранней капусты». Ну, и первый секретарь райкома тут же, на глазах у всех, и скапустился. Перекрёсов — это черт своего дела!— Сергей Варфоломеевич округлил глаза.— Боже мой, какая невиданная перестройка идет по всем вопросам, а мы, то есть вы,— строго посмотрел он в упор на Акатьева,— все норовите по-старому! Цифры!— Сергей Варфоломеевич зажмурился, как от горького.— И к тому же эта глупая свадьба у Терентьева. Ну, скажи на милость, кто устраивает свадьбы ранней весной? Все добрые люди, в сельской тем более местности, приурочивают свадьбы к осени, после уборки хлебов. А у Терентьева дочь, видишь ли, торопится. Она с мужем едет на целинные земли. Представьте, какая срочность! И до трех часов ночи почти весь актив в такое горячее время поет песни. Славное, видишь ли, море, священный Байкал... Ну, кому это, спрашивается, нужно? И какое, допустим, дело мне до свадьбы дочери начальника раймилиции? «Нет, говорят, уважьте, Сергей Варфоломеевич, милости просим, а то мы, говорят, обидимся». Я зашел только поздравить молодых, а теперь вот, пожалуйста, десятый час утра, а я еще сплю...

Говоря все это, председатель завязывал галстук, причесывался, надевал сапоги, невольно нарушая последовательность этих операций. Потом нехотя, морщась, выпил стакан холодного молока, поданный Мариной Николаевной, и, не торопясь, обдумывая положение, пошел вслед за Акатьевым.

Перекрёсов уже ходил взад-вперед у подъезда райисполкома, затененного черными кустами еще не олиствившейся акации.

Невысокий, плотный, седоватый, с чуть заметной хитрецой во взоре, он ничем не напоминал вечно хмурого Виктора Ивановича. И все-таки, когда Перекрёсов протянул руку Сергею Варфоломеевичу, в глазах у председателя мелькнула искорка испуга, что ли.

— Вы, должно быть, отдыхали?— любезно спросил Перекрёсов.— А я вас потревожил...

— Ну, какой уж теперь отдых!— уклончиво ответил председатель.— Все силы, можно сказать, кладем на весенний сев. И ночи приходится прихватывать.— И тут же подумал сконфуженно и оторопело: «Врать бы не надо насчет ночей. Глупо получается».

— Я хотел вас просить поехать со мной в Желтые ручьи,— сказал Перекрёсов.

— В Желтые ручьи?— удивился Сергей Варфоломеевич.— Ну что ж. Пожалуйста. Только,— он оглядел площадь,— только, я думаю, ваша машина туда не пройдет...

— А у меня нет никакой машины,— развел руками Перекрёсов.— Я поездом приехал.

— Поездом?— опять удивился Сергей Варфоломеевич и обеспокоился:— Так вы, стало быть, и не завтракали?

— Нет, я позавтракал,— улыбнулся Перекрёсов.— В чайной у вас тут позавтракал...

— В чайной?— будто ужаснулся Сергей Варфоломеевич.— Так там же грязюка. Какой же там может быть завтрак?— И сразу пожалел, что произнес эти слова, потому что Перекрёсов прихмурился.

— Ах, вот как! Значит, вы знаете, что в чайной грязно? А я-то думал, что местная советская власть еще не дошла до этой чайной...

— Не дошла, это точно — не дошла,— поспешно согласился председатель, привыкший без промедления признавать свои ошибки и уверенный, что тех легче судят, кто быстрее свои ошибки признает.— Но я вас заверяю со всей партийной ответственностью...

— Вы лучше своих избирателей заверьте,— посоветовал Перекрёсов и спросил:— Так как же, мы с вами поедем в Желтые ручьи?

— Вот уж и не знаю,— смешался Сергей Варфоло-

меевич.— Прямо не знаю. Сами-то мы больше на лошадях: там машины постоянно застревают. Ведь дороги у нас просто наказание. Вот за что нас надо бить — это за дороги...

— Ну, уж сразу бить!— опять как бы смягчился Перекрёсов.

И Сергей Варфоломеевич, было приунывший, воспрянул:

— Может, мы зайдем в райком, к товарищу Никитину?

Это показалось ему спасительным шагом. В райкоме Никитин сразу придумает, как быть. И внимание Перекрёсова в райкоме переключится с Сергея Варфоломеевича на Никитина. Будет легче. Но Перекрёсов сказал, что он уже был в райкоме. Никитин, говорят, еще вчера уехал по колхозам.

— Да ведь верно,— вспомнил председатель.— Верно, Никитин уехал. Он у нас золотой человек, все время на колесах, все время...

— А вы?— спросил секретарь обкома.— Вы сами давно были в Желтых ручьях?

— Не так чтобы давно. Сравнительно недавно,— не очень твердо ответил Сергей Варфоломеевич и опять обреченно подумал: «Врать бы не надо. Это всегда хуже, когда врешь».

Сергей Варфоломеевич хотел предложить поехать в «Авангард» или в «Искру коммунизма», или лучше, пожалуй, в «Пламя революции». Но ведь как предложишь? Секретарь обкома подумает, что председатель хочет что-то скрыть. В Желтые ручьи — так в Желтые ручьи. Что же делать?

— Позвольте, я только кого-нибудь приглашу с собой из наших специалистов,— сказал Сергей Варфоломеевич.— Допустим, можно взять нашего агронома. Будет неплохо...

— Нет, нет!— запротестовал Перекрёсов.— Вот этого не надо. Не надо отрывать людей. Мы с вами все-таки не на свадьбу едем...

«Наверно, он и про свадьбу у Терентьева узнал,— быстро и потерянно подумал Сергей Варфоломеевич.— И вот всегда так: в кои веки попадешь на свадьбу, а уж разговоры пошли. Можно подумать, что мы только и делаем, что ходим на свадьбы».

— Позвольте, я тогда распоряжусь, чтобы подали лошадь.

Перекрёсов продолжал ходить взад-вперед у подъезда райисполкома. Он начал уже проявлять нетерпение, когда к подъезду подкатила пролетка, запряженная сытым буланым жеребцом.

На козлах сидел благообразный старик с белой бородой.

А Сергея Варфоломеевича все еще не было. Наконец он появился в сопровождении худощавого мужчины в очках и в брезентовом дождевике.

— Ты слезай, Аким Семеныч,— сказал он кучеру.— Отдыхай. Вместо тебя вот Григорий Назарыч сядет. Это будет вернее...

Перекрёсова удивила внезапная смена кучера. Но председатель объяснил, кивнув на белобородого старика:

— Дорога там, я же говорю, тяжелая. А он, видите, какой древний. Куда там ему! Пусть отдохнет...

Поехали. Перекрёсов сидел рядом с Сергеем Варфоломеевичем и, глядя на темные поля, где солнце еще не растопило последние пестрые островки слежавшегося снега, спрашивал о семенах — проверялись ли они на всхожесть, каковы результаты; интересовался тракторами и сеялками, выяснял, весь ли инвентарь отремонтирован. Почти на все вопросы председатель отвечал уверенно. Только когда зашел разговор о Желтых ручьях, он стал заглядывать все чаще в записную книжку. Но и в записной книжке не все, видно, было записано о том, что касается Желтых ручьев. Председатель затруднился ответить, в каких дозах там вносился суперфосфат.

На этот вопрос вдруг ответил кучер, повернувшись на козлах. И затем, так повернувшись, сидел почти всю дорогу, отвечая и на другие вопросы Перекрёсова, когда чуть затруднялся Сергей Варфоломеевич. Кучер свободно говорил и о надоях, и о настригах шерсти, и о необходимости ознакомить трактористов со способами квадратно-гнездового сева, и называл на память цифры прошлогоднего урожая в этих местах.

Осведомленность кучера не только удивляла Перекрёсова, но и временами, должно быть, раздражала Сергея Варфоломеевича.

— Ты гляди, Григорий Назарыч, как бы у тебя жеребец не уснул,— кивнул на лошадь председатель.— Подстегни его, не жалей. А то мы с философией-то не скоро доедем.

Дорога в самом деле оказалась очень плохой, раскисшей — выбоины, бугры, глубокие лужи. Пролетку все время качало из стороны в сторону, и седоков забрызгивало липкой шоколадной жижей.

Сергей Варфоломеевич на каждом ухабе болезненно морщился, вздыхал и виновато взглядывал на Перекрёсова: вот, мол, в какую поездочку я вас втравил, или, вернее, вы меня втравили, уж не знаю теперь, кого винить.

Перекрёсов, однако, сидел невозмутимый. Только один раз он засмеялся.

— Поделом, видно, забрызгивает нас жижей, поделом! Давно бы надо было проехаться по этим местам!

— А я так считаю,— засмеялся и кучер,— что дела наши скоро повсеместно исправятся. Вот именно — повсеместно.

— Почему вы так считаете?

— Потому,— хитро прищурился кучер,— что раньше областные товарищи дальше «Авангарда» не ездили. Виктор Иваныч — я против него ничего не имею — в последний раз только до «Пламя революции» доезжал. Ну, правда, ничего не скажешь, «Пламя революции», а также «Авангард» богатейшие колхозы. И дороги туда исправные. А до Желтых ручьев надо еще доехать...

— Едва ли сегодня доедем,— усомнился Сергей Варфоломеевич, издали поглядев на мост через Кудинку.

Буйная речонка Кудинка, обрамленная голыми прутьями кустарника, чешуйчато поблескивала под солнцем. Бревенчатый мост, расшатанный тракторами, заметно дрожал в ее быстром течении. И у самого моста вода бурлила и пенилась с особой яростью: что-то препятствовало ей.

— Тут трактор свалился с моста,— показал кнутом кучер.

— Давно свалился?— спросил Перекрёсов не кучера, а Сергея Варфоломеевича.

Сергей Варфоломеевич пожал плечами.

— Вторые сутки он тут купается,— сказал кучер, глядя на яростный водоворот.

Проехать по мосту было невозможно,— в настиле не хватало многих досок.

— Н-да,— вздохнул председатель.— Вот видите. Хозяйство...— И первым стал вылезать из пролетки.

Он как бы рад был тому, что теперь и секретарь обкома

увидит, какие тут трудные, сложные, просто расшатанные дела, как им всем тут трудно — всем районным руководителям. И в то же время Сергей Варфоломеевич сознавал, что секретарь обкома едва ли посочувствует, едва ли...

Однако теперь уже ясно, что они не проедут в Желтые ручьи. Да там и нет ничего хорошего. И не может быть. Наверно, оттуда, из Желтых ручьев, написали какую-то кляузу в обком, вот Перекрёсов и стремится туда.

У Сергея Варфоломеевича затекли ноги. Левая нога даже одеревенела, и он волочил ее, как протез. Перекрёсов участливо спросил:

— Это что же у вас, после ранения?

— Нет,— сконфузился Сергей Варфоломеевич.— Просто, как говорится, отсидел ногу. Это сейчас пройдет...

Перекрёсов внимательно оглядывал мост. И как бы между прочим сказал:

— А на войне вы не были?

— Нет, как же, был!— почти весело откликнулся Сергей Варфоломеевич.— Правда, не на самой войне, а вроде как бы поблизости. Я всю войну на ВАДе прослужил. Это военно-автомобильные дороги. Сперва за Москвой находился, потом — за городом Калинином...

— Вы что же, специалист по дорогам?

— Нет, какой я специалист! Просто так случилось. У меня хорошая характеристика была и, кроме того, болела печень.

— А сейчас как печень?

— Ничего.

Перекрёсов как будто только и ждал этого успокоительного заявления о печени. Не раздумывая больше, он ступил на мост и, держась за шаткие перила, пошел по бревну на ту сторону.

Немного помедлив, за ним по тому же бревну направился и председатель. И кучер, привязав лошадь к телеграфному столбу, тоже последовал за ними. Только он не шел, а перепрыгивал с перекладины на перекладину. Поэтому он скорее вышел на другой берег и, поздоровавшись с рабочими, столпившимися на берегу, насмешливо спросил:

— Ну как, мужички, все еще чикаетесь?

— Чикаемся, Григорий Назарыч. Действительные слова, чикаемся,— обтер смятой кепкой вспотевший лоб пожилой рабочий.— Опять трос оборвали. Прямо как в детской сказке: «Ох, нелегкая эта работа — из болота тащить бегемота!» И ведь все из-за озорства. Он, говорят,

пьяный был, этот Митька Осетров. Прямо судить бы надо за такие дела! И мост тоже прости господи...

— Вот что,— сказал, поздоровавшись с рабочими, Перекрёсов.— У меня к вам просьба. Настелите, пожалуйста, хоть несколько досок, чтобы мы могли проехать.

А председатель ничего не сказал. Он только снял фуражку и сначала тщательно протер носовым платком ее клеенчатую подкладку, потом стал вытирать потное лицо, шею и рано облысевшую голову.

Обильный пот заливал все его рыхлое тело. Сергей Варфоломеевич ослабил галстук и расстегнул пуговицу на вороте рубашки. В висках покалывало. Все-таки он, должно быть, не выспался после этой глупой свадьбы. Да и солнцем изрядно нагрело. Солнце нынешней весной какое-то странное — то светит и греет вовсю, то скроется за облаками, за тучами. И сейчас у моста все опять потемнело, как перед дождем. Может быть, правда, соберется дождь?

5

Сергею Варфоломеевичу хотелось, чтобы начался дождь, чтобы случилось вдруг хоть какое-нибудь несчастье, в котором мгновенно бы изменилось все и не надо было бы ехать в эти Желтые ручьи.

Подавленный самой неожиданностью визита секретаря обкома, душевно вялый, он, пожалуй, все-таки преувеличивал сейчас тяжесть своего положения. Ну чем, в самом деле, угрожают ему эти Желтые ручьи? Чего он боится? Не был он там, правда, давно — с прошлой осени не был. Прошлой осенью там сменили председателя колхоза. Сменили его еще при Капорове.

Вспомнив бывшего первого секретаря райкома Капорова, снятого с работы в начале истекшей зимы, Сергей Варфоломеевич уж совсем приуныл.

Рубашка прилипла к его спине. Он пошевелил лопатками, желая освободиться от ее липкого прикосновения. Хотел было снять пиджак, но побоялся: от воды тянет свежим ветерком, а у него недавно было воспаление легких.

Воспалением он болел как раз в ту пору, когда снимали Капорова. И Сергей Варфоломеевич был уверен, что его после болезни тоже снимут, поэтому он долго болел. Но его не сняли. Напротив, новый секретарь райкома в первые дни обласкал его, сказал: «Будем работать артелью, дружно».

Дружной работы, однако, не получилось.

При новом секретаре Сергея Варфоломеевича все чаще стали пощипывать на бюро райкома, стали подкапываться под него, как определила это его супруга Марина Николаевна.

И сейчас Сергею Варфоломеевичу, стоявшему среди волнуемого легким ветерком голого кустарника, казалось, что то недавнее время, когда они работали с Капоровым, утекло навсегда и бесследно, как вот эта вода, что бурлит под мостом, яростно ревет на камнях, на том месте, где затонул трактор, и несет на себе какие-то щепки, ветки и разный мусор.

Время, недавнее, невозвратное, представлялось теперь Сергею Варфоломеевичу добрым и милым, хотя тогда тоже были свои огорчения.

Нет, они с Капоровым никогда не бездельничали; они постоянно волновались. Но у них была какая-то очередность в работе. Они отводили кампанию, допустим уборку, заканчивали ее, рапортовали и ждали новой кампании.

А теперь все требуется делать сразу. И никаких рапортов.

Никитин старается проникнуть во всякую щель.

Однако до Желтых ручьев и Никитин пока не добрался.

И вот сейчас за все, что там увидит Перекрёсов, придется расплачиваться одному Сергею Варфоломеевичу.

Сергей Варфоломеевич все-таки решился снять пиджак, хотел почистить его, но только встряхнул, подержал в руках, потом накинул на плечи и почувствовал некоторое облегчение.

Неудобно, пожалуй, что он вот так в сторонке стоит, когда Перекрёсов разговаривает с рабочими МТС. Надо бы хоть спросить, кто это утопил трактор и какие меры предпринимаются, чтобы его вытащить.

Сергею Варфоломеевичу показалось, что он простоял тут, в кустарнике, целый час, хотя не прошло и пяти минут. Впрочем, никто не заметил, что он стоял в стороне. Мало ли зачем человеку требуется иногда отойти... Нет, все преувеличивает Сергей Варфоломеевич в своем странно подавленном состоянии.

Наклонившись, он подтягивает голенища сапог, просовывает руки в рукава пиджака, застегивает его как следует на три пуговицы («Ничего, что жарко... не разжарит. Перекрёсов пока не снимает свой китель») и неторопливо, степенно подходит к рабочим.

пыхтят тракторы, постреливая сизыми дымками. И дымки эти ползут по влажной земле. Или это сама земля, только что оттаявшая, дышит сизоватым паром, похожим на дымки?..

Воздух насыщен запахами перегноя, сосны и полой воды, только что освободившейся ото льда,— бодрящий душу воздух. Но Сергея Варфоломеевича он уже не бодрит, не веселит, а скорее тревожит.

Весна в его жизни давно уже связана не с весельем, а с огорчениями.

Как стает снег, так и начинаются неприятности с севом, с инвентарем, с отстающими колхозами. И по каждому случаю надо давать объяснение, выслушивать упреки, опасаться выговоров или еще чего-нибудь похуже...

А потом приспеет лето, осень, связанные с новыми тревогами.

Только зимой, пожалуй, и вздохнешь немножко. Но тут опять же вскоре начинается подготовка к весне.

Так вот и живет Сергей Варфоломеевич из года в год. Конечно, он не жалуется. И смешно было бы жаловаться: уж если взялся за гуж, не говори, что не дюж.

Просто всякие мысли сейчас бродят в его голове.

А Перекрёсов что-то пишет. Как переехали мост, он сразу же вынул из кармана блокнот и что-то записывает, а что — разобрать со стороны невозможно. Будто он не буквы, не слова записывает, а знаки какие-то ставит. Да Сергей Варфоломеевич и не сильно старается заглядывать к нему в блокнот. Это, пожалуй, и неудобно. Пусть пишет. Сергею Варфоломеевичу-то какое дело?..

Хотя чем-то записи все-таки беспокоили его. И ему все более казалось странным, что вот такой важный человек, секретарь обкома, вдруг решился поехать зачем-то, даже не на машине, в эти самые Желтые ручьи. Ну пусть оттуда, из Желтых ручьев, пришла кляуза в обком. Но можно было бы в таком случае послать инструктора туда или комиссию, как это водится. А он, секретарь обкома, для чего-то сам поехал. А для чего?

И что он вывезет оттуда? Какая польза будет? Ведь даже у Сергея Варфоломеевича, на что уж он небольшой работник,— не такой большой,— все-таки скопится за сегодняшний день большая почта. Тут и то, что надо прочитать и понять, и то, что самому надо подписать и отправить.

А секретарю обкома, не то что председателю райиспол-

кома, пишут отовсюду: и из Москвы и со всей области. Это, наверно, вот такая пачка за каждый день. А он поехал в Желтые ручьи. А зачем?

Виктор Иванович, бывало, тоже разъезжал, но у того была другая хватка. И что бы теперь ни говорили про него, Сергей Варфоломеевич всегда будет вспоминать прежнего секретаря обкома добрым словом. Всегда будет вспоминать, хотя и имел от него неприятности.

Виктор Иванович любил, что называется, накачать работников. Бывало, он приедет, так только треск стоит. Этому, тому — всем раздаст, если задержались с уборкой или хлебозаготовками. Зато он зла не помнил. А Перекрёсов еще не известно, что за человек. Всего про него еще не известно.

Сергей Варфоломеевич улыбнулся, вообразив, как повел бы себя Виктор Иванович, если б на его пути оказался расшатанный мост и к тому же утопленный трактор. Да он бы душу вытряс и из председателя райисполкома и из того же Битюгова — директора МТС! Он бы уж его нашел! А этот ничего. Только записывает в блокнот. Может, про это как раз и записывает. Но что-то больно много пишет, как резолюцию готовит для партактива.

Всю дорогу Перекрёсов называл Сергея Варфоломеевича уважительно на «вы» и неизменно по имени-отчеству, чего никогда не делал Виктор Иванович, любящий всех называть только по фамилии и на «ты». Но мало кто обижался. А этот, пожалуй, слишком вежливый, и от этой вежливости получается какая-то жесткость.

Как-то все время неуютно Сергею Варфоломеевичу, когда Перекрёсов даже молча сидит с ним рядом в пролетке на пружинной клеенчатой подушке.

А Григорий Назарович вроде того что дремлет на козлах.

Напрасно его, пожалуй, взял в собой Сергей Варфоломеевич. Напрасно: болтливый он очень! Лезет, куда его не просят. И Перекрёсов из его болтовни может составить совсем не то мнение.

А вообще-то ничего не поделаешь, пусть составляет. На прошлой неделе какие-то корреспонденты приезжали. Тоже что-то такое расспрашивали. Может, уже написали статейку. Может, скоро появится в газете. Ну и пусть. Что же теперь делать? Перестройка идет по всем вопросам. На всех не угодишь.

А все-таки немножно обидно. Похоже, что Сергей Вар-

фоломеевич преждевременно состарился. Ужас как заболела вдруг поясница, когда он поднял плаху. Теперь уже не болит — прошло.

А все-таки в чем же дело? Рано бы еще стариться. И Терентьев, пьяный, на свадьбе вдруг погладил его по голове и захохотал: «Мало у тебя волосьев-то остается на голове. Как ветром сдуло. От умственного, что ли, труда?» Похоже, что и Терентьев посмеялся над ним. Пьяный, конечно, был, осмелел. Не надо было гулять у него на свадьбе. Надо было поздравить молодых и уйти.

В висках опять началось покалывание, и затылок заболел. Сергей Варфоломеевич потер затылок ладонью, боль как будто утихла, но зато, кажется, сильнее стало покалывать в висках.

«Хвораю,— жалостливо подумал Сергей Варфоломеевич.— Хвораю, а никто этого, может, и не понимает. Все только требуют, строго спрашивают с тебя, критикуют...»

Он снова вспомнил этих двух корреспондентов, что на прошлой неделе заходили к нему. Из какой они газеты, он забыл. И лиц их не запомнил. Нет, одного запомнил — черненький такой, в очках, слишком шустрый. Все допытывался, как идет составление планов в колхозах, участвует ли в этом деле райисполком, как участвует. А что ему ответишь? Он же ищет, этот корреспондент, обязательно недостаток, хочет на чем-нибудь тебя поддеть, чтобы потом описать во всех красках. И не знаешь, как ему лучше ответить. Боишься ошибиться в ответе. Всего боишься, постоянно волнуешься. Ведь живешь у всех на виду. И все предъявляют к тебе претензии. А если говорить начистоту, так что это, простое, что ли, дело — составлять планы? Попробуй-ка ты сам, черненький корреспондент в очках, составить хоть один план, да так, чтобы к тебе потом не придирались.

Сергей Варфоломеевич недавно вмешался в один такой план колхоза «Красный пахарь»— предложил увеличить поголовье свиней и уменьшить стадо рогатого скота,— так его на очередном бюро райкома так трясли за это, что он думал, и костей не соберет.

А между прочим, он и сейчас не понимает, за что его трясли. При Капорове таких недоразумений не было. А ведь тоже составляли планы. И все было в порядке. И Сергей Варфоломеевич никого, кроме Виктора Ивановича, не боялся. И корреспонденты ему были не страшны.

По главным показателям район был всегда на видном месте в области.

И никто не смел кричать Сергею Варфоломеевичу на бюро райкома, что он не читает новую сельскохозяйственную литературу. А когда ему читать? Акатьев заставил этой литературой всю этажерку в его кабинете. Часть брошюр Сергей Варфоломеевич перенес к себе на квартиру, сложил в спальне на тумбочке у самой кровати. Однако читать — ну совершенно некогда. Газету возьмешь перед сном — и то глаза сразу слипаются. И раньше никто за это не придирался к нему. Не обращали на это внимания, не спрашивали, читает ли он какие-нибудь там брошюры. Не школьник же он, в самом деле. И никто не требовал, чтобы он ни с того ни с сего, без всякого смысла ехал вдруг вот так, на пролетке, куда-то к черту, в Желтые ручьи, когда это никак не связано с его планами.

7

Желтые ручьи ничего не определяли и сейчас не определяют во всем районном масштабе.

А чтобы там побывать, надо, вот как сегодня, целый день убить. Целый день! И никакой пользы району от этого не будет.

Ведь там, в Желтых ручьях, все равно как во всех колхозах, сидят районные уполномоченные. Они подают сигналы, делают указания, нацеливают колхоз на определенные задачи. Чего же еще надо?

Этот вопрос Сергей Варфоломеевич мысленно адресовал как бы самому Перекрёсову. Ведь все равно Перекрёсов будет расспрашивать его о Желтых ручьях. Будет, конечно, упрекать, указывать, обращать внимание. Все, наверно, будет как водится. Но Сергей Варфоломеевич раньше всего хотел бы заметить секретарю обкома, что район этот не маленький: в районе больше тридцати колхозов, точнее сказать, тридцать два. Желтые ручьи и вот вся эта сторона должны были бы отойти к железнодорожной станции, где мог образоваться новый районный центр. Был уже года два назад такой проект, но где-то его замариновали.

Жеребец опять задрал голову на бегу и заржал с такой исступленной страстью, что спутал все мысли Сергея Варфоломеевича.

И Перекрёсов спрятал свой блокнот в карман.

А кучер сказал, кивнув на жеребца:

— Застоялся наш Эдуард. Давно не был на просторе. Доволен. Мечтает о своих делах...

— И дорога хорошая,— сказал Перекрёсов.— Вот бы так все время.

— Так теперь будет все время,— пообещал кучер.— Это уж хозяйство Тишкова начинается. Это уж он тут свирепствует...

— Правда, что свирепствует,— поддержал разговор Сергей Варфоломеевич.— Я его знаю. Он с прошлой осени тут выбран председателем. Был он у меня зимой. Чего-то такое ругался, даже угрожал. Я его, правда, осадил немножко. Больше не являлся...

— Значит, вы с ним в конфликте?— спросил Перекрёсов и с любопытством посмотрел на Сергея Варфоломеевича.— Из-за чего же, интересно, поссорились?

— Да не поссорились мы,— мотнул головой Сергей Варфоломеевич, отбиваясь от крупной мухи, неведомо откуда появившейся.— Просто серьезно поговорили, и, видать, этот Тишков мужичонка, заметно, свирепый. Или нервный слишком. Не понял я его...

— И больше не виделись?

— Нет, виделись. У нас зимой конференция была. Опять он мне чего-то дерзкое сказал. С трибуны. Но разве можно на все обращать внимание, тем более он здесь долго не продержится, этот Тишков. Это ошибка была еще товарища Капорова — рекомендовать Тишкова в председатели. Хотя, конечно, мы должны были эту ошибку исправить...

— Да никакой ошибки нет,— сердито дернул вожжи кучер.

Но Сергей Варфоломеевич как бы не услышал его слов, продолжал говорить о Тишкове. Он что-то такое затеял, этот Тишков, с прежним председателем тамошнего колхоза Бескудниковым, что-то вроде вымогательства. И все на почве пьянства...

— Да он и не пьет,— опять сказал кучер.

— Все они не пьют,— махнул рукой Сергей Варфоломеевич.— И брат у него оказался ворюга. Мне начальник милиции рассказывал, Терентьев...

Упомянув о Терентьеве, он невольно зажмурился. А кучер предложил:

— Хотите я об этом расскажу подробно?

— После,— сделал строгое лицо Сергей Варфоломее-

вич, желая завести с секретарем обкома обстоятельный разговор. Дело ведь не в самом Тишкове. Тишкова, конечно, нужно освободить. Но как, очень важно выяснить, будет с разделением района? Вот главный вопрос.

И Сергей Варфоломеевич начал было об этом говорить, но Перекрёсов перебил его:

— А этот Тишков тут, стало быть, с прошлой осени?

— С осени.

— А вы,— опять спросил Перекрёсов,— вы, Сергей Варфоломеевич, давно уже председателем?

— Да как сказать...

— Давно,— чему-то усмехнулся кучер.

И усмешка эта непонятная задела Сергея Варфоломеевича.

— Ты, Григорий Назарыч, за меня не отвечай,— гневно попросил он.— Я за себя сам способен ответить.— И повернулся к Перекрёсову.— Я, видите ли, какое дело... Я до войны тут секретарем райкома комсомола работал. Первым. Первым секретарем. Потом, после войны, когда я сюда вернулся, меня взяли на работу в райком партии. Завотделом. Ну, и тут, как видно, массы меня вспомнили и уже вскоре выбрали председателем райисполкома.

— Так. Значит, вы человек популярный?

— Можно и так считать,— скромно потупился Сергей Варфоломеевич.— Во всяком случае, я не сам себя назначил на пост председателя...

— Ну, это понятно,— кивнул Перекрёсов.— А до этого поста что делали?

Сергей Варфоломеевич перечислил как будто все свои должности.

— Ну, это, так сказать, руководящая деятельность,— улыбнулся секретарь обкома.— А где вы работали, пока вас не узнали массы?

— Это сейчас вот, вдруг, и не вспомнишь,— затруднился Сергей Варфоломеевич.— Вообще-то трудно сказать...

В разговор опять вмешался кучер.

— Я так понимаю,— посмотрел он на секретаря обкома,— что вас интересует, где Сергей Варфоломеевич находился с молодых лет?

— Ах, с молодых лет,— сказал Сергей Варфоломеевич.— С молодых лет, просто с детства, я учился в школе. И, по желанию родителей, кроме того, проходил обучение у портного в сельской местности. Потом я поступил в столярную мастерскую и вскоре на маслозавод...

— А портняжному-то ремеслу научились?— спросил Перекрёсов.

— Как сказать...

— Ну, допустим, можете себе сами сшить рубашку?— поинтересовался кучер и опять усмехнулся.

— Не вижу пока такой надобности,— сверкнул глазами Сергей Варфоломеевич.

Ему хотелось выругать Григория Назаровича, поставить его, как полагается, на место. «Это уж какая-то комедия получается,— сердито подумал он.— Нечего из меня комедию строить. Заговорили о Тишкове и вдруг на меня перешли». Но тут же у него мелькнула тревожная мысль: может, и Григорию Назаровичу уже заметно, что под него, Сергея Варфоломеевича, где-то подводят мину. От этого, может, и осмелел Григорий Назарович, вообще-то тихий мужик. Все может быть. Однако сдаваться нельзя. Нельзя себя слишком низко ставить. И Сергей Варфоломеевич спросил:

— А что это вы, товарищ Перекрёсов, решили с меня анкету снимать? Вообще-то мое личное дело находится в обкоме...

— Обиделись?— удивился Перекрёсов.

— Не обиделся, но вообще говорили о деле...

— А дело, как известно, делают люди,— улыбнулся Перекрёсов.— Я, понятно, и интересуюсь людьми. И вы мне интересны. Вы сами из крестьян?

Сергей Варфоломеевич уже пожалел, что так резко ответил секретарю обкома, и старался теперь говорить мягко, деликатно. Да, так точно, он из крестьян, но в крестьянском хозяйстве, к сожалению, долго работать не пришлось, хотя он любит крестьянское дело. Ну как же! У него вся родня — крестьяне. Колхоз «Авангард» — его, можно сказать, родина. Вспоминают его там. Как приедет в «Авангард», сейчас же вокруг него народ, земляки. Вспоминают, как в детские годы в городки играли. И тогда ведь невозможно еще было угадать, кто кем будет. Большинство его сверстников и по сей день рядовыми колхозниками работают. Бывают забавные случаи. Бабка одна, некая Аграфена Понтрягина, недавно приехала по своим делам в райисполком, зашла в приемную председателя и, показав на двери кабинета, спросила у секретаря: «Серега-то здесь?»

Перекрёсов улыбнулся. И Сергей Варфоломеевич, заметив его улыбку, успокоился. Значит, секретарь обкома не обижается на него.

— Вот они самые и есть, долгожданные Желтые ручьи,— показал кучер на незавидные избушки, расставленные неровно на краю оврага и ползущие на облысевшую бурую гору, где совсем немного сохранилось елей, и сосен, и еще каких-то деревьев — не то лип, не то дубов!

А внизу, под горой, столпились белоствольные березки и яркой, праздничной своей красотой как бы подчеркивают бедность жилищ. И недавно побеленные каменные столбики у въезда в деревню тоже оттеняют эту бедность. Но они же, эти столбики, серьезному наблюдателю внушат, может быть, и ободряющее чувство. Кто-то же вкопал здесь эти столбики, и выбелил их, и окаймил для большей красоты черной краской или, скорее всего, печной сажей. Была, наверно, у того, кто это делал, какая-то веселая мысль.

— Батюшки, Григорий Назарыч!— всплеснула руками немолодая женщина, выглянувшая в распахнутое окно самой крупной избы, где над дверью прикреплена большая железная вывеска: «Правление колхоза Желтые ручьи».— Батюшки! Да что же это такое? А Тихона Егорыча-то нет...

— Где же он?— спросил Григорий Назарович.

— В разбеге,— засмеялась женщина, завязывая на подбородке белый платок.— Я сама его жду. Беги, Никишка!— закричала она тут же мальчику, стоявшему у столба.— Беги на ферму. Может, там знают, где Тихон Егорыч. Скажи, что Григорий Назарыч приехали. И с ним, скажи, какие-то... представители,— оглянулась она на пролетку, из которой уже вышли секретарь обкома и председатель райисполкома.

Перекрёсов засмеялся. А Сергей Варфоломеевич опять помрачнел. Почет, выказанный женщиной Григорию Назаровичу, был явно не по душе Сергею Варфоломеевичу. «Вот комедия!— подумал он. Почти все неприятное определялось им этим словом.— И еще чего-то будет. Не иначе чего-то еще будет. И зачем я только взял с собой этого вредного щелконога Григория Назарыча?»

У правления стали собираться люди, в большинстве старики и старухи, несколько подростков. И нельзя сказать, чтобы они совсем не обращали внимания на секретаря обкома и председателя райисполкома. Нет, их, конечно, интересовали эти степенные люди, как всегда везде всех

интересуют приезжие. Однако разговаривали и здоровались за руку колхозники только с Григорием Назаровичем. Видимо, он им был известен давно, а Сергея Варфоломеевича они не знают. А когда он сам узнал и назвал по фамилии одного старика, старик обрадовался, заморгал и засуетился:

— Ну да, я тоже тебя сразу признал. Только немножко усомнился. Больно полный ты из себя-то сделался. Раздобрел...

Замечание это нельзя было признать приятным. И Сергей Варфоломеевич уклонился от разговора со стариком. Да и на площади вскоре появился, видимо, сам председатель колхоза. Большой, сутулый, в выцветшей солдатской фуражке и в солдатских же старых штанах и гимнастерке, он тяжело опирался на суковатую палку, но шел все-таки довольно быстро, с сердитым выражением лица, точно стремился кого-то поскорее наказать. Но вот он поравнялся с пролеткой, увидел Григория Назаровича, и на буром грубом его лице, иссеченном морщинами, вдруг засияли молодые глаза.

— Григорий Назарыч! А я уж тебя и не ждал. Вот, скажи на милость, какая радость! А я думал, ты очень занятой. Не можешь вырваться к нам. Ну, смотри, как ты меня обрадовал...

Он пожал ему руку прямо-таки с хрустом и поглядел на председателя райисполкома.

— О, глядите, и Варфоломей Сергеич...

— Сергей Варфоломеевич,— поправил Григорий Назарович.

— Ну, это я извиняюсь,— не сильно смутился председатель колхоза.— Редко видимся. А вы, наверно, и фамилию мою не помните?

— Почему же?— улыбнулся Сергей Варфоломеевич.— Тишков. Встречались.

— Тишков, вот именно встречались,— подтвердил Тишков и взглянул на секретаря обкома.— А вас я, кажется, знаю. Вы, наверно, будете товарищ Перекрёсов. Ну да, я вас видел в прошлом году на областном совещании. Вы речь говорили...— И опять повернулся к Григорию Назаровичу, точно боясь, что тот вдруг уйдет.— А тебя я, имей в виду, сегодня не отпущу. Я тебя арестовываю прямо на сутки. Ты у меня должен будешь тут кое-чего поглядеть...

— Я погляжу,— пообещал Григорий Назарович.—

Мне самому интересно на твои яблони посмотреть.

— Да что яблони! Ты погляди, что мы в Темном углу делаем. Мы там весь кустарник, всю эту бузину свели. Сейчас будем сеять...

— Я погляжу,— еще пообещал Григорий Назарович и пошел через площадь.

— Должно быть, толковый человек,— кивнул в его сторону Перекрёсов.

— Толковый — это мало сказать. Первый агроном в районе, если не во всей области,— просиял Тишков.— Я у него учусь. Всю зиму, с моими ногами, по два раза в неделю к нему ездил. Он мне много чего хорошего в голову вложил. Брошюр одних сколько я от него перечитал. А также ответы дает на все вопросы...

— А что у вас с ногами?

— Ноги у меня, можно сказать, не свои,— постукал он палкой по носкам башмаков.— Одна, как говорится, искусственная — протез, а вторая болит. Может, тоже придется отымать. А жалко. Все-таки своя нога, она много значит Частная, можно сказать, собственность...

Он шутил, и видно было, что в человеке этом, несмотря на его больные ноги и, наверно, значительный возраст, заключена большая энергия, живая и веселая. Она светилась и в его глазах, неожиданных на этом лице, словно вырубленном из бурого камня, каким богата, должно быть, вон та гора, по которой ползут подслеповатые избушки.

Перекрёсов кивнул на гору:

— Камень никак не используете?

— Как же это так не используем? Очень даже используем. Но ведь вот начальство не поддерживает нас.— Тишков показал палкой на Сергея Варфоломеевича, поставившего ногу на колесо пролетки и счищавшего щепкой присохшую грязь с сапога.

Он делал это, пожалуй, только затем, чтобы как-то скрыть свое, все еще продолжавшееся смущение. Неумная его затея — взять агронома вместо кучера — теперь и ему самому представлялась нелепой. Что это он, спьяна, что ли, придумал? И как он мог надеяться, что это не будет разоблачено? Перекрёсов, наверное, еще в дороге догадался. Конечно, Григорий Назарович мог всегда понадобиться для справок. Сергей Варфоломеевич не раз брал его с собой как живой справочник даже на областные конференции.

Всего ведь не удержишь в памяти, как ни старайся. Но

Перекрёсов специально предупредил, что никого с собой брать не надо. А Сергей Варфоломеевич схитрил.

И теперь уже все покатится под гору. Перекрёсов теперь ничего ему не простит, ничего. И этот Тишков еще наболтает. Хоть вспомнить, что же Тишков просил у него зимой, из-за чего скандалил и еще на конференции из-за чего-то оскорбил его с трибуны!

Сергей Варфоломеевич напрягает память, но вспомнить ничего не может, ведь у всех председателей колхозов свои претензии.

Кажется, шел какой-то разговор о детских яслях. Нет, о яслях просил Жолобов из колхоза имени Ворошилова. А этот Тишков ругался, если память не изменяет, из-за кирпичного завода. Ну да, кажется, из-за кирпичного завода.

Стоять вот так, на глазах у всех, у пролетки и счищать присохшую грязь с сапог, пожалуй, не очень удобно. И главное — глупо. Все равно ведь не отвертишься от разговора. Надо что-то сказать. И Сергей Варфоломеевич говорит Тишкову:

— Вы ведь тут с осени?

— Нет,— улыбается Тишков.— Я тут не с осени. Я уж тут третий год живу. Мне,— смотрит он на Перекрёсова,— врачи на нашей шахте свежий воздух прописали. Я-то их так понял, что свежий воздух перед смертью. Болезнь у меня в самых легких. Называется «холикоз». Шахтерская болезнь от вдыхания угольной пыли. И, кроме того, я, можно понять, уже в хороших годах нахожусь. Ну, не в очень хороших, мне под шестьдесят, но по моим болезням оно, разумеется, надо собираться. После фронта, когда я приехал на шахту об одной ноге, мне уж обратно спускаться под землю не велели. Я на поверхности стал работать. Но поскольку врачи говорят про свежий воздух, я смотрю — значит, и на поверхности мне не удержаться. Что-то, значит, надо соображать. Тут, откровенно скажу, я и вспомнил про брата. Написал ему, он ответил. Я и поехал сюда...

— И вот видишь,— вдруг вступила в разговор суховатая женщина с визгливым голосом и со скорбным лицом монашки,— вот видишь, брат-то тебя принял, как родного принял, единоутробного. А ты как, красиво поступил?..

— Ты, пожалуйста, не скули,— кротко попросил ее Тишков.

— Как же это я могу, то есть, не скулить?— взвизгну-

ла женщина.— Ведь брата родного, все видели, не пожалел...

— Да погоди ты, пчела!— опять попросил Тишков и как бы заслонил ее своей спиной от Перекрёсова.— Вот такая у меня, выходит, биография жизни. Из шахтеров я обратно превращаюсь в колхозника. Хотя раньше я колхозником не был. Я тридцать шесть лет проработал на шахтах. А до шахтерства был просто крестьянином, жил в родительском дому. Ну и вот, я приехал сюда почти что три года назад. Жена моя сразу же ударилась в слезы. Воздух-то здесь имеется точно такой, какой нужен,— чистый, свежий. Речка красивая рядом. Гора. Лес. А вот с пищей, глядим, неважно.

«Это верно»,— про себя согласился Сергей Варфоломеевич, вдруг почувствовав, что хочет есть. Ведь с утра, кроме стакана молока, он ничего не ел. А день уже клонился к вечеру. Однако надежды на обед не было. Едва ли тут, у этого Тишкова, пообедаешь.

9

Только что улыбавшийся Тишков опять посуровел, сделался даже страшным. Бурая кожа на его лице побагровела. Он стал рассказывать о Федоре Бескудникове, который председательствовал тут до него.

«Правильно,— про себя подтвердил Сергей Варфоломеевич.— Это брат Клавдии Бескудниковой. Я его знаю — алкоголик. А где теперь, хорошо бы узнать, сама Клавдия?»

— И ведь что обиднее всего?— говорил Тишков.— Обиднее всего, что все в колхозе видели, что этот Федор Иванович никуда не годится. А вот они,— он кивнул на председателя райисполкома,— его все-таки поддерживали. Бескудников прямо откровенно заявлял, что у него своя рука в райисполкоме. Вот эта рука.— Тишков уже с ненавистью смотрел на Сергея Варфоломеевича.

Сергей Варфоломеевич хотел возразить: Бескудникова он и не собирался поддерживать. Но вдруг подумал с почти болезненным безразличием. «А, все равно, валите все на меня!» И ему даже есть больше не хотелось.

В толпе, окружившей приезжих, Тишков отыскал какую-то старуху и сказал ей:

— Иди, Варвара Саввишна, к себе. Мы сейчас к тебе придем твоих чушек смотреть.— Потом увидел молоденького паренька и ему приказал:— Ты тоже жди нас, Семен. Будь у себя, на месте.

«Он, видите ли, этот Тишков, уже все заранее решил. Даже не спрашивает приезжих, куда бы они хотели пойти. Он сам за них распорядился, будто они тоже прибыли под его начало. Нехороший мужик,— поглядел на него Сергей Варфоломеевич.— С ним только свяжись. Правильно про него рассказывал Терентьев, что они тут с братом какие-то махинации творили и он брата родного обманул. Даже женщина вон какая-то подтверждает. Надо поговорить с этой женщиной. А Капоров допустил грубейшую ошибку — рекомендовал его в председатели. И теперь я буду это расхлебывать. Нет, кажется, не Капоров его рекомендовал. Кажется, Никитин. Ну, все равно, все равно. А мне расхлебывать».

— ...И вот,— продолжал рассказывать Тишков,— я сперва определился тут по конной части. Потом меня перевели в бригаду по огородничеству. А дальше уж пришлось заняться полеводством. И спасибо Григорию Назарычу. Ведь полное расстройство во всем. А этот Федор Бескудников гуляет. Жена его спекулирует на станции, а он гуляет. Баб много, бабы молодые. И он везде желанный гость. Всем справки выдает, кто ударяется в спекуляцию. Ну, что тут делать? А?— как бы спрашивает он секретаря обкома.— Ну, что вы станете делать? Жена моя, понятно, предлагает, как женщина: уедем, Тиша. Не мы, говорит, делали этот развал, не нам, мол, его и разбирать. А кому же? Нет, я подумал, это будет для меня слишком обидно — уезжать, поскольку я уже сюда прибыл и поскольку некоторые колхозники уже уцепились за меня и поверили, что я буду наводить порядок. И я же партийный билет имею. А для чего-то же он мне выдан. И, кроме того, я шахтер. Конечно, здесь обстановка другая. Но я так всегда считаю — и на войне считал,— что если человек есть мастер какого-нибудь дела, то он, где бы ни было, все равно себя окажет, и не потеряется, и все поймет вне зависимости от обстановки. А я все-таки на шахте был и бригадиром, и недолго, правда, работал начальником участка. Кто же, кроме меня, тут может разобраться, поскольку к тому же я нуждаюсь в свежем воздухе для поддержания своего здоровья. А свежий воздух здесь есть. Вы глядите, какая красота!

Никакой особой красоты его собеседники, однако, не заметили.

Они шли по длинной улице вдоль покосившихся клетушек-амбарушек, и Тишков продолжал рассказывать о неукротимом характере Федора Бескудникова, чуть было вконец не развалившего этот колхоз.

И ведь до чего был упорный этот Бескудников! Ни за что он не хотел уйти со своего поста. Уж по-всякому его уговаривали колхозники: уйди, мол, добровольно, Федор. Он одно что твердил: «За меня — райком и райисполком».

Тогда Тишков решил подойти к нему по-иному. Тишков купил на станции пол-литра и еще четвертинку, зазвал к себе Бескудникова, хорошо с ним выпил и обрисовал ему за выпивкой всю картину бедственного положения колхоза.

«И ведь все это вот так просто не кончится,— говорил ему Тишков.— Ведь рано или поздно нагрянет какая-нибудь комиссия, все вскроется. И хорошо ли тогда тебе будет, Федор, в твоих сравнительно молодых годах сидеть за решеткой?»

Бескудникова, похоже, проняли эти слова. Он даже всплакнул пьяными слезами, признал, что в колхозе творится черт знает что. Глядеть даже на все это не хочется. И, чего греха таить, может, правда, его, как председателя, потом первого потянут в суд. А жена его Аришка останется с детьми одна.

Бескудников решил завтра же отказаться от председательства и, успокоившись на этом, пьяный, уснул на сундуке у Тишкова. Но утром, протрезвев и допив оставшуюся в четвертинке водку, он вдруг начал кричать, что Тишков пройдоха, что он прибыл сюда неведомо откуда, что он спаивает и мутит порядочных колхозников и обманом старается пролезть на пост председателя колхоза, что таких, как Тишков, надо кончать на месте, а не давать им ходу при социализме, а тем более при полном коммунизме.

В тех же словах он написал заявление в райком, кое-чего еще, наверно, прибавил. И вскоре из района в Желтые ручьи приехал на машине «газике» (дело было зимой) сам Ерофей Петрович Капоров, секретарь райкома.

Он сразу спросил Тишкова: «Было ли все точно так, как описывает в своем заявлении Бескудников: ставил ли ты ему выпивку, сговаривал ли уйти из председателей, грозил ли тюрьмой?»

«Все было точно так»,— признал чистосердечно Тишков.

«А кого же ты,— еще спросил секретарь райкома,— кого же ты, если не секрет, намечал вместо него в председатели?»

И Тишков опять чистосердечно признался, что намечал в председатели именно самого себя, Тишкова, поскольку некого больше было намечать, кроме разве Надежды Бескудниковой, комсомолки и очень старательной девицы, имеющей среднее образование.

«Некрасивый поступок для коммуниста,— сказал Капоров.— Очень некрасивый».

Тишков стал было ему возражать. Но Капоров, очень нервный мужчина, никого не мог долго слушать. Он только погрозился, что в случае повторения подобных фактов Тишков будет строго наказан по партийной линии за подрыв руководства колхоза. И сейчас же уехал на своем «газике», так и не выяснив, в каком состоянии находится колхоз Желтые ручьи.

Тишков на этом, однако, не остановился. Он ездил к Капорову в райком, но никак не мог к нему попасть и пошел в райисполком — вот к Сергею Варфоломеевичу.

«Правильно,— вспомнил про себя Сергей Варфоломеевич,— было давно, наверно, с год назад что-то такое. Был у меня еще тогда Тишков. Я готовился как раз, кажется, к пленуму. Он чего-то такое кричал. Значит, я его давно знаю. А Федька Бескудников, это точно, пьянчужка».

И все-таки Сергей Варфоломеевич возмущался сейчас не Бескудниковым и не Тишковым, хотя он много лишнего рассказывает, а Перекрёсовым.

«Неправильно ведет себя Перекрёсов, совершенно неправильно. Даже странно для секретаря обкома. Ему бы надо было потребовать у председателя колхоза документы, допустим, тот же план, просмотреть его, потом проверить в крайнем случае на фактах. Можно даже было собрать колхозников, поговорить с ними, дать указания, напомнить задачи. Люди любят послушать руководителя. А Перекрёсов вроде как пошел на поводу у этого Тишкова. Для чего-то согласился смотреть свиней. Что, он их никогда не видел, что ли? И хоть бы раз он перебил Тишкова. Слушает все сплетни. А ведь известно, нужно выбирать главное даже в разговоре. Надо хотя бы задавать вопросы. А Перекрёсов молчит».

Сергею Варфоломеевичу опять хотелось есть. У него даже чуть кружилась голова, может, от голода или от вчерашнего — ведь выспаться так и не удалось. И он уже совсем невнимательно слушал Тишкова. Хотя Тишков еще раза два кольнул Сергея Варфоломеевича.

Тишков снова за что-то хвалил Григория Назаровича, превозносил его агрономические способности и, похоже, противопоставлял агронома всему районному руководству. Ну, это-то уж явный перекос и глупость.

Наконец Тишков рассказал, как снимали Бескудникова и выбирали его, Тишкова. Ему, видно, не с кем раньше было поговорить обо всем этом. Некому было это все рассказать. И вот он обрадовался, что нашлись слушатели.

— Ну, а теперь прошу поглядеть наше хозяйство,— сказал Тишков и обвел вокруг своей суковатой палкой, когда они вступили на узенький мостик через ту же Кудинку, которая здесь, на землях колхоза, делает излучину.

10

У Сергея Варфоломеевича вспотели ноги. И это было самое неприятное. Все-таки нельзя столько ходить по такой жаре в сапогах. Надо было бы туфли с дырочками надеть. Что, в самом деле, обуться разве не во что? Но кто же знал, что придется так долго ходить!

«Этот черт безногий Тишков,— сердился Сергей Варфоломеевич,— будто нарочно решил уморить и секретаря обкома и председателя райисполкома. А ему самому ничего не делается. Или на протезе ему легче ходить? Он ведь сам сказал, что у него не свои ноги. Не своих-то ног не жалко!»

Тишков повел гостей сперва на колхозные огороды. Потом провел зачем-то по некоторым приусадебным участкам. Показал, где уже строятся из бурого камня коровник и конюшня. «Все-таки, глядите, я добился своего!— радовался он.— Свой строительный матерьял!» И уже затем вывел гостей на поля, где в первую очередь, по новому заведению, будет разведена кукуруза, а также увеличены посевы пшеницы, ржи и овса.

Особо гордился Тишков так называемым Темным углом, где нынче колхозники выкорчевали весь ненужный кустарник, освободив для посевов большое пространство.

— Тут у нас вроде как свой Казахстан,— смеялся он, хотя ничего смешного, по мнению Сергея Варфоломее-

вича, не было.— Глядите, какая целина! А ведь никто не верил, что освоим. Освоили.

И Тишков повел гостей вокруг Темного угла, уже вспаханного и готового принять семена.

— Земля-то какая, масло!— наклонялся он над черными комьями и брал в руки.— Хоть сию минуту на хлеб намазывай.

А у Сергея Варфоломеевича просто отваливались ноги.

— Коровок я сейчас вам не покажу. Не имею возможности,— сожалел Тишков.— Они у нас далеко, на выгоне. К вечеру только прибудут.

«Ну и слава богу!» — вздохнул про себя Сергей Варфоломеевич.

— А вот чушки тут. Сейчас мы вам покажем чушек.

О чушках Тишков упоминал несколько раз, водя гостей по полям. Чушки, можно было подумать, главный предмет его гордости.

«Уж показал бы ты их скорее, и ну тебя к дьяволу,— раздраженно думал Сергей Варфоломеевич, тяжело дыша и искоса поглядывая на Перекрёсова.— Неужели он не устал, Перекрёсов? Неужели это все ему интересно? Хотя, кто его знает, может, это все ему в новинку. Книг-то, брошюр разных по сельскому хозяйству он начитался, а в натуре, наверно, мало что видел. Вот и восполняет пробел в образовании. А я для чего тут болтаюсь?»

Хозяйство Тишкова не произвело сильного впечатления на Сергея Варфоломеевича. «Конечно,— думал он, желая быть справедливым,— достижения тут кое-какие есть. Тишков, должно быть, мужик с головой, хотя и наговаривает лишнее. Но кто видел хозяйство в том же «Авангарде», того этими показами не удивишь. В районном масштабе это семечки. Что бы о нас ни думали в обкоме, мы тоже, слава богу, не дураки. Если б Желтые ручьи представляли районный интерес, мы бы сами давно ими занялись. Никитин что-то сюда не торопится. Он тоже вокруг передовых колхозов хлопочет. Там решаются главные успехи. А чушек разных мы видали... Не в них дело. И где они у него, эти чертовы чушки? Уж показывал бы скорее, да хоть бы присесть. Ноги прямо не идут. Мочи никакой нет».

Они подходили опять к узенькому мосту, с которого начался осмотр хозяйства.

Сергей Варфоломеевич напрягал последние силы. Если б его сейчас посадили обедать, подали бы ему, допустим, даже кетовую икру с маслом, яички всмятку, украинский

борщ с сосисками или любимые с детства пельмени, он бы все равно не смог есть — устал до последней степени. Уснуть бы лучше всего. Или хотя бы посидеть. Перейти мост, поглядеть, если уж так хочет Тишков, на этих его паршивых чушек и потом посидеть в прохладе, выпить холодной водички, а еще лучше бы кваску из погреба. Вот кваску бы он, правда, выпил. Не надо никакого обеда, а только бы кружечку кваску кисленького.

Подошли к мосту.

Сергей Варфоломеевич чуть приободрился. Но Тишков вдруг сказал:

— Погодите. Вон видите кустарник в низине? Вы думаете, он останется? Нет. Тут же лучшие земли!

«Ну и пусть лучшие»,— хотел сказать Сергей Варфоломеевич, стремившийся к мосту. Но не сказал, потому что Перекрёсов заинтересовался словами Тишкова.

А Тишков, придерживая рукой скрипящий протез и тяжело опираясь на палку, стал спускаться у моста в низину, где гнилостно пахло болотом и чернел густой кустарник. Пришлось пойти за Тишковым.

— Это уж на будущий год будем делать,— показывал Тишков на прутья кустарника.— Начнем-то в этом году, а уж посеем на будущий. У народа есть насчет этого большое желание...

И Тишков стал подробно рассказывать, какой у них боевой народ в Желтых ручьях. Просто удивительный народ!

Тишков сам никогда не думал, что тут такие замечательные люди имеются. Но ведь сперва-то и трудно было угадать. Когда дела шли плохо, людей как-то не видно было. Многие, казалось, навсегда ударились в спекуляцию: дежурили на станции, ждали, когда какой поезд пройдет, чтобы продать проезжим ягоды, или грибы, или яички, или рыбу. Все больше занимались своими приусадебными участками. Да и тоже не сильно занимались. И многие делали вид, что колхоз их не так уж очень интересует. Пусть, мол, в колхозе орудует Федор Бескудников, поскольку его поддерживает будто бы райисполком.

— Да не поддерживал его райисполком,— болезненно скривил лицо Сергей Варфоломеевич.— Для чего напраслину-то говорить?

— Ну как же это не поддерживал?— посмотрел на него Тишков.— Очень даже поддерживал. Имеются факты...

Никаких, однако, фактов Тишков не привел. Да и Сер-

гей Варфоломеевич не требовал. Он хотел только поскорее вылезти из этой низины, где зыбкая, сырая почва, прикрытая прелым прошлогодним листом, чавкала под ногами.

А Тишков ковырял эту почву своей суковатой палкой, показывая, какой она может быть плодородной, если, конечно, приложить руки. И опять хвалил здешний народ.

Правда, он сознался, что раньше, еще года два назад, ему здешний народ не нравился. Тишков раньше не только не хвалил здешних людей, но даже ругал. Если сравнить, например, с Донбассом, то там люди совсем другие. На одном собрании, где отчитывался Федор Бескудников и многие, даже члены правления, молчали, Тишков прямо так и спросил в сердцах: «Вы что же, граждане, как вас понимать — овцы или колхозники?» Многие, конечно, обиделись тогда. Начался сердитый разговор. Но Тишков этого и хотел. Он сказал: «Вы глядите, какое у нас государство. Весь мир смотрит на нас. И весь мир удивляется, какие у нас, в Советском Союзе, творятся великие дела. Уже атомную энергию придумали и еще много чего. А что мы видим в Желтых ручьях? Глупость видим и позор. И пьянство председателя колхоза. И молчим, как овцы. Что же мы, разве не граждане Советского Союза? Что же мы прячемся от глаз всего мира? Или у нас силы нет? Или нету самолюбия? Ну, ответьте мне, товарищи колхозники, я приезжий к вам человек и, может, не все еще понимаю».

Тишков теперь признает, что он тогда ошибался. Народ, понятно, везде одинаковый. Надо только разобраться в народе, вглядеться в него. И вот, вглядевшись, он увидел...

Но что увидел, Тишков не сказал. Опять, поддерживая рукой скрипящий протез, он стал, кряхтя, подниматься из низины.

— Верно, я еще признаю,— перевел он дыхание уже на мосту,— верно, я еще признаю: если б не Григорий Назарыч, нам трудно было бы вылезать из нашего положения. Он много чего нам показал. И Никитин, новый секретарь райкома, хотя я его еще буду критиковать, тоже хорошо помог последнее время. Я два раза был у него. Вас тогда не было,— посмотрел он на Сергея Варфоломеевича.— Вы, кажется, болели, а потом вас в область вызывали.

Узенький мост покачивался под ногами. Под мостом хлюпала и плескалась вода, и от нее шла приятная, освежающая прохлада.

— Так вот о людях,— как бы вспомнил Тишков.— Ва-

лечка у нас есть такая, тоже Бескудникова. Двадцать два года, девица. Ничего завидного, на взгляд, нет. Белобрысенькая, нос в веснушках. Говорят, она моряка тут одного полюбила, а он, знаешь, взял и отверг ее. Ну и дурак, я скажу. Недавно нам тут пришлось вывести из бригадиров одного некрасивого человека, между прочим родственника моего. И что же вы думаете? Назначили мы вместо него бригадиром Валечку, как ее все называют. Мужики в бригаде сперва омрачились: для чего, мол, пигалицу эту ставят над ними? А мы правлением решили твердо провести это дело. И вот сейчас мужики в бригаде — да что мужики, все, можно сказать, колхозники — не нарадуются на Валечку. И откуда, думается, в человеке вдруг вскрывается такой талант? Пантера просто, а не девка! Григорий Назарыч говорит: «Ее надо в Тимирязевскую академию отправить». А мы пока не согласны. Или вот зачем далеко ходить,— показал он на длинное низкое строение, обшитое старыми досками, порыжевшими от дождей и ветров.— В конюшнях у нас сейчас Бескудников, тоже Федор, но не тот, что был председателем. Федор Прокофьевич. Старик. Работал сторожем. Еле как будто живой. Но мы в нем разобрались. И вот сейчас вы можете поглядеть...

«Неужели и на конюшню потащит нас?— с ужасом подумал Сергей Варфоломеевич.— Я сам еле живой. И что же Перекрёсов-то молчит? Неужели он и конюшни не видал?»

Но Тишков почему-то не повел гостей в конюшню. Рассказав о достоинствах старика Бескудникова, он, сойдя с моста, завернул в сторону, где по едкому запаху можно было определить свинарник.

— Интерес к жизни — вот что главное,— сказал он философически.— Когда видишь, как под твоими руками жизнь налаживается, сам веселеешь. Конечно, если где-то сидеть, бумаги без толку перебирать, так, понятно, заскучаешь. И жизнь будет не мила. И состаришься раньше сроку...

«Это он на меня намекает»,— подумал Сергей Варфоломеевич. Но Тишков, кажется, не имел его в виду.

— Мне тоже предлагали завхозом поступить в санаторий в городе Славянске,— продолжал он.— Один хороший знакомый усиленно предлагал. Говорит: «У тебя большой партийный стаж, с двадцать четвертого года, есть опыт работы. Можем тебя включить в номенклатуру». А я подумал: для чего она мне на старости лет, номенклатура?

Ведь век я без нее прожил по своей специальности, своими руками. Добывал уголь...

«Хвастается,— определил Сергей Варфоломеевич.— Ну и пусть. Лишь бы поскорее показал своих проклятых чушек, и хоть присесть бы где-нибудь. Дальше свинарника не пойду. Пусть хоть что делают, не пойду. Не вижу необходимости».

— А сейчас я, честное вам слово, как во второй раз живу!— просиял Тишков.— Такое у меня настроение всей жизни. И нога моя, когда она на ходу, ничего. А вот как лягу, тут она мне показывает свой характер. Ноет, прямо гудит. Когда я у брата приютился, его супруга сильно обижалась, что я и по ночам стонать начинаю. Я-то сплю, не слышу, а нога, значит, меня стонать заставляет...

Перекрёсов, почти все время молчавший, спросил:

— А что у вас, Тихон Егорович, с братом произошло?

— С братом?— как бы растерялся Тишков.— А вы откуда знаете?

— Женщина там, на площади, в чем-то вас упрекала.

— Женщина? Ах, это супруга моего брата Ивана Егорыча. Нехорошая в общем женщина. Кукушка.

«Уклоняется,— подумал Сергей Варфоломеевич.— А тут что-то есть. Вот про это самое и рассказывал Терентьев. Но не запомнил я в подробностях...»

— История мне эта тоже, в общем, неприятная,— признался Тишков.— Ничего занятного в этой истории, в общем, нет. Но поскольку заходит разговор, я, если вас интересует, могу объяснить. Но вы, может быть, сначала чушек наших желаете посмотреть? Вот они тут...

11

Из свинарника, сопя и хрюкая, выкатились на коротких ногах четыре огромные свиньи — свиноматки, как официально назвал их Тишков. Сквозь золотистую щетину просвечивали их розовые тела. И следом за ними выбежали, вертя хвостиками, поросята.

— Одиннадцать штук,— сосчитал Тишков. И как будто сконфузился.— Немного. Но глядите, какая порода! Это нам Григорий Назарыч помог из «Авангарда» достать.

«Бедность,— подумал Сергей Варфоломеевич.— Какая бедность! А он радуется. И даже показывает своих чушек секретарю обкома. Хотя бы сотня их была — тогда другое дело».

Перекрёсов, однако, наклонился над каждой свиньей и каждую погладил по жесткой щетине.

И Сергей Варфоломеевич счел своим долгом проделать то же самое.

Перекрёсов поймал одного поросенка и подержал на руках. Этого Сергей Варфоломеевич сделать не смог, да и не захотел: к чему это?

Тишкову было приятно, что Перекрёсов поласкал поросенка. Тишков поймал еще одного и показал:

— Глядите, какие у него ноги. У него вся порода в ногах. Это нужно понять.

Сергей Варфоломеевич присел на опрокинутый ящик и наслаждался покоем. Пусть они рассматривают поросят, а он отдохнет. Пусть подольше рассматривают. Невидаль какая! В «Авангарде» ходит такое стадо в несколько сот голов, и никто не удивляется.

Удивляло теперь Сергея Варфоломеевича только то, что Григорий Назарович куда-то исчез. И за все время, обходя колхоз, они нигде ни разу его не встретили. Значит, есть еще участки, которых им не показывал Тишков. Неужели он и дальше их поведет? Когда же они уедут отсюда?

Перекрёсов вошел в свинарник, увидел, должно быть, интересное. Старуха свинарка Варвара Саввишна, как ее почтительно называл Тишков, стала объяснять что-то. А Тишков замолчал.

«Ну и пусть он хоть немного помолчит,— беззлобно подумал Сергей Варфоломеевич.— А все-таки когда же мы поедем? Обедать уж придется дома, ночью. Раньше ночи мы домой не доберемся. Впотьмах очень опасно ехать через тот мост. А придется обязательно ехать впотьмах». И еще вяло подумал Сергей Варфоломеевич: «Интересно все-таки, что же у него вышло с братом, у Тишкова? Не хочет он про это рассказывать. Ясно, не хочет. Про свиней рассказывает, а про брата не хочет».

В свинарнике Тишков о чем-то заспорил с Перекрёсовым. Сергей Варфоломеевич, сидевший у дверей на солнышке, не уловил начала спора. Услышал только слова Тишкова:

— Вы погодите. Я скажу. Тут нету никакой узурпации. Закон позволяет... Я вот как раз уважаю закон. Довольно уже, кажется, было беззакония...

— Нет, уж вы меня извините,— деликатно попросил Перекрёсов.

— А я вам говорю. Я отвечаю. Вы погодите...

Это опять сказал Тишков. Очень грубо сказал. Не понимает, должно быть, с кем разговаривает. Не чувствует масштаба. Сергей Варфоломеевич в удивлении даже привстал с ящика, хотел заглянуть в помещение, но вдруг услышал, как засмеялся Перекрёсов.

— Ох, видать, и упорный ты мужик.

— Я упорный,— согласился Тишков и засмеялся каким-то хриплым смехом — оттого, что у него больная грудь.

Удивительным показалось Сергею Варфоломеевичу, что Перекрёсов обращается к Тишкову уже на «ты». Все время говорил ему «вы», а сейчас — «ты». Но это «ты» звучит не так, как звучало у Виктора Ивановича, который всем говорил «ты». Перекрёсов этим «ты» как бы выражает Тишкову свое приятельское чувство. И Сергей Варфоломеевич хорошо уловил этот оттенок.

— Так что же у тебя все-таки, Тихон Егорович, с братом-то произошло?— опять спросил Перекрёсов.

— Неприятная просто история,— вздохнул Тишков.— Очень даже неприятная...

— А все-таки?

Но тут появился наконец Григорий Назарович с какой-то папкой.

— Вон наш кучер идет,— засмеялся, увидев его, Перекрёсов, заметно повеселевший после осмотра свинарника.

Сергей Варфоломеевич, услышав его слова, помрачнел.

— Вы понимаете, товарищ Перекрёсов, тут произошло некоторое недоразумение...

— Я понимаю,— кивнул Перекрёсов. И неясно было, сердится ли он на Сергея Варфоломеевича за эту комедию с кучером или не придает значения.

А Григорий Назарович развернул папку и похлопал по бумагам ладонью.

— Молодцы!— сказал он.— Просто молодцы!— И протянул папку Перекрёсову.— Это колхозный план. Каждая графа обоснована. И все реально. Надо только немножко подредактировать, но это уже пустяки.

Перекрёсов положил папку на широкий дубовый пень и, присев на корточки, стал перелистывать бумаги. Сергей Варфоломеевич заглядывал ему через плечо.

— Любопытно!— говорил Перекрёсов.

— Н-да!..— как бы вторил ему Сергей Варфоломеевич.

Наконец Перекрёсов закрыл папку и сказал:

— Это мы потом обязательно посмотрим. Так, на ходу, нельзя.— И передал папку Тишкову.— Есть над чем подумать. План интересный, сильный!

— Я считаю,— посмотрел вокруг Григорий Назарович,— что, если все так и дальше пойдет, как сейчас, не хуже, это хозяйство года через три будет в два раза крупнее, например, «Авангарда». Я твердо уверен. Хотя здесь трудоспособного населения меньше, чем в «Авангарде», в четыре раза. Но здесь большие возможности.— И взглянул на Тишкова.— Ты, Тихон Егорыч, только не шибко задавайся.

— А я и не задаюсь.

— Нет, задаешься, не уважаешь гостей,— засмеялся Григорий Назарович.— В любой колхоз приедешь — тебе хоть кружку молока нальют. А у тебя мы сколько тут ходим...

— Ох, верно!— спохватился Тишков.— Я ведь все еще по-шахтерски живу: раз наелся как следует перед упряжкой, перед сменой, и до конца. А вы-то, конечно...— Он увидал девушку в косынке, прикрывающей почти весь лоб.— Вы глядите, как у нас девицы берегут от солнца свою красоту, чтобы не выгорела, не спалилась... Ты, Верочка, домой идешь? Зайди, пожалуйста, к Бескудниковой Клавдии, скажи — пусть чайную откроет. Пусть нарежет колбаски, сырку, чего у нее там есть. Может, консервы хорошие имеются. И яичницу пусть готовится сделать на,— он как бы пересчитал гостей,— на трех человек.

— А на себя что же не заказываешь?— улыбнулся Перекрёсов.

— Я дома потом поем,— почему-то сконфузился Тишков.

«Бескудникова Клавдия,— подумал Сергей Варфоломеевич.— Может, это и есть сама Клавка. Откуда же она взялась? Ведь уезжала. Точно, уезжала. Давно я ее не видел».

— Тогда сделаем так,— предложил Тишков, обращаясь сразу ко всем.— Пока там готовится, в чайной, пойдемте, я вам покажу, где мы сад намечаем. Кое-что уже посадили. Григорий Назарыч, наверно, видел...

— Я видел,— кивнул Григорий Назарович.— А гости, по-моему, устали. Хорошо бы им передохнуть.

— Ну что же,— согласился Тишков.— Можно и передохнуть. Но я думал так,— обратился он к Перекрёсову,— вы покушайте, а мы пока кое-какой народ соберем, хотя бы

правление. Вы, может, нам речь скажете. Нам будет, знаешь, приятно.

— Какая там речь!— замахал руками Перекрёсов.— Мы слегка поедим и займемся делами. Посмотрим как следует ваши планы. Может, чего-нибудь вам посоветуем и у вас чему-нибудь поучимся.

— Ну, насмехаться-то бы, конечно, не надо!— укоризненно посмотрел на него Тишков.— Учиться у нас пока нечему. А вас послушать нам охота. Представителей у нас тут много перебывало. Но все указывают этак — в общем и целом. Тут сейчас у нас двое сидят. Один хорошо вчера вечером рассказывал насчет суеверий. Объяснял, до чего это глупо — верить, допустим, в религию. Это, конечно, очень полезно объяснять. Но народ задавал ему также вопросы по хозяйственной жизни, а он, этот представитель, сильно затрудняется. Хорошо бы завести разговор поближе к нашим делам...

— Вот мы такой разговор и постараемся завести,— пообещал Перекрёсов.— Завтра уж заведем разговор, когда со всем познакомимся.

«Значит, мы сегодня не уедем,— с тоской подумал Сергей Варфоломеевич.— Напрасно я сапоги надел. Жарко в них. Слишком жарко».

— Ну, тогда отдыхайте пока,— как бы милостиво разрешил Тишков.— Я сам в чайную схожу. Может, Клавдия чего горячее сделает.

12

День все заметнее клонился к вечеру. Воздух чувствительно посвежел, опять подул легкий, зябкий ветерок.

Приезжие вернулись на площадь, где стояла их пролетка.

Сергей Варфоломеевич достал из-под сиденья свой плащ и, накинув его на плечи, уселся на бревна, лежавшие в стороне от входа в правление.

Тут он немного погодя не спеша разулся, пошевелил в прохладе пальцами ног, обмотал ступни портянками со свежих концов и снова натянул сапоги.

Ногам стало много покойнее, но на душе покоя не было. К нему подошла большая лохматая собака с добрыми, грустными глазами, деловито обнюхала его, медленно помахала хвостом. Он хотел ее погладить. Протянул было

руку, но заметил, что шерсть линяет, и, тихонько отпихнув ее ногой, сказал не сердито:

— Иди-ка ты отсюда. Иди.

Перекрёсов с Григорием Назаровичем стояли у пролетки и о чем-то неслышно беседовали. Но Сергею Варфоломеевичу думалось, что они беседуют обязательно о нем и оба сходятся в мнении, что он никудышный руководитель.

И еще показалось Сергею Варфоломеевичу, что Перекрёсов как будто подружился с Григорием Назаровичем. Вот Перекрёсов смеется. Что-то смешное рассказал ему агроном. И смеется Перекрёсов как-то уж очень громко. Сергею Варфоломеевичу думается, что так бы не должен смеяться секретарь обкома. Не солидно это, пожалуй.

Потом Перекрёсов и Григорий Назарович сели на бревна рядом с Сергеем Варфоломеевичем.

Отсюда было видно, как Тишков зашел в одну избу, затем в другую, пронес какой-то ящик и стал с ним подниматься на трехступенчатое крыльцо чайной.

За ним шла высокая красивая женщина. На ходу она надевала белый, с крылышками на плечах передник, завязывая за спиной широкие тесемки.

«Бескудникова Клавдия,— сразу узнал Сергей Варфоломеевич.— Она, точно, Клавка.— И стал думать:— Как же мы, занятно, с ней встретимся сейчас? Я человек женатый, и она, наверно, замужем. А может, она еще и незамужняя? Как бы там ни было, интересно ее повидать, вспомнить молодость».

И, все время печальный от неизъяснимых и не до конца осознанных огорчений сегодняшнего дня, Сергей Варфоломеевич вдруг душевно взбодрился и еще раз пожалел, что не приехал сюда раньше. Раньше бы он тут во всем разобрался сам и Клавдию бы повидал с глазу на глаз, без свидетелей.

«Все-таки молодость,— опять подумал он.— Всегда интересно, между прочим, ее вспомнить».

А Перекрёсов спросил Григория Назаровича, кивнув на Тишкова:

— Так что же у него вышло с братом?

— Тут целая история,— сказал агроном.— Тишков и мне не хотел рассказывать...

— Да, я тоже заметил, он чего-то, по-моему, скрывает,— присоединился к разговору и Сергей Варфоломеевич.— Хочет скрыть. Это заметно...

— Да ничего он не хочет скрыть,— будто обиделся за

Тишкова Григорий Назарович.— Просто это его любимый старший брат. И ему неприятно, что так случилось.

А случилось, как объяснил Григорий Назарович, вот что. Брат Тишкова, Иван Егорович, стал немножко приворовывать, стал зимой таскать к себе в избу колхозные дрова.

В избе же у него жил Тихон Егорович, тогда еще не председатель колхоза, а просто инвалид. Тихон сказал, что это нехорошо, тем более он, Тихон, коммунист, и ему прискорбно смотреть, как его брат превращается в мазурика.

На что Иван сразу в сердцах заметил, что хотя Тихон и коммунист, но не отказывается, однако, лежать на теплой печи, протопленной ворованными дровами. «И к кому ты жаловаться на меня пойдешь?— спросил Иван.— К Федьке Бескудникову? Так он тоже ворует, хотя и состоит председателем».

Братья поссорились, но вскоре помирились.

Иван дал честное слово, что больше воровать не будет. Однако прошлой осенью, когда Тихона Егорыча уже выбрали председателем колхоза, стало известно, что кто-то продолжает тайно выдаивать колхозных коров. Оказалось, что это делает жена его брата и еще одна доярка Питателева Татьяна.

Тихон Егорович поймал их ночью на месте преступления, и вместе с ними своего брата, который светил им фонарем «летучая мышь».

Брат Иван упал в ноги Тихону и стал упрашивать не шуметь, не затевать скандала, не губить его, и жену, и ее подругу, вдову Питателеву. Говорил плача, что это они в последний раз. И неужели Тихон теперь пойдет против родного брата, неужели у Тихона хватит совести?

«Хватит»,— сказал Тихон Егорович и разбудил членов правления колхоза.

Тут же был составлен акт. Дело передали поутру в суд. И вот сейчас Иван Тишков с женой и ее подруга со дня на день ждут суда. А самому Тишкову Тихону Егоровичу очень жалко брата. Это в самом деле у него любимый брат.

— Вот, оказывается, как это выглядит,— повернулся к Сергею Варфоломеевичу Перекрёсов.— А ваш Терентьев, хотя и начальник районной милиции, но сильно напутал.

— Напутал, напутал,— поспешно согласился Сергей Варфоломеевич.

— И вообще я считаю,— сказал Григорий Назарович,— в районных организациях у нас не понимают Тишкова. Я уже это говорил Никитину...

— А мне что же ничего не говорил?— невольно упрекнул его Сергей Варфоломеевич.

— И вам говорил,— напомнил агроном.— Но вы ведь все отмахиваетесь. Вам он показался склочником. Вы поверили Терентьеву. А Терентьев сам не разобрался. Он тоже все говорит с чужих слов...

Григорий Назарович еще о чем-то хотел рассказать, но к приезжим стали подходить колхозники.

Запахло дымком. Это в чайной напротив растапливалась плита.

Сергей Варфоломеевич подивился тому, как Перекрёсов разговаривает с колхозниками. Уж очень как-то странно. Не все колхозники, наверно, понимают, что это и есть секретарь обкома.

Виктора Ивановича, бывало, за километр видно, что он за человек и какую должность занимает.

Сергей Варфоломеевич все время невольно сравнивает Перекрёсова с Виктором Ивановичем, который, кажется, и не улыбался никогда. Может, дома с женой улыбался. А на людях всегда был хмурый, недовольный, будто все перед ним виноваты. И, конечно, его побаивались. Не любили, но побаивались, А это и требуется, чтобы побаивались,— убежден Сергей Варфоломеевич.

Он и сам тут разговаривал бы по-другому, если б приехал один.

Его бы Тишков в разговоре не перебивал, как он позволяет себе перебивать даже секретаря обкома. Нет, Перекрёсов, видно, еще не очень опытный, хотя и говорят, что он крепко берется за все дела в области. Не умеет еще он, видно, разговаривать с народом так, чтобы каждый сразу чувствовал его авторитет. Или, может, у него особая повадка?

Улыбаясь, Перекрёсов спросил:

— Ну как, товарищи колхозники, новый-то председатель вас не обижает?

— Кого как,— ответил старик с обросшим жиденькими волосами лицом, похожим на печеное яблоко. И, подумав, добавил:— Какой же это будет председатель колхозу, ежели он никого не обидит...

— Вот как?— удивился Перекрёсов.— Значит, обижает?

— А как же. Без этого нельзя.

— Неужели нельзя?

— Нельзя,— убежденно подтвердил старик.— Ежели никого не обижать, так порядка никакого не будет. А для хозяйства нужен порядок.

— Значит, как же понять?— спросил Перекрёсов.— Хороший у вас председатель?

— Поглядим,— усмехнулся старик.— Поживем — увидим. И Тишков еще полностью себя не оказал...

— Ну, это уж ты, дедушка, тень на человека кладешь,— сказал красивый парень в черном бушлате, из-под которого виднелась полосатая матросская тельняшка.— «Не оказал»!— передразнил он старика.— Люди из района приехали, интересуются, приглядываются, а ты даешь такую характеристику. Может, тебе лучше опять Федьку Бескудникова вернуть в председатели? Он-то уж себя оказал...

Разгорелся спор. Парень в бушлате решительно отстаивал Тишкова, хотя никто Тишкова не ругал.

— У Тишкова,— говорил парень,— есть одна черта. Он каждого человека в колхозе ставит на определенную точку. И все время глядит, как этот человек держится на этой точке, как он действует, какая и к чему в нем есть способность и симпатия. Другой человек сам в себе не чувствует способности. А Тишков ее замечает.

— А в чем дело?— спросил только что подошедший остроносый мужчина в галифе и тапочках.— Правда разве, снимают Тишкова?— И поглядел на Перекрёсова.

— Я не слышал,— сказал Перекрёсов.— Может, вам лучше известно.

— Нам все известно!— засмеялся остроносый.— У нас женский, я извиняюсь, телеграф хорошо работает. Говорят, приехала комиссия снимать Тишкова и прямо указывают, я опять извиняюсь за грубость, вот на них,— он кивнул на Сергея Варфоломеевича.— Говорят, этот, который полный и в сапогах, будет у нас председателем вместо Тишкова...

Григорий Назарович кивнул на Сергея Варфоломеевича.

— Он и так уже председатель. Председатель райисполкома.

— Это ничего не значит,— усмехнулся остроносый.—

Не вечно же в райисполкоме. Иногда и на больших постах кое-кого, я извиняюсь, перетряхивают...

Говорил это остроносый, пожалуй, без всякого намерения задеть председателя райисполкома. Но Сергей Варфоломеевич почему-то сегодня все принимал на свой счет, и в словах остроносого ему тоже почудился прямой намек, хотя намека не было.

А Перекрёсов засмеялся над словами остроносого. И посмотрел на Сергея Варфоломеевича, как будто поискал глазами, тут ли он. От этого взгляда Сергей Варфоломеевич чуть поежился, хотя взгляд был обыкновенный — не злой, не добрый,— задумчивый.

Перекрёсов точно так посмотрел и на Григория Назаровича. Он, может быть, хотел спросить их о чем-то, но не спросил.

— Нет, Тишкова снимать никак нельзя,— опять заговорил парень в бушлате.— Это, поимейте в виду, будет глупость. Я вам это определенно говорю...

И он продолжал рассказывать, как при Бескудникове даже картошку позапрошлой осенью некому было копать — не хватало рабочих рук.

А при Тишкове сейчас, вот даже в самое горячее время, накануне весеннего сева, в колхозе ведутся еще многие большие работы: готовятся силосные траншеи, строится новый скотный двор, новый амбар, да и мало ли еще что делается, хотя трудоспособного населения стало меньше: многие разбежались при Бескудникове.

И, кроме того, надо учесть, Тишков умеет извлекать доход даже из таких статей, которых раньше никто не замечал.

Допустим, березовые веники или метлы. Кто о них раньше думал? А Тишков поставил на это дело старух и ребятишек, и они за эту зиму связали несколько тысяч метел и веников. И за них в Утарове колхоз выручил уже хорошие деньги. Да что говорить, Тишков — оборотистый мужик! Не для себя, учтите, оборотистый, а для всех, для всего колхоза.

Сергей Варфоломеевич, сонно щурясь, слушал, как парень в бушлате восхваляет Тишкова, и печально думал: «А меня разве будет кто защищать, если встанет вопрос? Неужели про меня ничего хорошего не вспомнят? А ведь я чего-то такое тоже делал. И ночей не спал». И неожиданно для себя он спросил парня:

— А тебе самому при Бескудникове было плохо?

— Не скажу,— блеснул озорными глазами парень.— При Бескудникове мне лично было, может, и неплохо. Может, даже лучше было.

Бескудников этого парня, вернувшегося из флота, сразу же назначил в колхозную охрану, говоря: «Очень много у нас воров развелось. Назначаю тебя поэтому, как военного моряка, стеречь на суше колхозную собственность и даю тебе под команду еще девять парней. Будете отвечать только передо мной и перед своей совестью. Ваша главная задача — перевести воров, всех до единого».

Парни эти хотя и не перевели воров, но сами, откровенно сказать, жили неплохо. Но когда председателем выбрали Тишкова, все изменилось. Тишков вызвал их к себе, по-военному выстроил, оглядел и сказал: «Хороши! Ничего не скажешь, хороши! На здоровье не жалуетесь?»

И вдруг сразу же стал их срамить: вы, мол, хлеб у стариков отбиваете. Разве, мол, с вашим здоровьем надо на такой работе находиться? Да вам в полевые бригады надо идти, плотничать, камень бить...

«А как же с воровством бороться?— спросили Тишкова члены правления.— Кто же будет бороться с воровством?»

«Воровство,— сказал Тишков,— это еще не главный наш страх. Воровство легко переведется, если мы сами с вами не будем воровать. А за остальными и старики присмотрят...»

— И правда, воровства у нас на сегодняшний день пока что не наблюдается,— сообщил остроносый мужчина в галифе и в тапочках.— Как рукой сняло... Нет, уж вы, если можно, Тишкова у нас не трогайте...

— Да кто же это сказал, что его собираются снимать?— спросил Перекрёсов.

— Ну как же,— смутилась женщина, на которую он случайно посмотрел.— В «Красный пахарь» уже приехал новый председатель из города. Говорят, очень образованный. И сам Тишков нам на днях намек сделал: что, мол, может быть, я еще и не удержусь. А мы трясемся. Ведь неведомо, какой он будет, образованный-то председатель, а Тишкова мы уже видим на факте...

За беседой никто не заметил, как подошел Тишков. Беседа некоторое время продолжалась в его присутствии. И, наверно, всем стало неловко, когда он сам заговорил.

— А я не против — пусть приедет образованный председатель. Мне даже лучше. Я опять в полеводческую

бригаду пойду. Меня теперь больше всего земля интересует...

«Рисуешься,— подумал, глядя на него, Сергей Варфоломеевич.— Небось обидишься, если снимут. Каждый, пожалуй, обидится.— И опять тревога тронула его сердце:— А куда я сам пойду, если меня вдруг освободят?»

— В чайную пойдемте,— пригласил Тишков.— У Клавдии уже все готово.

И Клавдия в белом переднике с крылышками на плечах вскоре появилась на крыльце.

«Не изменилась нисколько, даже похорошела как будто,— издали посмотрел на нее Сергей Варфоломеевич и снова взбодрился:— Интересно, узнает ли она меня?»

Он хотел бы пойти в чайную хоть сию минуту, но Перекрёсов все еще продолжал разговаривать с колхозниками, а раньше его уйти было неудобно. И Сергей Варфоломеевич опять вспомнил Виктора Ивановича. Тот бы не стал так расспрашивать всех подробно. Тот всегда сам говорил отрывисто, и ему постоянно было некогда, будто где-то его ждут неотложные дела и он сердится, что его задерживают. А Перекрёсов ведет себя так, словно сроду не видел колхозников и очень рад, что встретился с ними.

Сергей Варфоломеевич отошел было от бревен и опять вернулся, чтобы послушать, о чем говорит секретарь обкома.

— Это есть, это есть,— подтверждал что-то Перекрёсов.— Есть у нас еще и такое начальство, которое только делает вид, что работает, а на самом деле баклуши бьет. Это есть, товарищи... А насчет МТС мы выясним. Мы заедем к ним. И насчет этого трактора узнаем, который утонул. Но, я думаю, тут дело не в МТС и не в Битюгове. Тут дело посерьезнее...

13

В чайной было уютно и чисто. Пол, покрашенный охрой, поблескивал, как яичный желток. Стены отливали нежной голубизной: видимо, в известь, когда белили, хорошо добавили синьки. И синяя полоска, аккуратно проведенная вдоль стен, как бы подчеркивала приятную голубизну. На столах белые недорогие скатерти из простынного материала. На стойке у буфета раскрашенные чайники, чашки, блюдца.

Чтобы не сразу тут, при всех, заговорить с Клавдией, Сергей Варфоломеевич остановился на минутку у зеркала и вдруг пожалел об этом. Из зеркала глянул на него совсем не такой человек, каким всегда представлялся самому себе Сергей Варфоломеевич.

Вялое, печальное лицо было у этого человека, под глазами серые мешки, а глаза запавшие, с расширенными зрачками. И волос действительно немного остается. Не узнает его Клавдия. Она курчавым его знала, белокурым и курчавым. «Мой кучерявенький,— называла она его.— Мой кучерявенький барашка». И потом сапоги. Он их раньше носил для молодцеватости. А теперь, когда располнел, ноги выглядят в сапогах слишком тонкими, как у нарисованного детской рукой человечка.

Все это с особой резкостью бросилось в глаза Сергею Варфоломеевичу только сейчас, будто он посмотрелся в зеркало впервые за последние годы.

Недовольный собой, он отошел к столу, за которым уж сидели Перекрёсов и Григорий Назарович, а Тишков тут же стоял, опираясь обеими руками на палку.

Клавдия Бескудникова в самом деле, должно быть, не узнала своего бывшего возлюбленного или сделала вид, что не узнала. Она принесла огромную сковороду жареной рыбы, залитой яйцами, и, перед каждым поставив тарелку с едой, каждого одинаково ласково попросила:

— Кушайте, пожалуйста.

— А ты-то чего не садишься, Тихон Егорович?— спросил Перекрёсов.

— Ничего, вы кушайте, я после, дома, поем,— сказал Тишков и посмотрел на голубые ходики.— У меня сию минуту бригадирский час. Вы кушайте, я пойду. Меня бригадиры ждут.

Однако он все не уходил, поглядывал на Клавдию, будто проверял, правильно ли она угощает гостей.

— Хороша чайная,— огляделся Перекрёсов.

— Да ничего, для нашего дела пока подходящая,— без излишней скромности согласился Тишков.— Вы вот поглядели бы, в районном центре какая чайная.

— Я поглядел,— невесело улыбнулся Перекрёсов.

— Позор, просто позор и стыд,— сказал Тишков.— Я теперь если в район еду, свои харчи беру с собой. Там одна столовая и одна чайная, а покушать непьяному человеку негде. Грязь ужасная...

Сергей Варфоломеевич прожевал рыбу, утерся бумажной салфеткой и посмотрел на Тишкова.

— Вам, конечно, хорошо говорить. Какой контингент здесь и какой контингент там! Здесь же, в вашей чайной, может быть, от силы пятьдесят человек в день перебывает. А там кто с поезда сойдет или с телеги слезет, сразу направляется в чайную или столовую. Разве можно сохранить чистоту?

— Можно!— почти крикнул Тишков.— Еще как можно! Но для этого нужно любить советского человека, заботиться о нем. Надо сначала завести чистоту, а потом ее сохранять. Надо, одним словом, любить народ, уважать. А вы его не уважаете, не любите. Вы только себя любите, на своем посту...

Это была уже грубость. Никто еще так грубо не поучал Сергея Варфоломеевича.

Даже когда его критиковали на бюро райкома или на сессиях, грубостей таких никто не допускал.

Сергей Варфоломеевич искоса взглянул на Клавдию, стоявшую за буфетной стойкой. Похоже было, что она смеялась. Теперь-то уж, наверно, Клавдия узнала его. И ему бы надо было сейчас напрячь все силы своего ума, все способности, чтобы достойно ответить этому зазнавшемуся Тишкову.

Не перед Перекрёсовым, а именно перед Клавдией было стыдно Сергею Варфоломеевичу. Но он, обыскав свою память, не мог найти ни одной готовой фразы, которая сейчас бы пригодилась ему. И сказал только:

— Давно ли вы здесь, а уже учите людей! А я не первый год нахожусь...

— Вот это и прискорбно,— перебил его Тишков.— Вот это и прискорбно, что вы не первый год и давно привыкли закрывать глаза на ненормальности. К покойной жизни привыкли. Над нами, мол, не каплет. А я вот недавно прочитал, что если человек все время будет находиться в покое, у него и мускулы повянут и тело раскиснет. А если его кормить одной манной кашей, у него и зубы выпадут...

«При чем тут манная каша?— подумал Сергей Варфоломеевич.— Глупость какую-то говорит». Но возразить Тишкову не смог. Не смог найти подходящих слов.

Тишков этот, показавшийся ему в первые часы нынешней встречи просто словоохотливым пожилым мужичонком, потом словно вырастал на его глазах, словно приобретал постепенно какие-то особые права на него, словно не

Сергей Варфоломеевич председатель райисполкома, а Тишков. Или даже Тишков старше по должности. Но надо бы все-таки Сергею Варфоломеевичу что-то такое ответить ему.

Сергей Варфоломеевич собирается с мыслями. А Тишков говорит уже спокойным и даже добрым голосом:

— Ты, Клавдия Ивановна, попотчуй гостей чайком. А я пойду. Люди ждут. Вы, товарищи, потом приходите прямо в правление.

За столом, когда уходит Тишков, наступает неловкая тишина.

Если б Перекрёсов принялся сейчас упрекать или даже ругать Сергея Варфоломеевича, ему, Сергею Варфоломеевичу, стало бы, пожалуй, легче. Хоть разрядилась бы эта гнетущая тишина. Но Перекрёсов молча доедает рыбу, бережно вилкой обнажая ее скелет, потом придвигает к себе чашку с чаем и, отхлебнув, спрашивает Клавдию, давно ли она здесь живет.

— С самого почти что детства,— отвечает Клавдия, красиво щурясь и кокетливо заправляя под косынку волосы. Щеки ее заливает молодой румянец.— Ненадолго уезжала, потом опять вернулась: родные, как ни говорите, места, своя избушка...

А Сергей Варфоломеевич не может почему-то оторвать от тарелки глаза и посмотреть на Клавдию.

И почему это, в самом деле, так странно получается? Перекрёсова он сейчас почти не боится, хотя Перекрёсов может прямо и быстро повлиять на его судьбу — и, наверно, повлияет,— а вот Тишков и даже Клавдия чем-то словно пугают его, особенно Тишков. Будто с сегодняшнего дня Тишков в самом деле взял какую-то власть над ним, над Сергеем Варфоломеевичем. И Клавдия, может быть, тоже это понимает.

А ведь ничего особенного сейчас не произошло. Тишков только упрекнул его за грязь в районной чайной. Подумаешь, какое важное дело! Ни одного председателя исполкома еще не снимали за такие дела, даже выговоров не объявляли.

И все-таки Сергей Варфоломеевич чувствует себя не свободным. Чай обжигает ему губы. Он дует в чашку. Потом медленно выливает из нее на блюдце и, приподняв блюдце на растопыренной ладони, пьет мелкими глотками.

А Перекрёсов беседует с Клавдией и внимательно

слушает ее, хотя она теперь рассказывает какие-то байки про своего брата Федора.

Сергей Варфоломеевич уже не первый раз сегодня удивляется, что такой большой работник, как Перекрёсов, только и делает, что внимательно, не перебивая, выслушивает каждого. Хотя мало ли что могут наговорить!

Сергею Варфоломеевичу и в голову не придет, что умение терпеливо и с интересом слушать людей, может быть, и есть одно из самых драгоценных качеств человека, взявшегося руководить людьми. И надо уметь не только слушать, но и вызывать на разговор, располагать к себе людей.

— ...Женихи? Какие уж для меня теперь женихи?— улыбается Клавдия, отвечая на вопрос Перекрёсова.— Я в этом деле почти что разочарованная.— А сама вся сияет здоровьем, и силой, и еще не растраченной молодостью.— Это как в песне у нас поется: «Отшумел камыш, отгремел и гром...»

«Значит, она не замужем,— устанавливает Сергей Варфоломеевич, допив чай.— Очень сильно она меня когда-то любила. Значит, правда, что любила, не обманывала. Из-за меня, наверно, и не вышла замуж. Наверно, из-за меня не вышла. Но неужели ж она теперь меня не узнает или не хочет узнать? Хотя, может, она даже и не слыхала, что я тут был председателем райисполкома».

Подумав про себя внезапно в прошедшем времени — «был»,— Сергей Варфоломеевич отодвинул пустую чашку с блюдцем. Но Клавдия, должно быть, не заметила этого, не предложила ему еще чаю, как предлагала только что Перекрёсову и Григорию Назаровичу.

Она теперь рассказывала с увлечением, как Тишков следит за чистотой в чайной и вообще во всем добивается культурности. Он говорит, что, если у них дела в колхозе пойдут хорошо, они года через два отстроят и свой клуб. Надо, говорит он, приучать людей к чистоте и красоте жизни, чтобы они сами себя уважали и видели, что у них намечается впереди.

— А брат мой был просто так — пустельга,— вздыхает Клавдия.— Хотя, может, и нехорошо этак вспоминать про брата. Но он вот именно не видел, какая может получиться жизнь. Уехал, живет сейчас в Утарове, работает где-то заведующим палаткой на базаре. Из председателей-то колхоза на базар. И все из гордости: живу, мол, в Утарове. А радость-то какая? Лучше бы здесь остался под руковод-

ством Тишкова. Тишков его оставлял звеньевым, а он обиделся. Это уж я многих замечаю таких, что все стремятся в начальники, а в начальники они не годятся. Только портят жизнь людям из-за своего самолюбия.

Сергею Варфоломеевичу казалось, что Клавдия это все говорит не про брата, а про него. Но он не хотел этого слушать. Он вышел из-за стола и стал рассматривать на стене аляповатую копию с картины «Утро в лесу». До него долетали теперь слова Григория Назаровича. Агроном опять говорил Перекрёсову, что у этого колхоза большие возможности, и делал какие-то подсчеты.

— Я убежден,— говорил агроном,— что тут в ближайшие годы будет все, что требуется крупному культурному хозяйству. Все будет!..

«Будет все, не будет только меня. Выживут они меня. Уже выживают!» — с каким-то печальным ожесточением подумал Сергей Варфоломеевич. И, увидев, что Перекрёсов и Григорий Назарович прощаются с Клавдией, снял с вешалки свой плащ и пошел за фуражкой, оставленной на подзеркальнике около буфета.

— Сколько с меня?— спросил он Клавдию, надевая фуражку.

— Они уже заплатили,— сказала Клавдия и улыбнулась.

И по улыбке ее можно было угадать, что она не только узнала, но и, пожалуй, жалеет его за что-то. Или это ему показалось оттого, что улыбка ее была по-прежнему озорная и в то же время чуть грустная.

Сергею Варфоломеевичу сильнее, чем час назад, захотелось постоять около нее, поговорить, хотя он еще не знал о чем. Но сейчас это было едва ли удобно, потому что Перекрёсов и Григорий Назарович, оглянувшись на него, уже вышли из чайной, уверенные, что и он пойдет за ними. И он должен пойти. А то мало ли что они подумают про него, если он задержится тут, у стойки.

Он только сказал в легком замешательстве:

— Тебя и не узнаешь, Клава. Ты поправилась очень. Давно не виделись...

— Да и вас-то узнать нельзя,— опять улыбнулась она, уже не грустно, а с откровенным озорством и лукавством, что всегда ей шло.

— Я зайду еще к тебе,— пообещал он и вышел.

И напрасно вышел.

Вот так, пожалуй, всю жизнь он глушил в себе, может

быть, даже самые лучшие душевные порывы только потому, что это могло не понравиться кому-то, кто мог посчитать это несвоевременным, лишним или, еще хуже, дерзким.

Эта способность применяться к обстановке, действовать с расчетом на чье-то мнение, приспосабливаться к чьему-то мнению принесла ему некоторый успех. Его считали выдержанным, степенным и продвигали все дальше по служебной лестнице.

И он сознательно вырабатывал в себе умение вовремя молчать, не торопиться высказывать свое мнение, не противоречить тем, кто старше его, не проявлять страстей.

Он слушался во всем Капорова, когда Капоров был секретарем райкома, согласовывал с ним каждый свой шаг и терпеливо ждал дальнейших указаний, чтобы немедленно их выполнить.

Если б Капоров сказал, что в районной чайной надо навести порядок, Сергей Варфоломеевич навел бы. Он картинку бы сделал из этой чайной! Но ведь не было такого разговора. И кампании такой не было — по борьбе за чистоту в чайной.

В районе были другие кампании, которые хорошо выполнялись. И район считался не последним в области.

Виктор Иванович всегда хвалил район, ставил в пример. Но вдруг приехал вот Перекрёсов, и все, наверно, показалось ему плохим. И на чайную в районном центре он обратил внимание. И мост увидел разрушенный. И дорога в Желтые ручьи его, может быть, обозлила. И то, что Федора Бескудникова вовремя не сняли в Желтых ручьях, ему, может быть, тоже не понравилось. Конечно, не понравилось.

Перекрёсову понравились Тишков, и Григорий Назарович, и еще какие-то мужики на площади около правления.

А на Сергея Варфоломеевича Перекрёсов, наверно, смотрит как на пустое место, как будто его здесь нет и не было, как будто он не работал, не старался, не вкладывал энергию. Но, может быть, Сергей Варфоломеевич не туда ее вкладывал? Так это именно так вот и надо сказать. Он все-таки не сам себя выдумал. Он, может быть, еще сам себя не полностью понял, что он есть за человек и для чего он действует. Когда Сергей Варфоломеевич распекал работников, казавшихся ему нерадивыми, тем, кого он распе-

кал, постоянно думалось, что сам он человек грозный, смелый. Он ведь распекал, помнится, и Тишкова. Но Тишков-то, видно, сразу угадал, что он совсем не смелый. Он робкий человек, Сергей Варфоломеевич.

И сейчас, когда никто не видит его, он идет по улице в полной растерянности, отягченный наплывом мыслей, в которых не сразу и разберешься.

Что же делать Сергею Варфоломеевичу?

Вечер еще не наступил, но на улице смеркалось и дул легкий, свежий ветерок.

В каком-то длинном сарае уже зажгли свисающую с потолка большую керосиновую лампу-«молнию», какие и в городе горели в старину.

Сергей Варфоломеевич заглянул в этот сарай и сразу увидел в глубине его Перекрёсова и Григория Назаровича. Они смотрели, как готовят к севу семена.

Никто из работавших в этом сарае не обратил внимания на Сергея Варфоломеевича. Все, наверно, так были заняты, что некогда было даже взглянуть на него. Но он и это, конечно, случайное невнимание к нему расценил по-особому. И не обиделся, а как-то душевно присмирел.

Перекрёсов взял горсть мякины и стал внимательно и молча рассматривать ее под лампой. Он зачем-то дул на ладонь, и часть мякины сдувалась. А на ладони оставались зерна, показавшиеся Сергею Варфоломеевичу незнакомыми и необыкновенно крупными в свете лампы. И без всякой связи Сергей Варфоломеевич, точно желая огорчить кого-то, вдруг почти сердито подумал: «Ну что ж, пусть! В крайнем случае поеду в колхоз. Неужели не примут?»

За сараем, где-то вдалеке, во все сгущавшихся сумерках, девушки чистыми, тонкими и чуть печальными голосами пели тягучую и красивую русскую песню, сложенную, может быть, еще во времена Ермака. И эта знакомая с детства песня и особенно ее почти забытый Сергеем Варфоломеевичем мотив будто напоминали ему о чем-то, что давно известно всем и ему было когда-то известно, но что он забыл.

И вот сейчас стоит он в этом сарае, не зная, за что приняться, что сказать этим людям, занятым важным делом — готовящим семена для посева.

А может, ничего и не надо им говорить. И не к чему расстраиваться. Ничего ведь страшного не произошло. И, наверно, не произойдет. Просто не выспался Сергей

Варфоломеевич, устал от непривычно долгой ходьбы. И поэтому лезут ему в голову печальные мысли.

Будто отбиваясь от этих мыслей, Сергей Варфоломеевич встряхивает головой. И тоже берет, подражая Перекрёсову, горсть мякины и тоже рассматривает ее под лампой. Пусть все видят, что он тоже не посторонний здесь и не собирается умирать раньше смерти.

СЕРГЕЙ ВИКУЛОВ

Дорогой ценой

Две баржи с удобрениями, причалившие ночью у деревни Борки, были для председателя колхоза «Восход» Алексея Трофимовича Звонцова как снег на голову. Поначалу он даже растерялся: шутка ли! Восемьдесят тонн фосфоритной муки да суперфосфата! Удобрения, сказать правду, не из дефицитных, и колхоз в общем-то столько их и не просил, но... выбирать не приходится: на безрыбье, как говорится, и рак — рыба, надо выгружать.

Но как?

Позвонил соседям. Директор совхоза ответил, что он причитающиеся ему сорок тонн «выбросит» вручную, председатель колхоза «Заречье» вообще не собирался выгружать, артачился: «Не мое это дело. «Сельхозтехники». Выгрузит на берег — как-нибудь увезу».

— Ну, гляди...— ответил ему Звонцов.— Не просчитайся! Останешься последним — будешь платить за простой баржи.

В кабинете председателя, как всегда, людно. Тут и Климов — секретарь парткома колхоза, и рядышком бригадиры Журавлев и Петин, и агроном Морозова... Все прислушиваются к телефонному разговору, и каждый думает о своем. Бригадир Егор Нестерович Журавлев хмурит сильно отросшие брови, закидывает то левую ногу на правую, то правую на левую — догадывается, к чему клонится дело: опять продуманный накануне план работы полетит к черту! Он даже злится, глядя, как, отбрасывая назад голову с прижатой к посеребренному виску черной трубкой, Звонцов хохочет, приговаривая:

— Заплатишь! Я тебе точно говорю! Что? Карман с дырой? Найдешь... Ха-ха-ха!

«Вот черт!— думает Журавлев, любуясь ровными белыми зубами председателя.— Ему ровно и дела нет, что приостановится скирдование соломы, а гли-ко — погода какая стоит...

В полдень припекает — что тебе летом! Скирдовать бы да скирдовать. Ужо, чем коров-то кормить станем? Силоса нет — всего по три тонны на корову... Сгорели ноне силосные, сгорели. Земля-то вон и теперь все еще как каменная. Трактористы по пять-шесть лемехов за смену выбрасывают — начисто стираются! Из-за этого и зяби еще много не поднято. Да и рожь не вся посеяна: шестьдесят четыре гектара ждут своей очереди. И это только в первой бригаде!»

Председатель, все еще улыбаясь, положил трубку на рычаг и, как всегда, громко спросил:

— Ну, что голову повесил, кавалерист?

Кавалеристом председатель называл его не случайно: Журавлев всю войну отстукал в кавалерии, три раза был ранен и сейчас без коня — ни шагу. Стороной Егор Нестерович слышал, что его еще и иначе называют: «Егорий Победоносец». Слышал, но виду не показывал, что знает. И хотя ему нелегко уже взбираться в седло — пятьдесят четыре стукнуло!— а на другой вид транспорта пересаживаться он не собирался... Правда, попытка такая была.

Купил как-то председатель мотоцикл — ижевский, двухцилиндровый: «Давай, Егор Нестерович, осваивай. В космический век бригадой руководишь — и надо скорость передвижения привести в соответствие с веком».

Хотя и мудрено иной раз говорит Звонцов, а, коли до сути докопаться, всегда в точку! В самом деле: в бригаде около двух десятков деревень... Тысяча сто гектаров пашни в обработке... Раньше, если припомнить, три колхоза, а еще раньше — семь колхозов на этой земле размещались! Попробуй, обскачи быстро, когда потребуется, такую бригаду! Даже на лошади.

И Егор Нестерович решил попробовать. Выбрал маршрут подальше от глаз, тронулся. Сильно не газовал и ехал более-менее благополучно: все-таки когда-то и на тракторе и на комбайне работал. Не заметил, как и до ручья докатился. А к ручью-то склон... Надо бы на тормоз нажать, а он на газ даванул... Впрочем, об этом он догадался уже потом, когда выжимал штаны на противоположном берегу и, все еще вздрагивая, поглядывал на безжизненно растянувшийся на траве мотоцикл.

На этом закончилась его возвышенная мечта «привести в соответствие с веком скорость передвижения». Притащил он, как быка за рога, мотоцикл к конторе и сказал

председателю: «Не буду... На лошади быстрее». Звонцов, как всегда, заливисто расхохотался и передал машину секретарю парткома Климову: ему тоже скорость необходима.

А Егор Журавлев так и остался «кавалеристом», «Егорием Победоносцем». Был ли похож он на Егория Победоносца — неизвестно, поскольку никто Егория в натуре не видел, но на донского казака смахивал крепко — все видали картину «Тихий Дон». Сходство это подчеркивала не столько его, так сказать, профессиональная кавалерийская посадка в седле — чуть-чуть бочком, подчеркнуто небрежно — сколько черная фуражка с туго натянутым верхом, черным околышем и черным блестящим козырьком, купленная в магазине у речников. Да и обликом Журавлев здорово смахивал на казака: сильно выдающийся с горбинкой нос, большие навыкате глаза, а в общем, было в его физиономии что-то ястребиное — посмотришь и скажешь: «Лихим, видать, рубакой был мужик!»

— Придумал че?— вопросом на вопрос отвечает он председателю.— А то, что не ко времю баржа эта прикатила...

— Ничего, Егор Нестерович!— явно не принимая всерьез того, что говорит бригадир, восклицает Звонцов.— Слушай, что скажу. Завтра с утра — все машины и трактора с тележками к реке!

— Трофимыч! А може, вручную все-таки? Совхоз же...

— То — совхоз!— резко перебил бригадира Звонцов.— Совхоз может и вручную: деньги, как говорится, глаз не имеют... А мы не можем. Понял?..— и отвернулся.— А ну, кто там? Кликните сюда механика!

Лужков явился незамедлительно: его «кабинет», завешанный схемами устройства машин, заваленный нужными и ненужными деталями, находился здесь же, в левой половине дома.

— Готовь, Герман Арсеньевич, навесной погрузчик. Утром — к реке: будем выгружать удобрения.

Секретарь парткома обеспокоенно:

— А ведь мы с тобой хотели провести завтра совещание животноводов... Если тебя не будет — нет смысла. Да и доярки без тебя не захотят.

— Отложи, Андрюша. Выгрузим удобрения — тогда... И обязательно сабантуй небольшой дояркам устроим.

Пусть попляшут... Заслужили. Только вот где? Клуб, клуб нужен!

— Может быть, в совхозе? Далеко ли — пятнадцать минут на машинах.

— Добро!— и повернулся, чтобы идти. Но дорогу загородил бригадир второй.

— Трофимыч! Как же мне-то? Столько еще льну не околочено... Может, оставить один трактор? Такая погода! Да и студенты пока не уехали...

— Нет, Петин, нет! Надо вырвать удобрения... Так что — распорядись! А я сейчас к речке подскочу: погляжу, где удобней баржи поставить.— И, сильно нагнувшись, нырнул в широко распахнутую дверь.

Имя председателя колхоза «Восход» Звонцова было широко известно не только в районе, но и в области. Он был чуть ли не последним из тридцатитысячников, прибывших сюда из Москвы и Ленинграда в 1955 году. Колхоз, возглавляемый им, действительно набирал высоту, увеличивал производство продукции. О нем писали в газетах, говорили по радио, а издательство выпустило даже брошюру, автор которой отдал должное — и справедливо — личным заслугам Звонцова в подъеме «Восхода», дважды укрупнявшегося за счет слабых, доведенных до развала хозяйств.

Бывший старший мастер одного из подмосковных заводов, Звонцов раньше других и острее других понял, что в таких колхозах, как «Восход», где безлюдье действительно-таки удручающее, надо начинать с механизации всех, и в первую очередь наиболее трудоемких работ. Впрочем, понимание неотложности широкой механизации производства было, конечно, и у других председателей, но не каждый так знал и так любил технику, как Звонцов,— и в этом было его преимущество. Именно знание техники, творческое отношение к ее применению и сыграли решающую роль в первых успехах колхоза.

Начал Звонцов с механизации подачи воды на фермы. Не ахти какое мудрое дело — автопоилки, а все равно в помощники взять было некого. Засучив рукава, сам принялся нарезать трубы, обучая одновременно этому делу колхозного кузнеца.

Доильные установки на фермах, а затем, один за другим, два зернотока монтировать было уже легче: к этому

времени сформировалась хотя и немногочисленная, но своя монтажная бригада во главе с коммунистом Варзиным. Люди, пришедшие в эту бригаду, волей-неволей становились специалистами, так сказать, широкого профиля. Жизнь выдвигала перед ними все новые и новые задачи. Покончив с зерносушилками, они принимались за проводку электросети и монтаж электрооборудования, а после — за сооружение скирдователя соломы, сконструированного самим председателем, специальной волокуши, с помощью которой стог сена или скирда соломы стали переезжать с поля к ферме целиком, в неразобранном виде. Была придумана волокуша и для растаскивания навозных куч на поле, представляющая собой конструкцию из рельса и старой тракторной гусеницы.

Простейшие сооружения! А сколько человеческих рук заменили они! Например, скирдователь соломы. На прицепе у трактора «ДТ» косилка Е-0,62, выполняющая здесь роль подборщика соломы (режущий аппарат снят), и скирдообразователь — широкие бревенчатые сани с высокими тесовыми стенами и дном из металлических продольных прутьев. По транспортеру подборщика солома из валков попадает в камеру скирдообразователя. Там двое-трое мужчин с вилами: они солому разравнивают и трамбуют. Готовую скирду трактор оттаскивает на край поля, к дороге. Люди открывают заднюю стенку скирдообразователя, трактор трогается, скирда остается на месте.

Творческая мысль Звонцова не знает покоя. Ему буквально становится не по себе, когда он вдруг увидит, что какую-то работу люди делают, как в старину, вилами, лопатами, ведрами. Он механизировал даже разгрузку навоза и минеральных удобрений из бортовых машин, сконструировав для этой цели легкую бульдозерную навеску на трактор «Беларусь». И теперь шофер, доставив груз в назначенное место, открывает борта, а трактор с навеской одним толчком освобождает кузов.

С самых первых дней колхозники видели своего председателя чаще не в костюмчике и при галстуке сидящим в конторе, а в неизменном брезентовом плаще, с гаечным ключом в замасленных руках, на ферме, у трактора, в мастерской... По району, а потом и по области о нем прошла слава как о руководителе, который действительно широко внедряет механизацию на всех участках производства. В душе Звонцов гордился этой славой и не то

чтобы зазнавался, а нет-нет да, бывало, и скажет мужикам по поводу какого-нибудь дела: «Черта с два у вас что-либо вышло бы без меня!» Верно, в первые годы так оно и было. Но теперь-то... Теперь в колхозе имеются опытные мастера, которые многое могут сделать самостоятельно. Однако, нетерпеливый и горячий по натуре, Звонцов и теперь во все, что касалось машин, вмешивался лично, вникал во всякие мелочи, и механизаторы, если случалась какая-нибудь поломка, шли прямо к нему, и он тут же принимал решение, подчас неверное, поскольку не все знал, что положено знать механику, непосредственно отвечающему за сбережение и ремонт техники.

Во всем этом сказывалась, конечно, привычка — председательствовать-то он начал в ту пору, когда никаких механизаторов в колхозе не числилось, машины находились в руках МТС, и ему волей-неволей все вопросы, связанные с механизацией, приходилось решать самому. Да и не было в этом греха — колхоз был небольшой, и он без особого труда везде успевал сам.

Впрочем, сказывалась не только привычка — сказывалось укоренившееся с тех пор чувство превосходства, и не только в делах, касающихся машин...

Наступала зима — он сам брался за распределение кормов, составление рационов, не замечая, что подменяет тем самым зоотехника, снимает с него ответственность, ставя его в позицию стороннего наблюдателя. В таком же положении в общем-то находилась и агроном Морозова, хотя эта характером была крута, на язык остра и за свои права все-таки боролась.

Бригадиры — а бригад в колхозе три — признавали и побаивались только его, Звонцова. Указания механика, агронома, зоотехника, не подтвержденные «самим», для них ничего не значили или, во всяком случае, не подлежали безусловному и немедленному исполнению. А так как «сам» везде и всюду не успевал — да он и не мог успеть в таком огромном хозяйстве, каким был «Восход»,— неудачи, случавшиеся то в одном, то в другом месте, жестоко били по председательскому самолюбию.

Так было, например, с внедрением беспривязного содержания скота. Обычно расчетливый и предусмотрительный, на этот раз, поддавшись уговорам («Кому-кому, а тебе не к лицу быть консерватором!»), Звонцов очертя голову начал строительство огромного типового скотного

двора для беспривязного содержания коров с доильной установкой «Елочка».

Пока двор строили, выяснилось, что заготовить и особенно высушить торф для глубокой подстилки практически невозможно, а без подстилки вся эта затея пустой звук, и о ней в общем-то никто уже теперь и не вспоминал. Кроме того, для такого типа кормления скота нужно было иметь достаточное количество кормов, а их не было... И пришлось двор перестраивать. Колхоз потерпел убыток. И не малый. А ведь раздавались трезвые голоса: «Потонут коровы в грязи. Да и корму не хватит».

Не прислушался. И отступил... А отступать Звонцов ох как не любил!..

У пристани Борки в Сухону впадает небольшая речушка Ветла. В устье этой речушки колхоз «Восход» держит небольшой катерок и железное суденышко, прозванное «галошей», поскольку оно действительно похоже на галошу.

Берег Ветлы, затопляемый в половодье, летом обычно сухой и высокий. «Восход», а также примыкающие к нему два колхоза и совхоз каждую осень здесь грузят на баржи скот, продаваемый государству. Здесь же они и выгружают все, что привозят из города: машины, кирпич, концентраты... Мучаются, конечно. Никакого причала нет, а баржи к берегу близко не подходят. Надо бы причал построить, да кто будет строить? Свои плотники перевелись, а коли «волки» владимирские забредут — других неотложных работ хватит. И хотя «волки» рвут втридорога, а все-таки в прошлую зиму какой-никакой клубишко собрали, да еще и овчарник поставили. Вот райпрокомбинат рамы сделает, и можно будет в клуб вселяться...

Глянув на баржи, Звонцов понял, что и их для разгрузки придется ввести в Ветлу. На «галошу», соорудив на ней настил, можно загнать «Беларусь» с навесным погрузчиком, и, если «галоша» встанет между баржей и берегом, работать будет можно.

...Утром следующего дня к устью Ветлы двинулись автомашины, покатились трактора с прицепными тележками. Туда же с лопатами, топорами поехали все мужики. Деревни опустели. Только у церкви с разваленной колокольней и двумя из пяти куполов, под которыми размеща-

лась мастерская («Восход» купил ее вместе со всеми станками у МТС), возле трактора «Беларусь» с навешенным погрузчиком все еще толклись тракторист Саша Яблоков, механик Лужков, секретарь парткома Климов, сам Звонцов и его шофер. Яблоков уже трижды заводил мотор, двигал по очереди всеми шестью рычагами управления погрузчиком, но никаких признаков жизни последний не обнаруживал. Определить причину было не так-то просто: погрузчик чуть ли не два года стоял вот тут, под открытым небом, и был, как привыкли говорить сами механизаторы, основательно «раскулачен». Самый главный механизм его — распределитель — и тот был снят. Теперь его нашли и вернули на место, но... в нем-то как раз и была, видимо, «зарыта собака».

«А впрочем, кто его знает!» — ломая голову в догадках, думал Звонцов. Еще не веря в то, что погрузчик закапризничал всерьез, он поначалу только наблюдал за усилиями механика, давая кое-какие советы, но потом, выругавшись, сбросил плащ и принялся орудовать гаечным ключом.

Стрелки часов двигались неимоверно быстро. Двенадцать... Час! Два!!

От баржи прибыли двое нарочных:

— Трофимыч, дак что делать? Будет погрузчик али нет?

— Будет. Кровь из носу, а будет!— вытирая лоб тыльной стороной ладони, с ноткой отчаяния ответил Звонцов.— Делайте пока настил для трактора.

Потом, постояв с минуту в раздумье, схватил пригоршню опилок — рядом была установлена пилорама,— вытер масленые руки, стремительно двинулся в контору. Решил позвонить в отделение «Сельхозтехники»: не найдется ли там распределителя? Но не тут-то было! Чуркин не отвечал. «Девушки, милые!— просил он телефонисток.— Подскажите, где он может быть? На складе? А ну, давайте склад. И склад не отвечает? О, черт бы их побрал!— Бросил трубку.— Все равно найду! Из-под земли достану!»

Выбежал на крыльцо.

— Женя!— крикнул шофера.— Поехали!

— Куда?

— В «Сельхозтехнику».

— Да ведь суббота сегодня, Алексей Трофимыч!

— Ну и что?

— Как — что? За грибами все ушли наверняка: короткий день!

— Какой еще там «короткий» день... Уборка в разгаре. Поехали!

Вернулись они уже ночью. Чуркин и в самом деле ездил за грибами. Завскладом — тоже. Пришлось ждать. Распределителя свободного не оказалось: откуда-то сняли...

Утром, в воскресенье, опять все собрались у погрузчика. Быстренько сняли свой распределитель, поставили привезенный. Звонцов в приподнятом настроении рассказывал Климову, кивая на распределитель:

— Не хотели, черти, снимать. Чуркина, как девушку, целый час уговаривал.— Председатель верил, что теперь погрузчик наверняка наладится. И, как вчера, сегодня снова отдал распоряжение держать наготове и людей и машины.

Саша завел трактор, шевельнул рычаг, второй... пятый... Стрела чуть-чуть расправилась и замерла. Тронул еще рычаг — на столько же ровно сжалась.

Звонцов, еще не веря своим глазам, подскочил к рычагам, судорожно начал их дергать сам. Но результат был тот же...

— Живой, а не шевелится,— сказал кто-то. Народу вокруг собралось много: сегодня к реке отправляться никто не спешил. И, пожалуй, благоразумно. Саше Яблокову и механику Лужкову пришлось начать все сначала.

Только к вечеру они установили, что в корпусе привезенного распределителя не хватает пустяка — маленького поршенька. Нужно было попытаться выточить его. Но, во-первых, нет образца, а во-вторых, уже и стемнело. Решили оставить до завтра.

У крылечка конторы, прибитые спинками к штакетнику палисада, стоят две скамейки. На вид им не год, конечно, и не два, но и не больше, чем самому дому — двухэтажному, опушенному тесом, принадлежавшему справному мужику, высланному куда-то в тридцатом году. В колхозе, пожалуй, не найдется теперь человека, который не сиживал бы хоть раз на одной из этих скамеек — то ли в ожидании председателя, то ли в перерыве заседания правления, то ли перед началом партсобрания — партком занимал верхний этаж.

Чаще занятыми скамейки бывают, конечно, по утрам.

Утро — дню начало. А каков будет день — ведренным али дождливым — только утром можно увидеть и, в зависимости от этого, решить или перерешить, кому и чем следует заняться. И у мужиков, особенно первой бригады, стало привычкой с утра, прежде чем начать дело, привернуть к конторе и выкурить на скамейке одну-две самокрутки.

Каких только разговоров, откровений, жарких споров не слышали эти скамейки! Вот и сегодня ни на которой из них нет даже краешка незанятого, где там! Многие даже стоят, подперев плечом палисадник, на котором сейчас развешаны авоськи с завернутой в газетки снедью, хозяйственные сумки и даже один ученический портфель, перевязанный веревочкой. Курят большинство махорку. А коли кто-то достает сигареты — к пачке протягивается сразу до десятка рук. После махорки они как трава, баловство одно... Но раз угощают, почему не взять.

Разговор все о том же: о неисправном погрузчике, о пропавших ни за грош-копейку двух днях. Тракторист Саша Яблоков, оправдываясь перед мужиками, хотя и не винят его, говорит:

— Работал погрузчик... Хорошо работал! Вы и сами помните. Бывало, скажут: бурт силосный закрыть... Так я за полчаса его навешивал, и ехал, и закрывал бурт. А теперь...

Яблокова перебивает шофер Мотков, отрубая каждое слово взмахом руки, кричит:

— Погрузчик работал бы и теперь, и никто бы его не раскулачил, если бы он был прибран!

— А куда?

— На кудыкину гору... Гараж вон стоит — почему удобрениями загадили? А сколько овинов было?! Больше, чем домов! Где они?

— Полно! Овины...— горячо возражает шоферу единственная сейчас среди мужчин Вера Степина — заведующая складом горючего и запчастей.— Да от вас, чтобы уберечь, не овины нужны, а замки пудовые, да еще и решетки железные! Вон Вася Сударкин да еще Алеша Нелаев мимо не пройдут, чтобы не стащить с машины чего-нибудь.

Дружно захохотали: «ловкость рук» этих шоферов была всем известна.

— Да, что верно — то верно. Уж коли Сударкин возле машины стоял, гляди: что-нибудь да взял. Взаимообразно, конечно... Без отдачи!

Сударкин — чудаковатый мужик, настроенный равнодушно, отшучивается:

— Вот дьяволы, вот дьяволы... Навалились-то как на меня! А при чем тут я? Были бы запасные части на складе, разве бы взял?..

— Видите? Сударкин смеется!— опять решительно вмешался шофер Мотков.— А вот бы взять да взыскать с него — тогда бы не до смеху было! Я попадусь — взыскивайте и с меня! На полную катушку! Честное слово, не обижусь. Но и брать больше не стану. А то как бывает? Сломалось что-нибудь на машине, говорят: ищи! А где найдешь? Берешь с другой машины. Так ведь тебя не только не спросят, где взял, не только не выругают, а, наоборот, по плечу похлопают: «Вот молодец! Нашел!» — И, оглянувшись, добавил:— А с погрузчиком как было?..

Председатель в это время вышел из мастерской вместе с бригадиром монтажников Варзиным. В другой раз он обязательно подошел бы, услышав шумный разговор в «курилке», но сейчас ему было не до «трепотни», как он иногда выражался. Едва включили токарный станок, чтобы попробовать выточить недостающий в распределителе поршенек, в сети произошло замыкание. Колхоз месяц как подключился к государственной линии, и, видимо, не все еще устоялось, притерлось.

Глянув, как Звонцов с Варзиным мечутся в поисках повреждения, Вася Сударкин сказал:

— Интересно, сколько за простой баржи придется платить? Не мало, поди-ка...

Об этом теперь думали все. И хотя шофер Мотков с деланным безразличием заявил, что его лично это нисколько не беспокоит, так как в общем-то ничего не изменится: в одном кармане убавится, в другом прибавится, а ему, что положено, все равно отдадут, было заметно, что никто всерьез слов его не принял...

— А совхоз уже выгрузил свою долю. Вручную,— сказал многозначительно Журавлев.

Председателя позвали к телефону. Угрюмый, больше обычного ссутулившийся, он крупно прогромыхал огромными сапожищами между двумя скамейками и, ни на кого не глянув, вошел в контору. Кассирша вскочила с места, предлагая ему стул,— не сел. Взял трубку, опустился на корточки, спиной к стене.

— Слушаю...— сказал устало.

От дверей, обрадовавшись, что дождалась-таки, прошла и села на стул, освобожденный для председателя, бабка Елена Заботина. Все женщины, а их за столами сидело трое: счетовод, кассир, экономист (бухгалтерша была в отпуске), улыбнулись, так как знали характер бабки Елены. Уж если она что задумает — не отступится, не сробеет ни перед кем. Елена Алексеевна всю жизнь работала, работала на совесть и цену себе знала! Все председатели боялись в свое время Елены Заботиной и отдавали должное острому, как нож, ее правдивому языку.

Сейчас Заботиной шел семьдесят второй год. И хотя она еще понемногу работала, теребила да расстилала лен и в хлебе насущном нужды не испытывала, а о будущем все-таки тревожилась: мол, вдруг да совсем занеможется! Ведь годы-то быстро идут...

Она своими ушами слышала постановление о пенсиях и с тех пор спать ложилась и вставала с одной мыслью: а какую дадут пенсию ей?

— Вишь ты, по заработку за последние пятнадцать годов назначать будут,— делилась она своей тревогой с другими старушками.— А как их теперь, эти заработки узнаешь? Сколько раз колхоз укрупнялся — бумаг-то прежних и днем с огнем топереча не сыщешь... Да и найдешь, так что толку? Велики ли заработки были? Не то что топереча.

И все же справкой о прежней своей работе Елена Заботина решила обзавестись. Пришла она недавно к старику Агапитову — бывшему счетоводу еще того, маленького колхоза и, как тот ни оборонялся, заставила-таки его взять перо в руки. Поскольку и раньше счетовод со смыслом писал только цифры, одни цифры, пришлось верховодить самой. Она говорила, а Агапитов записывал. Вышло следующее:

«Справка для пенсии Заботиной Елене Олексеевне в том, что с первых начала дней работала дояркой 14 годов, 3 года конюхом, 4 года телятницей, год овчаркой, по четыре зимы возила навоз, а летом в полеводстве, а остальное тоже в полеводстве и теперь не покидая рук работаю в колхозе. Работала звеньевой.

Агапитов счетовод».

На другой день Елена Заботина уговорила подписаться еще свою сверстницу, бывшую доярку Рачкову — на всякий случай — ведь одной подписи, может, и мало будет...

Теперь справка бабке Елене нравилась. Главное подписи были надежные: и Агапитов, и Рачкова хорошо знали и помнили всю ее жизнь. Но кто-то ей сказал, что справка эта, пока на ней нет круглой печати, полной силы не имеет. Вот Елена Алексеевна и пришла в контору попросить председателя поставить на справку круглую печать.

— Да, да!— кричал в трубку Звонцов.— Делаем... Не получится — на прямую придется соединить. Черт с ним! Операции раздельно будет производить — и только. Что? Если успеем, сегодня начнем...

Бабка совсем не понимает, о чем говорит председатель, да и не пытается понять. Она про свое толкует:

— Первой дояркой по району была... В газетах заметки печатали. На совещаниях рядом с секлетарем не три ли раза сидела, вниз по реке, почитай, во все колхозы ездила, других учила... Теперь-то нешто на дворе работать — все подвезут. А тогда? И корм, и воду, и навоз — все вот этими.— Бабка показала скрюченные, узловатые пальцы.— Ой, поворочали да потаскали!.. И ноне пятьдесят четыре сотки льну выдергала, да шестьдесят разостлала, да околачивать помогала. А ведь у меня вторая группа... Вот гляньте-ко, милые.— Она отворачивает полу старомодного, неопределенного цвета пальто и показывает на выпирающий живот:— Грыжа. Семнадцать годов картошки не едала. И охота — вот как охота, а как только хоть одну картошину съем — так и капут... Трофимыч! Ты постой, постой.— Взяла за полу пиджака поднявшегося было председателя.— Ведь я тебя жду-то. Убежишь — скоро ли опять тебя увидишь... Вот, почитай-ко, милой.— Подала справку. И все глядела из-под нависших век на председателя, пока тот не кончил читать.

— Поставь, милой, печатку. Четыре версты старуха топала... Поставь!

Звонцов улыбнулся, как улыбаются наивности ребенка, сказал:

— Бабушка! Да не нужна пока эта справка. До первого января пенсии все равно не получите. Подождите немножко: будет создана комиссия, она и решит.

— Комиссия — это потом... А ты сейчас, батюшка, поставь...— И со слезами в голосе:— Вон приехали из Ленинграда Анна да Овдокия. Как барони, за ягодками да за рыжиками похаживают. Пойдемте, кричу им, лен стлать! А они только ручкой махнут. «Полно тебе, Елена, полно убиваться-то!— скажут.— Все одно пенсия одина-

кая будет, что нам, что тебе». Нет, милые! Вы в Ленинграде по пять годов прогуляли, а я все в колхозе работала. Это разве одинаково? У меня на войне два сына убитые, мне не к кому в Ленинград ехать... Давай, Трофимыч, поставь печать-то...

— Бабушка, я еще раз говорю вам: не нужна эта справка! Да и печать не для того, чтобы шлепать ее на всякую филькину грамоту.

— Эт-то как же, батюшка, «филькину грамоту»?! — выпрямилась Заботина.— Да ведь тут вся моя жизнь написана, ни единого слова неправильного нету! Да коли надо, вся деревня под справкой подпишется!

— Ну, хорошо, хорошо...— поняв, что выразился неосторожно, сдался Звонцов.— Девушки, перепишите справку. Пусть бабушка успокоится.

— И печать поставишь?

— Поставлю...

— Ну и ладно, батюшко. А далеко ли ты побежал-то?

— Не обману, бабушка, не беспокойся.

Около полудня погрузчик, наконец, ожил. Правда, подъем и поворот стрелы он производил раздельно, но и тем уже все были довольны. Саша Яблоков сделал пробу, подняв пять-шесть ковшей опилок в бортовую машину. Получалось неплохо, хотя не было необходимой плавности: рывок кверху, рывок в сторону. Звонцов от радости — сам не свой. По его распоряжению снова все машины, все тракторы с тележками покатились к реке.

Пошел туда, наконец, и погрузчик.

Пять километров — не велико расстояние. Тем более что дождей давно не выпадало — нет худа без добра! — и дорога была вполне проезжей, хотя и ухабистой. Через час на берегу Ветлы было шумно и людно. Звонцов, балансируя по бревнышку, перекинутому с берега на борт катера, пробрался в рубку, завел мотор и бортом причалил к «галоше». Ловко маневрируя, развернул ее поперек реки, кормой к берегу, потом выскочил из рубки и бросил чалку. Перекинув с кормы на берег два бревенчатых трапа, принялся стучать топором, вбивая огромные гвозди в доски настила. «Беларусь» с погрузчиком должен был въехать на настил задом. Звонцов, держа ладонь ребром перед носом, командовал Саше: «Прямо... Стоп! Чуть влево!

Хорошо... Стоп! Так...» Он волновался: малейший просчет — и трактор полетит за борт.

Однако все обошлось благополучно: трактор стал точно по центру, а плиты опор погрузчика легли как раз на борта.

Теперь «галошу» надо было поставить вдоль берега, а к ней вплотную подогнать баржу с удобрением. Звонцов снова в рубке катера. Закончив и это дело, он спрыгивает на берег и подходит к мужикам. Те, от нечего делать, покуривают, лежа животами на земле.

— Дайте закурить, хлопцы! Нет, сигарету не хочу. Махры дайте!

Став на колени, он заворачивает огромную цигарку, а глазами все на баржу стреляет. Сейчас Саша Яблоков будет пробовать. Послюнявив цигарку, Звонцов резко приказывает шоферу Моткову:

— Подъезжай!

Машина медленно начинает опускаться кузовом к реке. Битый кирпич, заранее набросанный в колеи, мягко исчезает в жидком грунте под тяжестью колес. А машина опускается все ниже и ниже, до самой воды: иначе погрузчик не достанет до кузова. Становится очевидным, что самостоятельно ей, да еще с грузом, обратно не выехать. И Звонцов приказывает стать напротив машины гусеничному трактору с тросом.

Теперь все. Теперь можно начинать. Ковш широко раздвинул зубастые челюсти и опустился в трюм баржи, медленно откусил верхушку вороха и пошел на подъем... И — о ужас! Удобрение, как вода, потекло из ковша. Над баржей, все увеличиваясь, поднялось огромное облако, скрывшее и трактор с погрузчиком, и людей, стоявших на барже и рядом. Тракторист Яблоков, прикрывая нос рукавом фуфайки, какую-то секунду растерянно глядел на эту картину, потом торопливо передвинул рычаги, и ковш, продолжая терять груз, поплыл над «галошей» к кузову машины. Дойдя до него, резко дернулся, словно стукнулся о невидимую стену, и разжал челюсти. Тотчас вся машина окуталась белесым облаком: удобрение сыпалось через щели кузова. Шофер Мотков, выкрикивая: «Задушит... дьявольщина!» — пулей выскочил из кабины. На воде возле «галоши» образовалась плотная пепельно-серая пленка. В кузов попала едва ли половина зачерпнутого груза.

Звонцов, не докурив цигарку, рванулся прямо в беле-

сое облако. «Неужели все напрасно?» — мелькнула мысль.

— А ну, Саша, давай еще. Не бери много. Так... Стряхни часть. Дай закрыться ковшу. Плотнее!

Саша делал все, что требовал Звонцов, но удобрение продолжало сыпаться. И из ковша, и из кузова.

Глазевшие с берега мужики обменивались репликами:

— Мука! Недаром сказано...

— Не мука́, а му́ка, чтоб ее...

— В мешках бы, что ли, присылали. Ведь и половины не попадет на поле.

— А Сашка-то. Отравится, черт! Ей-бо, отравится... Ей, как ты там, мельник?

Яблоков в самом деле был похож на мельника. Побелела даже замасленная фуфайка. Он что-то ответил и, хотя никто не расслышал, но каждый понял его и посочувствовал... Но что же было делать? Не отступать же теперь, когда... И Саша продолжал ворочать рычагами, и было похоже, что он стал бы делать это даже тогда, когда бы вокруг была не эта едкая пыль, а дым и пламя.

Удобрение оказалось очень тяжелым. Машину еще и наполовину не загрузили, а рессоры выпрямились, кузов осел. Подтащили конец троса, зацепили за передний крюк машины.

— Пошел!

Трос натянулся, как струна, передок машины буквально сел на ось от натяжения, а сама машина с места не трогалась. Трактор натужился что было сил. Казалось, сейчас он раздернет машину на две части. Но нет, та, наконец, стронулась и вылезла-таки на сухой берег.

Теперь, прежде чем подогнать к погрузчику следующую машину, надо было поправить колею, снова завалить ее битым кирпичом. Первым за это дело взялся Климов — надо же было хоть что-то делать. К нему присоединился шофер и еще двое...

В это время, круто развернувшись, у самой кромки берега остановился «газик». Краешком глаза Звонцов видел, что приехал кто-то из управления — один в зеленом костюме и коричневых туфлях, другой в светлом плаще и начищенных сапогах,— но сделал вид, что не заметил, и продолжал заниматься своим делом. К реке спустилась вторая машина, и погрузка началась. Двое из управления смотрели, качали головами, то и дело показывая рукой в сторону погрузчика. К Звонцову же не

подходили: знали, видимо, каким он бывает в подобных обстоятельствах.

Ковш выбрал яму с краешка трюма, а дальше не доставал. Звонцов схватил лопату, спрыгнул вниз и начал подгребать удобрение к ковшу. Климов — тоже: он неловко чувствовал себя без дела. А мужики все в той же позе — животами вниз лежали на берегу. Захваченный делом, Звонцов даже не замечал, что крутится-вертится, собственно, он один, ну, еще тракторист, а остальные поглядывают только. Не замечали, кажется, этого и люди, оказавшиеся в роли зрителей: привыкли!

Но вдруг, сообразив, видимо, что он не один, что на берегу люди, Звонцов выпрямился, закричал:

— А ну, хватит! Живо сюда с лопатами!

Один за другим, поругиваясь вполголоса, поднялись четыре человека: лезть в этот кромешный ад явно не хотелось. Но никуда не денешься!

Поначалу работали лопатами. Потом поймали занесенный над трюмом ковш и стали подтаскивать его туда, где он мог зачерпнуть фосфоритку сам. Звонцов стоял рядом, нервничал: понимал, что и это не выход из положения. С трудом нагрузили третью машину и заглушили трактор. Надо было удлинять стрелу. В комплекте на этот случай было метровой длины звено. И Звонцов вместе с трактористом и механиком принялся откручивать трубки маслопроводов. В нем все клокотало, но он сдерживался, хотя это стоило ему огромных усилий.

Зеленый костюм и светлый плащ, смешно балансируя по бревнышку, прошмыгнули на «галошу». Поздоровались, стали что-то советовать, размахивая руками. Не глядя на гостей, Звонцов выдавил:

— Ну, что ж, спасибо, что приехали. Теперь, наверное, дело пойдет.... Правда, распределитель нужен...

Климов не стал прислушиваться к разговору. Незаметно отошел в сторону, завел мотоцикл и уехал: оставаться дальше не было смысла.

Секретарем парткома в «Восход» Андрея Николаевича Климова рекомендовал партком управления. Для него лично, да и для коммунистов «Восхода», эта рекомендация была полной неожиданностью: он, ветеринар по профессии, работал в двадцати километрах отсюда, специальность свою любил и ни о какой другой никогда не помышлял. Наоборот, он уже четвертый год учился за-

очно в ветеринарном институте! И потому перейти в « Восход» да еще на такое большое и ответственное дело он решился только после того, как секретарь парткома заверил, что посылает его временно, не более, как на год, пока подыскивает другого.

Семью Климов оставил на месте — не перетаскивать же ее на год, или пусть даже и на два в «Восход». Теперь этот год заканчивался, но о возвращении его на прежнюю работу никто в парткоме и не заикался. Да и сам он не напоминал: неудобно было. Слишком мало успел он за этот год: узнавал людей, приобретал опыт... Теперь только и работать! И он работал. Работал, как подсказывала ему совесть: был все время с людьми, среди людей, и этим завоевал их признание. Со Звонцовым он тоже покуда ладил, хотя... могло быть и иначе. Да, могло быть. Но, считаясь с огромным опытом Звонцова, с его авторитетом в районе и области, он в спорных вопросах, как правило, немного погорячась, уступал ему, а говоря прямо, шел у него на поводу... Плохо это, конечно... Но как иначе? Ведь Звонцов — не кто-нибудь! И все-таки — Климов чувствовал это нутром — неприятный разговор между ними, пусть один на один, рано или поздно все-таки должен, видимо, состояться.

Думая обо всем этом, он незаметно доехал до полей третьей бригады. Еще издали увидел — слева от дороги работала льнотеребилка. Тракторист гонял машину и вкривь, и вкось, словно озорничал, а не работал. Но стоило подъехать ближе, как все становилось ясным: водитель выбирал. Лен был такой низкий и местами такой необычный, что даже не походил сам на себя — верхушки карликовых стебельков скрючились, завились в разные стороны, словно пламенем их обожгло.

Климов знал: это был участок, площадью около пятнадцати гектаров, наиболее пострадавший от опрыскивания гербицидом...

Четыре пожилые женщины вязали лен в снопы. Увидев секретаря, распрямились, пригласили присесть, предложив ему снопик, и сели напротив сами. Сюда же подошли и тракторист с машинистом льнотеребилки.

— Все-таки решили вытеребить?— спросил Климов.

— Да катаемся, а пожалуй, и зря,— ответил тракторист.— Правда, попадаются островочки вроде бы и ничего, с головками даже, а все равно не то... Стебель, как стеклянный, ломается.

Закурив, продолжил:

— Поздно, видимо, опрыскивали. Особенно этот участок. Ведь посеян он раньше других, числа десятого мая, если не запамятовал, а опрыскивали двадцать пятого июня — вон когда! По инструкции, говорили, лен к этому времени должен быть не выше десяти, самое большое — пятнадцати сантиметров, а у этого, поди-ка, и все двадцать пять были.

— А может, крепкий раствор, кто его знает,— сказала одна из женщин.

— Да и сушь стояла такая!— сообщила другая...— А сколько бы льну тут наросло! Видели, в Клишине какой вымахал? Учетчица там не разрешила опрыскивать: мол, картошка рядом. И правильно сделала: и лен дикий вырос, и картошка цела.

— Да... Вот и угадай!— вздохнул машинист льнотеребилки.— Ведь хотели как лучше, а вышло... В прошлом году лен тоже был хороший, но с сорняками. А в этом, даже в Клишине, сорняков-то и нет. Лето сухое.

— Андрей Николаевич!— обратилась к Климову одна из женщин.— А спишут с нашей бригады этот лен али не спишут? Ведь опять мы план не выполним. Опять те бригады на сто процентов, а нашу на семьдесят рассчитают... А разве мы виноваты?

Климов ждал этого разговора. В самом деле: бригады на хозрасчете, а лен — основная статья дохода. Люди, конечно, не виноваты, что лен у них погублен. Но кто же тогда виноват? Во всяком случае, не зоотехник... Лен, как и все другие культуры,— предмет заботы агронома. Но почему же тогда Звонцов не спросит ответа с Морозовой со всей присущей ему строгостью? Была она на месте в тот день, когда самолеты летали, распрыскивая этот самый «декотекс-80»? Была! Так куда же она смотрела?

Законный вопрос. Но попробуй с этим «законным» сунься к Морозовой! О-го, такое ответит!

В общем, вывод напрашивается не очень приятный. Особенно теперь, после истории с погрузчиком. Оказывается, распределитель-то с погрузчика был когда-то снят по распоряжению самого Звонцова, без ведома механика... Поэтому Звонцов и помалкивает: не с кого спросить!

Климов поднялся, сказал, что он лично согласен: списать надо, и что акт на списание составлен — лен погиб не только в третьей бригаде,— но решать будет правление.

И пошел к мотоциклу, думая, что обо всем этом надо рассказать Звонцову.

На льнище второй бригады работала льномолотилка. Ее обслуживали несколько колхозниц да с десяток студенток из областного центра. Невдалеке по полю продвигался трактор «ДТ» — с санями. Трое стариков складывали на сани снопы. Распоряжался же тут учетчик Еськов — невзрачный мужичишка в пиджачке с протертыми локтями, в коричневом бумажном свитере с высоким воротником, подпирающим давно не бритые обвисшие щеки. В колхозе его знали все, поскольку человек он видный — с начала коллективизации и до сегодняшнего дня занимал руководящие посты. Правда, хотя он и глядел вверх, ступая по служебной лестнице, а продвигался неотвратимо вниз. Он считал, что ему не везет, а дело было совсем не в везении: просто жизнь шла вперед, а он топтался на месте. И по этой причине скатился от председателя до учетчика. Но и с этой должностью он не ладил. Трудной, ответственной стала эта должность!

Люди теперь работают не за палочку или там полторы, а за рубли и копейки. Проработают день — желают знать, сколько заработали. А считать Еськов не силен — всего две зимы ходил в школу, писать — тем более: карандаш, как живой, то и дело из руки выскакивает, слова в строчки не помещаются, из-за чего почти каждую приходится сильно загибать вниз. В конторе же теперь строгий порядок заведен: не сдал заполненные наряды до пятого числа — плати штраф! А как же иначе: ведь выдача зарплаты колхозникам задерживается. И все-таки Еськов, как правило, не успевал к пятому числу, так как записи вел неаккуратно, от случая к случаю. А иногда, бывало, просрочит так, что за получкой и не является, а все равно к руководству не в претензии: должность ему всего дороже!

— Что-то, Иван Петрович, многовато у тебя все еще ленку не околочено,— говорит учетчику Климов.

— Так ведь трактор-то на реку был угнан, Андрей Николаевич. Сегодня с трех часов только начали,— возмущенный несправедливой критикой отвечает Еськов.

— Ну, ну...— заметив это, тянет Климов.— А каков ленок?

— Сам, парень, видишь, каков... Который получше был — возле леса да с краешков — тот уже разостлан.

А этот крепко пострадал! Поле-то, вишь, широкое, летали низко... Вчера директор льнозавода приезжал, смотрел. Грит, если хорошо на стлище вылежится, может, номером 0,75 пойдет, а то дак и на паклю. Боюсь говорить об этом женщинам — разбегутся, не станут расстилать.

Да, и здесь та же история со льном. Будут говорить: подвела химия! А химия ли? Она всего лишь преподала руководителям колхоза предметный урок: со мною шутить нельзя! Я требую деликатного обращения.

Химические препараты земле, как и порошки человеку, надо преподносить по рецепту, да еще и вовремя!

В поле, что примыкает к деревне Засекино — хозяйственному центру колхоза, трактор «Беларусь» таскал туковую сеялку. У края пашни, вдоль дороги, по которой ехал Климов, с промежутками в 20—30 метров грудами были насыпаны удобрения. Здесь разгружались машины, прибывавшие с Ветлы.

Климов остановился. Три женщины — одна лет тридцати, а две значительно старше, опершись на лопаты, стояли у груды фосфоритной муки, ждали, когда трактор с пустой сеялкой вернется с того конца поля. Разговорились. Одна женщина пожаловалась:

— Беда, а не удобрение. Пылит! В глаза, в нос лезет. Голова вся разболелась, ровно в бане угорела.

Другая добавила:

— Ужасть как охмуряет! Нагрузишь сеялку — и хоть падай. Много ли нам надо-то? А и толку, поди, никакого...

Первая не согласилась:

— Да ты что, Кузьминишка. Уж коли привезли, значит, пользительное.

Подошел «Беларусь» с сеялкой. Женщины ведром и лопатами стали загружать сеялку. Тракторист спрыгнул на землю, подошел к Климову.

— Ну, как дела идут?— спросил Климов.

— Да плохо, Андрей Николаевич. Сеялка видите какая? Не сеялка, а колымага! С одного конца густо сыплется, а с другого совсем не сыплется. И отрегулировать нельзя: в ящике и земля, и камни, и обрывки мешков бумажных... Да и нормы высева не знаем. Оно вон какое тяжелое, удобрение-то. Да хотя бы и знали норму — весов нет.

— Ведро можно взвесить,— сказал Климов.

— Это верно. Так хоть агрономша пришла. А то, видите,— специалисты...— и показал на работающих женщин.

Климов понимал, что такую работу надо бы приостановить, отремонтировать сеялку, приставить к делу агронома. Но время не ждет. Сейчас сухо, а ночью, может, пойдет дождь: осень все же... И тогда от этих груд только грязные пятна останутся.

От реки подошла еще одна машина с удобрением. Шофер притормозил, крикнул:

— Сегодня больше не будет!

— Как не будет?

— Лопнула стрела погрузчика...— И с улыбкой:— Еще хорошо, что над кузовом, а то бы в реку плюхнулась.

Пока отсоединили стрелу погрузчика да пока ее погрузили, стало темнеть. Звонцов подошел к машине, грузно упал на сиденье, выдохнув: «Поехали!» — и когда машина побежала, а по сторонам смутно и однообразно замелькали кусты, он вдруг почувствовал невероятную усталость. Ехали, не проронив ни слова. Напротив конторы шофер чуть притормозил, вопросительно глянув на Звонцова.

— Домой меня, Женя, домой...— проговорил, поняв шофера.

Переступил через порог, сбросил тяжелый плащ, прошел в переднюю и — замертво на диван, ни есть, ни пить не хотелось, хотя целый день во рту не было маковой росинки.

Домашние и еще учительница Валентина Сергеевна — его «первый комиссар», первый парторг колхоза, запросто бывавшая в их доме, сидели у телевизора. Супруга поднялась, приглушила звук, сказала, обращаясь к Валентине Сергеевне:

— Ну, вот... И так почти каждый день.

Алексей Трофимович понял, что разговор о нем уже состоялся, и эта фраза подытоживала только сказанное ранее.

Валентина Сергеевна, глянув на его измученный вид, негромко, словно самой себе, сказала:

— Не жалеешь ты себя, Алексей Трофимович... Полыхаешь, как костер на ветру.

Звонцов промолчал.

— И вообще не таким стал. Совсем не таким.

Он устало рассмеялся, еще не понимая, к чему клонит учительница.

— Ну, ну... Каким же это я стал?

— Каким?— Она задумалась, подыскивая слова.— А помнишь, как мы с тобой начинали? Ты стариков даже собирал, советовался с ними, в избах бывал... А партийная организация не раз твой отчет о руководстве колхозом ставила. И ты отчитывался, как миленький! А сейчас? Сейчас ты «сам с усам»! С тобой не только в районе, в области считаются. Как же — Звонцов!

Алексей Трофимович тер пальцами нахмуренный лоб, слушал. Когда Валентина Сергеевна замолкла, проговорил:

— Всю жизнь ты режешь мне, Сергеевна, правду в глаза... Ты одна. Остальные льстят.

— А почему льстят? Наверно, потому, что боятся. Но не забывай: который льстит, тот первый и обманет, а может быть, и предаст.

— Тоже верно. А в общем-то устал я... И нервы сдают.

— То-то и оно! Да и как не устать?! Такой колхозище! А ты, как и в том, маленьком, везде и во всем — сам, сам! Ни с кем не считаешься, никому не доверяешь. И горячишься при этом, рубишь иногда сплеча. Сказал тебе тракторист поперек какое-то слово — и ты его с трактора долой! А с дояркой Песковой что получилось? Уехала Пескова, а ведь на нее все равнялись, у нее училась даже Маслова — лучшая теперь доярка.

...Потом, когда уже весь дом спал, Алексей Трофимович, обдумывая все, что сказала ему учительница, вспомнил историю с дояркой Песковой. Верно, женщина была старательная. Но строптивая! В тот год она не выработала минимума трудодней, поскольку болела, хотя справки о болезни у нее и не было. При окончательном расчете за год правление решило всем дояркам выдать сто процентов зарплаты, а с Песковой удержать полсотни рублей. Секретарь парткома Климов говорил тогда, что зря это, что Пескова — труженица каких поискать, а Звонцов молчал, и это молчание правленцами, как всегда, было «правильно понято»... Обидели Пескову. Пришла в контору, пригрозила: уеду! И верно: через неделю дом Песковых стоял заколоченный. Вместе с детишками они махнули в Казахстан, на целину.

Формально в этом случае он, Звонцов, был прав: дисциплина одинакова для всех. А если по-человечески?..

О многом передумал Звонцов в эту ночь. За десять лет чего не было! Поседел он за эти годы. Начал-то когда — в пятьдесят четвертом! Кому не известно, до чего были доведены иные колхозы к тому времени? Ему, Звонцову, пришлось строить заново все помещения для скота... А эти укрупнения? Особенно последнее, когда присоединился колхоз «Трудовик». Миллион долгов! Ни на одном дворе нету крыши. Семена не засыпаны. Люди на колхоз махнули рукой. Жили целиком за счет личных хозяйств, неимоверно раздутых. Колхозные лошади и те были розданы, по сути дела, в личное пользование.

Алексею Трофимовичу, когда он вспомнил об этом укрупнении, невольно пришло на ум сравнение: в хорошо и ровно крутившиеся жернова вдруг бросили булыжник, да еще необкатанный, и жернова бешено затрясло — казалось, еще один-два оборота, и они разлетятся на куски! Но жернова не разлетелись. Жернова перемололи и этот камень. Теперь третья бригада — бывший колхоз «Трудовик» почти ни в чем не уступает первой и второй бригадам. А каких это стоило усилий — знает только он! «Даже ты, дорогая Валентина Сергеевна, не знаешь...» — вспомнил он опять разговор с учительницей. «Разве этим нельзя гордиться?» Но другой голос, голос совести, отвечал: «Да, конечно... Но ты можешь и должен сделать значительно больше. Пришло время, когда надо думать уже не только о помещениях для скота, но и о новых домах для колхозников — ведь до сих пор живут в избах, доставшихся от прадедов и дедов, правда, в свое время добротных, опушенных тесом, украшенных резными карнизами, наличниками, но теперь подгнивших, покосившихся в разные стороны... Надо думать и о сселении многочисленных деревень в один хозяйственный центр, о строительстве в этом центре хорошего, может быть, кирпичного клуба... А почему бы и не кирпичного! У предков на территории нынешнего «Восхода» был не один, три огромных кирпичных клуба... то бишь — церкви. Да каких! В одной и сейчас мастерские помещаются, а две другие уже тридцать лет мужики долбят ломами, добывая кирпичи для скотных дворов — и все равно еще от них много осталось! Вот какие хоромины были! И ведь кто строил? Лапотные мужики... Лопата да носилки —

вот и вся их механизация. Так неужели мы не сможем построить? Сможем! И должны! Иначе люди, особенно молодежь, все так же будут стремиться уйти из деревни. А без людей — трудно, очень трудно. Кто-кто, а он-то, проработавший столько лет председателем слабого и потому малолюдного колхоза, знал это. Бригадиром некого было поставить! Журавлев и ничего вроде мужик, а образование-то всего два класса. Разве достаточно такого образования для бригадира, когда на повестке дня — интенсификация, внедрение в практику самых передовых методов производства с использованием самой новейшей техники и химии! Трудно Журавлеву, а заменить кем — и теперь найдешь не сразу. Вот если бы вернуть в колхоз хотя бы часть ушедших из него людей. А ведь может такое случиться, может! Земля, придет время, позовет, да так, что уже не откликнуться на этот зов душа хлеборобская не сможет...

Не впервой думал обо всем этом Звонцов, не впервой, не щадя своего самолюбия, припоминал промахи и ошибки и, как бы освобождаясь от них, с верой и надеждой заглядывал вперед. «Ну, уж теперь-то должно, обязательно должно получиться!!» — с этой мыслью он начинал сев, с этой мыслью глядел на сильные, обещающие всходы: «Будет хлеб! Будет силос! Вырвемся наконец-то!»

Особенно обнадеживающей была нынешняя весна. Хлеба взошли — гляди да радуйся! И вдруг — на тебе!— засуха. Засуха на Вологодчине! Вот уж поистине: чем черт не шутит... И что же? Силосные — горох, вика, бобы — сгорели. Потом и лен. Да, и лен.

Алексей Трофимович тяжело вздохнул. О льне даже думать не хотелось. Да и надо спать, наконец. Завтра все начинать сначала. Стрелу, конечно, мужики сварят... Хорошо бы распределитель получить: те, двое, обещали... Уже засыпая, вспоминал, как зеленый костюм говорил: «Пришлем, Алексей Трофимович, обязательно!— Это о распределителе.— И за простой баржи оплатим... Только выгрузи, ради бога!» То-то...

По привычке проснулся в начале шестого. Знобило. Голова была свинцово тяжелой, тело — как не свое. И все-таки встал. Надо было встать: в шесть, как всегда, к телефонам придут бригадиры второй и третьей и будут ждать

его звонка, его распоряжений на день. Такой порядок был установлен им самим.

Жена заметила его медлительность, вялость, спросила:

— Тебе нездоровится?

— Да, немного... Продуло, наверно, на реке.— Про себя же подумал: «А может, фосфоритки чертовой наглотался».

Выпил крепкого чая. От еды отказался: «Потом».

Накоротке переговорил с бригадами: велел заниматься своими делами, потому что едва ли удастся быстро сварить стрелу погрузчика, да и распределитель еще неизвестно когда доставят...

Накинул плащ, вышел. Утро было погожее, но уже по-осеннему знобкое. В пустых проемах колокольни, беспорядочно перелетая, звонко кричали молодые галки. К правлению только что подъехал Журавлев. Увидев председателя, спешился, привязал лошадь к палисаднику.

Поздоровались.

— Ну, какие у тебя дела, рассказывай.

Дел у Журавлева было много. Он бойко перечислял их, радуясь в душе тому, что погрузчик опять сломался и, значит, есть возможность распорядиться людьми по своему усмотрению: продолжить подъем зяби и скирдование соломы, начать ремонт печей и полов на скотных дворах... Надо было также перевезти из дальней деревни семью доярки Морошкиной, недавно приехавшую из города Шахты. Муж ее, здешний родом, получил там, в забое, увечье и теперь лежал на больничной койке в городе, а она с тремя маленькими ребятишками жила у бабки — матери мужа.

Изба у бабки старая, но жить в ней все же можно, да ферма далеко, четыре с лишним километра. Егор Журавлев дал ей смирного мерина: мол, пока дом подыскиваем...

Домов нежилых в Засекино хватало, но в какой ни зайди — крыша прохудилась и печь надо ремонтировать. Да и о цене списаться с хозяевами — тоже надо время: иных черт те куда занесло!

Звонцов знал, конечно, о доярке Морошкиной, он и сам обещал перевезти ее с ребятишками в Засекино и, видимо, уже что-то предпринял бы, когда б не эта морока с удобрениями.

— Покажи ей дом, что «волки» зимой перебирали,— сказал бригадиру.

— Так ведь рам нету, в доме-то...

— Ах да — рамы...

Они подошли к крыльцу конторы и сели на скамейку. Впервые за последний месяц, пожалуй, он никуда не спешил, впервые мог сесть вот так и закурить. И он закурил, закинув ногу на ногу и опершись локтем на колено. Сигарету он держал тремя пальцами, огоньком внутрь ладони — старая фронтовая привычка — затягивался часто, но не глубоко: думал.

Подошел и поздоровался за руки Эдя Самофалов — участковый уполномоченный, прямой и высокий, как кол, в фуражке, сдвинутой на правую бровь, и с неизменным планшетом через плечо. У Эди всегда были хорошие папиросы, потому что все продавцы в округе дорожили его расположением. При хорошем настроении Эдя любил тряхнуть пачкой ленинградского «Беломора». Сейчас настроение было, и он, присев, далеко вытянул ногу и достал из «бутылки» галифе недавно начатую пачку.

— Прошу.

Журавлев не отказался:

— Давай... Все одно — кашель.

Прикурили. И Эдя, словно так, между прочим, сказал:

— Оформил вчера сено у директора маслозавода!

— Ну? И как она?

— Да так, ничего...— Эдя щелчком стряхнул пепел с папироски.— Незаконно, говорю, Павловна. На колхозной, говорю, земле... Ой, говорит, меня и дома не было. Без меня, говорит, и накосили и привезли... Хе-хе!— и расхохотался, показав два длинных передних зуба.— Сегодня еще у двоих надо будет оформить.

Егор Журавлев перебил участкового:

— Да, Трофимыч... телят когда будут закупать, не слыхал? Сена-то и у колхозников не густо. Отдать бы поскорее, пока не отощали, да и ладно. Все спрашивают, не знаю, что и говорить.

— Узнавал. Все загружено...

На мотоцикле подъехал Климов — секретарь парткома — как всегда, в резиновых броднях, в черной фуфайке с воротником, из-под которой виднелась овчинная безрукавка: ездил Климов быстро и, если в пиджаке,— пронизывало насквозь. Поздоровался, достал из кармана согнутую вдоль тетрадь и подошел к доске показателей, что на двух столбах, врытых в землю, красовалась слева от крыльца. Пошарил в другом кармане — достал мелок. С минуту изучал записи в тетради, сделанные, наверное,

вчера, и, привстав на цыпочки, написал: «Разослано льна».

Эдя Самофалов, глядя на доску, сказал:

— Ох, Николаевич, схлопочешь ты себе двойку по русскому, если так относиться будешь!— Эдя знал, что Климов учится заочно в ветеринарном институте.— Гляди, что написал-то: ра-зо-сла-но... Куда разослано? Х-хе!— и рассмеялся с чувством превосходства.

— Фу ты, черт!— сообразил Климов и стер ладонью написанное. Вывел «разостлано» и сказал:— Русский-то еще ничего — можно выучить. А вот немецкий!.. В тридцать-то семь годов... А сдавать надо. Вызубрил я как-то, значит, и текст немецкий и перевод. Пошел. Взял учебник, читаю, без запинки перевожу. Немка удивлена. «Ну-ка, говорит, переведите вот эту фразу».— И тычет пальцем в учебник. А я и на этот случай готов. Перевел! Вижу, глаза у нее округлились, лицо вытянулось: такого пациента она, может, еще и не видела! Перевернула страницу и опять пальцем: р-раз! Прочитайте! Тут-то у меня язык и отнялся. Поняла, конечно. Поскучнела... Обыкновенной стала. Все же тройку поставила. До сих пор благодарю!

— Мудреный язык,— понимающе согласился Егор Журавлев.— По-нашему: руки вверх!— а по ихнему: хенды хох!— И засмеялся.— Совсем не похоже. Я, пожалуй, только это и запомнил, а ведь до Берлина доскакал!

Звонцов встал, направился к мастерской: решил посмотреть, как там будут стрелу сваривать.

...Часа в три его позвали к телефону. Звонил секретарь парткома управления, спрашивал, когда будут выгружены удобрения. «Дошло и до секретаря,— подумал Звонцов.— Да и не диво: четвертый день, как начали, а баржи все еще стоят с полными трюмами».

— Как «Сельхозтехника»? Помогает?— спросил секретарь.

— Хорошо...— с иронией ответил Звонцов.— Сегодня, наконец, новый распределитель дали. Раньше его «не было». Поняли, видно, что за простой баржи придется платить им, а не колхозам.

Звонцов был зол на «Сельхозтехнику», особенно после истории с ремонтом самосвала и трактора. Самосвал, единственный в колхозе, ремонтировался там год и четыре дня, причем за это время был утерян кузов — помятый, полузасыпанный землей, он оказался в куче хлама, и пришлось дойти аж до областного начальства, чтобы заставить мастерскую все же восстановить кузов. Впрочем,

самосвалу не хватало не только кузова, в чем механик колхоза и убедился, как только вывел его за ворота.

Имея в виду эти и другие факты, на одном совещании в области Звонцов сказал:

— Наше отделение «Сельхозтехники» хорошо решает две задачи: как можно больше сорвать денег с колхозов за разные услуги и сбыть колхозам всю технику, что поступила на склады, не считаясь с тем, нужна или не нужна эта техника колхозам.

Секретарь знал взаимоотношения Звонцова с управляющим отделением «Сельхозтехники» и не удивился, когда услышал в трубке такие слова:

— А что Чуркину спешить? То, что удобрения эти колхозам влетят в копеечку, его совершенно не касается. Он свою зарплату все равно получит. А вот если бы эта зарплата была поставлена в зависимость от себестоимости продукции в обслуживаемых колхозах, тогда бы он крутился, как белка в колесе!

— Злой ты сегодня, Алексей Трофимович, ох злой!— ответил секретарь.— Устал, понимаю. Давай-ка заканчивай с удобрениями да бери отпуск. Не бойся: небо на землю не рухнет, если тебя с месяц не будет. В общем, на днях приеду — решим...

— Что ж, приезжайте...

А усталость не проходила. Надо бы пойти домой и лечь, хотя бы на час, и он уже собрался было, но в контору ворвался Женя — шофер.

— Алексей Трофимович! Наладили погрузчик! Работает — в-во! Я только что оттуда...

Звонцов резко поднялся. Усталость как рукой сняло. Вынул сигаретку, прикурил, сказал:

— Поехали!

Погрузчик и в самом деле работал теперь исправно. Правда, фосфоритка из ковша текла по-прежнему, но с берега дул ветер, и дышать было легче, потому что пыль относило в сторону.

Одна за другой, поднимаясь с помощью буксира на берег, груженые машины уходили в сторону Засекино. А день между тем угасал. Скоро стемнело совсем, и работу пришлось приостановить.

Наутро снова весь колхозный транспорт был брошен к реке. И на этот раз не напрасно. Погрузчик старался

вовсю. В трюмах заметно убывало, хотя и не так быстро, как хотел, как рассчитывал Звонцов. Ведь шел пятый день, как «все это» началось. И он больше всего на свете сейчас жаждал одного: закончить выгрузку сегодня! И потому не уезжал от реки, все приглядываясь да прислушиваясь к работе погрузчика: только бы не остановился, только бы...

Но погрузчик, конечно, останавливался. И потому дня — пятого дня — тоже не хватило и заканчивать пришлось в темноте, осветив баржу фарами.

Звонцов чувствовал себя победителем. Голос его звенел, движения снова были уверены и размашисты, словно и не знал он этих пяти дней сплошной нервотрепки. Расхаживая утром по кабинету, рассказывал Климову:

— Кончили вчера, Андрюша! Кончили! Уже в темноте, с фарами, а все-таки кончили! Теперь давай собирай доярок! Эпопея завершена.

— Слушай, Трофимыч... А ты очень доволен этой «эпопеей»? По-честному, положа руку на сердце,— доволен?

Звонцов погасил улыбку. С минуту молчал, нацелив прищуренные глаза на Климова. Потом негромко проговорил:

— Ты что имеешь в виду?

— Что я имею в виду, я скажу... Прежде я хотел бы знать, научила тебя чему-нибудь эта «эпопея», или...

— Брось, Андрей!— резко перебил его Звонцов. И, сбавив тон, повторил:— Брось, прошу тебя... Не порти мне настроение.

— Извини, конечно, если... Но мне бы хотелось все же кое-что тебе сказать... Не кажется ли тебе, что история с погрузчиком не случайность, а некая закономерность? И тебе стоит над ней подумать! Неудача со льном — тоже...

— Решил меня поучить?— с ноткой пренебрежения и еще обиды спросил Звонцов.— Ну, давай, давай...

— Да ты не сердись, Трофимыч... Ведь я же добра тебе хочу. Спорь, не соглашайся, но не сердись! Я вот что хочу сказать-то... Вчера, значит, подошел ко мне один из членов бюро... ну, Валентина Сергеевна, учительница. Разговор о тебе завела. Мол, надо помочь Звонцову... Почему бы, дескать, не послушать его, как коммуниста, как руководителя на бюро? Не ради проработки, нет... Просто и тебе и всем нам кое в чем надо разобраться. Я

считаю, дельное предложение. Пусть народ выскажется.

Звонцов молча глядел в окно. У крыльца, на скамейках, как всегда, было много народу. Напротив крыльца стоял «газик» председателя соседнего колхоза «Заречье». Сам председатель, заметно подвыпивший, засунув руки в карманы галифе, стоял лицом к сидевшим на скамейках мужикам и шумно уговаривал Сашу Яблокова выгрузить из баржи и зареченскую долю удобрений. А Саша ломался:

— Не буду. Я и так наглотался этой химии...

— Да ты говори прямо, сколько хочешь?— наступал председатель.

— Сколько... Звонцов тоже так говорил: «Ну, Саша, выгрузишь сегодня — ничего не пожалею! Вином самым лучшим досыта напою!» А и не напоил, обманул!— настроившись на шутливый тон подвыпившего председателя, ответил Саша.

— Да ведь я-то не обману!— Народ грохнул: видно было, что он не обманет.— Неужели ты мне не веришь? Хочешь, сейчас поднесу?— Председатель рванулся к «газику», открыл дверцу и извлек откуда-то бутылку, уже наполовину распитую.— Ну, хочешь? Говори!

Мужики ржали:

— А может, нас угостишь?

Саша смущенно отказывался:

— Да нет, не надо... Я пошутил.

— Ах, пошутил... Тогда давай поехали. Не обижу, едрена корень! Все в наших руках: можно так, можно этак... Верно?

Звонцов, кивнув в сторону крыльца, сказал:

— Может быть, такое «руководство» тебе нравится?—

— Нет, такое «руководство» — совсем негодное! Такое «руководство» надо бить! И крепко!

Звонцов вдруг весело рассмеялся:

— Ух ты, гроза! А я и не знал...

НИКОЛАЙ АСАНОВ

Чужой человек

1

Секретарь райкома с насмешливым любопытством смотрел на своего собеседника. Они говорили уже долго, а секретарь все не мог понять, что, собственно, понудило этого маленького, похожего на ощипанную птицу человека прийти к нему.

За последние дни секретарю пришлось по одному и тому же вопросу разговаривать со многими людьми, но те беседы протекали куда быстрее, да и сами собеседники выглядели определеннее, яснее. Секретарь просто спрашивал: «Едешь?» — и человек отвечал: «Еду!» или: «Нет, не могу!» — и это зависело от вполне понятных обстоятельств, например: от сопротивления супруги, от нежелания бросить обжитую квартиру, хорошую должность... Случались, конечно, и кривые, путанные разговоры, но подоплеку их было тоже нетрудно увидеть. Второй месяц секретарь отправлял людей на работу в деревню, и поток добровольцев, появляющихся каждый раз, как в этом возникнет необходимость, уже иссяк. Теперь перед секретарем проходили те, кого надо было послать во что бы то ни стало, ради дела, даже если они и не хотели ехать. Но сейчас перед секретарем был не только новый человек, но и особый, непонятный случай, а все особенное и непонятное в ясном потоке дел и событий вызывает некоторое раздражение. Вот уже пятнадцать минут продолжается этот бессвязный разговор, а секретарь еще не разгадал сидящего перед ним человека.

— Так что же, Сергей Яковлевич,— уже нетерпеливо спросил секретарь,— значит, вы пришли возложить жертву на алтарь отечества, так, что ли?

— Ну что вы,— вяло ответил собеседник,— я все понимаю, только сомневаюсь, будет ли от меня польза...

Секретарь тоже посмотрел с сомнением. Бледный, худой, весь какой-то потертый, человек этот не внушал

большого доверия. Не в том смысле, что нельзя поверить в его честность, а в том — можно ли положиться на него, опереться, понадеяться...

Перед секретарем лежали бумаги, характеризующие собеседника настолько, насколько могут бумаги вообще характеризовать человека. Секретарь снова перелистал их. Там было написано, что Сергей Яковлевич Брылев, младший конструктор завода сельскохозяйственных машин,— человек исполнительный, внимательный, инициативный. Но это была только служебная характеристика, в ней могли быть и ошибки и желание порадеть товарищу. В другом документе говорилось, что Брылев недавно принят кандидатом в члены партии, что его политический и моральный уровень высок,— и секретарь невольно подумал, что в наши дни политический уровень и не может быть низким, тем более что Брылев не так давно окончил известный технический институт. Ну, а облик моральный... так этому Брылеву с его заморенным видом и испуганными глазами трудно было бы стать покорителем женских сердец или каким-нибудь расхитителем социалистической собственности. Скорее всего он человек книжный, тихий,— должно быть, ни в карты не играет, ни вина не пьет, может быть, втайне изобретает что-нибудь вроде выкопочных плугов для кустов бересклета,— секретарь отлично помнил трагикомическую историю с этим плугом, и, кажется, в ней как раз именно Брылев и участвовал...

— Как же вы сами-то решаете: ехать вам или не ехать?— нетерпеливо спросил секретарь, сам удивляясь тому, что у него нет никакого желания нажать на этого человека, как иногда поступал он в подобных случаях.

— Вот я и зашел посоветоваться!— промямлил Брылев.— Очень мне хочется поехать, а сомневаюсь: пригожусь ли я? В селе я никогда не жил, с сельским хозяйством никогда связан не был, могу ли я принести там пользу?— Смущенные глаза его встретились было с глазами секретаря и опять уперлись в пол.

— Зачем же вы тогда написали это заявление?— И секретарь сердито потряс листком бумаги, в котором Брылев изъявлял свое желание поехать на работу в село.

— Да это я так написал, на всякий случай,— признался Брылев.— У нас было обсуждение в конструкторском бюро, предложили ехать Корнилову, а у него

ребенок болен был, вот я и написал, а все-таки сомневаюсь...

— Может быть, вам начальник бюро приказал написать?— с ударением сказал секретарь. Были у него и такие случаи, когда руководящие работники предприятий старались «спихнуть» на работу в село самых никудышных людей, иной раз прибегая к довольно сомнительным мерам, вроде угрозы уволить или перевести «на глубинку» уже по своей линии, что для иного было куда хуже, нежели добровольный отъезд. Тут хоть можно создать репутацию видимостью подвига, а там — отправят и забудут!

— Нет,— уныло сказал Брылев,— с начальником я, правда, советовался, но он сказал, чтобы я сам поговорил с вами...

«Нет, тут что-то не то...» — подумал секретарь и строго спросил:

— Может быть, это вам бересклетовый плуг репутацию испортил?

— Бересклетовый плуг тут ни при чем. Мы его сделали по точному заданию Министерства лесной промышленности. Чем же конструкторы виноваты, если там какой-то идиот составил неверное требование?— первый раз проявляя признаки какого-то характера и явно гневаясь, сказал Брылев.

«Э, да у тебя, когда надо, зубы-то прорезываются!» — с облегчением подумал секретарь.

— А ну, расскажите о плуге!— потребовал он, с досадой в то же время глядя на часы. В приемной было еще порядочно народу, и с каждым надо было успеть поговорить.

— Тут разговор короткий,— опять став уныло-спокойным, сказал Брылев.— Министерство лесной промышленности потребовало, чтобы мы сконструировали плуг для выкопки корней бересклета. Гуттаперчу из этих корней добывают,— пояснил он.— Ну и прислали полторы страницы технического требования, а образцов этих корней или, скажем, кустарника, и даже фотографий — не приложили. Мы, конечно, понадеялись на эти полторы страницы, сконструировали плуг, а он корни не берет, только рвет. Но мы-то тут ни при чем! Сейчас мы новый вариант делаем, наши сотрудники побывали на этих плантациях, изучили бересклет, хотя это и не наше дело...

— Как же так — не ваше?— рассердился секретарь.

— По условиям нам это не положено. У министерства свои научные институты есть, они должны агротехнические требования составлять,— пожав плечами, безразлично ответил Брылев.— Нам пришлось за счет отпуска товарища посылать...

— Да, это и в самом деле ненормально,— согласился секретарь и вдруг в упор спросил:— А сами-то вы над чем работаете? Я говорю не о плановой работе, а о личном стремлении. Ведь у каждого конструктора должна быть своя идея, не так ли?

— Я над скоростным плугом думаю,— тихо признался Брылев.

— Как? Как?— переспросил секретарь, с удивлением глядя, как порозовело лицо молодого человека, как в глазах его появился влажный блеск, словно его нечаянно окропили живой водой.

— Плуг для скоростной пахоты,— все так же тихо, но с неожиданным оттенком мечтательности сказал конструктор.— Понимаете, человечество убыстрило все процессы производства продуктов и товаров, а вот пахота земли какой была медленной, такой и осталась. За два тысячелетия, при всей современной технике, она убыстрилась разве что в пять раз. А, скажем, скорость передвижения человека, если сравнить пешее хождение с полетом на реактивном самолете, возросла в двести раз. В земледелии пахали на волах — один пласт перевернутой земли со скоростью три километра в час, теперь пашут на тракторе — пять пластов за три километра в час... Вот над чем я думаю,— стеснительно признался Брылев, но за тихими его словами секретарь вдруг услышал твердость и убежденность уверенного в себе человека.

Едва ли не этот чуть мелькнувший оттенок душевного волнения убедил секретаря. Секретарь выпрямился в кресле, словно прислушиваясь к чему-то, помолчал и вдруг сказал:

— Хорошо, поезжайте в деревню...— Он мельком подумал о том, а будет ли толк от этой поездки, если человек заранее перекладывает даже ответственность за решение своей судьбы на другого человека, но упрямо тряхнул головой, будто продолжал безмолвный спор с собой, и добавил:— Может быть, вы там скорее ваш плуг спроектируете! А работы в любой МТС не только для тракториста или механика, но и для конструктора хватит.— Он позвонил в приемную и сказал вошедшей на

звонок девушке:— Поищите там Корабельникова и пришлите ко мне.— И снова обернулся к Брылеву:— Поедете в Прищепинскую МТС вместе с главным инженером Корабельниковым. Он как раз людей набирает. Тоже возвращается на работу в село...

— Я не возвращаюсь,— поправил его Брылев.— Я впервые...

— А, да-да, верно,— согласился секретарь, усмехаясь.— А Корабельников возвращается. Я думаю, с ним вам будет легче, человек он, так сказать, бывалый. Семья у вас есть?

— Нет, я одинокий,— сухо сказал Брылев.

«Правда, и откуда у такого будет семья?— подумал секретарь.— Любая женщина десять раз подумает, прежде чем пойти за него, а у него и один-то раз спросить решимости не хватит. Ну да Корабельников вправит ему мозги!» — уже для того, чтобы оправдать свое решение, добавил он и, оборачиваясь к двери, сказал:

— А вот и Илья Муромец, он же Корабельников.

И впрямь, в дверях стоял богатырь хоть куда, русобородый, пышноусый, с такими руками, что Брылев невольно прикрыл глаза. Страшно рассердить такого! Ахнет вгорячах — мокрое место от человека останется! Хорошо, что глаза простодушные, веселые. Брылев снова исподтишка оглядел Корабельникова, и на этот раз богатырь понравился ему больше. Он встал, когда секретарь познакомил их, и даже осмелился вложить свою маленькую руку в огромную ручищу Корабельникова. А тот, не стесняясь секретаря, басил:

— Что же это вы такой заморыш? Или мамка снятым молоком кормила? Смотрите, девки в Прищепине горячие, злые,— если им не понравитесь, худо будет!

— Перестань, Илья Матвеевич, товарищ и так волнуется!— утихомирил богатыря секретарь райкома, и тот сразу заторопился к выходу.

— Пошли, пошли!— пробасил он.— И не обижайтесь на шутки, молодой человек. В нашем деле шутка вроде махорки от сердца помогает. Валерьянку с собой носить не станешь, а как представишь себе, что нас ждет, сразу сердце колет...

— Ну, ну,— сердито остановил его секретарь,— не на пустое место едешь! Послушать тебя, так будто до твоего приезда в деревне никто и не работал!

— Ладно, ладно, это я все шучу!— засмеялся Кора-

бельников и пошел к выходу, положив тяжелую руку на плечо малорослого, испуганного Брылева. Секретарь подождал, пока за ними закроется дверь, покачал головой, подумал о чем-то и, все еще чувствуя себя несколько смущенно, продолжал прием.

2

Сергей Брылев и сам еще не очень ясно представлял, как же это получилось, что он стал кандидатом на какой-то (еще и неизвестно — на какой именно!) пост в Прищепинской МТС. Тому могло быть несколько объяснений, но ни одно из них не было достаточно точным и убедительным. Из-за этого и разговор с секретарем райкома оказался бессвязным, неясным.

Сейчас, идя рядом с Ильей Матвеевичем Корабельниковым по людной улице и невольно сравнивая себя с ним, Брылев испытывал особенно острое недовольство собой. Что подумал о нем секретарь райкома? Конечно, нечто не очень лестное для Брылева, иначе чего ради стал бы он тратить столько времени на решение такого простого вопроса? Сергей Брылев уже слышал от других уезжающих в деревню, как легко и свободно протекали их беседы с секретарем. И чувство острого стыда за свое неумение просто и решительно высказать желания и мысли никак не рассеивалось, хотя Корабельников, приметив угнетенное самочувствие товарища, острил всю дорогу, рассказывал какие-то смешные истории «из практики», как он выражался, когда могучая его сила и самообладание помогали больше учености.

Сразу порешив, что Брылев — «ученый» в том несколько презрительном значении этого слова, какое появляется у практиков, когда они относят его к книжникам, кабинетным людям, Корабельников как будто нарочно рассказывал именно о том, как такие «ученые» пасовали при первой трудности и тогда на помощь к ним приходил Илья Матвеевич и спасал их чуть ли не от бесчестья. Сам Корабельников отрекомендовался инженером, и по всему было видно, что инженер он знающий. Работал он на соседнем заводе и очень удивился, когда Брылев смущенно признался, что не слыхал о нем раньше. «Ну, это потому, что вы штаны просиживали, когда мы планы вытягивали!»— уверенно сказал Илья Матвеевич, и Брылев согласился, что действи-

тельно слишком упорно просиживал штаны за конструкторским столом, потому и не знает лучших людей города. «Да и где вы могли бы меня видеть?— утешился Илья Матвеевич.— Человек вы тихий, на партийных активах не бывали, на конференции вас не выбирали, а слава о человеке только там и шумит!»

Успокоившись этим замечанием, Илья Матвеевич умолк, и Сергей снова мог отдаться течению своих невеселых мыслей.

Он не осуждал себя за принятое им решение, он беспокоился только о том, как это не сумел ясно и точно изложить секретарю, почему едет в село. И сейчас он пытался сделать это, излагая свои мысли весьма резонно и толково, только секретаря рядом не было. Недаром говорится, что все так называемые крылатые слова были сказаны на лестнице, когда их уже никто не слышал, и только по недоразумению и по хвастовству авторов попали в историю.

Прежде всего Сергей сослался на то, что и в самом деле ему было жаль Корнилова, у которого сынишка болен тяжелой формой малярии. Конечно, лечить сына Корнилову легче в городе, чем в селе, где, наверно, и больницы подходящей нет, и врача опытного не сыщешь. Потом он помянул про честь коллектива,— как-то так получилось, что из конструкторов никого, кроме Корнилова, не потревожили, а ведь завод работает на деревню. После всего этого он с замиранием сердца признался и в самом главном: в том, что надо же ему когда-нибудь воспитывать свою волю. Ему уже двадцать шесть лет, а всю жизнь он идет на поводу у событий, ни разу еще не показав, что и сам способен принять какое-то решение... «Плохо же ты, голубчик, начал показывать свой характер!— тут же упрекнул он себя, опять вспомнив свой бестолковый и бессвязный разговор.— Вот секретарь как-нибудь доберется до этой Прищепинской МТС да спросит: «А что тут мой подшефный поделывает?» И окажется, что как был Брылев мямлей, так и остался!» — угрожающе сказал он себе и покраснел от смущения. Что другое, а вот живо представить себе свой позор — это Брылев умел! Может быть, потому он и старался держаться в тени? А вдруг не в вымыслах, вдруг на самом деле случится такой конфуз? Случился же конфуз с плугом для бересклета,— вон даже секретарь знает!

Тут Брылев кое-как успокоил себя тем, что как раз

об этом случае рассказал секретарю довольно связно. Чуть ли не эта часть его рассказа о себе и подтолкнула секретаря на решение. Ну что же, пройдет какое-то время, и Сергей Брылев научится защищать свое дело, свои мысли, и тогда тот же секретарь может похвалить его... Это невинное, скорее присущее мальчишке, чем взрослому человеку, хвастовство совсем уже расстроило Брылева, и он даже приотстал от крупно шагавшего впереди Корабельникова.

— Где вы там спрятались?— воскликнул Илья Матвеевич, останавливаясь.— Да вас и в самом деле можно потерять в толпе, как иголку в стогу сена!— пошутил он, снова намекая на маленький рост Брылева и на его невзрачность.— Однако это ничего: в деревне людей мало, там каждый виден!— шумно засмеялся он и сообщил:— Ну вот мы и пришли!— сказав это так, словно дарил Брылева необыкновенным подарком.

— Куда, собственно?— неловко осведомился Брылев.

— Ко мне, ко мне!— доверительно воскликнул Илья Матвеевич.— Заходите, не стесняйтесь, надо же нам познакомиться.— И повлек оробевшего Брылева в подъезд пятиэтажного дома.

— Вот какое богатство оставляю! Квартира из трех комнат, в. у., как пишут в объявлениях об обмене!

В квартире действительно были все удобства. Кабинет, куда ввел хозяин своего гостя, был оснащен даже лампой дневного света. На полу лежал хотя и тонкий, но большой во всю комнату, ковер. Не менее яркий ковер висел на стене, а наискось по нему — два охотничьих ружья, между ними — ягдташ, охотничий нож, лядунки, патронташи и еще какая-то охотничья мелочь.

— И не жалко оставлять?— стесненно полюбопытствовал Брылев. Сдержанный по своему характеру человек, в присутствии Корабельникова он чувствовал себя как-то свободнее и впервые подумал, что ему, кажется, повезло. В размышлениях его о перемене места работы слишком уж большую роль занимали догадки о будущих начальниках и товарищах — обычный грех замкнутых людей.

— Не я к вещам привязан,— воскликнул Илья Матвеевич,— а вещи ко мне! Захочу — с собой увезу, не захочу — продам! Да и в МТС не в палатке жить станем.

— А как жена? Не протестует?

— Ну, она у меня моторная женщина!— похвалился

Илья Матвеевич.— Впрочем, пардон, пардон!— засмеялся он.— Есть русская пословица: «Умный хвастает отцом-матушкой, глупый хвастает молодой женой...» Так что, считай, я ничего не говорил.

Оба засмеялись, и Брылев почувствовал себя совсем легко. Он еще не был женат, относился к этому шагу с естественной или, скорее, с неестественной, происходившей из свойств его характера осторожностью, и свобода в рассуждениях Ильи Матвеевича как-то невольно вселяла надежду, что будет и у него когда-нибудь домашнее счастье. Не вычитанное из книг, а живое, льнущее к нему, и для этого счастья он будет самым лучшим человеком. Возможно, та, которую он полюбит, простит ему его хмурость, боязливость, а может быть, он сам расцветет при ней...

— Я — человек широкой жизни!— сказал Илья Матвеевич.— В городе меня и стены давят. Мне бы давно в поле, в леса податься, а тут засосало, как в тину: институт, а уж из института в деревню и ехать было незачем, потом маленький заводик, потом побольше, потом еще больший, вот так и оторвался на десять лет! Уже и детей нарожал, а они даже не знают, что их батька был крестьянином, думают, что булки в саду на деревьях растут. Ну да ничего, я их научу бублики на мочале выращивать!

— А я никогда не жил в деревне,— конфузливо признался Сергей Брылев.— Боюсь, что борону от плуга не отличу.

— Отличите!— весело воскликнул Илья Матвеевич.— Помните, в народной побасенке: сын из науки приехал, идет с отцом: «Это что, отец? А это что?» — да наступил на грабли, они и треснули его рукояткой по лбу. Сын сразу вспомнил: «Вот, говорит, чертовы грабли!»...— И Корабельников так живописно показал, как шел ученый сын, как хватился за лоб, что Сергей опять подивился его размашистой натуре: и швец, и жнец, и на дуде игрец! Актер!

Это обаяние и широта характера Ильи Матвеевича покоряли, обогревали душу. Скажи сейчас кто-нибудь Брылеву: ты поедешь не с Ильей Матвеевичем,— он бы загрустил, хотя всему их знакомству едва минуло полчаса.

— А вы знаете, какое смешное совпадение произошло?— хитро усмехнулся Илья Матвеевич.— Я ведь возвращаюсь в родное село!— Он вполне насладился откровенным удивлением и завистью Брылева, потом сказал:— Нарочно просился! Я своих односельчан да и прочих зем-

ляков знаю! Люди недоверчивые, к новому с трудом привыкают. Для них, если не брат, не сват, значит, чужой человек! В двадцать девятом у нас ни один из приехавших тогда рабочих ужиться так и не смог!

— Ну, то в двадцать девятом!— посомневался Брылев, хотя ему и не хотелось обижать хозяина.

— А что?— хладнокровно спросил Илья Матвеевич.— Деревня меняется медленно! Вон мне пишут: до сих пор в нашем селе даже интеллигенция вся местная. Ну вот, и мы будем местные!— засмеялся он.

— А я?— взволновался Брылев.

— Что — вы? Если вы со мной приедете, значит, тоже будете свой человек, а не чужой!— успокоил его Илья Матвеевич.— Я думаю, мы и поселимся у моей матери. Пока там домики отгрохают, пока жена переедет с ребятишками, я вас успею и за зайцем понатаскать, и девку какую-нибудь присватаю! Вы еще женитесь там!— И опять засмеялся, глядя, как испуганно покраснел Брылев. Смеялся он звучно, с переливами; если бы этот смех не относился к Сергею, тот и сам охотно присоединился бы. Но Илья Матвеевич тут же стал серьезным:— Имейте в виду — завтра выезжаем. Сбор у меня, в девять часов, так что вам надо поторопиться с расчетом, с документами, с укладкой. Ну как, в порядке?— и легонько похлопал Брылева по плечу, ободряя его и в то же время как бы опасаясь своей недюжинной силы: еще обидишь ненароком!

Сергей поднялся и стал прощаться, а хозяин, пожав ему руку, уже нагнулся и полез под диван, выволакивая огромный чемоданище. Выходя из квартиры, Брылев слышал, как шаркал чемодан по полу, как падали в него с веселым грохотом какие-то вещи, словно и им надоело жить в этой квартире со всеми удобствами и они вместе с хозяином торопились выбраться на простор, в большую жизнь.

3

Прищепинская МТС Брылеву не понравилась.

В пустынной степи, по которой ветер крутил и разметывал колючие клубы перекати-поля, стояли три приземистых здания, не то сараи, не то бараки, как будто люди все эти годы жили временно. Возле одного из этих сараев, прокопченного, черного от дыма, мокли под дождем собранные со всей степи тракторы, похожие на каких-то горбатых, унылых животных, ищущих теплого места, оттого и

уткнувшихся в стены здания, куда их не пускали. Возле второго сарая — там была слесарная мастерская — глыбились серые, полинявшие за лето комбайны, жатки, сеялки.

Осенний ветер намел вокруг них целые сугробы перекати-поля, клубы эти цеплялись за ноги, когда Сергей впервые обходил МТС; на брюки бахромой нависал репейник. Уже по одному тому, что усадьба осталась необкошенной, неприбранной, можно было понять, что ни у кого из обитателей МТС не лежит душа к хозяйству в этой голой, как коленка, степи.

Еще хуже показалось Брылеву внутри мастерских МТС. Ему, привычному к точному, экономному машинному порядку завода, все здесь казалось неустроенным, мелким, неподходящим для той цели, ради которой и были построены мастерские. Разве тут можно ремонтировать такие сложные машины, как тракторы, комбайны, моторы,— спрашивал он Илью Матвеевича,— если нет ни обогревательной печи, ни приличных станков? Корабельников только засмеялся в ответ.

— А помните,— сказал он,— как тульский Левша блоху подковал? Вот так и наши умельцы действуют! На простом токарном станке карданный вал обточат! В кузнечном горне не только любую деталь откуют, а если понадобится, так и отольют!

— Все это хорошо, только блоха после вмешательства Левши прыгать совсем перестала!— осторожно напомнил Сергей.

— Ну, наши тракторы ходить не перестанут!— утешил его Илья Матвеевич.

Однако этого утешения Брылеву было мало. Он уже осмотрел большинство тракторов и знал, что они изношены куда больше, чем полагалось бы за их относительно короткую жизнь. А ремонтировать их в этих условиях было и сложно и трудно.

По предложению Ильи Матвеевича Сергея назначили сменным механиком. Однако пока что он не чувствовал настоящей ответственности: Корабельников старался помогать ему, а получалось, что он вроде бы опекал своего, как он называл, подшефного. Брылев еще только собирался отдать какой-нибудь приказ, а трактористы хором предупреждали, что главный инженер распорядился иначе. Сергей составил график ремонта, предполагая начать его с тех машин, которые можно было сразу пустить в работу после

устранения мелких дефектов, а Корабельников, оказывается, договорился, что эти машины, поскольку они еще на ходу, должны уйти в колхозы на вывозку удобрений. И так получалось чаще, чем этого хотелось бы Брылеву.

Из-за неуверенности в своей правоте он не осмеливался спорить с Корабельниковым. Да и дружба, которой его щедро награждал главный инженер, не позволяла Сергею артачиться. А Илья Матвеевич действительно опекал его во всем с полной широтой своей натуры.

Поселились они вместе в старом родовом доме Корабельникова, где до сих пор здравствовала мать Ильи Матвеевича. Дом был строен на две половины, и Сергея все ждал, когда же Илья Матвеевич вызовет свою жену с ребятами, и в то же время беспокоился, а как и где он станет жить потом. У них установились такие отношения, что Илье Матвеевичу Сергей оказался нужен для душевных разговоров, а Сергей от всего сердца был благодарен, что старший товарищ помогает ему понять новые отношения и заботы. Если Сергею и недоставало порой той самостоятельности, какой наделен на заводе любой мастер или техник, то он оправдывал нападки Корабельникова тем, что и в самом деле мало что знал в сложной этой действительности.

Лучшими часами Сергей считал вечера, когда они, поужинав, ложились спать, но долго еще разговаривали через дощатую перегородку, соображая, что успели сделать сегодня и что будут делать завтра. Иногда Илья Матвеевич грозился, что в следующий выходной день обязательно потащит Сергея за зайцами, а то на какую-то колхозную пирушку, где якобы девушки уже ждут «горожан», но назавтра наваливалось столько дел, что об охоте или пирушке вспоминалось опять только перед сном, при разговорах через перегородку. И Сергей даже радовался тому, что Илья Матвеевич пока что не разговаривал о приезде жены и детей. Ему стало бы скучнее и труднее. Сначала надо наладить дела, ведь Корабельников и Брылев затем сюда и приехали, чтобы все зашумело и задвигалось.

Однако дела эти разве что покачивались да переминались с ноги на ногу. Так застоявшиеся лошади долго топчутся на месте, пробуя, как поудобнее взять разбег.

Некоторое удовольствие доставило Брылеву знакомство с его новым местожительством. Село Прищепино стояло на горе над рекой, а вдаль, сколько охватить глазом, простирались поля, леса, перелески. В первые дни по прибытии

Брылева природа была еще разноцветной, так что, имей время, можно было бы часами наблюдать за смешением красок. Дубняк был желтым, вязы на лесополосах — оранжевыми, куст рябины, выбежавший на опушку ближнего леса, горел, как пламя бездымного костра, а березняк и осинник стали сквозными, только кое-где просверкивали одинокие листья. Но через день ударил мороз, потом пошел снег, и только дубы сохранили свой наряд, вдруг прорезываясь сквозь темную зелень мелкого ельника да можжевельника,— строевых лесов вокруг Прищепина не сохранилось.

Над селом до сих пор возвышалась огромная церковь, обветшалая, облупленная, с дырами вместо окон, но все-таки величественная. Когда-то Прищепино считалось торговым селом, тут было кому замаливать грехи, оттого и вознесли богомольцы церковь на такую высоту. В округе похожих больше не было, хотя в других селах тоже сохранились церкви, но чаще виднелись другие приметы: элеваторы, водокачки, силосные башни. Уже одних этих примет хватило бы, чтобы понять: край тут обильный и хлебом и скотом.

МТС находилась в полутора километрах от села. К ней вела не только бурая грейдерная дорога, на которой от проходящих машин и тракторов из-под снега всю зиму выворачивалась земляная пыль, но и десяток троп, избороздивших поле. Все указывало, что село и МТС связаны накрепко. Тропы эти, как веревки, привязывали и соседние села к длинным, приземистым сараям, в которых помещались службы и мастерские МТС. От прищепинской церкви, с холма, были видны все эти тропы, пересекавшие равнину, на которой расположилась МТС. Это тактористы, рабочие, колхозники торили их после снегопадов каждое утро наново, а к вечеру тропы уже отливали сталью: столько народу приходило в МТС по делам и на работу.

Картина эта радовала Сергея и в то же время вызывала в нем острое чувство стыда. Она наглядно показывала, как верили в МТС колхозники, а в то же время Сергей понимал, что мало еще сделано на станции, чтобы оправдать такое доверие.

Были и другие приметы, радовавшие его. По утрам, выходя на работу, он встречал школьников, бежавших на уроки. Они мчались стайками, как молоденькие воробьи, только что обучившиеся летать. Но, завидя Брылева, дети замедляли шаг, а затем, чинно приблизившись, хоровым

«здравствуйте!» приветствовали его, хотя для них-то он уж конечно был «чужим». Эти утренние приветствия доставляли ему много удовольствия. Он принимал их за признаки доверия и надежды на него. Школьники здоровались с ним, сменным механиком, именно потому, что ждали от него смелых действий, решительных поступков, на какие сами пока еще были неспособны, но склонность к которым проращивали в своей душе, как зерно... Так он оставил для себя хотя бы зацепку на будущее, когда не только дети, но и старшие с уважением станут встречать его.

Впрочем, Корабельников был не совсем прав, когда утверждал, что в его родном селе нет «чужих» людей. Такие здесь были, и Сергей скоро научился отличать их от местных жителей. Идя на работу или возвращаясь, он видел то учительницу, то участкового фельдшера, то радиотехника, которые жили где-то рядом и тоже, лишь незадолго до Сергея, приехали сюда. Однако их никто не почитал «чужими». Это Сергей видел по простоте отношений, установившихся между местными и приезжими. Один только Сергей все чувствовал себя чужим. Не напугай его Илья Матвеевич своим предостережением, Сергей, может быть, давно бы поборол свою застенчивость и подошел к тому или другому кружку, какие вдруг образовывались у клуба или у правления колхоза и где перемешивались и свои и чужие. Но он упустил тот естественный момент для знакомства, когда человек только что приехал и еще нуждается в помощи, а теперь вроде было и неловко лезть туда, куда его не звали. И он только завистливо поглядывал на других приезжих, слыша их веселый смех или острое словцо, но все стояли спинами к нему, а в центре плотного сборища кто-то рассказывал какую-нибудь хитрую историю, веселя остальных. И Сергей озабоченно думал, что эта плотная среда выталкивает его на поверхность, как вода выталкивает щепку, и сожалел о том, что не умеет нырнуть в гущу чужой жизни и удержаться там, ухватившись за чью-нибудь твердую руку.

Впрочем, в эти минуты чаще всего именно твердая рука Ильи Матвеевича брала его за плечо и отводила в сторону. Илья Матвеевич считал, что им, ведущим работникам МТС, не к лицу заискивать перед местной интеллигенцией. «Нет уж,— говорил Корабельников, уводя Сергея домой,— пусть они сами придут к нам на поклон! Мы и есть настоящая культурная сила, а не эти разные учительки!»

Как раз учительница-то и занимала воображение

Сергея. Ее звали Марией Ивановной, и она часто попадалась навстречу Сергею, всегда окруженная стайкой мальчиков и девочек, сама похожая на девочку, но с непоколебимо серьезным лицом и с таким строгим видом, что, едва Сергей задумывался о том, чтобы как-нибудь поздороваться с ней, запросто заговорить,— его охватывала оторопь. А Мария Ивановна проходила мимо, не опуская серых, с прищуром, глаз, высоко неся гордую голову, как будто и не замечая Сергея, отступавшего перед ней с узенькой зимней дороги прямо в снег. И от этого спокойного пренебрежения молодому механику становилось еще тяжелее. Да и все дела у него пока что шли неважно.

Типовые здания МТС, которые сделали бы станцию похожей на завод, существовали только на бумаге. Не было даже общежитий для работников — они жили кто где,— и эта разобщенность, вместе со старой привычкой к обособленному труду, когда неизвестно было, кем является тракторист — то ли колхозником, то ли сельскохозяйственным рабочим,— сильно сказывалась на самом производстве. Не было того чувства коллективности, которым так сильны индустриальные рабочие. Да и требовать такого чувства от трактористов было трудно: наступила зима, а многие колхозы до сих пор не рассчитались с ними еще за весенние работы, меж тем работать по ремонту в неотепленных, неприспособленных зданиях становилось все труднее. Начинать надо было с малого, но так, чтобы всякое малое начинание постепенно возрастало и приводило к главному — к хорошей работе всей станции.

Прежде всего Брылев предложил Илье Матвеевичу ввести табель, как на всех предприятиях, чтобы ликвидировать прогулы и опоздания.

— Ну, это ни к чему!— с неудовольствием пробасил Илья Матвеевич.— Не думаете ли вы тут организовать рабочий класс на базе колхозного крестьянства?

— Это не я придумал,— сказал Сергей, со страхом соображая, что, кажется, начинает ссориться с Корабельниковым, единственным человеком, который был ему здесь близок. Но остановиться он не мог. Недаром он столько времени разбирался в недостатках и слабостях МТС. И, поневоле становясь сердитым, как все чувствующие свою слабость люди, когда им надо во что бы то ни стало доказать свою правоту, продолжил:— Это партия решила, правительство решило. Если трактористы становятся кадровыми работниками МТС, если их охватывает проф-

союзная организация, если, наконец, они получают зарплату,— так пусть чувствуют себя рабочими!

— Не знаю, не знаю,— задумчиво сказал Илья Матвеевич, с удивленным вниманием приглядываясь к своему помощнику.

— И этого еще мало!— с неожиданной силой сказал Сергей.— Надо как можно скорее строить общежития и квартиры при МТС. Если люди объединятся вокруг станции, тогда они почувствуют себя хозяевами...

— Слишком много будет хозяев,— засмеялся Корабельников, однако согласился:— Первый дом мы закладываем на днях, ну а дальше станет легче.

— И еще есть одна неувязка,— становясь все сильнее, продолжал Брылев.— После сентябрьского Пленума для МТС занаряжены и станки, и детали, и инструменты, но даром их никто не даст, а денег на нашем счету, как я узнал,— ни копейки! Надо ехать кому-то в область, добиваться и добывать!

— А не удрать ли вы хотите под благовидным предлогом, молодой человек?— прищурился Илья Матвеевич.

— Да что вы!— испугался Сергей.— Разве я о себе? Я это и не умею! Вам надо поехать! Дело требует раскачки, а кому и раскачивать, как не вам с вашей-то силой!

Корабельников захохотал, потом покачал головой, сказал:

— А ведь вы правы, Сергей Яковлевич! Директор еще с месяц в Москве будет сидеть, придется мне впрягаться в это дело. Только уж, пожалуйста, не напорите здесь глупостей!— строго предупредил он Брылева, как будто уже отъезжал.— Особенно внимательны будьте с теми председателями, которых выдвинул райком партии, у них всегда найдутся защитники...

— Как же я их отличу от других?— невольно улыбнулся Брылев.

— А вы не смейтесь! Председатель председателю рознь. Один имеет авторитет и в областном масштабе, а другой и у себя в колхозе не имеет. В этом надо разбираться. Вот, к примеру, Сарычев из «Луча»... Вы думаете, почему я обещал ему трактор? А потому, что он и в райкоме и в обкоме на хорошем счету! Вы скажете, это непринципиально, и я соглашусь, только с поправкой — зато жизненно! Человек вы новый, вам надо сначала друзей завести, а уж потом жизнь по-своему поворачивать...

Эти мелкие предостережения обидели Брылева, но он видел, что из всех его предложений Илья Матвеевич с истинным удовольствием воспринял только мысль о поездке в район и в область, и надежда на то, что все-таки удастся похозяйничать самому, немного успокоила его. А когда Корабельников, подписав приказ, которым перекладывал на плечи Сергея всю ответственность, отъехал в город,— молодой механик даже повеселел. Теперь-то, во всяком случае, он может устраивать работу в МТС по тем законам настоящего производства, которые были ему столь дороги.

Оказалось, что простая табельная доска может изменить многое. И когда Корабельников вернулся из первой поездки, он только добродушно похлопал заместителя по плечу:

— Молодо-зелено! Все собираетесь перекроить мир! Впрочем, валяйте!

И, поприсутствовав на закладке первого дома, приняв пять новых станков, которые он «протолкнул» в области, снова укатил туда же. Ему, как видно, понравилось кататься между МТС и областью, тем более что он скучал по жене и детям.

Брылев тоже много разъезжал, но он ездил только по колхозам, земли которых обрабатывала МТС. Он боялся, что когда-нибудь ему скажут: «Вы не знаете специфики сельского хозяйства!» — и старательно изучал это хозяйство, часто советуясь с агрономом, с зоотехником, с зональным секретарем райкома партии, который перебрался на жительство в то же Прищепино.

Сергея сердили иждивенческие настроения некоторых председателей колхозов, тем более что часто он не мог отличить: у кого настоящая нужда, а кто просит «впрок». Урожайность во многих колхозах была ниже плановой, надо было срочно вывозить минеральные удобрения с железнодорожной станции, а председатели колхозов теребили Брылева, требуя, чтобы МТС перевозила им сено на фермы, навоз на поля, чуть ли не зерно для помола на мельницу. Брылев сначала думал даже, что в некоторых колхозах нет не только машин, но и лошадей,— столько непредвиденных требований поступало от председателей.

Однако из своих объездов он узнал, что это далеко не так. Председатели частенько берегли свой транспорт или просто ленились доглядывать за ним, использовать его. А всякое знание делает человека твердым. И Брылев начал железной рукой возвращаться на профи-

лактический ремонт машины, отправленные Корабельниковым в колхозы.

В это время к нему и приехал Сарычев.

Он явился рано утром, на паре вороных, прекрасно подобранных по росту, запряженных в маленькие пошевни — раскрылые санки с полостью, такие широкие, что они не переворачиваются на зимних дорожных раскатах. От коней шел пар. Сарычев, крупный человек, краснолицый, тоже как бы исходивший, несмотря на мороз, паром, стоял перед Брылевым, глядя на него сверху вниз, и, дыша винным перегаром,— не утерпел, хватил по дороге!— требовательно говорил:

— Мне еще осенью обещали два трактора на вывозку навоза, а где они? «Искре» дали, «Ленинцу» дали, а мне — шиш?

— Пройдемте в контору,— сухо сказал Брылев. Он заметил, как трактористы начали окружать его и шумного председателя,— видно, ждали скандала.

Усадив председателя, Брылев сел и сам. В такой позиции Сарычев терял свое преимущество в росте, которое было особенно неприятно Брылеву, а обычная конторская обстановка заставит понизить голос — тут не в поле, кричать не к чему.

— Я вас слушаю,— все так же сухо сказал Брылев. И то, что ему неприятен был гость, его шумливость, запах водки, идущий от него, вся его ярмарочная цветастость, начиная от подобранных коньков в выезде, кончая лохматыми собачьими рукавицами и разрисованными валенками на ногах, а кроме того, и то, что он уже не хуже Сарычева знал хозяйство и возможности «Луча»,— все это сделало его сильнее гостя, более правым и готовым на ссору. Если бы еще месяц назад кто-нибудь сказал Брылеву, что наступит день, когда он примется ссориться с людьми, станет грубым и неуступчивым, он бы засмеялся, зная свою мягкость и деликатность так, как никто не знал. Однако сейчас он не чувствовал себя ни мягким, ни деликатным, он чувствовал себя правым, а это было такое чувство, которое давало ему и силу и смелость, хотя бы и для драки. Он даже и не представлял себе раньше, что может быть такое ощущение правоты.

— Я уже сказал!— ничуть не понижая голоса, загремел Сарычев.— Гоните тракторы, и все! Вы что, хотите мне урожай будущий сорвать? Во всех колхозах закрома пусты, так вы и меня хотите обесхлебить? Где директор

МТС? Где Корабельников?— басил он, не обращая внимания на умоляющие жесты Брылева, на то, что в соседней комнате смолкло постукивание счетов и арифмометров и только хлопали двери,— должно быть, там начали собираться любители шума.

— Ни директора, ни Корабельникова нет,— принуждая себя к спокойствию, сказал Брылев.— Их замещаю я, и перестаньте кричать. Вы мешаете людям работать.

— Он орет на меня, как на мальчишку, а мне и слово сказать запрещает!— громогласно удивился Сарычев, обращаясь к стене, за которой накапливалась выжидательная тишина, прерываемая только шепотом и дыханием.— Нагнали сюда чужаков, которые в сельском хозяйстве ничего не смыслят, а о нас и забыли! Да вы, молодой человек, знаете, что такое навоз?— вдруг вскричал он еще громче и уставился в лицо Брылева злыми глазами.

— Вам надо вывезти всего две тысячи тонн, и расстояние у вас один-два километра. В колхозе восемьдесят шесть лошадей. Для такого конного обоза всей работы на два дня. А вы запросили два трактора, да не каких-нибудь, а ДТ, за работу которых МТС потребует чуть не в два раза дороже, чем за легкие тракторы. А колхозников вы спросили? Может быть, они предпочтут, чтобы работали ваши кони, а сбереженные деньги пусть пополнят трудодень?

— У меня не восемьдесят шесть коней, а больше сотни!— выкрикнул председатель.

— Я жеребых кобылиц не считаю,— холодно ответил Брылев.

— Чужое легко сосчитать!

— А я не свое считаю — государственное,— возразил Брылев.— Те два трактора, о которых вы говорите, пойдут в «Искру» перевозить минеральные удобрения от железной дороги. Минеральные удобрения мы привезем и вам, а уж навоз потрудитесь доставить на поля сами, своими средствами...

— Но у меня же ни саней, ни хомутов не хватит,— вдруг испуганно сказал председатель. Голос его как бы сел, стал хриплым.

— В вашем селе спокон веков сани сами гнули, да и шорники есть. А то, что вы о сбруе не позаботились заранее, что у вас на коней люди работают, а не кони на хозяйство, чести вам не делает. Обратитесь

в «Искру» или в «Ленинец», они помогут. Хотя я думаю, что вы и у себя наберете комплектов шестьдесят сбруи и саней. А уж починить кое-что да подогнать — нетрудно.

— Вы что же, теперь за председателя станете работать?— снова громыхнул было гость, но голос его тут же сорвался. Он вскочил со стула, но Брылев сделал решительное движение рукой, и Сарычев послушно опустился снова.

— Я еще не договорил,— сказал Брылев.— Урожайность у вас в прошлом году оказалась ниже плановой. До весны удобрения должны быть обязательно завезены на поля. В этом году мы обязаны перед партией и правительством урожайность довести не только до плановой, но и начать настоящий подъем. Если бы не истощение земли в нашем районе, мы бы в этом году могли снять по восемнадцать — двадцать центнеров.

— Я, что ли, в этом виноват?— проворчал председатель.— Пять лет поля не удобряли...

— И вы,— твердо сказал Брылев.— Колхоз вам поручил руководство. Каким же я буду хозяином, если начну проматывать порученное мне богатство?

— То-то вы тракторы в кулак зажали!— проворчал председатель, но не выдержал и взорвался снова:—Подождите, приедет Илья Матвеевич, он вам покажет, как колхозы зажимать! Да я еще в райкоме об этом поговорю!

— Меня не Илья Матвеевич на это дело поставил, а партия. И в райкоме план работы тракторного парка на зиму утвержден. Там тоже количество ваших коней учли. Только думали, что вы лучше хозяйство ведете, что вам не придется к соседям за хомутами бежать,— невозмутимо съязвил Брылев и впервые почувствовал: ему не совестно оттого, что он обидел человека...

Сарычев встал и вышел не прощаясь. Брылев подошел к окну. Около санок стояли трактористы. Брылев вспомнил, что в мастерских работало несколько человек из «Луча». Кто-то из трактористов спросил председателя:

— Ну как? Договорились?— И в вопросе Брылеву послышалась искренняя заинтересованность. Работа в «Луче» считалась и почетной и выгодной.

— Разве с таким договоришься?— воскликнул Сарычев, не смущаясь тем, что Брылев может слышать его через окно.— Чужак он есть, таким и останется! Прибежали на неделю, а напортят на год!— Ввалившись в

санки, он свистнул, и кони с места взяли крупной рысью. Ком снега из-под копыт ударил прямо в стекло. Брылев отшатнулся, словно это в него бросили камень.

4

День Конституции пришелся на субботу, и все радовались тому, что выпали подряд два дня отдыха.

Брылев уже знал, что к этим именно праздничным дням приурочены две свадьбы в Прищепине: женились его трактористы. К этим дням кружок самодеятельности готовил спектакль «В степях Украины». Правда, никто не предлагал Брылеву какую-нибудь роль в спектакле или хотя бы быть суфлером, но многие из его ребят участвовали в кружке, одни — с ролями, другие изображали народ, и Брылев постоянно слышал то как сговаривались: «Встретимся на репетиции!», то как обсуждали: «А Манькову Чеснока не сыграть! Надо было попросить Илью Матвеевича...» и то, что его имя не упоминалось в связи с этими приготовлениями, хотя у него все равно не было времени на репетиции, и то, что его не приглашали на свадьбы, хотя он и не пил,— все обижало его. Это как бы подчеркивало, что он всем чужой...

Чужой... И он становился все суше и даже жесточе, отдавая время только производству или размышлениям о нем, всячески отгоняя другие мысли, которые тем не менее выскакивали откуда-то из копилки памяти и разума. Вдруг он ловил себя на том, что, глядя на план ремонта тракторов, думает о своей неприютности и соображает, что учительница Мария Ивановна, с которой он никак не может познакомиться, очень милая девушка, и даже проносится в мозгу шуточная песенка: «Все мои товарищи женаты...», то вспоминается тихая комната конструкторов и то, что он так и не написал товарищам ни одного письма,— они, наверно, думают: «Зашился!» Ну и пусть думают, он и в самом деле «зашился». У него и действительно есть «узкие места»!

Между тем где-то рядом бродит и чувство гордости, пусть еще очень маленькое чувствице,— как-никак, а они уже отремонтировали первый десяток машин, а в сторонке от усадьбы МТС подведен под крышу первый новый дом — будущее общежитие трактористов!

Дом этот явился как бы первым камнем фунда-

мента, который закладывался в основание новых отношений в МТС. Раньше трактористам словно бы и дела не было до того, что строится на станции, как и зачем строится. Они все время чувствовали себя в стороне — сегодня в МТС, а завтра вернусь в колхоз, там тоже машин много! А тут все интересовались: кому дадут первые квартиры, много ли таких домов будет построено, нельзя ли получить участок в личную собственность и перевезти дом из колхоза или построить новый? А когда Брылев доложил на общем собрании, что плотники не смогут закончить строительство до Нового года, трактористы как-то сами собой пришли к ним на помощь, и теперь, сняв свои номерки с табельной доски, они на час, на два заходили на строительство. Как и все колхозники, трактористы умели обращаться с несложным плотницким инструментом, могли и отесать бревно, и зарубить угол, и поставить стропила, так что дом уже ко Дню Конституции оказался под крышей, осталось только остеклить его да поставить внутренние переборки в дополнение к капитальным стенам, а окраску можно будет произвести и весной, тогда скорее высохнет.

Эти, в общем-то незначительные, события полностью занимали сознание Сергея, и он постепенно начинал понимать, что важность каждого явления или события относительна. Посторонний человек равнодушно скользнет взглядом по новым стенам и разве что подумает: «Новый дом поставили!», а вот для двух невест из Прищепина этот дом такое событие, которое меняет всю их жизнь; трактористам этот дом сулит новый распорядок будущего, а для самого Сергея он живое доказательство его, Сергея, участия в общей жизни МТС, это уже его дом, а не «чужой»!

За день до праздника из области, после пятидневного отсутствия, вернулся Илья Матвеевич. Он «выбивал» материалы по нарядам.

Илья Матвеевич все еще пахнул парикмахерским одеколоном, на нем были сразу две обновки: сиреневая сорочка и ярко-красный, с фазаньими разводами галстук. Брылев, может, и не заметил бы обновок, но Илья Матвеевич сам похлопал себя по широкой груди.

— Нравится? Могу в следующий раз прихватить.

— Ничего,— сдержанно похвалил Брылев.— Только галстук больно яркий. Такой актеру бы...

— У нас тут у самих скоро спектакли будут!— рассердился Илья Матвеевич.— Вы что же это Сарычева обидели?— ни с того ни с сего напустился он на Брылева.

— Он сам кого хочешь обидит!

— Это-то верно. Его докладная уже гуляет и в районе и в области. «Подрыв авторитета... Зажим хозяйства...» И слова-то выбрал какие! Каждое с камень весом! На черта вам было с ним цепляться! Говорят же наши мужики: «Не велика оглобля, а до Москвы достает!» Вот и он теперь со злости так нам жизнь разукрасит, что и художника не потребуется...

Брылев промолчал. Илья Матвеевич вздохнул, открыл чемодан и выставил на стол бутылку «столичной», достал копченой рыбы, колбасы, пригласил:

— Садитесь.

Брылев не любил водку, но разговор остался незаконченным, и он присел к столу. Илья Матвеевич успокоился, разлил водку, чокнулся, выпил, вытер усы и снова стал веселым и говорливым.

— Вот и кончилась моя холостая жизнь,— усмехнулся он,— даже и романчика закрутить не успел, а Марья Ивановна так на меня поглядывала, так поглядывала!..

Сергею было неприятно упоминание имени учительницы, но проклятая вежливость и почтительность к старшим победили. Он только осведомился:

— Когда же супруга приезжает?

— К Новому году. Уже и в школе договорилась, ребят сюда переводят. Боится надолго одного оставлять!— самодовольно добавил он.

— Значит, мне придется поискать другую квартиру,— заключил Сергей.

— Почему же? Переедем в новый дом, я прикинул, там можно и вам небольшую квартирку выделить. Привык я к вам, Сергей,— расчувствовался Илья Матвеевич. Он чуть-чуть захмелел, стал добродушней и мягче.— Теперь я вас ни на шаг от себя не отпущу. Звонил я вашим конструкторам: хвалил, слово дал, что в люди выведу...

Брылеву хотелось узнать подробнее об этом разговоре, но фраза о новом доме прочно застряла в мозгу. Он спросил:

— А как же трактористы?

— Подождут!— махнул рукой Корабельников.— К весне еще два дома заложим. Я уже и проект видел. Дома городского типа, даже с ванной, только отопление пока что дровяное.

— А они так ждут,— упавшим голосом сказал Брылев и отодвинул свой стакан.

— Надежда юношей питает!— засмеялся Корабельников.— Да вы что стакан отставляете? Я еще коньячку приволок, подождите-ка...— Он встал и принялся снова рыться в чемодане.

— Не хочется!— уныло сказал Брылев.

— Вот уж это не по мне!— рассердился Илья Матвеевич.— Коли сели вокруг бутылки, так надо сидеть, пока она не обсохнет!

— Устал я,— отговорился Сергей.

Он обвел взглядом семейную комнату Корабельниковых. От прошлых времен, когда здесь родился Илья, остались только бревенчатые стены. Вся внутренность дома была переделана по-городскому: перегородки разделили гнездо на несколько комнаток, широкие лавки были заменены стульями, появились письменный стол, зеркало с подзеркальником, литографии — раньше их заменяли иконы,— занавески на окнах. Тепло, светло, чего еще, казалось бы, не хватает Илье Матвеевичу? Он сказал:

— Катерине Васильевне далеко будет в село ходить...

— А машины на что?— засмеялся Корабельников.— Раньше меня возили, теперь будут ее катать.

— Я как раз и хотел сказать, что вам в МТС легче добраться, чем трактористам. Иные за пять верст живут, начнутся метели, их и не вызовешь...

— Вон вы о чем?— недовольно проговорил Корабельников.— Портится у вас что-то характер, Сергей Яковлевич!— укорил он.— Но в райкоме со мной согласны...

— И почему это люди, как только почувствуют, что чуть-чуть виноваты, сейчас же в райком за оправданием бегут?— словно бы сам себя спросил Брылев.

— Что? Что?— не понял Корабельников.

— Я об этой докладной Сарычева!— хмуро сказал Сергей.

— Ах, вон оно что!— протянул Корабельников, чуть наклонясь вперед и разглядывая Сергея с таким вниманием, словно видел его впервые.— Значит, считаете, что я, как и Сарычев, делаю ошибку?

— Нет, я не в этом смысле...— забормотал Брылев, чувствуя, как кровь отливает от лица. «Вот и все мое сопротивление!— с горькой насмешкой над собой подумал он.— Не умею бороться!»

Он встал, стараясь не замечать пристального, тяжелого взгляда Ильи Матвеевича, и принялся одеваться.

— Куда?— спросил Корабельников.

— На станцию. Там сегодня должны тракторы опробовать после ремонта, я обещал прийти.

Илья Матвеевич проводил его равнодушно-задумчивым взглядом и остался у стола. Брылев вышел на улицу, нахлобучил поглубже шапку, чтобы не мерзли уши, и зашагал на околицу села. Звездное небо было подернуто белым туманом, обещавшим крутой мороз на ночь.

5

Трактористы сидели кружком возле переносного горна и грели руки. Два трактора, которые они обязались выпустить досрочно из ремонта, ко Дню Конституции, стояли у ворот. Работа была закончена, и если ребята еще не ушли, то только потому, что жила еще в их душах веселая ярость работы, и теперь они отдыхали, в последний раз припоминая, как все это было.

— А здорово Сергей Яковлевич тали приспособил!— сказал темнолицый, словно загорелый, тракторист. Брылев, остановившийся у ворот, знал, что тракторист черен только потому, что неделю не уходил домой, жил в котельной, возле дизеля.

— Ты тоже не промах!— засмеялся механик второй смены, которого недавно избрали парторгом.— Но похвалить товарища, да и самому похвастать хорошей работой — не грех! Все действовали славно,— тьфу, тьфу, чтоб не сглазить!— шутливо отплюнулся он через левое плечо, и все вслед за ним засмеялись.— Если взять расточку цилиндров, так ловчее тебя никто не сделает!— уже серьезно сказал парторг.— А вот новые станки привезут, тогда мы совсем как заводские станем работать! Тут тебе и техминимум, и методы Ковалева — все придет, а то до сих пор как на отшибе жили...

Он задумался, и Брылев ясно представил это житье «на отшибе». Сколько трудов стоило ему сделать работу на МТС хоть сколько-нибудь похожей на заводскую. А вот как переселят их на усадьбу... И, оборвав размышления, подошел к трактористам.

— А, Сергей Яковлевич!— приветствовал его парторг, и все живо обернулись к нему.— А мы закончили!

— Вижу, вижу. Опробовали?

— Так только, для проверки, а то вас ждали,— смущенно сказал парторг, и Брылев понял: они уже обкатали тракторы и ждали его только затем, чтобы услышать похвалу.

— Что же, приступим!— сказал он.— Поздно уже, а вам еще домой добираться! Может быть, есть какая-нибудь автомашина, развезти людей?— спросил он у парторга.

— Снегá!— равнодушно сказал чернолицый тракторист.— Мы уж пешком как-нибудь! Вот когда переедем сюда...

— Боюсь, что долго ждать придется!— нечаянно сказал Брылев. Увидев, как настороженно глядят на него трактористы, он, уже не сдерживая возмущения, объяснил:— Главный инженер говорит, что дом отдадут под квартиры администрации.

— Так!— сказал, как выстрелил, парторг, и в глазах его отразились красные угольки, пылавшие в горне.— Это он что же, один думал или вместе с вами?

— Без меня!— сухо ответил Брылев.

— Я говорил, что Сергей Яковлевич на такую пакость не способен!— горячо заявил чернолицый тракторист, и Брылев понял: ничего он не говорил, он просто выразил вот сейчас свое отношение к Корабельникову, одним взмахом отодвигая Брылева в сторону.

— Илья Матвеевич умеет устраиваться,— печально сказал один из трактористов-женихов. Впрочем, сейчас никто не признал бы в нем жениха. И даже не потому, что он был в грязной робе, а потому, что лицо его стало грустно-унылым, словно все радости для него были уже позади. Брылев взглянул на него и вдруг с обидой подумал о том, что и на этот раз его осторожно отставили в сторонку, не надеясь, что он чем-то может помочь. Вот так, осторожно, но быстро, как это сделал чернолицый тракторист. До каких же пор он будет стоять в стороне?

— Завтра на торжествѐнное заседание приедет первый секретарь райкома,— сказал он. В горле застрял какой-то комок, говорить было трудно.— Я думаю так: надо этот вопрос поднять прямо на заседании, пусть секретарь поправит наших руководителей...

— Идея!— сказал чернолицый.

— А кто выступит?— спросил жених.— Тебе придется, товарищ парторг...

Брылев вдруг почувствовал себя свободнее, легче, словно бы тяжесть, которую он нес, подхватили десятки рук и она распределилась равномерно, так что ему осталась самая малость. Он сказал:

— Зачем же сразу тяжелую артиллерию пускать? Сначала я поговорю, потом еще кто-нибудь. А уж если не подействует...

— Вам говорить не надо,— спокойно ответил чернолицый.— Там Илья Матвеевич, поди, и для вас квартирку планирует. К чему вам с ним ссориться? Мы уж как-нибудь сами...

Брылев уловил сочувственный взгляд парторга и рассердился.

— Да что я, ссориться не умею, что ли?— крикнул он.— А как же я с Сарычевым не побоялся ссориться?

— Знали бы его, так, поди, побоялись бы,— усмехнулся чернолицый.— Я слышал, он пачку бумаги исписал, на вас жалуясь. Я ведь из «Луча»,— пояснил он свою осведомленность.

— Ну и пусть пишет!— гневно сказал Брылев.— Илья Матвеевич тоже может писать! Я выступлю!

— Правильно!— вдруг сказал парторг.— Ссоры не будет. Какая же это ссора, если коллектив поправит одного? Вот мы и поправим нашего главного инженера. Начинать будете вы, Сергей Яковлевич, а уж закончит кто-нибудь из нас... Если понадобится!— со значением добавил он.

Все встали, переглядываясь и пересмеиваясь, словно дело уже было сделано. И Брылев понял: оно и верно сделало.

Надо было только решиться.

Застрелял пусковой мотор дизельного трактора, как будто от ворот пустили пулеметную очередь.

Илья Матвеевич ушел, не дождавшись конца заседания. Брылев выскочил было вслед за ним, но увидел только хвост снежной пыли, в которой таял красный фонарик автомашины.

Объясняться с Ильей Матвеевичем надо было здесь, в МТС, и немедленно. Дома с ним будет трудно говорить. А Брылев не успел сказать даже того, как он уважает и любит Илью Матвеевича и что сам он не согласен с теми резкими нападками, которые посыпались на главного инженера после выступления Брылева. Он думать не мог, что его выступление используют для такой резкой критики всей деятельности главного инженера! А ведь до чего дошло? И разъезжает-то он без толку, разве лишь для того, чтобы «отдохнуть» от МТС,— это сказал чернолицый тракторист, правда, к заседанию он отмылся и оказался красивым, румяным парнем. Парторг припомнил, что во время объезда колхозов Илья Матвеевич три дня «гостил» у Сарычева, а потом Сарычев прислал ему поросенка: «А сколько заплатил товарищ главный инженер за этого пороcя?» И Сергей вспомнил, что тоже, и с большим удовольствием, ел яичницу со свининой, которую Илья Матвеевич умел приготовлять превосходно. Нашлись и еще желающие выступить,— иные говорили уже совсем смехотворные вещи, будто бы Илья Матвеевич приехал сюда только поохотиться и уже рад вернуться обратно в город... Но Брылев совсем не предполагал возбудить такую резкую критику своими робкими словами о том, что первые дома надо строить для рабочих МТС, а уж после заботиться об администрации...

Он постоял на дворе. Метель утихла, только мороз пощелкивал в деревянных стенах сараев, словно где-то недалеко озябшие возчики похлопывали рукавица об рукавицу. Из помещения конторы, которую временно превратили в клуб, послышались звуки баяна: играли вальс,— как видно, начались танцы; никому нет дела до Брылева, никто не интересуется его душевным состоянием. А состояние это таково, что лучше домой не идти! Единственного близкого человека он обидел, а другие по-прежнему равнодушны к нему, для них он все равно чужак. И Сергей медленно пошел к селу, неяркие огни которого смешивались в темноте с низко висящими звездами.

Илья Матвеевич уже спал или притворялся, что

спит,— из-за дощатой перегородки не слышалось никакого движения. Теперь, наверно, беседы через перегородку прекратятся. Сергей торопливо разделся и улегся в холодную постель.

Когда он поднялся утром, Илья Матвеевич уже ушел. На стене в общей столовой не было ружья,— значит, гоняет зайцев. Мать Ильи Матвеевича выглядела обиженной, злой. Неужели Илья Матвеевич рассказал ей о вчерашнем? Видно, рассказал, потому что мать завтрак не подала, а сунула, как надоедливому нищему. Сергей почувствовал, что кусок не лезет в горло, и торопливо вышел из-за стола.

Ну хорошо, в селе есть столовая, он будет питаться там, хотя, говорят, в ней и грязно и готовят невкусно. Жить он перейдет к другим, много ли ему надо места? Поставить кровать да чертежную доску — единственное, что его связывало с прошлой профессией. А вот как быть с дружбой?

И как только он подумал о дружбе, ему вдруг показалось, что ее-то как раз и не было... Было почтительное преклонение перед более опытным, сильным старшим товарищем, но вот оказалось, что старший этот товарищ и не силен, и не умен, и даже не справедлив. Будь Корабельников другим да просто будь на его месте сам Сергей, разве стал бы он заводить эту ссору, путать сюда мать, не дай бог еще и жену... А может, Илья Матвеевич и не на охоту поехал, а в район, ведь ринулся же туда Сарычев?

— Где Илья Матвеевич?— неожиданно резко спросил он у старухи.

— В район поехал,— с каким-то ехидным намеком ответила та, и Сергей вдруг подумал, что и не должна была родиться дружба между ним и Ильей Матвеевичем.

Он взял стоявшие в углу лыжи, которых ни разу еще не надевал, хотя ползимы прошло, и вышел на улицу.

Кое-где уже слышалось пение подвыпивших с утра женщин,— началось свадебное гулянье. День был такой яркий, синий от снега, что хотелось прикрыть глаза. Пахло вкусным дымом — по всему селу пекли и жарили праздничные пироги, гусей, поросят, везде были распахнуты ворота, ждали гостей, только Брылева никто не ждал, никто не готовил для него праздничных блюд. Смазав лы-

жи и проверив крепления, Сергей сердито потопал по снегу и побежал за село. Он шел так торопливо, будто хотел как можно быстрее перевалить через горбатую кромку горизонта и оказаться в другом мире. Но кромка эта все отдалялась, становилась то зубчатой, когда на нее выползал далекий лес, то гладкой, когда она пролегала по массивам полей, и расстояние до нее почти не менялось. Так прошел час, другой, и вдруг Сергей понял, что заблудился.

Понял он это, оказавшись у опушки перелеска, из которого по неширокой балке вытекал незамерзший ручеек родника. Сергей огляделся кругом, но не приметил ни одного знакомого ориентира — какой-нибудь привычной, примелькавшейся колокольни без креста или силосной башни, элеватора или ветряной мельницы. Он вспомнил, сколько дорог пересек сегодня, сколько троп и лыжней миновал, и забеспокоился. Сразу захотелось и есть и пить. Конечно, заблудиться в этом населенном краю не так-то легко, стоит ему выйти на любую дорогу, встретить прохожего, как все разъяснится, встанет на место и окажется, что он где-нибудь недалеко от Прищепина, но как раз возвращаться-то ему и не хотелось! Не лучше ли почувствовать себя вот так, заблудившимся, потерянным,— кому он нужен!— и, отдохнув у этого незамерзающего, говорливого ручейка в снегу, пуститься дальше, куда глаза глядят. В первом же селе он найдет какую-нибудь чайную, закусит и может опять брести, пока ноги держат, а ночевать пустят в любой избе. Ведь у него целых два дня впереди, куда ему торопиться?

Наивные эти мысли — будто можно убежать от собственного одиночества!— понравились ему до того, что он готов был привести их в исполнение. С удовольствием предвкушая, как будет беспокоиться Илья Матвеевич, если он не вернется к вечеру, Сергей медленно съехал, тормозя палками, к ручейку, отоптал снег, снял лыжи, положил их крестом и сел на них. От ручейка несло холодом, морозным паром, пить сразу расхотелось, но сидеть вот так, слушать шум воды, наблюдать черные ее струйки, завинчивающиеся под прибрежный ледок, было приятно. Он даже забыл, что голоден, глядя на эти незамерзающие струи, которые катились, точно сама жизнь, через все морозы и снега, ничего не боясь, всему сопротивляясь...

Мысли его понемногу пришли в порядок, успокоились, и, как бывало с ним всегда в минуты относительного спокойствия, он начал думать о незаконченной своей работе. Все-таки это очень странно, как могло произойти то несоответствие между скоростями, которое так давно занимало его. Человек все ускорял средства своего передвижения. Он приручил корову и ездил на ней, это было движение три версты в час. Потом он пересел на лошадь, добившись десяти верст в час. Затем придумал смену лошадей, почтовые повозки, сделал велосипед, автомобиль, пароход, достиг, наконец, скоростей звука, стал передвигаться по тысяче километров в час, только скорость обработки полей осталась такой же, как и на заре его существования. И Сергей чертил сломленным им прутиком на склоне балки сложные формулы, в который уже раз раздумывая о плуге для скоростной пахоты. Ведь если только удвоить скорость обработки земли, чтобы тракторы делали хотя бы по десять километров в час, произойдет настоящая революция в сельском хозяйстве! Не для этого ли он поехал в МТС, где можно было на опыте проследить все изменения в почве, какие будут происходить при скоростной пахоте, поискать наилучшую форму плуга, который не разрушал бы структуру почвы, а еще, может, увеличивал бы ее плодородие. А что он успел сделать? Книги пылятся на полках, чертеж нового плуга, приколотый еще в день приезда к доске, так и не пополнился новыми расчетами и линиями. Сергей не любил делиться своей тайной мечтой... «А теперь и совсем не с кем будет говорить!» — вдруг подумал он и усмехнулся про себя. И сразу почувствовал, как замерзли ноги и как хочется есть.

Наверху балки, на проложенной им лыжне, послышался скрип нескольких пар лыж, горячее и шумное дыхание уставших людей. Сергей поднялся и увидел трех школьников-старшеклассников, которые, остановившись на краю балки, смотрели на него. Один из них махнул палками — и все трое скатились к нему, умело тормозя у воды.

— Здравствуйте,— сказал первый, долговязый подросток в короткой ватной фуфайке, в валенках, к которым самодельным креплением были подвязаны отличные лыжи.— Вы не скажете, как нам пройти на Веретью?— Он шмыгнул носом и отвернулся, чтобы неблагозвучие это не обидело Сергея. Нос у него был красный, распух-

ший,— видно, простудился парень, но не захотел отставать от товарищей.

— Не знаю, я здесь чужой,— неохотно сказал Сергей.

— Какой же вы чужой?— удивился парнишка с насморком, и двое других согласно пожали плечами.— Мы вас знаем: вы сменный механик МТС, зовут вас Сергей Яковлевич. Вчера вы здорово дали жизни Корабельникову, мне братишка рассказывал...— И вдруг закричал во весь голос:— Марья Ивановна, сюда, здесь товарищ Брылев отдыхает!

Сергей вздрогнул от этого крика, в котором слышалось чуть ли не ликование, и оглянулся. Далеко вверх по течению ручейка на край балки вышли еще полтора десятка лыжников, и среди них Брылев увидел учительницу. Она стояла в свободной позе спортсменки, опираясь на одну палку и поправляя рукой выбившиеся из-под шапочки волосы. Потом она оттолкнулась и ловко, «змейкой», съехала с откоса. Затормозив возле Брылева, она воткнула палки в снег, сняла красную рукавичку и протянула маленькую, сильную руку.

— Здравствуйте, Сергей Яковлевич,— сказала она.— Значит, это мы по вашим следам шли? А я-то думала, кто же вышел раньше нас на кросс!

— Я не на кросс. Я просто так...

— Знаю, знаю, где вам с нами, мелюзгой, возиться!— засмеялась она.— Вы человек занятой, вон даже и тут что-то изобретали.— Она краешком глаза указала на чертежи, разбросанные по снегу.— Дети,— вдруг каким-то очень деловым тоном сказала она своим лыжникам, окружившим Брылева плотной толпой,— Сергей Яковлевич работает над очень важным изобретением: он пытается создать скоростной плуг для пахоты...

Однако эта новость не произвела особого впечатления на школьников. Только кто-то недовольно сказал:

— Вы уже рассказывали. Обещали, что Сергей Яковлевич зайдет к нам на сбор и покажет чертежи, а он...

Брылев невольно выпрямился, удивленно глядя на Марию Ивановну. Девушка не обратила внимания на его взгляд. Она звонко сказала:

— Дети, Сергею Яковлевичу было некогда. Теперь, я думаю, он не откажется прийти к нам. Ремонт тракторов налажен, у него будет больше свободного времени. Ну что, попросим товарища Брылева?

Раздались глухие аплодисменты — школьники хлопали в ладоши, не снимая варежек,— и звонкие, чистые девичьи и мальчишечьи голоса, с которыми сливался и голос Марии Ивановны:

— Просим! Просим! Завтра просим!

— День пусть назначит сам Сергей Яковлевич! Завтра он не может, завтра он будет на свадьбе у Ченцова...

— На какой еще свадьбе?— пробормотал Брылев.

— Ченцов, ваш тракторист, просил меня передать вам приглашение на свадьбу,— деловито сказала Мария Ивановна.— А сегодня вы приглашены к Тетериным. Они вас по всему селу ищут...

Брылев почувствовал, что краснеет. Если бы он мог, он сейчас же убежал бы от окруживших его школьников, от серых, улыбчивых глаз учительницы, даже от своих чертежей. А Мария Ивановна, словно бы и не замечая его растерянности, спросила:

— Вы дорогу на Веретью знаете? Ну, где колхоз «Луч»?

— Мы спрашивали,— закричал парнишка с насморком.— Он тоже не знает!

— Вот и заблудились!— сердито сказала учительница.— Говорила я, что надо идти вдоль шоссе.

— У меня карта есть,— несмело сказала какая-то девочка,— только я не могу определиться...

— Помогите нам, Сергей Яковлевич,— деловито предложила учительница и подала карту Сергею.— Сегодня объявлен звездный кросс с финишем в Веретье. Мы понадеялись на прошлый летний поход: решили идти прямиком — и сбились. А опаздывать не хочется...

Сергей рассматривал карту. Это была двухверстка военных лет, со множеством карандашных пометок, вероятно оставленная здесь, в селе, после начала наступления на запад, когда были розданы новые листы. Мария Ивановна помогала определиться, называя те деревни и поселки, мимо которых они прошли во время кросса. Сергей определил азимут и нашел перелесок с ручейком, где они теперь стояли. До Веретьи было не больше восьми километров.

— Пойдемте с нами!— пригласила его учительница.— Там пообедаем — и домой. К вечеру мы должны вернуться: сегодня в клубе первый спектакль. Кстати, Сарычев утром звонил в сельсовет, просил вам передать,

что тракторы ему не понадобятся, они используют лошадей.

Школьники уже выбирались из балки на поле. Сергей нахмурил брови и взглянул на учительницу. Серые глаза ее вдруг отвердели: она ждала, что он скажет.

— Значит, вы нарочно свернули с пути и пошли по моему следу?

— А что нам оставалось? Вас искали по всему селу. Потом кто-то вспомнил, что вы ушли на лыжах. А секретарь райкома строго-настрого наказал отыскать вас. Может, вы решили вместе с Корабельниковым сбежать от нас...

— Как с Корабельниковым?

— А вот так. Чужому в селе делать нечего. Он посмотрел-посмотрел, да и решил, что пора удочки сматывать!— грубо ответила она.— Впрочем, скатертью ему дорога! Если бы не вы, он бы, может, до самого лета нам голову морочил, катался бы туда-сюда за государственный счет...

— Да ведь он-то — свой, это я — чужой...

— Странные у вас понятия, Сергей Яковлевич,— с обидой сказала девушка.— Этак вы скажете, что и я тут чужая! А вы бы спросили ребятишек, почему они за вами побежали.— И строго приказала: — Пошли, пошли, а то к финишу опоздаем...

Она шла легко и быстро, но все время оглядывалась, словно боялась, что он отстанет. Сергей не отставал.

АЛЕКСАНДР ЯШИН

Рычаги

Вечером в правлении колхоза, как всегда, горела керосиновая лампа и потрескивал батарейный радиоприемник. Передавались марши, но их почти не было слышно. За сосновым квадратным столом сидели четыре собеседника, а табачного дыму было столько, что огонек в лампе еле-еле дышал, как в часы большого собрания. Казалось, что и приемник потрескивает потому, что дыму в избе много. На столе для окурков стоял глиняный горшок, он был уже полон. Временами в горшке от брошенной цигарки вспыхивал огонь, тогда бородатый животновод Ципышев прикрывал горшок осколком настольного стекла. При этом каждый раз кто-нибудь произносил одну и ту же шутку:

— Сожжешь бороду,— коровы бояться перестанут!

На что Ципышев неизменно отвечал:

— Бояться перестанут, так, может, удоя прибавят.

И все смеялись.

Пепел с цигарки стряхивали на пол, на подоконники, а в горшок кидали только окурки.

Сидели долго, разговаривали неторопливо — обо всем понемногу и доверительно, без всяких оглядок, как старые добрые товарищи.

Сквозь полумрак на бревенчатых стенах проглядывались кое-какие случайные плакаты и лозунги, список членов колхоза с указанием по месяцам количества выработанных трудодней, обрывок старой стенной газеты и пустая, вся черная доска, разделенная белой чертой на две равные части: на одной половине мелом было написано «черная», на другой половине — «красная».

— А ведь сахар-то в сельпо на днях опять привозили!— сказал кладовщик Щукин, самый молодой из собеседников, в одежде которого замечалась уже городская школа: на нем была рубашка с галстуком, из нагрудного кармана пиджака торчали авторучка и расческа.

— Донес, что ли, кто?— лукаво спросил его третий из сидевших за столом, человек без левой руки, полный, рыхловатый, в затасканном, чуть ли еще не фронтовом брезентовом плаще внакидку.

— Никто не доносил, а сам Микола с бабой послал мне на дом килограмма два, сказал — после рассчитаемся.

— И ты взял?

— Взял. Не брать, так всю жизнь без сахару просидишь. И ты бы взял.

— Ну, тебе-то, Петр Кузьмич, он не пошлет!— засмеялся в бороду Ципышев, глянув на однорукого сбоку, с прищуркой.— Злой он на тебя. А Серега ему свой человек,— обернулся он к Щукину.— Серега его не снимал с кладовой, хоть и сел на его место.

Сергей Щукин совсем недавно был рядовым колхозником. Вступив в партию с месяц назад, он начал поговаривать о том, что все командные высоты в колхозе должны занимать коммунисты, а что ему теперь просто неудобно не продвигаться по должности. С ним согласились. Вспомнили, что колхозный кладовщик имеет уже несколько замечаний за воровство, и поставили в кладовую Щукина. На очередном общем собрании никто против этого решения возражать не стал. Щукин купил себе авторучку и стал носить галстук. А предшественник его ушел на работу в сельпо. О нем сейчас и шел разговор.

— Взял-то я взял,— сказал Щукин после некоторого раздумья,— но где же все-таки правда? Куда уходит сахар, где мыло, где все?— После этих слов он достал расческу и стал приглаживать густые, молодые непокорные волосы.

Тогда дал о себе знать и четвертый собеседник:

— Зачем тебе правда, ты сейчас — кладовщик?

Четвёртый был человеком средних лет, но уже с сединой, бледный и, по-видимому, не очень здоровый. Он курил беспрерывно, больше всех и много кашлял. Когда протягивал руку к горшку, чтобы выкинуть обжигавший пальцы окурок, видны были его большие толстые ногти и под ногтями — земля, не грязь, а земля. Это был бригадир полеводческой бригады Иван Коноплев. Слыл он мужиком справедливым, но злым, говорил редко, но едко. На резкие слова его обычно никто не обижался, видимо, люди не чувствовали в них нелюбви к себе. Не обиделся и Щукин.

А однорукий, которого все называли по имени и отчеству, Петром Кузьмичом, возразил:

— Ну, правда — она нужна. На ней все держимся. Только я, мужики, чего-то опять не понимаю. Не могу понять, что у нас в районе делается? Вот ведь сказали — планируйте снизу, пусть колхоз решает, что ему выгодно сеять, что нет. А план не утверждают. Третий раз вернули для поправок. Видно, собрали все колхозные планы, сбалансировали, и вышло — с районным планом не сходятся. А районный план дают сверху. Тут кумекать много тоже нельзя. Ну, и нашла коса на камень. Искры летят, а толку нет. От нашего плана опять ничего не осталось. Вот тебе и правда! Не верят нам.

— Правду у нас в районе сажают только в почетные президиумы, чтобы не обижалась да помалкивала,— сказал бледный Коноплев и бросил окурок в горшок.

Ввернул свое слово и Щукин:

— Правда нужна только для собраний, по праздникам, как критика и самокритика. К делу она неприменима,— так, что ли, выходит?

На лице Ципышева вдруг промелькнула настороженность и какое-то чувство неловкости — казалось, ему перестал нравиться этот доверительный разговор.

— Ладно, руби, да знай, куда щепки летят,— жестко заметил он Щукину. И тут же изменил тон, словно пожалел о своей грубости.— Правда, брат, она есть правда... А вот тебя посади в почетный президиум, ты и перестанешь землю видеть,— сказал и засмеялся, раздувая усы и бороду.

Борода у Ципышева росла не только на подбородке, но и на щеках и за ушами, сливалась с густыми рыжеватыми бровями, нависала на глаза, и когда Ципышев смеялся — смеялось все его лицо, вся борода, а глаза поблескивали откуда-то из глубины волос.

— Был я на днях в райкоме, у самого,— продолжал Петр Кузьмич, называя так первого секретаря райкома.— Что же, говорю, вы с нами делаете? Не согласятся колхозники третий раз план изменять, обидятся. Нам лен нужен. Под лен и лучшую землю отводить следует. А опыты у нас уже были и с кроликами и с травопольем. Сколько людей зря извели. Хлеба не стало — государству же во вред. Дайте, говорю, хоть десять, ну двадцать гектар на первый раз, а не сто, не тысячу. Привыкнем — сами прибавим, сами будем просить больше. Давайте не сразу...

«Нет, говорит, сразу. Надо, говорит, план перевыполнить, надо активно внедрять новое». Активно-то, говорю, активно, да ведь у нас север, и народу мало, и земля — она своего требует. Людей убеждать надо. Ленин указывал — активно убеждать надо. А он говорит: «Вот ты и убеждай! Мы тебя раньше убеждали, когда колхозы организовывали, а сейчас ты убеждай других, проводи партийную линию. Вы, говорит, теперь наши рычаги в деревне». Говорит, а сам руками разводит, видно, ему тоже не все сладко. А гибкости в нем нет, не понимает он, чего хочет партия, боится понять.

— Накаленная атмосфера! — как бы пояснил его слова Щукин и снова потянулся за расческой.

— И не будет сладко. Он все равно долго здесь не усидит,— сказал Ципышев.— Не так себя поставил, строго очень. Людей не слушает, все сам решает. Люди для него — только рычаги. А я так понимаю, ребята, что это и есть бюрократизм. Вот, скажем, приходим мы к нему на собрание. Ну, поговори, как человек, по душам. Нет, не может без строгости, обязательно строгость соблюдает. Как оглядит всех сверху да буркнет: «Начнем, товарищи! Все в сборе?» — Ну, душа в пятки уходит, сидим, ждем выволочки... Скажи прямо, если что неладно — народ горы своротит за одно прямое слово. Нет, не может.

— Он думает, что партия авторитет потеряет, если он с народом будет разговаривать, как человек, по-простому. Ведь знает, что получаем в колхозе по сто граммов на трудодень, а твердит одно: с каждым годом растет стоимость трудодня и увеличивается благосостояние. Коров в нашем колхозе не стало, а он: с каждым годом растет и крепнет колхозное животноводство. Скажи: мол, живете вы неважно потому-то и потому-то... но будем жить лучше. Скажи — и люди охотнее за работу возьмутся.

— Накаленная атмосфера! — снова заключил Щукин горячие слова Петра Кузьмича.

Иван Коноплев докуривал новую цигарку, нервничал и все порывался сказать что-то — видно, резкое и едкое, но тяжелый астматический кашель вдруг схватил его и вывел из-за стола. У порога Коноплев поднял веник и долго плевал в угол. А животновод Ципышев с сочувствием выговаривал ему:

— Опять, наверно, табак сменил? Я тебе давно наказывал — кури одну махорку, да корешковую, легче будет.

Немного откашлявшись, но еще не разгибаясь, Коноплев поднял голову и сказал с хрипотцой:

— Начальники наши районные с народом разговаривать разучились, стыдятся: сами все понимают, а прыгнуть боязно. Где уж тут убеждать. На рычаги надеются. Дома заколоченные в деревне видят, а сказать об этом вслух не хотят. Только и заботы, чтобы в сводках все цифры были круглые. А как люди, что люди, с чем они остались?..— И Коноплев опять мучительно закашлялся.

— Ладно, ладно, помолчи, а то вся душа наружу выскочит!— Ципышев встал из-за стола и пошел к порогу, к Коноплеву.— Вот погоди, Иван, мы тебе путевку через райком выхлопочем. Съездишь к морю за воздухом, заодно посмотришь, как люди там живут, поучишься и нам расскажешь. Смелости всем добавишь.

Коноплев сделал навстречу ему нетерпеливое движение рукой,— сиди, дескать, зачем лезешь, уйди!— но сказать из-за кашля ничего не смог. Ципышев вернулся к столу.

— Женка ему такую путевку пропишет, что и родных не узнает,— сказал Щукин.— Она у него наблюдательная: кашляй сколько хочешь, кури, пей, только чтобы от нее ни на шаг.

— Воздух у нас свой не хуже морского,— мечтательно заметил Петр Кузьмич.— Воздух-то есть! Раньше, бывало, лечиться от кашля ходили на смолокурни или живицу гнать. В сосняке поживет человек недели три-четыре, пособирает эту живицу из коробочек в бочки — глядишь, и деньги заработает и дыханье легче станет. Закупают ли нынче где эту живицу? Что-то я не слыхал. Терпентин из нее какой-то делали да канифоль для скрипачей. Сейчас, поди, без канифоли играют.

— Пластмассой заменили. Вот!— Щукин показал свою расческу.— Она тоже из пластмассы.

На расческу Щукина никто не взглянул.

— А лампа у нас совсем гаснет, ребята,— поднял кверху свою бороду Ципышев.

От порога отозвался Коноплев:

— Погаснешь без воздуху. Лампе тоже воздух нужен.

Коноплев последний раз пошумел сухим веником и вернулся к столу. Лицо у него было бледное, дыхание тяжелое.

— Я так понимаю наши дела,— сказал он.— Пока нет доверия к самому рядовому мужику в колхозе, не будет и настоящих порядков, еще хлебнем горя немало.

Пишут у нас: появился новый человек. Верно,— появился! Колхоз переделал крестьянина. Верно,— переделал. Мужик уже не тот стал. Хорошо! Так этому мужику доверять надо. У него тоже ум есть.

— Не волк съел,— лукаво подтвердил Ципышев.

— Вот! И нас не только учить — и слушать надо. А то все сверху да сверху. Планы спускали сверху, председателей сверху, урожайность сверху. Убеждать-то некогда, да и нужды нет, так оно легче. Только спускай, знай, да рекомендуй. Культурную работу свернули — хлопотно, клубы да читальни только в отчетах и действуют, лекции и доклады проводить некому. Остались кампании по разным заготовкам да сборам — пятидневки, декадники, месячники...

Коноплев передохнул, и Петр Кузьмич воспользовался этим, вставил слово:

— Бывает и так: клин не лезет, а дерево виновато, говорят — дерево с гнильцой. Поди-ка не согласись в районе. Они тебе дают совет, рекомендацию, а это не совет, а приказ. Не выполнишь — значит, вожжи распустил. Колхозники не соглашаются — значит, политический провал.

— А почему — провал?!— почти крикнул Коноплев.— Разве мы не за одно дело болеем, разве у нас интересы разные?

— Ну, райком тоже, брат, по головке не гладят, коли что. И с них требуется, дай боже.

— Дай боже, дай боже!— горячился Коноплев.— Рядом, в Груздихинском районе, другие порядки. Шурин приезжал на днях, рассказывает: там у председателей поджилки не дрожат, когда начальство их в район вызывает. Нет этого страха. Секретарь в колхоз приходит запросто, разговаривает с людьми не по бумажке.

На полке в переднем углу слышнее заработал радиоприемник. Он все так же потрескивал и шипел, словно выдыхающийся пенный огнетушитель, но теперь сквозь шипенье и потрескивание пробивалась не музыка, а окающая с запинками речь. Передавались письма с целинных земель. Какой-то паренек рассказывал о своих трудовых успехах на Алтае. Собеседники прислушались.

«Нас всех зовут москвичами, хотя мы из разных городов. Держимся дружно, в обиду себя никому не даем. Урожай в прошлом году выдался небывалый. В пшеницу войдешь, словно в камыши. Даже старики не помнят

таких хлебов. Для ссыпки не хватало мест, тяжело было...»

Паренек обращался к своей дорогой маме, но так, будто никогда раньше не произносил этого имени. Он явно робел перед микрофоном.

— Ты смотри,— сказал Петр Кузьмич,— и там свои беды: хлеб ссыпать некуда.— Он ткнул рукой в сторону радиоприемника, и брезентовый плащ соскользнул с его левого безрукого плеча.

— Не всем же на Алтай ехать!— буркнул Коноплев и, закашлявшись снова, поднялся из-за стола, взял обеими руками горшок с окурками, пошел к порогу. Там он откинул ногой веник и вывалил окурки в угол.

И тогда обнаружилось, что в избе во все время этого разговора присутствовал еще один человек. Из-за широкой русской печи раздался повелительный старушечий окрик:

— Куда сыплешь, дохлой? Не тебе подметать. Пол только вымыла, опять запаскудили весь.

От неожиданности мужики вздрогнули и переглянулись.

— Ты все еще тут, Марфа? Чего тебе надо?

— Чего надо... За вами слежу! Подпалите контору, а меня на суд потянут. Метла сухая, вдруг — искра, не приведи бог...

— Иди-ка ты домой.

— Когда надо будет — уйду.

Разговор друзей оборвался, словно они почувствовали себя в чем-то друг перед другом виноватыми.

На мгновение стала слышна улица, шум ветра, далекая девичья песня.

Сергей Щукин выключил приемник, голоса целинников оборвались.

Снова стали отрывать клочки газеты, понемногу вытягивая ее из-под разбитого стекла, и скручивать цигарки и козьи ножки. Долго молчали, курили... А когда начали опять перебрасываться короткими фразами, это были уже пустые фразы — ни о чем и ни для кого. Про погоду — дрянная стоит погодка, в такую погоду кости ломит; про газеты — они ведь разные бывают, из другой свернешь цигарку, так горечь одна, и табаком не пахнет; потом что-то про вчерашний день — сходить куда-то надо было, да не сходил; потом про завтрашний день — надо бы встать пораньше, в кои-то веки баба собирается блинами накормить... Пустые фразы,— но произносили их уже приглушенно, тихо, то и дело оглядываясь по сторонам да

на печку, словно за ней скрывалась не Марфа, конторская уборщица, а какой-то посторонний, непонятный человек, которого следует остерегаться. Ципышев посерьезнел, больше не разговаривал, не улыбался, только раза три спросил, так, не обращаясь ни к кому:

— Что это учительница замешкалась? Начинать бы надо партийное собрание.

Один Щукин вдруг повел себя несколько странно; ему не сиделось на месте, табуретка под ним поскрипывала, глаза — молодые, озорные, с хитринкой — блестели и смотрели на всех с вызовом. Казалось, Щукин вдруг увидел что-то такое, чего никто другой еще не видел, и потому почувствовал свое превосходство над другими. Наконец, он не выдержал и громко захохотал.

— Ох, и напугала же нас проклятая баба!— хохоча, говорил Щукин.

Петр Кузьмич и Коноплев переглянулись и тоже захохотали.

— И верно — дьяволица! Вдруг из-за печки как рявкнет. Ну, думаю...— Иван Коноплев с трудом закончил фразу:— Ну, думаю, сам приехал, застукал нас...

— Перепугались, как мальчишки на чужом горохе.

Смех разрядил напряженность и вернул людям их нормальное самочувствие.

— И чего мы боимся, мужики?— раздумчиво и немного грустно произнес вдруг Петр Кузьмич:— Ведь самих себя уже боимся!

Но Ципышев не улыбнулся и на этот раз. Он словно не заметил, что заливались и Коноплев и Петр Кузьмич, а только на Сергея Щукина взглянул строго, как старший.

— Молод ты еще, чтобы над этим смеяться! Поживи с наше...

Но Щукин уже не унимался. К тому же и Петр Кузьмич и Коноплев были явно на его стороне. Они оживленно подмаргивали ему и продолжали смеяться.

— Вот так и боимся!— сказал Коноплев.

Марфа за печкой молчала.

В контору ввалились два паренька комсомольского возраста.

— Вы зачем?— повернулся к ним Ципышев всем телом.

— Радио хотим послушать.

— Нельзя. У нас сейчас партсобрание будет.

— А нам куда? Тут нас много.

— Куда хотите.

Сказав это, Ципышев оглянулся на своих друзей, словно хотел узнать, одобряют ли они его поведение.

Петр Кузьмич не одобрил.

— Вот что, молодцы,— сказал он, обращаясь к ребятам.— Мы тут провернем партсобрание, поговорим, а потом уж вы занимайте позиции.

Наконец, пришла и учительница, Акулина Семеновна,— молодая, низкорослая, почти девочка. Она устало распутала, сняла с головы серый шерстяной платок и ткнулась в уголок под деревянную полку с приемником. С ее приходом немного оживился и Ципышев. Но это его оживление выразилось в том, что он преувеличенно строго, по-начальнически заговорил с учительницей:

— Ты что это, Акулина Семеновна, всех ждать заставляешь?

Акулина Семеновна виновато посмотрела на Ципышева, на Петра Кузьмича, потом на горшок с окурками, на лампу и опустила глаза.

— Ну... задержалась... в школе. Вот, Петр Кузьмич,— обратилась она к однорукому,— я бы хотела до начала собрания решить вопрос. В школе дров нет...

— О делах потом,— оборвал ее Ципышев,— сейчас собрание проводить надо. Райком давно требует, чтобы в месяц два собрания было, а мы и одного сговориться запротоколировать не можем. Как отчитываться будем?

Иван Коноплев при этом крякнул, и Ципышев опять на какое-то мгновение словно бы почувствовал неловкость, неуверенность в себе и робко оглянулся вокруг, будто просил извинения за свои слова. Но все промолчали. Тогда голос Ципышева окончательно приобрел твердость и властность. Что произошло? Борода его расправилась, удлинилась, глаза посуровели, в них исчез живой огонек, который поблескивал в минуты простой дружеской беседы. К уборщице Марфе Ципышев обратился уже тоном приказа:

— Ты, Марфа, выйди! Мы тут партийное собрание проведем. Говорить будем.

И Марфа словно почувствовала происшедшую перемену,— она не ослушалась, не заворчала.

— Говорите, говорите. Разве я не понимаю. Выйду.

Когда за притихшей Марфой тихо закрылась дверь, Ципышев встал и произнес те самые слова, которые в подобных случаях произносил секретарь райкома партии,

и даже тем же сухим строгим и словно бы заговорщическим голосом, каким говорил перед началом собраний секретарь райкома:

— Начнем, товарищи! Все в сборе?

Сказал он это и будто щелкнул выключателем какого-то чудодейственного механизма: все в избе начало преображаться до неузнаваемости — люди, и вещи, и, кажется, даже воздух.

Щукин и Коноплев бесшумно отодвинулись от стола. Петр Кузьмич остался сидеть, где сидел, только подобрал наполовину свалившийся с плеч брезентовый плащ и положил его в сторону, на лавку. Учительница Акулина Семеновна еще больше втянулась в угол под радиоприемник. Лица у всех стали сосредоточенными, напряженными и скучными, будто люди приготовились к чему-то очень давно знакомому, но все же торжественному и важному. Все земное, естественное исчезло, действие перенеслось в другой мир, в обстановку сложную и не совсем еще привычную и понятную для этих простых, сердечных людей.

— Все в сборе? — повторил Ципышев, оглядывая присутствующих, словно их было по крайней мере не один десяток.

А было их всего сейчас, как мы уже знаем, всего-навсего пятеро. Животновод Степан Ципышев оказался секретарем парторганизации. В секретари его избрали недавно по рекомендации райкома. Польщенный этим, Ципышев старался как можно лучше исполнять свою роль и, будучи человеком неискушенным, невольно начал во всем подражать «хозяину района». Правда, иногда он сам иронизировал над собою, но всякое указание сверху исполнял все же с таким рвением и с такой буквальностью,— все из робости допустить какую-нибудь ошибку,— что порой не хуже было бы, если бы не всякая спица ставилась им в колесницу. Присутствовавший при избрании Ципышева зональный инструктор райкома пошутил, что у товарища Ципышева есть немало достоинств, но есть и недостатки и главным его недостатком является борода. Ципышев принял эту шутку всерьез, как указание, и решил про себя, что бороду и все прочие волосы с лица обязательно снимет, но пока для этого не было подходящего случая.

Петр Кузьмич Кудрявцев, однорукий, оказался председателем колхоза. Иван Коноплев, как уже упомина-

лось,— бригадиром-полеводом. Сергей Щукин — кладовщиком. С тех пор как Щукина поставили кладовщиком, а его предшественник снялся с учета в связи с переходом на работу в сельпо, рядовых колхозников в парторганизации не было. Акулина Семеновна — та уж совсем из интеллигенции, хотя была своя, односельчанка, и во всем зависела от правления колхоза.

— Первое слово по ходу дня предоставляю председателю нашего колхоза товарищу Петру Кузьмичу.

Кудрявцев Петр Кузьмич встал.

Ципышев сел.

Партийное собрание началось.

И началось то самое, о чем с такой откровенностью и проницательностью только что говорили между собой члены партийной организации, в том числе и сам секретарь ее, поносся казенщину, бюрократизм, буквоедство в делах и в речах.

— Товарищи!— сказал председатель колхоза.— Райком и райисполком не утвердили нашего производственного плана. Я считаю, что мы кое-что не предусмотрели и пустили на самотек. Это не к лицу нам. Мы не провели разъяснительной работы с массой и не убедили ее. А людей убеждать надо, товарищи. Мы с вами являемся рычагами партии в колхозной деревне — на это нам указали в райкоме и райисполкоме...

Учительница осторожными, крадущимися движениями рук, чтобы никому не помешать, снова повязала голову платком; лица ее не стало видно, и о чем она сейчас думала, никто бы сказать не смог.

А Щукин опять заулыбался. Он достал из кармана вечное перо, повертел его в руках, затем вынул расческу, посмотрел сквозь нее на лампу, тихонько дунул на зубья и положил расческу обратно, причесываться не стал. Лицо его расплывалось все шире и шире, а в глазах засветился лукавый издевательский огонек. Казалось, вот-вот Щукин снова расхохочется. Но он не расхохотался и только толкнул в бок Коноплева и шепнул ему:

— Видел, что делается? Узнаешь ты его сейчас?

Коноплев тоже улыбнулся, но криво, недобро.

— Ладно уж, не мешай ему выговориться. Так надо. Петр Кузьмич сейчас в своей должности. Как в районе, так и у нас. Каков поп, таков и приход.

— А правда как?

— Правда — она свое возьмет. Она, брат, скоро дойдет и до нас, она прогремит.

— До точки ведь докатимся.

— Не докатимся.

И Коноплев потянулся к столу, придвинул к себе горшок и курил, курил... Кашлять он не решался, крепился, хотя в груди все клокотало и свистело.

Кудрявцев Петр Кузьмич говорил недолго. Суть его доклада сводилась к тому, что боеспособность партийной организации район поставит под сомнение, если план севооборота колхоза на следующий год не будет исправлен немедленно и безоговорочно согласно указаниям райкома и райисполкома. С этим согласились все выступавшие в прениях. Иначе было нельзя.

А в прениях выступали и Акулина Семеновна, и Щукин, и Коноплев. Расхождений во мнениях не обнаружилось, как не было их и во время дружеской беседы до начала партийного собрания; правда, сейчас согласованность и единодушие проявлялись несколько в ином, можно сказать, в обратном значении.

Ципышев был удовлетворен сплоченностью коммунистов и по второму вопросу выступал сам. Как-то зональный секретарь райкома партии обратил внимание на то, что в колхозе не развернута политико-воспитательная работа, и о соответствующих фактах сообщил докладной запиской первому секретарю райкома.

— Лучших мы, товарищи, не поощряем,— говорил в связи с этим Ципышев,— отсталых не наказываем, соревнования нет. Посмотрите хотя бы на нашу красно-черную доску — картина ясная. Надо возглавить массы, товарищи! Думаю так: наметить для премирования несколько объектов, для этого на каждом объекте подобрать одного-двух человек... А кое-кого штрафнуть, чтобы на обе стороны правильно было... В райкоме нас одобрят...

Собрание единогласно постановило выделить пять человек на премию, трех на штраф. Разговор возник только о том, на каких объектах нужно искать людей для поощрения, на каких — для наказания.

Ни одной резолюции написать не успели,— вернулась Марфа, чтобы прибрать и запереть контору. Петр Кузьмич предложил составление резолюций поручить секретарю.

— Ты напиши знаешь как,— шептал он, довольный, что собрание подошло к концу:— «В обстановке высо-

кого трудового подъема по всему колхозу развертывается...»

— «По всей стране...» — подсказал Щукин.

Домой собрались быстро, и похоже, что у всех на душе было ощущение исполненной обязанности и в то же время неловкости, недовольства собой. А на крыльце уже застучали сапоги, в дверях появилась молодежь.

— Вовремя мы подошли?— спросил один из тех двух пареньков, которые уже заходили в контору.

— Вовремя!— ответил Петр Кузьмич.— Самое время. Заходите, ребята, все.

В избу ворвался прохладный воздух с улицы. Огонек в лампе ожил, задвигались табуретки. Открыли окно.

— Ну и дыму у вас!— шумели девушки.

Акулина Семеновна с появлением молодежи выпрямилась, сбросила с головы платок. Это были люди ее возраста, с ними она чувствовала себя свободнее. Заходил кругами и Сергей Щукин — затянул потуже галстук и уже не покидал девушек.

Включенный приемник неожиданно заговорил громко и чисто. Передавались материалы о подготовке к двадцатому партийному съезду. Это сообщение прослушали все.

Петр Кузьмич, словно подобрев, перед уходом сказал Акулине Семеновне:

— Дрова будут, ты не беспокойся, распоряжусь.

А Ципышев подошел к Сергею Щукину и сжал ему руку повыше локтя:

— Останешься тут?

— Остаюсь.

— Ну, следи, чтобы ничего такого...

Когда председатель колхоза Кудрявцев и полевод Иван Коноплев шли из конторы по темной грязной улице, возобновился разговор о жизни, о быте, о работе — тот самый, который шел до собрания.

— Теперь что двадцатый съезд скажет!— то и дело повторяли они. И снова это были чистые, сердечные, прямые люди, люди, а не рычаги.

ФЕДОР АБРАМОВ

Вокруг да около

Памяти брата Михаила,
рядового колхозника

Первый звонок:

— *Ананий Егорович? Привет, привет. Ну чем порадуешь? Активность, говоришь, большая? Все на пожни выехали? Хорошо, хорошо. А как с силосом? Разворачиваешься? Давай, давай.*

Второй звонок:

— *Силоса в сводке не вижу. Твой колхоз весь район назад тянет. Что? Погода сухая — на сено нажимаешь? Нажимай, нажимай. Но имей в виду: за недооценку сочных кормов райком по головке не погладит. Уж кому-кому, а тебе-то эту политграмоту надо бы знать.*

Да, районную политграмоту он знает (слава богу, тридцать лет без мала тянул лямку районщика!): силос по сводке не должен отставать от сена. Но, черт побери, положено или нет хоть изредка и колхозникам шевелить мозгами? А колхозники на общем собрании решили: с силосом пообождать. Силос и в сырую погоду взять можно, а сено не возьмешь.

Третий звонок:

— *Товарищ Мысовский? (Обращение, не предвещающее ничего доброго.) Как прикажешь расценивать твое упрямство? Саботаж? Или головотяпское непонимание основной хозяйственной задачи?*

— *Да в конце-то концов,— не выдержал Ананий Егорович,— кто в колхозе хозяин? Партия предоставила свободу колхозам, а вы опять палки в колеса...*

И вот решение:

«1. За политическую недооценку силоса как основы кормовой базы колхозного животноводства председателю колхоза «Новая жизнь» коммунисту т. Мысовскому А. Е. объявить строгий выговор.

2. Обязать т. Мысовского в пятидневный срок ликвидировать нетерпимое отставание колхоза «Новая жизнь» с заготовкой сочных кормов».

I

«Хлип-чав, хлип-чав, хлип-чав...»

Это под ногами, а сверху все льет и льет. И так две недели подряд.

У Анания Егоровича болели зубы, и он шел, подняв воротник плаща и держась рукой за правую щеку. Клавдия Нехорошкова, бригадир зареченской бригады, шагала впереди. Длинный, забрызганный грязью дождевик колом стоял на ней.

У озерины они остановились.

— Значит, так,— сказал Ананий Егорович, повторяя то, что говорил ей с полчаса назад в конторе,— переправишь за реку трактор и силос вози трактором.

— Понятно,— сказала Клавдия низким, простуженным голосом.

Она вытерла красное белобровое лицо, шумно, как лошадь, отряхнулась и пошла направо, в обход озерины, туда, где дорога сворачивала на перевоз.

Ананий Егорович стал искать брод.

И вот он стоит на лугу. Стоит как на пытке. Глухо шуршит, стекая по плащу, дождь, мокнет затекшая рука, прижатая к щеке, а кругом, куда ни глянешь,— *сенная погибель.* Сорок пять гектаров сена гниет на лугах под деревней да еще восемьдесят — по дальним речкам.

Он перевернул сапогом сенной пласт — тяжелый бражный дух, прель навоза,— посмотрел на небо. Ни единого просвета не было в низких, набухших водой облаках. Да, еще дня два — и прощай сено. Полный разор колхозу...

Нет, он не оправдывал себя. Это он, он отдал распоряжение снять людей с сенокоса, когда еще стояла сухая погода. А надо было стоять на своем. Надо было ехать в город, в межрайонное управление, драться за правду — не один же райком стоит над тобой! Но, с другой стороны, и колхознички хороши. Они-то о чем думают? Раз с сеном завалились, казалось бы, ясно: жми вовсю на силос — погода тут ни при чем. Так нет, уперлись, как тупые бараны — хоть на веревке тащи. Вот и сегодня на поле, с ко-

торого возили горох (он давно, еще с горы, заметил это), мокнут одни доярки.

— Ананий Егорович! Ананий Егорович! — разноголосо закричали доярки, заметив его.

Он помахал им рукой, прибавил шагу. На сердце у него немного потеплело. Вот уж с кем если он и находит общий язык, так это с доярками. Семь молоденьких девчонок, недавно поднявшихся со школьной скамьи, а на них по существу держится весь колхоз. Каждая копейка в колхозе выдаивается их руками.

Доярки — пожалуй, самая большая трудность, с которой он столкнулся, став председателем. Пожилые колхозницы, которые вынесли на себе все тяготы послевоенного лихолетья, сошли на нет: у одной руки разворочены ревматизмом, у другой — грыжа, у третьей — еще что-нибудь. Да и как с полуграмотными бабами, которые умеют только по старинке валить сено скотине, осуществить крутой подъем хозяйства? Вот и пришлось уламывать старшеклассниц — неделями, месяцами. Если сама девушка согласна, мать на дыбы. Как? Моя дочь да с навозом валандаться? Для этого мы с мужиком ее учили, жилы из себя тянули?

Но и после того как девушки начали работать, сколько же горя пришлось хлебнуть с ними! Подоить коров, убрать навоз, съездить на луг за подкормкой — это они пожалуйста. А вот, скажем, корову вести к быку... Валя Постникова, беленькая, голубоглазая девчонка, второй год работает на скотном дворе, и сколько ни говори, ни доказывай, что яловая корова — бич для колхоза,— бесполезно. Ананий Егорович возмущался: чему у нас учат в школе? Для кого готовят этих кисейных барышень? Но в то же время где-то в душе он понимал и сочувствовал этой робкой стыдливости.

Девушки окружили его со всех сторон, едва он ступил на поле,— мокрые, улыбающиеся, одетые на редкость пестро: кто в цветастой непромокаемой накидке, кто в ватнике, кто в лыжных ярких штанах, а Нюра Яковлева — та даже в одной вязаной кофточке. У Нюры была высокая, красивая грудь, и, надо полагать, это обстоятельство имело немаловажное значение в выборе одежды.

Хотя девчата встретили его улыбками, но заговорили возмущенно:

— Где люди?

— Неужели только дояркам силос надо?

— Мы не железные за всех отдуваться!

Ананий Егорович отшучивался — самое поганое дело — это играть бодрячка, когда надо кричать караул! — а потом, услыхав тарахтение на лугу, переключил внимание девушек на машину.

Васька Уледев, высунув горбоносую разбойничью рожу из кабины, задним ходом въехал на поле.

— Все в порядке,— отрапортовал он, выскакивая из машины.— Чугуев у ямы с тремя бабами.

— А Якова почему нет?

— Яшка сидит в ручье. Тормоза отказали.

Уледев говорил в сторону. Дегтярные шальные глаза его на выкате подозрительно блестели.

— Ты что, с утра прикладывался?

Васька нахмурился, сдвинул с затылка красный, перепачканный солидолом берет, но врать он не умел:

— Только наркомовскую. Сотнягу по-теперешнему.

— Вот что, Уледев. Если еще замечу, уволю. Последний раз предупреждаю.

— Ну, Ананий Егорович, на войне сто грамм разрешалось, а тут... И на погоду скидка нужна. Ежели я из строя выйду...

Ананий Егорович не стал слушать. Девушки уже навьючивали машину. Он взял свободные вилы-тройчатку, принялся помогать им. Горох был тяжелый, лопушистый. С поднятой охапки потоками стекала вода, попадала за воротник. Время от времени он подбадривал девушек:

— Так, так, девчата! Хорошо!..

— Давай, давай, девахи! Веселей! — покрикивал, вторя ему, Васька.— Женихи из деревни смотрят.

Кто-то накрыл его сзади мокрой охапкой гороха. Васька закричал благим матом, забегал по полю. Но это была шутка, и все кончилось смехом.

Машину навьючили быстро, а потом, упираясь руками в борта кузова, помогали ей выбраться на луг: колеса буксовали, вязли до осей.

Якова, второго шофера, все еще не было. Застрял, видно, основательно. И колхозники не спешили на поле. Высокий кустистый угор, на котором горбилась деревня, то тут, то там курился белыми дымками. Пускай гибнет сено, пускай пропадает горох, а мы баню топим. Середи бела дня.

Девушки в ожидании машины сбились на твердой обо-

чине поля. Нюра Яковлева, зябко поводя плечиком, начала стряхивать со своей красивой кофточки налипшую зелень.

— Иди, Нюрка, ко мне под плащ. Замерзнешь,— сказала Эльза, бригадир доярок.

— Вот еще! Сама-то ты замерзла.

Молодец девка! Нечего хныкать. Да, удивительно, как растет молодое. Давно ли еще мать этой самой Нюры жалостливо выговаривала ему: «Какая же она скотница? Разве таскать ей ведра с водой? Посмотри, у ней ведь и грудей-то еще нету». А сейчас дивчина хоть куда. Крепкая, белозубая, на тугих смуглых щеках ямочки. Только вот надолго ли задержится она в колхозе? Таких быстро прибирают к рукам. Хорошо, если выйдет замуж за своего, деревенского. А если кто подхватит со стороны? Тогда снова придется искать доярку.

Девушки запели какую-то новую, незнакомую Ананию Егоровичу песню. Про летчика Ваню и про Марусю-изменщицу. Но песня не разгорелась. Дождь погасил ее.

Еще нагрузили две машины.

Ананий Егорович в тяжком раздумье смотрел на деревню. Сейчас уже по всему косогору тянулся дым. Вот народ! Попробуй с таким колхоз поднять. А бригадиры? Куда к чертям провалились бригадиры?

Из заречья порывами налетал ветер. Мокрая ядовито-голубая накидка, которой прикрылись сверху доярки, с шумом хлопала над их головами.

— Что, девчата? Не замерзли?

Глупейший вопрос! Зачем же спрашивать, когда он сам продрог до костей!

В конце концов он махнул рукой: по домам. Можно было, конечно, еще машины две нагрузить до обеда, но две машины дела не решают, а доярок можно простудить.

И вот — опять он один на один со своей бедой. Мокнет в валках горох на поле, гниет сено на лугах...

Подумав, он пошел к реке. В зареченской бригаде, которой правила Клавдия Нехорошкова, он не был дней десять, и если лодка на этой стороне, то сейчас самое время заглянуть туда.

Лодка была на другой стороне.

От лодки к крайнему домику на отшибе проторена тропа. Это тропа Клавдии, или Клавкина тропка, как на-

зывают ее в колхозе. Тропа торная, пробитая в желтой насыпи песков, прямая, как сама Клавдия.

Девятнадцать лет топчет Клавдия свою тропу. Глянешь рано утром на заречье — солнышко только-только продирает глаза, а на песчаной косе уже маячит женщина. Высокая, величественная, как та баба-великанша, о которой говорится в сказке, и белый плат словно парус. А если непогодь, ветер-зверюга, прижимающий все живое к земле, тогда Клавдия похожа на медведицу, выгнанную из логова.

И зимой она не заставляет себя ждать. Что бы ни было на дворе — трескучий мороз, метель беспросветная, из-за которой зареченцы по неделям не вылезают в деревню, а Клавдия на лыжи — и опять мнет свою тропу. Иной раз ввалится в правление — глыба снега, места живого нет, и только голос простуженный вдруг бухнет как со дна колодца: «Какой наряд, председатель?»

И все-таки Клавдию, наверно, раз десять снимали с бригадиров, да она и сейчас официально значилась «врио». За плохую работу? За нераспорядительность? Как раз наоборот: зареченская бригада всегда первая по показателям, а о самой Клавдии и говорить нечего — она и с людьми ладит, и любую мужскую работу делает не хуже мужика, а при крайней нужде даже на трактор сядет. Нет, не за работу снимали Клавдию, а за эту самую тропу, по которой она шагала не только в колхозную контору, а и еще кое-куда. Первая работница по колхозу, и она же первая распутница... Вот и зачешешь в затылке, когда подойдет время подводить итоги за год. Надо красное знамя вручать, а кому? Женщине, на которую до десятка заявлений лежит в председательском столе. Пробовали по-всякому: стыдили, уговаривали, назначали бригадиром вместо нее мужика. Но какой мужик выдержит долго? И вот снова скрепя сердце призывали Клавдию: побригадирь, Нехорошкова,— временнно, конечно.

Ананий Егорович не минуту и не две стоял на крутом берегу. На реке качались волны, косой дождь сек его — и хоть бы один человек показался на той стороне. Где люди? В полях, за домами? Но почему не слышно трактора? Сегодня суббота, будний день — сам бог велит работать. А что будет завтра, в воскресенье?

Нет, надо принимать меры. Срочные, решительные. Середина августа — чего же еще ждать? И вот что он пер-

вым делом сделает. Поднимется в гору и начнет прочесывать верхний конец деревни. Войдет в каждый дом, до каждого колхозника доберется. Почему не на силосе? До каких пор, черт побери, будешь волынить?

II

Помочь бы надо, а чем помочь?

Первая постройка — избушка с односкатной крышей (ее никак не минуешь, когда поднимаешься с подгорья в деревню) — принадлежала Авдотье Моисеевне. Ветхая избушка. Околенки кривые, заплаканные, возле избушки полоска белого житца[1] с вороньим пугалом — ни дать ни взять живая иллюстрация из дореволюционного журнала.

Первый раз Ананий Егорович столкнулся с Авдотьей Моисеевной на улице. Идет он как-то утром по деревне и вдруг под окном видит старушонку — маленькую, подслеповатую, с батожком, с берестяной коробкой на руке. Открылось окно, высунулась рука с куском хлеба. Старушонка перекрестилась, положила милостыню в коробку и поковыляла дальше.

Ананий Егорович был поражен. Как? В наше время и нищая? Да кто же она такая?

Оказалось — бывшая колхозница. Одинока. Без родни. Был сын, да «пропал за слова».

По настоянию Анания Егоровича правление назначило Моисеевне пенсию: десять килограммов зерна в месяц и четыре воза дров на зиму. Первую пенсию за все существование колхоза.

Моисеевна в такую непогодь, конечно, была дома. Она сидела на низеньком крылечке под сарайчиком, с которого густо капало, и глухо постукивала деревянным молотком.

Заслышав шаги прохожего (тропинка бежала вдоль изгороди, которой была обнесена ее усадьба), она подняла к нему бельмастые глаза. Робкая улыбка ожидания и надежды застыла на ее приоткрытом беззубом рту.

Ананий Егорович, потупясь, прошел мимо.

«Тук, тук»,— завыговаривал снова молоток. В сыром воздухе душисто пахло подсушенным на печи зерном. Мо-

[1] На севере житом называют ячмень.

исеевна обивала на колодке первый сноп нового житца.

И во второй, соседний двор не зашел Ананий Егорович. В заулке на изгороди мокнет полосатый матрас, у крыльца в стене топорщатся колючие ветки вереса, а сам хозяин уже три дня как на кладбище. Умер от чахотки, задушенный августовской сыростью.

Долго болел Никанор Тихонович. А смотришь, все топчется вокруг дома. То тюкает что-нибудь в сарае — выручал колхоз санями,— то опять с хомутами возится. А в последние недели ходить уже не мог. Но, видать, скучно целый день маяться в избяной духоте. И вот выползет к изгороди, расстелет домотканый половичок и лежит на солнышке, смотрит на деревенскую дорогу.

— Как здоровье, Никанор Тихонович?

— А ничего, поел сегодня. Ноги вот только бы мне.

— Давай, давай. Рано еще в землю смотреть.

— Да я что. Я ничего.

Великий был оптимист!

От Никанора Тихоновича осталось четверо ребят. Хозяйке одной их не поднять. Да разве и не заслужил он своей многолетней работой в колхозе, чтобы позаботились о его семье? Нужна пенсия. Пенсия нужна и еще кое-кому. Вот Ананий Егорович скоро будет проходить мимо дома Михея Лукича. Боль зубная! Старик за девятый десяток перебрался. Самый старый человек в деревне. А живет как зверь. Зимой из малицы не вылезает, спит в печи.

Но, с другой стороны, что можно выкроить из колхозного бюджета? В прошлом году на трудодень выдали по тридцать копеек, а в этом году уже пятый месяц не авансировали колхозников. Нет денег! Вот разве что через месяц появятся, когда скот в госзакуп сдадут. А сейчас ремень затянут до отказа. Каждый рубль идет на строительство двух скотных дворов. Их надо во что бы то ни стало закончить до снега — иначе зимовка скота будет сорвана.

И когда впереди показался в белых наличниках небольшой аккуратный домик бригадира по строительству, Ананий Егорович решил заодно заглянуть и к нему. Если Вороницын дома — а была обеденная пора,— надо потолковать. В чем дело? Строители оплачиваются хорошо — один рубль деньгами и трудодень на день, а скотные дворы все еще не закрыты. Что же касается самого Вороницына, то в последнее время он стал частенько выпивать.

III

Главная опора

После войны Ананий Егорович был тринадцатым по счету председателем в Богатке. Тринадцатым — число, проклятое самим народом.

И верно, правление его началось с конфликта, да не с одним, не с двумя колхозниками, а сразу со всем колхозом.

Была зима, мороз стоял зверский. Принимая колхозные дела, он обежал за день скотные дворы, конюшни, склады — тяжкое наследие оставлял ему старый председатель,— а к вечеру порысил в контору — там его ждало первое заседание правления. Но вместо заседания он попал на митинг. Народу в конторе — не подступиться к председательскому столу. В чем дело? Неужели еще не намитинговались вчера на общем собрании?

— Завтра выборы в местный Совет,— сказал бухгалтер.

— Ну и что?

— Ну и за деньгами пришли.

— За какими деньгами?

Оказывается, в колхозе издавна заведен обычай — накануне выборов выдавать аванс по десять — пятнадцать рублей на избирателя. Обычай сам по себе не плохой. Какой же праздник без денег? В клубе откроется буфет, из райцентра, возможно, подбросят колбасы, мясных консервов, баранок и еще каких-нибудь редкостей, которыми не очень-то избалована деревня, а ты стой — хлопай глазами.

Но одно дело — обычай, а другое дело — колхозные счета. И Ананий Егорович сказал:

— Не ждите. Денег не будет.

— Не дашь, значит? — это сказал краснолицый кряжистый мужчина, сидевший у печки.

— Не дам,— отрезал Ананий Егорович.

— Ну, не дашь — и голосовать не будем.

— А ты что — за деньги голосуешь или за Советскую власть?

Краснолицый мужчина вдруг обезоруживающе улыбнулся:

— Чудак-человек. Да мы за тебя голосовать не будем. (Кандидатура Анания Егоровича была выставлена в местный Совет.)

Кругом захихикали, заулыбались.

— Ты это чьи речи говоришь, Вороницын? — круто поставил вопрос секретарь парторганизации Исаков.

Вороницын — так звали краснолицего мужчину — лениво отмахнулся:

— Не пужай. Пуганый.

— Он у немцев под расстрелом стоял, забыл? — крикнули от порога.

После того как наконец удалось выпроводить людей из конторы, Исаков схватился за голову:

— Ты понимаешь, что наделал, товарищ Мысовский? Выборы сорвал. Да, да! Раньше мы завсегда к восьми рапортовали, а вдруг завтра никто не придет?

Выборы прошли нормально. Но, ох, и попереживал же в ту ночь Ананий Егорович! Он даже денег раздобыл — взял под отчет у председателя сельпо. Черт с ними, если припрет, раздаст, обежит всю деревню.

А на другой день, в понедельник, в контору с утра заявился Вороницын и долго, усмехаясь, приглядывался к нему.

— А мы, пожалуй, поладим с тобой, председатель,— сказал он, как бы подводя итог их ссоре.

Слово Вороницына оказалось надежно, как его рука, тяжелая, короткопалая, которая с одинаковым умением играет и топором и кузнечным молотом. За первый год с бригадой плотников он поднял новый сруб скотного двора, а на второй год обложил еще один.

И вот этот-то самый нужный человек в колхозе, можно сказать — главная опора председателя, запил. Ананий Егорович и так и этак пытался подойти к нему: «Говори, чем недоволен?» Молчит, слова не добьешься, а завершение скотных дворов — под угрозой срыва. Раз бригадир ульнул носом в бутылке, то что же с остальных спрашивать?

В маленькой кухне накурено. Белый дым густым слоем висит под низким потолком. На столе самовар, тарелка с ржаным хлебом и пестрыми ячменными сухарями, крынка с топленым молоком. Штук пять ребятишек — один меньше другого — чинно сидят справа в простенке между дверью, открытой в переднюю комнату, и окном с белой занавеской, из которого видна деревенская улица. Сидят и макают хлебом в песок, маленькими кучками насыпанный прямо на столе перед каждым.

Место хозяина — табуретка у окна слева — пустовало.

Тонкий стакан с чаем недопит. На подносе, вокруг ножек самовара, куча окурков.

— Хозяина нет? — спросил Ананий Егорович.

От печи, из-за розовой занавески, выглянула Полина — жена Вороницына, высокая сухопарая женщина, в домашней стеганой безрукавке, с разогретым от печи лицом и злыми блестящими глазами.

— Был. Целый час тут сидел да охал.

— Заболел?

— Черт ему деется! Пьет-жрет котору уж неделю.

Ананий Егорович, как бы оправдываясь, спросил:

— А на какие деньги? Я ему не давал.

Полина фыркнула:

— На какие деньги! Они, пьяницы проклятые, давно по коммунизму живут. Вот те бог! Придут в лавку: «Манька, дай пол-литра на карандаш». А Манька — месяц к концу подойдет — и пошла собирать по деревне, из дома в дом. «С тебя, Полина, десять рублей пятьдесят копеек». — Тут Полина, вытянув худую длинную шею, показала, как Манька разговаривает с ней.— «За что? Когда я тебе задолжала?» — «Мужик твой вино на карандаш брал». — «Ну, брал, дак с него и получай. Не торгуй по коммунизму».— Полина метнула взгляд в сторону стола.— Видишь, у меня сколько хлебных токарей?

Ребятишки, внимательно наблюдавшие за матерью, которая всегда театрально, в лицах разговаривала с людьми, снова принялись макать хлебом песок.

— Проваливайте! — вдруг обрушилась и на них Полина.— Сколько еще будете сидеть? Весь день из дому не выходят. Надоели, дьяволята.

Дети нехотя вылезли из-за стола и, хмуро посматривая на Анания Егоровича, удалились в переднюю.

— Полина Архиповна,— Ананий Егорович прикрыл дверь в переднюю,— ну а ты-то знаешь, что с ним творится? С чего он запил?

Полина вздохнула:

— А леший его знает. После города все. Раньше выпивал — не без того же, да хоть дело знал. А тут приехал из города — скажи, как подменили мужика. Чего вы-то, хозяева, смотрите?

— Ладно,— сказал Ананий Егорович.— Пойду обратно — приверну. Пусть никуда не уходит.

IV

Не те времена...

На дворе все так же — дождит, ветер треплет мокрое белье, развешенное на веревке...

Прикуривая от спички, Ананий Егорович повернулся к ветру спиной и вдруг выпрямился. По задворкам, мимо усадьбы Вороницыных, топали три бабы. С коробьями. Согнувшись пополам.

— Стой! — закричал Ананий Егорович и тут же схватился за щеку: в рот попало холодного воздуха.

Бабы юркнули за угол бани.

Не разбирая дороги, мокрым картофельником он кинулся им наперерез, перемахнул изгородь.

— Трудимся? — он задыхался от бега и ярости.

Бабы — ни слова. Мокрые, посинелые, будто распятые, они стояли, привалясь спиной к стене бани, и тупо глядели на него. Большие плетеные корзины, доверху наполненные красной и желтой сыроегой, громоздились у их ног.

— Трудимся, говорю? — повторил Ананий Егорович.

— Что, не мы одни.

— Кабы в колхозе копейкой побогаче,— плаксивым голосом заговорила Аграфена,— кто бы пошел в лес, Ананий Егорович?

— А копейка-то откуда возьмется? С неба упадет? Женщины осмелели:

— Пятнадцатый год это слышим. Я все летичко на пожне выжила — сколько заробила?

— А у меня ребятам в школу скоро идти — ни обуть, ни одеть. Думаешь, сладко в лесу-то бродить? Зуб на зуб не попадает, нитки сухой на тебе нету. А бродишь. Короб грибов в сельпо сдашь — все какая ни на есть копейка в доме.

— А самим-то жрать надо? — вдруг грубо, нахраписто вломилась в разговор Олена Рогалева.— Я второй год без коровы маюсь. Нынче, думала, сена навалило — заведу коровушку. Черта с два заведешь!

И, считая, видимо, дальнейший разговор зряшным, Олена подхватила на руки коробья — только ручки взвизгнули — и пошагала, пригибаясь под ношей.

За ней, неуверенно переставляя ноги, потянулись ее товарки.

Ананий Егорович в нерешительности закусил нижнюю губу. Догнать, опрокинуть эти проклятые коробья, а самих баб за шиворот и прямо на поле?

Да, лет восемь назад он бы, наверно, так и сделал. Образцы для подражания были и в жизни и в литературе. В одной из книг, например, рассказывалось, как председатель колхоза ловит строптивых колхозников за деревней, а другой председатель действует еще круче: врывается утром в избу и заливает печь водой. Книги эти в районе взяты были на вооружение. «Вот как надо работать,— наставлял председателей колхозов секретарь райкома, при всяком случае ссылаясь на литературные примеры.— А вы, растяпы, с бабами справиться не можете».

Да, лет восемь назад Ананий Егорович нагнал бы страху на этих грибниц. А сейчас...

Он взялся рукой за мокрый козырек кепки, резко надернул его на глаза и пошел — в обход вороницынской усадьбы — на переднюю улицу.

V

Вирусный грипп

Слева, через дорогу от Вороницыных, на горочках — так называют полевину — пустырь вдоль косогора,— живет Петр Гаврилович Худяков.

Лет тридцать назад этого пустыря не было и в помине. Тут был околок — штук десять домов, плотно, почти впритык стоявших друг к другу. Теперь от околка осталось два дома: дом Петра Гавриловича да слева от него, метрах в двухстах, высокий громадина-пятистенок — без крыши, без окон, с черными стропилами, как старческие руки, воздетыми к небу.

Ананий Егорович, проходя мимо пустыря, часто задумывался над судьбой одичалого дома. Он помнит этот дом еще молодым. Стены из отборного сосняка, со звоном, как говорят, углы просмолены (навечно!) — вставляй только рамы да справляй новоселье. Но дом так и состарился, не дождавшись новоселья. Кто его хозяева? Где они теперь? Живы ли еще? И что их обидело так, что они бросили новый дом да так ни разу и не проведали его?

Торчит старый дом на взгорье, день и ночь ждет своих хозяев. А хозяев все нет и нет...

Ананию Егоровичу не пришлось заходить на усадьбу. Петр Гаврилович — ему недавно перевалило за шестой десяток — сидел в крытом дровнике и что-то постукивал топором. Завидев председателя, он встал, подошел к калитке. Петр Гаврилович был в валенках с красными галошами, в ватных штанах, в фуфайке, в старой опрелой ушанке без завязок — в общем, одет был тепло, по погоде. А во рту у него, обметанном редким желтым пушком, торчал неизменный окурок.

— Далеко правишь?— осведомился он и подал руку. Петр Гаврилович с начальством разговаривал свободно, на «ты», хотя и без оскорбительной фамильярности.

— Да вот насчет силоса хлопочу. Видишь, что делается?

— Надо, надо,— поощряющим тоном сказал Петр Гаврилович.— Влипли мы с этим силосом, товарищ Мысовский.— Он поднял голову кверху.— Подвел старик.

— Не говори.

— Ничего, парень. Погода-то кабыть на ясень поворачивает. Этим ветром уже разнесет сырость.

Ананий Егорович посмотрел вслед за Петром Гавриловичем на небо. Там и в самом деле кое-где прорвало серый облажник. И дождь как будто пошел на убыль.

— Разнесет, разнесет,— с еще большей определенностью подтвердил свой прогноз Петр Гаврилович.

— Как здоровье?

— Здоровье-то? — Петр Гаврилович вздохнул, пожевал губами. Лицо его вдруг стало страдальческим.— Худо, парень. Тут на погоду было всего скололо, а нонече опять грипп замучил.

— Температура есть?

— Кабы оно, температура-то, все бы полегче. Какой-то грипп-то ныне пошел проклятущий. С вирусом. Сидит в тебе, а наружу себя не показывает.

— Ладно,— сказал не сразу Ананий Егорович.— Поправляйся.

Можно было, конечно, показать этому Худякову, где у него выступил наружу вирусный грипп. Он, Ананий Егорович, заметил и подновленную изгородь на усадьбе со стороны улицы, и новый венец в крыльце — ничего этого не было с неделю назад, да и сидеть с топором в сарае в такую погоду — не лучший способ лечения гриппа. Но Худяков —

старик. И живи он в городе, какие к нему претензии? А вот то, что под вирусный грипп здоровые мужики работают, это уже посерьезнее. Тут надо принимать меры.

«А какие меры? — думал Ананий Егорович, шагая обочиной раскисшей улицы.— Одной Фаине-фельдшерице порядка не навести — это ясно. Она и так и сяк крутит «больного» — по всем приметам здоров. А тот ей свое: «Ну, значит, вирусный грипп. Дай справку». А попробуй докажи, что он симулирует».

— Да,— вздохнул Ананий Егорович.— Ох уж этот вирусный грипп! Что-то больно часто ломает он нынешнего мужика...

VI

День пенсионера

— Здорово те, Ананий Егорович.

— Чем уж так расстроен, на людей не глядишь?

Мысовский повернул голову на голоса.

По ту сторону улицы гуськом, одна за другой, вышагивало целое отделение старух. Все нарядные, празднично одетые — так, бывало, отправлялись в церковь.

Ананий Егорович пересек улицу:

— Куда это строем?

— Что ты, ведь день-то сегодня наш,— сказала, улыбаясь, высокая старуха, еще довольно крепкая, прямая, с гладкими румяными щеками.— Вспомни число-то.

— За пенсией, значит?

— За ей, за ей,— закивала в ответ маленькая старушонка в светлых резиновых сапогах.

— Спасибо нонешним властям,— сказала толстая низкорослая старуха и вдруг чинно поклонилась Ананию Егоровичу.— Кабы я была грамотна, в саму бы Москву написала. Не забыли нашу старость.

Ананий Егорович, провожая глазами ходко шагающих пенсионерок, невесело подумал: «Эх, старухи, старухи! К вашим бы пенсиям да немного сознательности. Ну не все из вас, но ведь некоторые вполне могли бы еще держать в руках грабли. Глядишь, и дела бы в колхозе пошли повеселее».

VII

«А растет ли земля?»

Поздеевы — отец и сын — трудились у нового дома. Старик Игнат в старом кожане, в теплом полинялом платке, по-бабьи повязанном под бородой — он давно маялся ушами,— что-то мастерил под навесом, а Кирька, широкоплечий мужичина, брусил топором бревно. Брусил умело, со сноровкой. Раз заруб, два заруб, потом скол с отворотом — и белобокая щетина, как плаха, отваливается от бревна.

Ананий Егорович решил не приворачивать к Поздеевым. Что с них взять? Кирька — инвалид, припадает на ногу: с детства костный туберкулез; сам Игнат в преклонных годах, а кроме того, надо отдать им должное: в страду не сидели дома, оба мытарили на дальнем сенокосе.

Однако миновать Поздеевых не удалось. Старик, как назло, поднял голову и закричал высоким петушиным голосом:

— Чего нос воротишь? Не воры.

Разогнулся Кирька, сказал, оголяя в улыбке белые крепкие зубы:

— Уважь старика, товарищ председатель.

Делать нечего — пришлось «уважить». Потому как с этими Поздеевыми шутки плохи: и отец и сын с начинкой — редкие мастера устраивать публичные балаганы. Скажем, идет в клубе лекция о международном положении. Ну, лекция как лекция. Кто слушает, кто дремлет, кто у выхода смолит самосад. И вдруг в первом ряду вскакивает старичонко в бабьем платке:

— А скажи, растет ли земля?

Лектор из района только руками разводит. Какое же отношение имеет этот вопрос к очередным проискам империалистов!

Но затем, не желая обижать любознательного старика, начинает популярно разъяснять закон о сохранении вещества.

— Не растет, говоришь? — опять вскакивает Игнат.— А в наших нáвинах бывал? Раньше камня на поле не увидишь, а сейчас плуг отскакивает. Откуда же камень взялся, раз земля не растет?

В зале шум, хохот, визг.

Но вот люди успокоились, лекция продолжается. Проходит еще какое-то время, и снова голос Игната:

— Не чую! Чего бубнит, как дьячок.

На этот раз, отогнув платок от уха, он обращается к своему сыну, который всегда сидит при нем.

Кирька, с удовольствием исполняя обязанности переводчика (его так и зовут в деревне — переводчик), изрекает:

— Про урожай говорит.

— Про урожай. А, про урожай!..— горячится Игнат.— Тогда ответь,— снова наскакивает он на лектора,— что выгоднее сеять: березу или жито?

Переводчик, как бы желая помочь лектору, кричит на ухо старику:

— Вопрос не ясен.

— Не ясен? — Тут уж Игнат доподлинно выходит из себя.— Мать твою так... не ясен! Сходи в те же навины. Раньше мы с полей хлеб возили, а теперь дрова.

Кирьку вызывали в сельсовет: «Уйми старика. За такие речи раньше знаешь бы, что было?»

— Правильно, товарищи... Это вы верно подметили,— соглашался Кирька.— Старика зашибает. Ну тольки я перечить отцу не могу. Не так воспитан. Это вы тоже поимейте в виду, товарищи...

О доме Поздеевых много говорят в деревне. И не только говорят, а каждый пеший и конный останавливается возле него.

Дом строили по-новому, на городской манер: кухня, спальня для Кирьки с женой, комната для стариков и детская — Кирька, по его словам, запланировал на семилетку семь сыновей и, надо сказать, с планом справляется (жена его постоянно ходит с брюхом).

И еще была одна диковинка в доме Поздеевых — мезонинчик, или чердак по-здешнему, да не просто какой-то там курятничек дощатый под крышей (такие теперь не редкость в новых домах), а настоящая комната с бревенчатыми стенами, с двумя окнами и балконом.

По поводу этого мезонинчика (Кирька отделал его в первую очередь и даже перильца балкона успел покрасить голубой краской) старик Игнат рвал и метал: шутка сказать, такой домину схлопать, а тут еще всякие хреновины выводить. Он и сейчас, едва вошел Ананий Егорович в заулок, закричал, указывая рукой на чердак:

— Вишь, что выдумал! Мизинчик ему надо. А лес-то

кто заготовлял? — Старик, вздернув бороденку, круто обернулся к сыну.— Ты?

Кирька, снисходительно улыбаясь, слегка пожал широченными плечищами, втюкнул топор в чурбан.

Сели под навесом на сухое бревно.

— Нарубил лесу? — как всегда неожиданный задал вопрос Игнат.

Ананий Егорович не понял, переспросил.

— Какого-какого... Деревянного! — вскипел старик.— Что, так и будешь шлендрать по чужим избам?

Понятно. Старик намекает на то, что пора, дескать, свое гнездо вить, ежели хочешь, чтобы с тобой как с председателем считались.

Однако Игнат, не ожидая ответа — все глухие на один манер,— уже снова закричал:

— А за щеку чего держишься? Зубы болят? Еще бы не болеть! Это ты с кем надумал людей с сенокоса снимать? А?

— Давай дак не ори,— сказал Кирька и туманно добавил:— Партия знает...

— Ты вот что, Поздеев, насчет партии оставь.

— Да ведь я что, товарищ председатель.— Кирька всегда называл Анания Егоровича официально.— Я в смысле Программы... На днях, слышно, семинар будет.

— Будет. Но я тебе советую — попридержи язык. Не вздумай балаган устраивать.

— Чего? — закричал Игнат.

— Дом, говорит, у тебя хороший,— не моргнув глазом, сказал Кирька.

— Так, так,— старик довольно закивал головой.— Хороший. Осенью новоселье справлять будем. Придешь?

Ананий Егорович кивнул головой и встал: приличие соблюдено, а точить лясы ему сейчас некогда.

VIII

Деревня строится

Как-то вечером, засидевшись допоздна в правлении, они с секретарем парткома Исаковым подсчитали: тридцать два новых дома в деревне. Тридцать два! И все эти дома построены за каких-нибудь последних восемь лет.

— Соображаешь, что это? — со значительностью в го-

лосе сказал Исаков.— А загляни к нему в дом! Тут тебе и никелированная кровать, и швейная машина, и радио. И велосипеды кое у кого есть.— Исаков подумал, усмехнулся: — Я вот недавно в заречье был. Знаешь там дом Прохорова? Большущий, двухэтажный домина в верхнем конце? В тридцатом году его еще раскулачили. Правда, потом восстановили. Зазря сгноили мужика на Соловках. Горбом своим все нажил. Ну а по тем временам Прохоров действительно был богач. Все завидовали ему. «Ну, что вы,— скажут,— разве с Прохоровым тягаться? У них и под рукомойником-то не лоханка, а медный таз». И вот тут на днях я заглянул к его сыну. Один живет. Братья на войне побиты. Ну, говорю, показывай, Андрей, свое кулацкое житье. Какое тебе наследие отец оставил? Смеется. «Смотри»,— говорит. Ну, посмотрел. Таз медный под рукомойником — это верно — стоит. Ну а еще что? Шкафчик черный для посуды — тоже, бывало, насчет этого шкафчика говорили: «Вот как Прохоровы живут. Для посуды шкап под стеклом завели». Ну, посмотрел я этот шкафчик. Да теперь его бесплатно давай, никто не возьмет. Ну а еще что? — И Исаков заключил: — Значит, не так уж плохо живем. Есть сдвиги и у нас на севере.

Да, все это так. И он, Ананий Егорович, обратись к нему историк, мог бы порассказать на эту тему немало — на его глазах обновлялась деревня.

А все началось с райцентра, со служилого люда. Уйма скопилась всяких служащих после войны в райцентре. Бесконечные, чуть ли не в каждом доме «раи», по поводу которых так умильно писалось в одной книге, все мало-мальски грамотное выкачивали из деревни. И вот этот мелкий чиновный люд, томясь от безделья в послеслужебное время (шутка ли, здоровому мужику с шести часов вечера ничего не делать!), начал поигрывать топориком. Деревня пустеет, разламывается, а в райцентре как грибы растут новые дома. Вот как это было. И только потом уже, после пятьдесят третьего года, забелели новые крыши по деревням.

И все-таки, как ни крути, говорил себе Ананий Егорович, а от одного вопроса не уйдешь. На какие достатки строится деревня? За счет доходов, полученных в колхозе? В том-то и беда, что нет. Кто построился за эти годы? Те, у кого есть денежная подмога со стороны. У одних это пенсия, у других сын работает в лесной промышленности, а у третьих, опять, в семье служащий. Взять хотя бы тех же

Поздеевых. Да разве Кирьке видать бы такой дом, не будь у него жена бухгалтером сельпо?

В деревне сейчас принято: если ты в колхозе работаешь, то жену подыскивай из служащих, так, чтобы в доме всегда была копейка. После войны, когда произошла денежная реформа, это получило даже свое название: «жениться на буханке». Одним словом, если хорошенько вдуматься, складывается особый тип семьи, где экономический фактор играет далеко не последнюю роль.

Среди новых домов нередко попадаются и такие, у которых заколочены окна. Все, казалось бы, готово — только отдери на окнах доски и живи. А не живут в этих домах.

Эти новые дома с заколоченными окошками в печенках сидят у каждого председателя колхоза. Хозяевами их, как правило, являются рабочие лесной промышленности — вчерашние кохозники, правдами и неправдами удравшие в свое время из колхоза. Ну, удрали — и удрали. Живите с богом — лесные поселки теперь благоустроены, ни в какое сравнение не идут с деревней. Так нет, подходит лето, смотришь, один расхаживает с топором вокруг старого отцовского пепелища, другой по весне плавит сруб, третий...

Что это? Извечная приверженность человека к своей родине, к тому гнезду, где родился? Или мужик еще в нем не выветрился? Дали отпуск, а что с ним делать, с этим отпуском? Надо же как-то время убить. Но не проще ли тогда поставить свой дом там, где работаешь — в лесном поселке? Или ждут эти вчерашние колхозники перемен в деревне?

Худяков оказался синоптиком никудышным. Правда, дождь понемногу стихает, но когда же наконец выглянет солнце?

Еще к двум-трем домам привернул Ананий Егорович. В воротах приставка. Всего скорее, что и тут ушли в лес...

Стукнул топор неподалеку. Смолк — и снова застучал, теперь уже без остановки.

Обогнув старую избу, Ананий Егорович увидел привычную картину: в ноле, за изгородью, новый сруб, а на углу сруба человек. Иван Яковлев — один из тех вчерашних колхозников, которые после войны пополнили армию рабочих местного леспромхоза.

— Размокнуть не боишься? — заговорил, подойдя к строению, Ананий Егорович.

— Ничего, не сахарный.
— Так, так. Значит, домой надумал?
— Хм,— сказал Иван.— Можно и до́мой.
— Давай. Мы хоть сегодня примем.
— Принять-то вы примете. Знаю. А как насчет этого? — Иван посучил сложенными в щепоть пальцами.— Я ведь худо-бедно сто — сто пятьдесят рублей в лесу выколачиваю.
— Ну, это от нас зависит. Вот колхоз подымем, и с рублем повеселее будет.
— Тогда подождем, товарищ Мысовский. Нам не к спеху.
Все тот же сказ. Прямо какой-то заколдованный круг! Чтобы сделать полновесным трудодень, надо, чтобы работали люди,— какой же другой источник у колхоза? А чтобы работали люди, надо, чтобы был полновесный трудодень.
— Где выход?
В райкоме говорят: плохо руководишь. Ослабил агитационно-воспитательную работу. А как агитировать нынешнего колхозника? Без рубля до него агитация не доходит. Ты ему доказываешь: два трактора купили? Купили. На грузовики деньги надо? Надо. А новые скотные дворы? А радио провели? Подождите. Дойдет дело и до трудодня. А он не ждет. Не хочет больше ждать. Вот в чем дело.

IX

«Пережиток»

Сначала он подумал — подсолнух. Так и светится, так и играет среди зелени!
Но он ошибся. Светлое пятно в огороде перед избой — это вовсе не подсолнух, а повойник, вернее, парчовый кружок повойника. И вынарядилась в этот повойник не молодка (молодые сейчас вообще не носят повойников), а старушонка — маленькая, сухонькая. Нагнувшись над грядкой и легонько покачивая светлой головой, она истово щипала лук — по всему видать, для обеда, потому что была в одном синем старушечьем сарафане, босиком.
— Здорово, Тихоновна,— сказал Ананий Егорович, подходя к огороду.

Старуха живо разогнулась, хитровато прищурила один глаз:

— Признал. А я гляжу споднизу да думаю: возгордился — мимо пройдет али окликнет?

— Ну, тебя нетрудно признать. Вон ведь как сияешь!

— Молчи ты, бога ради. Не стыди. Сама знаю, что неладно. В этом повойнике-то я еще молодицей хаживала. Все Маруське берегла. А раз Маруська не носит — не пропадать же добру. Кто осудит, а кто и поймет.

Агафью Тихоновну, или Оганю Палею (так звали ее в деревне за редкую бойкость), знал чуть ли не весь служилый люд района. Старуха приветливая, общительная — пока пьешь чай, она тебе обскажет все: и каков новый председатель, и как люди работают, и что, по ее мнению, не так делается в колхозе, и как надо бы делать, да обскажет все картинно, со смешком, с прибаутками. Теперь командированные останавливаются у нее от случая к случаю и то только летом, так как зимой старуха живет в городе у дочери.

— Пойдем в избу,— со свойственной ей гостеприимностью предложила Тихоновна, выходя из огородика с горсткой лука.— У меня самовар шумит.

А в самом деле, почему бы ему не перехватить чего-нибудь? Когда еще он доберется до своего дома? Да, может, от горячего и зубам полегче станет?

В низкой, заметно осевшей избе тепло, даже жарко. Пол намыт с дресвой, выпуклые сучья в старых широких половицах блестят как луковицы — Тихоновна всегда славилась опрятностью.

Ананий Егорович по-домашнему — все тут было знакомо — снял намокший плащ, разостлал на печном брусе — пусть и плащ погреется.

— Ноги-то сухие? Дать валенки?

Нет, это, пожалуй, лишне. Он ненадолго. Ему некогда засиживаться.

Тихоновна, шелестя босыми ногами, живехонько собрала на стол. Треска, баранки городские — это уж всегда, когда человек из города приезжает,— морошка моченая с сахарным песком, грузди с луком. И в довершение ко всему кипящий самовар.

— Ешь-пей, гостенек,— сказала Тихоновна и на старинный манер, хотя и не без игривости, поклонилась гостю в пояс.

Потом, просияв парчовым верхом повойника, села сбоку самовара сама на хозяйкино место.

— Надо бы тебя не чаем угощать-то. Дорогой гость! А светлого у бабушки нет. Была тут маленькая, да внук выманил. Позавчера вкатывается пьяный: «Бабка, давай вина, а то подожгу».— «Что ты, говорю, пьяная харя, не стыдно бабке-то так говорить?» А потом отдала — все от греха подальше.

За чаем Тихоновна разогрелась. На темном морщинистом лбу бисером выступил пот, а маленькое аккуратное ухо порозовело, как у молодицы.

«Сколько же ей? За восемьдесят? — подумал Ананий Егорович.— Крепкий орешек!» И глаз у Тихоновны голубой, с хитринкой, все еще острый, с твердым, не расплывшимся зрачком.

Разламывая баранку, он спросил:

— Ну как в городе? Понравилось?

— Не пон-дра-ви-лось.— Тихоновна, видимо, не без желания щегольнуть своими приобретениями в городе, произнесла это слово старательно, по складам.

— Что так?

— Молодежь, не пондравилась,— опять нажимая на «д», ответила старуха.

— Молодежь?

— Молодежь,— утвердительно кивнула Тихоновна. Она отерла лицо сухой ладошкой.— Идем мы тут как-то с моей Маруськой по городу. О праздниках Майских дело было. Народушку — как воды льет. Я глаза-ти расшиперила, про все забыла. Потом хвать: где у меня Маруська-то? Туда, сюда — нету Маруськи. Того, другого спрошу — смеются: заблудилась бабка. А тут в садочке, вижу, девочка стоит. Высоконько стоит. На приступочке. Сама из себя беленькая, головушку склонила, в галстучке и книжечку читает. «Ну-ко,— говорю,— девочка, посмотри. Не увидишь ли где мою Маруську?» Молчит девочка. Я опять про свое: «На приступочке стоишь,— говорю,— тебе все видно. Посмотри». А девочка опять молчит. Тут я не стерпела: «Бесстыдница,— говорю,— еще грамотная, книжечку читаешь. Трудно тебе сказать — отвалится у тебя язык-от? А тут у меня и Марья подоспела. Зубы оскалила: «Ты с кем это, бабка, разговариваешь?» — «Как с кем? С этой,— говорю,— срамницей». — «Что ты, бабка, глупая, ведь эта девушка неживая».

Ананий Егорович расхохотался. Как же он сразу-то не

догадался, что Тихоновна морочит ему голову? Ведь она и раньше была мастерица на всякие выдумки.

А Тихоновна, дав ему просмеяться, закончила:

— «Не живая,— говорю? — Как же,— говорю, — не живая? Книжечку читает, в галстучке...» — «Это статуй», — говорит Маруська. «Статуй? А зачем,— говорю,— статуев-то выставили? Разве,— говорю,— живых людей в городе не хватает?»

— Так-так,— рассмеялся снова Ананий Егорович.— Не понравилось, говоришь, в городе? У нас лучше?

— И у нас не ндравится.

— Вот тебе на!

— Хозяева не ндравятся. Ты не ндравишься.— Тихоновна вдруг выпрямилась и строго поджала свой беззубый ввалившийся рот.— Да разве это дело? Сено сгноили. Самолучшее сено. Сегодня утрось иду с губами из лесу. Нако, вся деревня в дыму. Ой, тошнехонько, пожар, думаю. Нет, не пожар. Это наши лежебоки просыпаются, печи затопили. Суседка моя, молодица, на крыльцо вывалилась, поперек себя шире, чешет задницу толстую.— Тут Тихоновна живехонько вскочила с табуретки и показала, как это делает соседка.

Ананий Егорович, стараясь припомнить, кто же из молодых живет по соседству с Тихоновной, спросил:

— Чья же это молодица?

— Чья? Разве забыл? Дунька Афанасьевых. Тут рядом живет.

— Ну, эта молодуха из годов вышла.

— Из каких таких годов?— не на шутку рассердилась Тихоновна.— Не крась, не крась, Онаний Егорович. Знаем. Из годов вышла? Сколько ей? Шестьдесят-то есть ли? Ну уж хоть шестьдесят два — не больше. Меня взамуж выдавали, она еще в брюхе у матери жила. Да по-старому, дак это перва работница. Вот що я тебе скажу.— Тихоновна с раздумьем ширнула носом.— Тут как-то иду, у правленья бабы сидят. Солнышко на полдник поворачивает, а за рекой-то журавель надрывается, истошным голосом кричит: «Что вы, суки бессовестные, вставайте. Страда». А житото в поле плачет, сено-то высохло... А они, лупетки, расселись — колом не своротишь. Сидят, пыхтят — за версту слышно. Думаю, болесь какая — все только на болесь и жалуются. Нет, не болесь. Машину ждут. Три версты пройти надо. Срамницы! А как бывало-то мы без машины? У меня Олександрушко рос — на войне убит, сам — на

Юрове страдает, за пятнадцать верст от дому. Дак я парня на руки, котомку с хлебами на спину да бегом бежу. Как настеганная бежу. А день-то отробишь, опять домой попадаешь. Парня комары раскусают — глаз не знатко. И в войну тоже совесть знали. Не загорали,— по-новому выразилась Тихоновна.— Пройди-ко по новинам-то — еще теперь мозоли с полей не сошли. Колхозили — рубахи от пота не просыхали. А теперь все заросло. Лес вымахал — хоть полозья гни.

Тихоновна протерла глаза, высморкалась в подол.

— Нет, по нонешним временам,— убежденно сказала она,— житья не жди. Больно болярынь много развелось. Вишь ведь — солнышку стыдно на землю смотреть. Отвернулось — две недели не показывается.

Помолчала, вздохнула:

— Я и свою дочерь не крашу. Насмотрелась в городе. «Машка, ты чего лежишь? Люди на работу прошли». Болесь — мы всю жизнь прожили, а такой не слыхали,— опертия.

— Гипертония,— поправил Ананий Егорович.

— Ну-ну, не выговорить. Не наша, видно, болесь-та, заграничная... Проходит время, опертия кончилась, а Марья у меня снова на лежку. «Чего опять, девка?» Дихрет. Плати осударсьво денежки — бесплатно не рожаем...

Ананий Егорович взглянул на часы. Шестой час. Тихоновна разговорится — не кончит.

— Ладно, пойду,— сказал он, вставая.

— Иди, иди. Я все в глаза высказала. Любо, не любо — слушай. Ну да с меня спрос не велик: пережиток.

Ананий Егорович вопросительно посмотрел на старуху.

— Пережиток, пережиток,— закивала она.— Так. Нас, старух, всю жизнь так звали. Чуть маленько вашему брату — начальству не угодишь — и давай пережитками корить. Да меня и дочь родная так величает: «Молчи ты, старой пережиток...»

На улице, пока он сидел в избе, посветлело. Дождь кончился. Может быть, и прав Худяков — переломится погода?

От нагретого, разопревшего на печи плаща шел пар.

— Не простудись,— наказывала Тихоновна.— Вишь ведь, закурился — как после бани.

Заулок густо, будто озимью, зарос сочной травой. Узенькая тропка еле-еле обозначена на отаве,— видно, редко кто заходит к старухе.

Выходя на дорогу, Ананий Егорович еще раз обернулся. Тихоновна босиком стояла на крылечке и легонько, как подсолнухом, кивала ему головой в повойнике со светлым донышком.

Памятник поставить бы этим пережиткам!

X

Старый коммунист

Дом служащего, или, как говорят в деревне, человека на деньгах, отличишь сразу. Он и понаряднее, этот дом: наличники у окошек и двери непременно покрашены, вместо жердяной изгороди оградка из рейки или плетень из сосновых или еловых колышков. И, конечно, радиоантенна над крышей (радио провели в колхозе только в прошлом году).

У дома Серафима Ивановича Яковлева, председателя местной лесхимартели, была еще одна примета — обшитые тесом передние углы, солидно окрашенные в темно-зеленый цвет.

Серафим Иванович был дома. Он выбежал на крыльцо в белой нательной рубахе с расстегнутым воротом, в галошах на босу ногу:

— Зайди-ко на минутку. Дельце есть.

— И у меня к тебе дельце,— сказал Ананий Егорович.

В светлых сенях, заставленных вдоль стен ушатами и кадушками, три двери: прямо — на кухню, слева — в хлев, к корове, а справа, обитая черным дерматином, как в солидном, по меньшей мере районного масштаба учреждении,— в одну из передних комнат.

Серафим Иванович открыл именно эту, обитую дерматином дверь. Комната — это сразу видно — была предназначена для особо важных гостей. Высокая никелированная кровать с горкой белых подушек под кисейной накидкой и лакированным ковриком на стене — дебелая красавица в обнимку с лебедем,— тюлевые занавески во все окно, фикусы, разросшиеся до потолка, в красном углу этажерка с несколькими книжками из партийной литературы. В комнату бесшумно вошла хозяйка, худая, болезненная, с кротким печальным ликом богородицы, поставила на стол бутылку с водкой и тарелку с огурцами и так же бесшумно вышла.

Сам Серафим Иванович, несмотря на то что ему было уже далеко за пятьдесят (он был года на четыре старше Анания Егоровича), выглядел еще молодцом. Лицо гладкое, розовое, чисто выбрито. В рыжих ершистых волосах, не просохших еще после бани, ни единой сединки. А в зубах, плотных, косо поставленных, как у лошади, тоже сила. Видно, не зря говорят, что он еще бегает по молодым.

— Ты это зря, Яковлев,— сказал Ананий Егорович, кивая на бутылку.— Я не за этим.

— Кто же говорит, что за этим. А раз привелось, стопочка не повредит. А может, в баню желаешь? Банька у меня сладкая. И воды и жару — сколько хочешь.

Ананий Егорович, сославшись на занятость, приступил к делу:

— Я вот к тебе зачем. Ты, говорят, в отпуск идешь?

— Иду. С завтрашнего дня. Ну-ко давай, держи.— Серафим Иванович, по-компанейски подмигнув рыжим глазом, придвинул ему стопочку.

Зубы у Анания Егоровича все еще побаливали. И стопочка ему сейчас ох как бы не помешала. Но он сказал себе: нет. Не время. Люди на него и так косо посматривают (председатель во всем виноват), а тут еще учуют — духами пахнет: «А, скажут, хорош гусь. Нас наставляешь, а сам с утра под парами».

— Дак не будешь? — удивился Серафим Иванович.

— Не буду.

— Ну как хошь, а я выпью.— И Серафим Иванович, заметно мрачнея, опрокинул в рот стопку.

— Завтра как планируешь день? Мы с силосом горим. Воскресник решили объявить.

Серафим Иванович выпил еще стопку.

— Можно,— сказал он, хрустя огурцом.

У Анания Егоровича отлегло на сердце. Он встал:

— Тогда с утречка. Прямо под гору.

— Можно, можно,— снова повторил Серафим Иванович.— А у меня к тебе тоже просьбишка. Парню-то моему черкни справку.

— Насчет справки в правленье обращаться надо,— сухо сказал Ананий Егорович.— Оно решает.

— Ну, это, положим, другим сказывай. У меня тоже правленье.

— Интересно ты рассуждаешь. Парню твоему справку, другому справку, а кто в колхозе работать будет?

— Я думаю,— сказал Серафим Иванович, очень

четко выговаривая каждое слово,— я думаю, меня бы можно уважить. С двадцать девятого член партии — много таких в деревне? Имею право одного сына выучить? Сам знаешь, по нонешним временам ученье — основа жизни.

Стоит ли дальше разговаривать? Нет, такого, как Яковлев, словом не прошибешь. У него, видите ли, особые заслуги... Он, видите ли, старый член партии. И уже не он Советской власти, а Советская власть должна ему служить.

На всякий случай, берясь за дверную скобу, Ананий Егорович еще раз напомнил:

— Значит, договорились? Завтра выйдешь.

— Выйду.

«Не выйдет»,— решил про себя Ананий Егорович.

Все кипело в нем. Там, в райкоме, считают: двадцать пять коммунистов в «Новой жизни». Могучее ядро. Да, на бумаге могучее. А на деле? Восемь-девять пенсионеров, семь учителей, председатель сельсовета, секретарь, лесничий, председатель сельпо с бухгалтером, председатель лесхимартели... А кто непосредственно работает в колхозном производстве? Кто живет, кормится от него? Да ведь это видимость одна, все та же показуха. Ну вынесет парторганизация решение. Правильное решение. А кто выполняет? Все тот же председатель да два-три бригадира. А остальные в стороне. У них свои объекты. Вот и получается — они в партийной организации вроде советчиков, вроде консультантов. Нет, приедет Исаков из райцентра (того вызвали на райком с отчетом о наглядной агитации — самое подходящее время!), и он, Ананий Егорович, поставит вопрос ребром. Так дальше нельзя.

XI

Петуня-бульдозер

Ходить ли к Петуне Девятому?

Усадьба Девятого на отшибе, за деревней, у поскотины, и, чтобы попасть туда, надо спуститься под гору, перейти ручей.

Ананий Егорович посмотрел на дорогу, разбитую, разъезженную, залитую красной глиной, прислушался к шуму ручья под горой. А может, не стоит ему шлепать по этой грязище?

Петуня, согласно колхозной документации,— нетрудоспособный. Ему этой зимой пошел шестьдесят седьмой — помнится, был такой разговор в правлении. Но, с другой стороны, кому не известно, что в деревне нет другого человека, равного ему по силе,— не зря же его прозвали Петупя-бульдозер! Прошлой осенью, например, на выгрузке баржи Петуня таскал сразу по два мешка муки (чтобы побольше заработать) — это Ананий Егорович видел собственными глазами. Видел он и то, как Петуня управлялся на пожне с меткой сена. Напарник его, молодой мужик, так и сяк вертится возле стога — весь мокрый, дышит как загнанная лошадь, а этот не торопится: то на солнышко глянет, то к сену принюхается, то опять к копне с вилами примеряется — и с той и с другой стороны подойдет. Только вдруг заметишь: оторвалась копна от земли и полезла на стог.

Ананий Егорович как-то спросил:

— Откуда у тебя сила такая, Петр Никитич?

— Сила-то? А, надо быть, порода такая. Опять же мы, Девятые, чаю не пьем.

— А чай, что же, вредит силе?

— Размывает. С водой сила из человека уходит.

Была еще одна причуда у Девятого: раз в неделю он отдыхал. И тут хоть лопни — Петуня ни с места! Правда, в колхозе считались с этим — ведь в обычные дни Петуня ломит за четверых. А вот вскоре после войны, когда он попал на лесозаготовки, с ним обошлись круто: за невыход на работу в ударный месячник Петуню судили. Но и вернувшись из далека, Петуня остался верен себе.

— А не боишься, Никитич, что снова закатают? — подтрунивали над ним мужики.

— Нет, ребята, не боюсь. Рабочий класс отдыхает, и правильно делает. Производительность выше.

Вот какой был этот Петуня-бульдозер!

В позапрошлом году поздней осенью — это был первый год хозяйствования Анания Егоровича — Петуня заявился в правление колхоза и сказал:

— Так что все, товарищи. Наробился. Пусть бригадир зря сапоги не топчет.— И вслед за тем предъявил справку от районного врача:

«Гр-н Девятый П. Н. страдает хроническим суставным ревматизмом нижних конечностей. Нуждается в систематическом лечении...»

Все как полагается.

И вот сейчас, приближаясь к усадьбе Девятого, Ананий Егорович только головой покачивал: бог ты мой, что наворочал с больными ногами старик. И все это за какие-нибудь полтора года!

Дом перекрыт заново: позади дома новая баня с погребом; изгородь, которой обнесена усадьба, тоже новая, со столбовыми воротами, окрашенными коричневой краской.

Откуда у Петуни взялись достатки? Пенсии он не получает, со стороны копейка тоже не поступает: век живет без детей, вдвоем со старухой. Неужто все это за счет приусадебного участка? Да, Ананию Егоровичу приводилось слышать, что Девятый торгует на лесопунктах и выручает немалые деньги, но раньше он как-то не придавал значения этим разговорам. Мало ли что болтают в деревне. А вот сейчас, разглядывая усадьбу, он понял: люди говорили не зря.

Все у Петуни было подчинено рынку. Вместо маленькой грядки с луком, какие водятся при каждом доме, тут была целая луковая плантация. И уж лук так лук — не чета колхозному: перо синее, сочное, разметалось по грядкам точно жирная осока, а луковицы до того крепкие да ядреные — будто репа. За грядами лука парники с огурцами — овощью, тоже пользующейся большим спросом и все еще как следует не освоенной здешними колхозами,— а затем шла длинная гряда с картошкой. И все; никакой тебе полоски с рожью или ячменем, ни лоскутка с вико-овсяной смесью, как это заведено у других колхозников.

И еще вот на что обратил внимание Ананий Егорович. У Петуни был возделан буквально каждый вершок. Заулка, как у других домов, нет. Дровник и баня вынесены за изгородь, позади дома. И даже дорожка от крыльца к воротам, надвое рассекающая гряды с луком, настолько урезана, что по ней не проехать на телеге.

«Да,— невесело подумал Ананий Егорович,— вот что начертоломил старик. Горбом. За каких-то полтора-два года. И живет — помощи не просит. А мы... Пятнадцать лет мы поднимаем колхоз...»

Он резко дернул на себя сырую, еще не просохшую от дождя калитку и в то же время услышал, как в доме заскрипели ворота. На крыльцо вышел хозяин — матерый старичище, без шапки, нагладко остриженный, в овчинном полушубке внакидку, в низких валенках.

— Не встречаю гостя. Шарниры в ногах рассохлись,— объявил он прямо с высоты.

Из открытых сеней с лаем выскочила пестрая мохнатая собачонка и бросилась под ноги поднимающемуся на крыльцо Ананию Егоровичу.

— Жулька, пропасть,— вяло прикрикнул Петуня.— Брысь.

Собачонка тотчас же смолкла, завиляла хвостом, потом принялась обнюхивать ноги Анания Егоровича.

— Так, пустое место. Для веселья держим,— сказал Петуня, снисходительно кивая на собачонку.— В избу зайдешь аль спешишь?

— Спешу.

— Ну, сам знаешь. А я сяду.— И Петуня, держась руками за косяк ворот, тяжело опустился на порог.— Нынче в сырость эту только мурашами и спасаюсь. Баба где-то опять пошла зорить муравейники.

— А лук не помогает?

— Чего? Лук? Нет, не помогает. Да я и не люблю его, лук-то. У меня и баба худо ест. Трава,— скептически добавил старик.

— А я думал, ты большой любитель до зелени. Вон ведь у тебя какие плантации!

— Не, это не для себя. Для продажи ростим,— опять с простодушной откровенностью ответил Петуня.

Анатолий Егорович начал терять терпение:

— А совесть как — ничего? Не трудно на старости лет торговлишкой заниматья?

— Трудно. С лошадями трудно. Видишь, сколько пера-то навалило? А бригадира сколько ни проси — без бутылки не чует.

— И поишь?

— Пою. Попервости было с хвоста отоваривал, а ноне-че с копыта. Дороговато,— вздохнул Петуня.

— Ну, вот что, товарищ Девятый! Ты эту лавочку прикрывай скорее, а нет — мы сами прикроем.

— Не прикроете,— по-прежнему спокойно возразил Петуня.

— Прикроем. Да еще как! Что ж ты думаешь, смотреть будем, как частник под крышей колхозной орудует? Раз совести нету, найдем меры.

Петуня помолчал.

— Ты вот все на совесть напираешь...— Петуня опять помолчал, порастирал колени, согнутые под прямым углом, потом вдруг улыбнулся.— А с совестью, надо быть, так, председатель. Тут в одном колхозе старик со старухой жи-

вут. Одни, бездетные. Ну и случись со стариком авария — заболел, значит. Старуха, известно дело, в слезы: «Как жить будем? В доме ни копейки».— «Ничего,— говорит старик,— проживем. Денег у нас нету, да зато совести много. Сколько, говорит, мы с тобой этой совести-то за двадцать девять лет заробили? Пойди, говорит, нагреби мешок в амбаре да ступай в магазин...»

— Может, отложим сказку?— перебил Ананий Егорович, хотя и без прежнего запала.

— Нет уж, дослушай,— сказал Петуня.— Сказка невыдуманная... Ну, взвалила старуха мешок с совестью на спину, пошла в магазин. А через час возвращается. Плачет: «Не берут,— говорит,— нашу совесть. Деньги требуют».— «Тогда,— говорит старик,— иди в колхоз. Там совесть выдавали. Там и отоварят». И там не отоварили...

Ананию Егоровичу ничего не оставалось, как молча проглотить Петунину притчу. А что он мог возразить? Что бы он сам делал на месте этого старика! И если уж говорить откровенно, то этот старик даже нравился ему. Нравился своей откровенностью и прямотой.

Петуня и по поводу завтрашнего воскресника не стал юлить.

— Нет уж, не рассчитывай,— сказал он.— Кабы коровенка была, я бы, может, еще поднатужился, а коровенки нету — кому охота жилы рвать?

Опять коровья проблема! И это в колхозе, который буквально утопает в траве. Каждый год десятки, сотни гектаров, а если подсчитать все ручьи, и тысячи уходят под снег, а добрая половина колхозников не имеет коровы. Ну не дико ли? А разгадка простая. Десять процентов на трудодень от общей массы собранного колхозом сена — вот оплата труда. А что это значит? А это значит, что колхозник, чтобы заработать на свою корову, должен поставить сена по меньшей мере на восемь-девять коров (из расчета две тонны на голову) — вещь пока совершенно немыслимая даже при наличии достаточной техники.

Понимают ли это в колхозах? Понимают. И каждый председатель так или иначе пытается обойти этот порядок. Но тут раздается грозный окрик районного прокурора или секретаря райкома: «Не сметь! Антигосударственная практика! Поощрение частного сектора...»

И вот «государственная» практика торжествует: осенью еще часть колхозников лишается своей кормилицы (какая же жизнь в деревне без коровы!), весной в кол-

хозе наступает падеж скота от бескормицы, и с каждым годом все труднее и труднее становится посылать людей на сенокос...

Вечерело... Наконец-то ветер разогнал сырой облажник, и за деревней, по-над лесом, красной рекой разлился закат. Впервые за многие дни.

Ананий Егорович устало шагал обочиной улицы, и думы у него были невеселые. Вот он обошел почти треть деревни, побывал чуть ли не в каждом доме, уговаривал, убеждал, стыдил... А чего добился? Выйдут ли завтра люди на силос?

На деревне шла обычная для этого часа жизнь. По заулкам, мелькая белыми икрами, сновали хозяйки — кто с ведрами, кто с травой,— помыкивали изредка коровы, стучали топоры на новых строениях — долго теперь, до самой темени не смолкнет эта вечерняя перекличка топоров, а по лужам, до краев налитым красниной, шлепают босоногие ребятишки — бледные, выцветшие от долгих дождей, как от немочи.

И те же запахи — как пять и тридцать лет назад: парное молоко да щекочущий банный дымок вперемешку с березовым веником...

XII

И еще один вопрос

Нет ничего хуже попасть в дом, когда там семейный ералаш, или, как принято сейчас говорить (культурный стал народ), воспитательная десятиминутка. А именно эту самую воспитательную десятиминутку застал Ананий Егорович у Вороницыных. «Пьяная рожа», «затычка винная», «дармоед» — все эти знакомые приложения и еще другие — похлестче, которыми сыпала Полина, он услыхал еще в сенях.

Ананию Егоровичу, однако, некогда было вникать в семейную драму (да в общем-то и понятно, за что калит Полина своего муженька), и он сразу начал о деле — о строительстве.

Павел Вороницын молчал. Он сидел у стола, сгорбившись, выложив на колени тяжелые короткопалые руки, в

фуфайке, в грязных сапогах, и с мрачной отрешенностью смотрел в заплеванный, забросанный окурками пол. Свет лампешки, еще не разгоревшийся, поставленной на опрокинутую крынку, наискось перерезал его красное мясистое лицо.

— Кой черт молчишь? Кому говорят? Стенам?

Павел медленно поднял голову, поглядел молча на жену и снова опустил.

Глаза Полины сухо, по-кошачьи сверкнули в тени у занавески.

— Завсегда вот так. Напьется, дьявол, до бесчувствия и сидит — слова не добьешься.

Ананий Егорович подсел к столу:

— Вот что, Вороницын. Кончай эту волынку. Добром прошу. Ты понимаешь, что будет с коровами, ежели твоя бригада сорвет строительство?

— С коровами? Эх, ты...— Вороницын вдруг выпрямился, сивушным перегаром дыхнул в лицо председателю.— А ежели я человеком себя не чувствую, это ты понимаешь?

— Поменьше водки жрать надо, тогда и человеком почувствуешь.

— Подожди, Полина Архиповна. Как это — себя человеком не чувствуешь?

— А так. У тебя паспорт есть?

— Ну, есть.

— А у меня нету. Я как баран колхозный, без паспорта хожу.

— Я что-то тебя не пойму,— помолчав, сказал Ананий Егорович.

— Не поймешь? — Вороницын криво усмехнулся.— Еще бы!.. А помнишь, я нынешней весной в город ездил? Помнишь? За запчастями?

— Ну, помню.

— И ты еще мне колхозную справку выписал? На, мол, получи деньги по аккредитиву. Липовая это справка! Пришел я в сберкассу, сую эту самую справку в окошечко. А там кассирша крашеная, вся с головы до ног завита. Фыркнула: «Это не документ личности». Я туда-сюда, в облисполком, с этажа на этаж, из кабинета в кабинет — два дня доказывал, что я не жулик, а человек.— Вороницын, опять дыхнув сивушным перегаром, резко придвинулся к Ананию Егоровичу.— Почему у меня нет паспорта? Не личность я, значит, да?

— Ну, знаешь, Павел Иванович, не ты один. Все колхозники паспортов не имеют.

— А почему не имеют?

— Потому что паспортизация в сельской местности не проведена.

— А почему не проведена?

— Почему? Почему? Заладил как маленький. Зачем тебе паспорт?

— Ах вот как... Ясно.

Ананий Егорович уже официальным тоном разъяснил:

— Паспорт мы выдаем, товарищ Вороницын, когда человек из колхоза уезжает. А ты, надеюсь, не хочешь уезжать?

— А если захочу?

Тут на помощь Ананию Егоровичу опять пришла Полина:

— Куда ты, рожа, поедешь? Везде работать надо. Даром-то нигде ничего не дают.

— Полина, не мешай! — Лицо у Вороницына передернулось, но он сразу овладел собою.— А если захочу?

Ананий Егорович пошел напролом:

— Хорошо. Подавай заявление. Ежели правление колхоза даст справку, пожалуйста,— мотай на все четыре.

— А ежели не даст? — с пьяным упорством допытывался Вороницын.

— Да за каким лешаком тебе паспорт-то? — взвилась Полина.— Заладил: паспорт, паспорт. Пьяным еще напьешься, потеряешь. Десять рублей штрафу платить. Разве мало теряешь?

— Полина, помолчи!

— Не плети чего не надо, тогда и помолчу. Погоди вот — язык-то прищемят длинный. Больно распустил. Нальет шары и начинает высказываться. Ребят полна изба — не высказываться надо, а робить.

Воронидын больше не «высказывался». Он только долгим взглядом посмотрел на жену и со вздохом сказал:

— Эх ты! Животноводство!

XIII

Была суббота, и дома его ждала привычная картина: спящие после бани дети и бодрствующая, сидящая у стола с лампой Лидия.

Лидия, конечно, вышивала. Вышивала очередного кота или оленя, которыми и без того были завешаны все стены.

Ананий Егорович снял плащ, переобулся в теплые валенки. Лидия — хоть бы слово, даже не посмотрела в его сторону. Что ж, она по-своему права: баня и для него топлена. И, стараясь как-то загладить свою вину, он подошел к ней сбоку и примирительно положил свою руку на ее теплое полное плечо.

Лидия все так же молча встала, собрала на стол.

Он потыкал вилкой сухую картошку, потыкал грибы — и со вздохом отодвинул тарелку.

— А, опять нос воротишь! Не нравится? А ребята-то как?

И пошла и пошла: да какой же ты председатель, когда молока в колхозе не можешь взять? Да где это слыхано, чтобы молока в колхозе не было! По тридцать копеек за литр колхозникам платим. Да кто тебя после этого уважать будет?

И ему в который раз пришлось объяснять: да, нету молока в колхозе, нету! План не выполнен, детсад на голодном пайке держим, учителям не даем — как она этого не может понять?

Но Лидии что в лоб, что по лбу. И раз закусила удила, не остановишь.

— Так за каким же чертом ты нас-то сюда привез? — как всегда, пустила она в ход свой последний козырь.— Сколько раз я тебе говорила: Ананий, не поедем, Ананий, не пори горячку! Люди на шестом десятке думают, как до пенсии дослужить, а он — на-ко, молодец какой выискался! — колхоз подымать поехал.

— Хватит! — вдруг, сорвавшись, закричал Ананий Егорович.— Привыкла барыней жить. Жена заместителя председателя рика! Районная аристократия... Нет, ты вместе с бабами навоз поворочай...

Проснулся младший сын Петька, хмуро посмотрел на родителей с кровати.

Ананий Егорович махнул рукой — а что еще оставалось делать? — и вышел в другую комнату. Вот и поговорили с женушкой. Нечего сказать, встретила мужа, успокоила. Мало ему сегодня нервов истрепали, так нет — получай еще дополнительную порцию дома. Не раздеваясь, в пиджаке, он лег на кровать, вытянул ноги. Ох, если бы ему сейчас немного соснуть! Хотя бы на десять минут забыться...

На другой половине все еще тяжелые шаги, грохот посуды. Потом все стихло, и в звонкой сухой тишине послышалось знакомое потрескивание иглы.

Он посмотрел на открытую дверь. Так и есть. Лидия снова сидела за пяльцами. Холодная и неприступная. С гладкой тяжелой головой, распаханной белым пробором.

Он сжал зубы. Да Лидия ли это? Неужели же это та самая Лидочка, молоденькая секретарша сельсовета, которая в огонь и в воду готова была пойти за ним?

В тридцатом году Анания Мысовского, только что демобилизованного красноармейца, направили на коллективизацию в Р-ий район. Сельсовет ему достался дальний, глухой. Пока добирались на розвальнях, он едва не закоченел — такая лютая стужа стояла в том году. Но все равно в сельсовет он влетел орлом — в длинной кавалерийской шинели, в краснозвездном шлеме.

— Ты насчет колхозов, товарищ? — встретила его в дверях черноглазая румянощекая девушка.

— Нет, насчет женитьбы,— рассмеялся Ананий (у него тогда были белые красивые зубы, и он любил смеяться).

— А кто же твоя невеста? — в свою очередь рассмеялась девушка.

— Кто? Да хоть ты. Согласна?

Девушка не отступила.

— Согласна,— сказала она и с вызовом посмотрела на него.

И ведь шутка обернулась всерьез. Через три дня они были уже мужем и женой. Вот какая была тогда Лидия.

А теперь... А теперь вот сидит перед тобой грузная, тупая баба, уткнулась носом в свои проклятые пяльцы, как лошадь в торбу с овсом, и ни черта ей не надо — хоть пожар кругом...

Он прикрыл рукой глаза. Что произошло? Как все это случилось? Годы берут свое? Эх, годы, годы... Да, в том, тридцатом, году и он умел не только с ходу жениться. Ну-ко попробуй перевернуть деревню за два дня! А они перевернули. Перевернули вдвоем. Он — двадцатитрехлетний парень, мальчишка по-теперешнему, и председатель сельсовета, малограмотный красный партизан. Перевернули. Потому что установка райкома — либо за два дня сплошную, либо партбилет на стол...

Ананий Егорович закурил. Рядом на табуретке, как всегда, стояла лампа и белела газета (Лидия все-таки счи-

тается еще с его привычками). Он зажег лампу и, попрежнему лежа на спине, развернул газету.

«Областной чемпионат по футболу». «Отдых трудящихся под угрозой срыва»...

Он перевернул страницу. Это не то, это не для нас... А вот и наше:

«Вести с переднего фронта». «Первая заповедь колхозников...»

Да, подумал Ананий Егорович, семнадцать лет как кончилась война, а в сельском хозяйстве мы все еще воюем. Каждый пуд хлеба с бою берем...

Вести с переднего фронта были неутешительны. Дожди, простои машин, невыход колхозников на работу...

Он отложил газету в сторону и опять задумался. Нет, в тридцатом было легче. За два дня перевернуть деревню. За два дня!.. А может, потому и тяжело сейчас, что тогда все давалось легко? — вдруг пришло ему в голову. Ведь как они, например, с председателем сельсовета создавали колхоз? «Почему не записываешься? Советская власть не нравится? Воду на мельницу классового врага льешь?..» Да, так они брали в работу мужиков...

Ананий Егорович резко поднялся. У него с силосом кавардак, сено гниет, а он черт знает о чем думает!

Лидия, когда он вышел в переднюю комнату и стал переобуваться, хмуро посмотрела на него, но ничего не сказала. Она привыкла к вечерним отлучкам мужа.

XIV

В правлении, конечно, никого. Августовская темень, безлюдье кругом — и только наверху, на столбах, наяривают репродукторы, подобно пулеметам простреливая деревню.

Возле магазина, на пригорке, мелькнул огонек. Наверно, продавщица или сторож. Да, хорошо бы сейчас взять маленькую, вернуться домой в теплую избу и выпить с чаем. Хорошо бы, тем более что зубы у него опять заныли.

Шлепая в темноте по лужам, Ананий Егорович направился в клуб. Если там сегодня кино, то он наверняка увидит кого-нибудь из бригадиров.

Клуб — это тоже больной зуб в колхозе. Когда-то проблема клуба решалась просто: сдернули веревками «на ура» кресты с церкви, приспособили алтарь под сцену —

вот и клуб. И, надо сказать, здешний колхоз лет двадцать пять не знал заботы с клубом. А вот теперь старой церкви приходит конец — уже два раза подводили балки под потолок. Надо строить, строить новое здание. И придется, говорил себе Ананий Егорович, потому что молодежь иначе не удержишь в колхозе. Молодежи мало полновесного трудодня. Ей подай еще веселье.

В клубе шли танцы. Вокруг наскоро отесанных бревен, подпирающих высокие темные своды, как в лесу, толклась мошкара, а девушки повзрослее — школьницы старших классов, студентки-отпускницы, доярки — кружились посреди зала.

Ананий Егорович встал в полумраке у открытых дверей. Мужчин не видно. Нынешний кавалер — это в основном желторотые подростки-школьники, а если заявится случайно в деревню какой-нибудь демобилизованный солдат, то его буквально атакуют со всех сторон: невест в колхозе перепроизводство.

Кончился один танец, начался другой.

К Нюре Яковлевой, заметно выделявшейся своим ярким красным платьем с белым модным ремешком, подскочили сразу три парня, и все три солидные — студенты. Нюра кокетливо пожала плечиками — «что же мне делать с вами?» — улыбнулась одному, улыбнулась другому и руку подала высокому белоголовому — сыну учительницы.

«Ну, эта в девках не засидится,— подумал Ананий Егорович.— Пожалуй, и в самом деле придется скоро подыскивать новую доярку». Потом, оглядывая топчущийся на месте молодняк — иначе, порезвее танцевали в его время,— он увидел Эльзу, бригадира доярок. Эльза сидела одна в углу у печки — там, где обычно отсиживаются на вечерах уже не молодые, выходящие в тираж девушки. Свет настенной лампы падал на нее сверху, и что-то жалкое, унылое и обреченное было в ее сгорбленной фигуре...

Внезапно в дверях выросла Клавдия Нехорошкова. Высокая, прямая как жердь, сапоги заляпаны грязью, подол платья мокрый — надо полагать, только что из заречья. Клавдия была под хмельком. Лицо у нее было красное, как у мужика, светлые глаза лихорадочно блестели. Некоторое время, стоя неподвижно в дверях, она разглядывала танцующих, потом вдруг бухнула на весь клуб:

— Шурка! Чего эту м... развел? Русского!

Танцующие, поглядывая на нее, заулыбались.

— Шурка! Кому говорят? — Клавдия топнула ногой, шумно ширнула простуженным носом.

Шурка, щупленький гармонист-семиклассник, покосился на избача Данилу, который, постукивая окольцованной деревягой, уже подходил к Клавдии:

— Ты плясать пляши, а выражаться да сморкаться — на улицу.

— Чего? Ты еще мне указывать! Пошел ты...

Ананий Егорович с силой сдавил локоть Клавдии:

— Перестань, Нехорошкова!

— А-а, председатель!.. Тебя-то мне и надо. Дашь на маленькую?

В зале захохотали.

— Тебе не маленькую, а мозги вправлять надо. Пьянствуешь, а люди?

— Люди-то? — Клавдия перестала улыбаться.— Люди сегодня все в лес удрали. Ну, они у меня попляшут. Меня? Клавку обманывать? — вдруг выкрикнула она и мрачным взглядом обвела сразу притихший зал.— Завтра всех вытащу. Вот те бог. За шиворот!

— Так, так, вытащишь,— вступила в разговор невесть откуда взявшаяся Анисья Ермолина, мать двух дочек-близнецов.— Только ты не мешай молодым-то,— стала она уговаривать Клавдию.— Смотри-ко, они, гулюшки, притихли, глаз со стыда поднять не могут. Разве можно так выражаться при девушках?

— А я сама девушка! — сказала громко, улыбаясь, Клавдия и вдруг под хохот и выкрики сграбастала в охапку толстую, неповоротливую Анисью и потащила на середку зала.

Шурка заиграл русского.

Анисья начала вырываться, кричать, потом обе они упали.

— Не лезь ко мне! — закричала, поднимаясь, Анисья.— Ты по себе, и я по себе. Я девья матерь! Мне кверху задницей нельзя.

Новый взрыв хохота, визг. Теперь представление не скоро кончится.

Ананий Егорович вышел. С Клавдией сейчас бесполезно говорить. Пока дурь пьяную не вытрясет, хоть кол на голове теши.

Удивительно все ж таки, подумал он, как меняется человек. Клавдию он знает давно, очень давно, еще с военных лет. Помнится, приехал он однажды на пожню — то-

гда уполномоченные райкома из колхозов не вылезали: время было тяжелое, наши отступали на всех фронтах. И вот бабы — сидят, митингуют на весь луг, так и эдак отводят свою душеньку. А в сторонке, в кустах, стоит высокая тоненькая девушка с опущенной головой.

— Бригадир наш,— сказали, посмеиваясь, женки.— Это мы ее в кусты послали. Иди, говорим, Клавка, мы хоть по-русски поговорим — все легче станет.

Да, именно так Ананий Егорович первый раз увидел Клавдию.

И еще ему вспоминается вот какой случай. В сорок седьмом году он как заместитель председателя райисполкома приехал в колхоз на отчетное собрание. Приехал с радостной вестью: райпотребсоюз выделил для колхозников тридцать пять метров ситца и пять женских платков. Доклад, конечно, сразу же в сторону, а первым вопросом — распределение мануфактуры. Люди обносились страшно — ведь за все годы войны деревне не перепало ни единого метра мануфактуры.

Ситец не без скандала поделили между вдовами и сиротами, а платки — дешевенькие белые платки с цветочками — председатель колхоза предложил отдать девчатам.

Опять стали выкрикивать имена.

— Клавдии Нехорошковой,— сказал кто-то.

— Потерпит! — раздались голоса.— Этой не к спеху. Надо сперва тем, которые молодые.

Так и не дали Клавдии платка.

Ананий Егорович вспомнил этот давнишний случай, и ему как-то сразу стала понятна вся несуразная, изломанная жизнь Клавдии. Перестарок — посторонись! А что же этому перестарку-то делать? И разве виновата та же самая Клавдия, что молодость ее пала на войну? Вот и почала она по вечерам свои походы в деревню делать — авось и ей перепадет какая-нибудь кроха бабьего счастья, а чтобы не так стыдно было, залей глаза вином...

Погода поворачивала на ясень. В небе сверкали крупные августовские звезды, и уже можно было различать на дороге лужи.

«Что же это я сегодня всех жалею? — вдруг разозлился на себя Ананий Егорович.— Председатель ты колхоза или заведующий богадельней? Нет, к черту! Одного пожалеешь, другого пожалеешь, а кто работать будет?»

Было еще одно место, куда по субботам заглядывали мужики,— чайная. И он отправился в чайную.

В комнате светло. И солнце. Много солнца.

Да не приснилось ли ему это? Он провел ладонью по лицу. Ладонь была мокрая от пота.

— Лидия!

Ни звука в ответ. Он вскочил с постели, в одном белье выбежал на другую половину.

Никого. На столе записка: «Пошла с ребята в лес».

Он взглянул на стенные часы, и у него глаза буквально полезли на лоб. Двадцать минут двенадцатого! Не может быть! Он кинулся в спальню. Его ручные часы показывали двадцать пять двенадцатого.

Он схватился за голову, застонал. Вот тебе и воскресник, вот тебе и силос...

Выбежав из дома, Ананий Егорович хотел было идти задами, но тут же отбросил эту мысль. Чего уж финтить. Кто не знает теперь, что председатель отлеживался с похмелья?

Блестят залитые солнцем лужи. Собственные шаги, как набат, отдают в его ушах. А деревня будто вымерла. Даже мальчонок не перебежит улицу... Все ясно. Все укатили в лес. Вот теперь-то его песенка спета.

«Посмотрите, товарищи, на этого горе-председателя,— скажет секретарь райкома на бюро.— Партия доверила ему передовой участок, дело, которое является общенародным в данный момент. А он что сделал? Пьянство развел...»

И чем будешь оправдываться? Зубы, дескать, лечил?

Внезапно до его слуха долетел натужный вой машины. Он остановился, прислушался. Машина выла внизу, где-то у колхозной конторы.

Он выбежал на пригорок и вот что увидел: от полевых ворот с огромным возом сена ползет машина, а там, на лугу, за озериной, люди. Сплошь люди. С граблями, с вилами. Бегают, загребают сено, укладывают на телеги.

Он ни черта не понимал. Неужели все это сделал Исаков? Да, только он. Больше некому. Приехал, наверно, вчера поздно вечером из райкома и давай рвать и метать. И все это в то время, как он пьянствовал в чайной...

Из кабины подъехавшей машины выскочил Васька Уледев — рожа в испарине, белозубый рот до ушей:

— Ну и дела, председатель. Осатанел народ! Меня ба-

бешки из постели выволокли. Вот что значит тридцать процентов!

— Тридцать процентов? — глухо спросил Ананий Егорович.

— Ну как же! Сами же вчера сказали.

Васька поставил ногу на подножку:

— Поеду. А то сегодня живо схлопочешь по шее. Бабье ошалело. Я говорю, подождите маленько, сено еще мокрое, пусть хоть подсохнет немного. «Вози, говорят, ирод. Не твоя забота». Ну и верно, понавтыкали разных рогаток да вешал, мужики там сарай у конюшни ставят — все придумали.

— Держитесь! — уже из кабины крикнул Васька.— Исаков с каким-то начальством недавно проехал.

Так вот в чем дело. Тридцать процентов... Но как же он мог брякнуть такое? Да ведь за это голову снимут. «Развязал собственническую стихию... Пошел на поводу у отсталых элементов...» Ананий Егорович пошел к Исакову. Надо по крайней мере предупредить, поставить в известность. Так и так, мол, осудить успеете, а сейчас давай вместе расхлебывать.

...Нет, убей бог — он не помнит этого. Все помнит. Помнит, как зашел в чайную, помнит, кто там был: бригадиры Чугаев, Обросов, Вороницын, Васька Уледев, Кирька-переводчик... Целое заседание! Помнит разговор о бородатых коровках, то есть о козах, которые после войны вытеснили в деревне коров, помнит споры и крики о сене... Все было. Но чтобы он так вот и бухнул: кончайте волынить. Тридцать процентов даю... Да что он, с ума сошел?

Не посоветовавшись ни с правлением, ни с райкомом?

Ананий Егорович замедлил шаг. «А может, подстроили, сукины дети? — вдруг пришло ему в голову.— Председатель пьяный. Пускай потом доказывает, что не говорил...»

И как ни нелепа была эта мысль, он сейчас готов был поверить и ей. Здешние колхозники все могут. От них всего ожидать можно. Ведь вот же сыграли они злую шутку с Мартемьяном Зыковым, его предшественником. Тот приехал в колхоз и на первом же собрании заявил: «Трепаться не люблю. Или колхоз подниму, или меня на кладбище отвезете». И что же — через год отвезли. Как-то наткнулись мужики на пьяного Мартемьяна — лежит на улице,— взвалили на тележку и отвезли на кладбище. На весь район опозорили мужика...

Мимо, громыхая, порожняком пронеслась машина. За рулем сидел Яков. Значит, и у этого машина заработала... Потом за машиной он увидел Петуню. Петуня, прихрамывая, как леший, топал посередине дороги, весь запаренный, запотевший, с граблями и вилами на плече.

— Неладно у нас, председатель,— сказал он, тяжело дыша.— Бригадир дорогу ко мне забыл.

Старик порысил было к колхозной конторе — оттуда дорога на луг,— но потом, решив сэкономить время, повернул прямо.

А на лугу... Что делалось на лугу! Белые платки — ромашек столько сейчас не найдешь,— разномастные головы мужиков и парней, ребятишки, как жеребята, носятся по зеленой отаве убранной пожни... Было что-то от первых колхозных дней, когда деревня еще кипела от избытка сил. «Да,— вздохнул Ананий Егорович.— И все это сделали тридцать процентов. Тридцать процентов. Никаких тебе заседаний, ни крику, ни рыку».

Мало-помалу он начал успокаиваться. Он шел пустынной улицей и думал: ну чего он перепугался? Чего? Ну, будут колхозники с коровой, ну, съедят лишнюю ложку масла. Ну и что? Кому это надо, чтобы сено пропадало? А оно бы пропало, обязательно пропало. Еще день-два — и хоть навоз с луга вози. И тогда все к чертовой матери: и план по мясу, и план по молоку. И урожай — тоже под снег уйдет. Полная катастрофа!

«И ты ведь знаешь,— говорил себе Ананий Егорович,— давно знаешь, что пока здешний колхозник имеет корову, до тех пор он и колхозный воз тянет. А нет коровы — и пошел брыкаться во все стороны. Да, откровенно говоря, такая ли уж это и диковинка — эти тридцать процентов? В некоторых районах еще в прошлом году давали до сорока — правда, в газетах за это не хвалили... Ну и что! Ну и тебе намылят голову. Может, даже с работы снимут. Может, застучишь на весь район. Все может быть. Но черт побери, разве ты для себя стараешься? Ну-ко, вспомни, сколько глупостей — да что глупостей! — преступлений творилось на твоем веку. Может, ты забыл перегибы тридцатого? Легко сказать, перегибы... А продразверстка после войны, когда из года в год начисто, до зернышка выгребали колхозные амбары? А то, что чуть ли не под самым Полярным кругом из года в год сеют кукурузу, а потом перепахивают под рожь? И ты все это понимал, да, да, понимал и делал, заставлял других. Так будь же мужест-

вен! Хоть раз. Хоть один раз, на пятьдесят пятом году!»

Исаков жил за клубом, на песчаном пустыре. Дом у Исакова приметный — с высоким тополем, и Ананий Егорович еще издали увидел под тополем райкомовский «газик». На этом «газике» — новехонькой машинке с парусиновым верхом — обычно ездил «сам», то есть первый секретарь, а остальные работники райкома пользовались старым, изрядно потрепанным драндулетом.

«Да,— подумал Ананий Егорович,— табак дело. Уж ежели сам прикатил, да еще без предупреждения, значит, не зря. Значит, кто-то уже стукнул».

Солнце прямо било ему в глаза. По небритому лицу его ручьями тек пот. И он дышал тяжело, со свистом — как будто шел не знакомым, вдоль и поперек истоптанным песчаным пустырем, а пропахивал своими ногами целину.

И чем ближе он подходил к дому Исакова, тем все меньше и меньше оставалось у него мужества. Проклятый безотчетный страх, старые сомнения в своей правоте, тревога за свое будущее, за будущее семьи — все это удушьем навалилось на него.

Окна в доме раскрыты настежь. Ветерок колышет белые занавески. Гремит радио — празднично, ликующе, как положено в воскресный день (у Исакова свой приемник)...

— Ананий Егорович! Ананий Егорович!..

Мысовский оглянулся. Сзади, догоняя его, бежали Чугаев и Обросов. Бригадиры.

— Фу, черт, мы бежим, бежим. Тебя не догонишь.— Чугаев, вытирая рукавом клетчатой ковбойки лицо, заговорил с ходу: — Как будем с дальними сенами? Бабы ревут: ехать надо.

— Ждать нечего,— мрачно буркнул Обросов.

Ананий Егорович стиснул зубы. Вот они, его вчерашние дружки! Сели за стол как люди, а чем кончили? Это они, они подвели его под монастырь! И будто в подтверждение его догадки, Чугаев, наткнувшись на тяжелый взгляд председателя, воровато повел глазами в сторону. Вдруг он замахал руками:

— Смотрите, смотрите! Вон-то что! Союзники!

Все трое подняли кверху головы. Над деревней низко-низко летели журавли. Вот они закачались парами над лугом.

Там их тоже заметили. Радостные крики, взмахи белых платков. По местным приметам, журавли начинают парить

к хорошей погоде — потому-то их и окрестили союзниками.

— Ну как, председатель? — заговорил снова Чугаев. Счастливая улыбка не сходила с его круглого румяного лица.

Обросов, не мигая, выжидающе уставился на председателя. Этот говорил больше глазами. Ананий Егорович облизал вдруг пересохшие губы, посмотрел на дом Исакова. В окнах — никого. Радио смолкло. Словно и там, за занавесками, затаив дыхание, сидят и ждут, на что он решится сейчас.

— Ладно,— сказал он медленно и твердо.— Отправляйте людей на дальние сенокосы.

Мохнатые черные брови на скуластом лице Обросова дрогнули, а Чугаев виновато заморгал голубыми глазами.

— Ступайте,— сказал Ананий Егорович.

Чугаев побежал вслед за Обросовым, но вдруг обернулся и, словно стараясь подбодрить его, закричал:

— А насчет силоса ты не беспокойся. Все будет. Теперь знаешь как люди рванут!

Ананий Егорович остался один. Лицо его было мокро, но сам он был спокоен. Да, он принял решение. Принял. И как бы там ни было, что бы его ни ожидало, но никто теперь по крайней мере не может сказать, что он сболтнул это спьяна. В заулке у Исакова залаял пес. С голубого крылечка, залитого солнцем, спускались секретарь райкома и Исаков.

Ананий Егорович выпрямился и, твердо ступая по песчаной земле, пошел им навстречу.

БОРИС МОЖАЕВ

Дождь будет

1

Николай Иванович видел сон: пестрый коротконогий бык из Погорей, гремя длинной цепью, приклепанной к ноздревому кольцу, бежал на него по тропинке сквозь оржи. Николай Иванович бросился было в сторону, но запутался в оржах, упал и с ужасом почуял, как у него отнялись руки и ноги, словно ватными сделались,— ни встать, ни шевельнуться он уже не мог, только лежал и слушал, как гремела цепь. Наконец курчавый широкий лоб быка наплыл на лицо, заслонил собой свет...

— Ааы-ы-ы! — закричал Николай Иванович гортанным сдавленным криком и проснулся.

— Что ты, господь с тобой? Ай домовой навалился? — спрашивала, появившись в дверях спальни, мать Старенькая.

В руках у нее было ведро, длинная цепь от дужки тянулась по полу.

— У-уф! У-уф ты, черт возьми... Никак не отдышусь.— Николай Иванович расстегнул исподнюю рубаху, провел рукой по влажной, ходенем ходившей груди.— Бык мне приснился, Старенькая. Чуть не забодал...

— Какой бык-то? Белый, ай черный? Если черный, то к болезни.

— Пестрый... из Погорей.

— Пестрый? Пестрый я уж и не знаю к чему.

— Лоб у него курчавый; кудри черные, как у ихнего председателя Мышенкина. В носу кольцо, а от него цепь длинная... Гремит!— Николай Иванович увидел вдруг цепь на полу.— Так это ты гремела цепью-то?

— За водой вот собралась, а цепь никак не привяжу. Глаза-то плохо видят,— смущенно оправдывалась мать Старенькая.— Вроде узел сделаю, но потяну — отвязывается. Приклепал бы мусатку.— Она снова ушла на кухню.

— Ну да... Мне только мусатки сейчас приклепывать.

Николай Иванович встал с постели, вышел в залу,

поглядел на часы, потом в окно. Небо было чистое — ни облачка.

— Чего смотришь? — выглядывая из кухни, спросила мать Старенькая.— Дождя, поди, ждешь? Хорошая будет погода.

— Откуда ты знаешь?

— По радио слыхала. Ночью передали — дождя не будет. Будут только эти самые... осадки.

— А что ж такое означают эти самы осадки?

— Роса!.. За ночь оседает. Осадок есть, а дождя нет.

— Ты у нас, Старенькая, прямо как ходячий календарь колхозника. Все растолковать сумеешь. Но к чему бы это бык меня бодал, а?

— Кабы черный бык, тогда к болезни. А этот пестрый? И волосы у него, говоришь, на лбу кучерявются, как у того председателя. Он чей же, этот бык-то?

— Того самого председателя... Из Погорей. Я еще торговал этого быка. Чистый холмогор!

— Значит, у тебя с ним сурьезность будет.

— С кем? С быком, что ли!

— С каким быком! Говоришь чего не надоть... С председателем!

— Если бы только с председателем... Это еще — горе не беда.

Николай Иванович мечтал о дожде. Дождь не столько нужен был для земли, как для него, председателя. Пойдет дождь — не будут сегодня жать пшеницу; а не пойдет — заставят. Да мало того, еще и на бюро вызовут. А там — подставляй загорбину. Уж накостыляют.

Жизнь неожиданно преподнесла Николаю Ивановичу «сурьезность», как говорит мать Старенькая. К первому июля приказали сверху составить виды на урожай. Бумагу прислали, которая заканчивалась грозными словами: «Лица, подписавшие отчет о видах на урожай, несут персональную ответственность за правильность сообщенных сведений...» Ничего себе! Попробуй по траве определи эти «виды на урожай». Овес еще и в трубку не вышел, а просо только проклюнулось. И озимые еще цвели. Не будет дождя под налив — и сразу центнеров по семь не доберешь на гектаре. Вот и гадай, и неси ответственность...

Подали отчет. И себя не обидели, и от правды далеко не ушли. Но тут приехал сам Басманов: «Занизили!» И пошел пересчет... Опять по траве. «Сдашь два пла-

на?» — «Без фуража останусь. Не могу».— «Сможешь!. »

А потом и решение на бюро вынесли: «В связи с повсеместным трудовым подъемом на полях страны и неблагоприятной погодой, бюро Вертишинского райкома призывает все колхозы подойти со всей серьезностью...» Словом, намекнули, что сдача хлеба сверх плана и теперь обязательна.

Пока суд да дело — и хлеба стали поспевать. Райком прислал второго секретаря, чтобы узаконить эту самую «сверхплановую». Но колхозники зашумели на собрании: «План получай и — баста... Хватит! Времена не те».

«Лучше бы ты меня лично оскорбил,— сказал, уезжая, второй секретарь Николаю Ивановичу.— Но ты плюнул в моем лице на бюро. Народ подговорил...» И в тот же вечер позвонил сам Басманов: «Отдельные коммунисты вели себя не по-партийному. Учти, Николай Иванович».

Николай Иванович знал, что теперь Басманов придерется к любому пустяку и вызовет на бюро. Ему нужен повод. Вчера приказал жать пшеницу лафетной жаткой. И жатку прислал от Мышенкина. Тот уже смахнул все озимые, почти зелеными уложил. А Николай Иванович все тянул: барометр стал падать. Дождя не миновать. Но когда он прольется?

— Старенькая, у тебя поясницу не ломит, случаем?

— С чего бы это ломить-то! Чай, не переневолилась.

— Ломит к дождю.

— Да я ж тебе сказала — не будет дождя.

— Не будет, не будет... Заладила! У тебя все не кстати. Когда не нужно, и поясница болит, и дождь идет,— ворчал Николай Иванович.

— Ах, погодой тебя возьми-то! Ты сам ноне пузыришься, как дождь.

Мать Старенькая доводилась ему тещей,— маленькая, округлая вся, с пухлыми, в красных прожилках щечками, будто свеклой натертыми, она колобком каталась по четырем комнатам опустевшей председательской избы. Жена, фельдшер, уехала в область на сборы, дети — в лагерях. И Николай Иванович то ли от непривычного одиночества, то ли от вчерашней выпивки и жаркой, дурной ночи чувствовал тяжесть на сердце. И тоска давила.

Одевался он долго — все не так было; сначала сапоги не смог натянуть — волглые, отсырели за ночь. Он плюнул

и надел сандалеты. Потом галстук не поддавался, как ни завяжет — все узел кособоким получался. И галстук бросил. Надел расшитую рубашку... Уф ты! Инда лысина вспотела. Он провел рукой по голове — щетина царапает, что проволока. Побриться бы. Да настроения нет — сосет под ложечкой, и шабаш.

— Старенькая, медку нацеди!

— Господи! Глаза-то еще не успел продрать как следует. А ему уж отраву подавай. Вон, выпей молочка парного!

— Этим добром ты теленка потчуй. А я уж давно вышел из телячьего возраста.

К завтраку зашел Тюрин, председатель сельсовета.

— Ты чего так набычился? Иль таракан во сне дорогу перебежал? — спросил он от порога.

— Всю ночь с быком лбами сшибались,— ответила из кухни мать Старенькая.— Видать, бык одолел, вот он и дуется.

— Ну, супротив Николая Ивановича и слон не устоит,— говорил, посмеиваясь, Тюрин.

Старенькая принесла поставку мутновато-желтого медку.

— Пей! — Николай Иванович налил по стакану.

Выпили.

— Что там на улице? Дождем не пахнет?

— Жарынь!— сказал Тюрин.— У меня ажно утроба перегрелась.

— Знаем, отчего она у тебя греется.

Тюрин сидел перед Николаем Ивановичем, как белый попугай перед фокусником, только головой крутил. Скажи, мол, куда надо клюнуть? Иль крикнуть что забавное?

Все на Тюрине было белым: и натертые мелом парусиновые туфли, и молескиновые широкие брюки, и трикотажная рубашка, туго обтянувшая свесившуюся над ремнем «утробу». Соломенную шляпу с отвисшими полями, похожую на перевернутый ночной горшок, он любовно держал на коленях.

— Я к тебе по какому делу... Ячмень, значит, возим на заготовку. Машина за машиной по улице так и стригут. Пылища — ни черта не видать, как в тумане. А на улице ребятешки, телята, гуси, утки, птица всякая... Тут и давление может произойти. Тогда шоферу тюрьмы не миновать.

«О своем зяте беспокоишься. Видим, чуем»,— подумал Николай Иванович.

Тюрин выдал весной единственную дочь, а зять работал шофером.

— Ну так что? — спросил Николай Иванович.

— Вот я и хочу сегодня вечерком радиоузел использовать. Объявление сделать.

— Делай на здоровье. Ты не меньше моего имеешь на то права.

Тюрин занимал по совместительству ещё и должность колхозного парторга. Правда, временно.

— Лафетную жатку привезли вчера? — спросил Николай Иванович.

— Доставили на поле. Ноне жать будем.

— Я вам пожну!

— Но ведь Басманов приказал!..

— А ты об чем думаешь? У нас шесть комбайнов на семьсот гектаров пшеницы. Мы ее за пять дней обмолотим. Вот только с ячменем разделаемся. А ты положи ее сейчас лафетной жаткой, ан завтра дожди. И пляши камаринскую. Ее тогда и зубами не выдерешь из жнивья-то.

— Да ведь я не то чтоб против... Поскольку привезли ее. А ты вчера в лугах был.

— Хоть бы колесо у нее отлетело.

— Колесо? — Тюрин покрутил свою соломенную шляпу на пальце.— Ну да, колесо, очень возможно, и отлетит. Дорога была дальняя. И жатка валяется в поле. Кто там за ней присмотрит?

Николай Иванович тяжко засопел и еще налил по стакану медовухи.

— К обеду, может быть, Басманов нагрянет.

— И пусть приезжает. Его здоровье!— усмехнулся Тюрин и выпил.— Только насчет радиоузла я, значит, распоряжусь от твоего имени.

— Валяй, валяй.

II

На открытой веранде колхозного правления Николая Ивановича поджидал шофер Севка. Он лежал на поручнях балюстрады, раскинув руки, подставив солнцу запрокинутое лицо. Палевая «Волга» стояла тут же, возле крыльца. Николай Иванович провел по теплому капоту

машины, как по голове ребенка погладил, посмотрел на ладонь — чистая.

— Я тебе сколько говорил — не дрыхни здесь, на глазах у честного народа! — строго сказал Николай Иванович.

— Это я загораю,— ответил Севка, не подымая головы.

— Вот бы вас ремнем вдоль спины, лежебоков,— ворчал Николай Иванович, проходя мимо Севки.

Тот лениво, прищуркой, как кот, косил глаза на председателя.

— Брякин здесь?

— В конторе,— отозвался Севка и снова блаженно прикрыл глаза.

Брякина Николай Иванович встретил в прихожей.

— Ну, всех разогнал?

— Всех! — Брякин, заместитель председателя, рослый чернобровый молодец в белой рубашке с отложным воротничком, крепко тиснул Николаю Ивановичу руку.

— Машины где?

— Там же... Четыре на ячмене. Две баб повезли в луга, оттуда на молокозавод пойдут.

— А Васяткин?

— В гараже стоит.

— Стервец! Изувечил машину в горячую пору.

— Зато Федюшкин на его колесах уехал. Так на так выходит. Все равно резины нет...

— Вам все равно... Лишь бы не работать. Лежебоки! А этим что надо? — спросил Николай Иванович, кивнув на старика и девушку, стоявших за спиной Брякина.

— Чай, знакомы? По твою душу... На торги пришли. Я в таких делах не контиментин.

— Ишь ты, какой образованный!

Брякин блеснул яркими, как перламутровые пуговицы, зубами и растворил дверь председательского кабинета:

— Принимайте, Николай Иванович. А я в поле поехал.

— Давай! А вы в кабинет проходите.

Николай Иванович пропустил впереди себя старика и девушку, притворил дверь. Старик — дядя Петра, по прозвищу Колчак, худой и нескладный, с красным, как у гуся, шишковатым носом, был известен на все село своим упрямством. Он давно уж сидел у Николая Ивановича в печенках. А эта коротко стриженная девица в клет-

чатых штанах приехала из музея собирать по избам всякий хлам. Но чего им надо от него, председателя? Николай Иванович посадил их на клеенчатый диван, а сам уселся за свой обширный двухтумбовый стол и закурил.

— Чем порадуете нас? — спросил наконец председатель.

— Я насчет закупок реквизита для музея,— подалась вперед девица в штанах.— Если вы обеспечите нас зерном, может, и столкуемся тогда с гражданином.

— Ты что-нибудь продаешь, дядя Петра? — спросил Николай Иванович.

Дядя Петра крякнул и сурово поглядел на девушку.

— Мы отобрали у него кое-что из деревенского реквизита. Вот список,— девица протянула листок бумаги Николаю Ивановичу.

— Как то есть отобрали? — дядя Петра вытянул свою длинную сухую шею, как пробудившийся гусак, и потянулся за бумажкой.— У вас таких правов нету, чтоб струмент отбирать.

— Да вы не так меня поняли,— удержала его за руку девица.— Это мы для себя отобрали.

— Для себя... Для нас его никто не припас. Ишь, на дармовщину-то все вы охочи. Отдай бумагу!

— Ты что, дядя Петра? Законов не знаешь? Если ты не согласен, никто у тебя ничего не отберет,— сказал Николай Иванович.

— Знаю я ваши законы! На дармовщину все охочи. Давай, давай!

— Не даром, а по себестоимости возьмем,— остановила опять его девица.

— Это по какой еще себестоимости? — дядя Петра часто заморгал круглыми светлыми глазками.

— Ну, что стоят.

— Что стоит, я проставил. Хотите, берите, хотите, нет.

— Но ведь это нереально! Товарищ председатель, убедите его.

Николай Иванович развернул тетрадный листок. Там было нацарапано кривыми буквами нечто вроде прейскуранта:

борона — два пуда пашеницы
стан — девять пудов
подножка к стану — два пуда
воробы — два пуда

скальница — один пуд
прялка — пять пудов
дуплянка — два пуда
цеп с калдаей — один пуд
горобок — один пуд.

— Двадцать пять пудов пшеницы! Ты что, дядя Петра, белены объелся? — сказал председатель.

— Небось с меня всю жизнь налоги брали. Я этой пашеницы поотвозил в город и днем и ночей. Кабы ссыпать все в кучу, выше горы Арарат будет. А мне заплатить за мой же струмент нельзя. Белены объелся!

— Но ведь у музея нет же пшеницы! — взмолилась девица.

— У музея нет — зато в колхозе найдется.

— Погоди, дядя Петра, погоди! Уж коли ладиться, так по всем правилам. Вы ему сколько даете? — спросил Николай Иванович девицу.

— Двадцать рублей можем заплатить.

— На деньги я не согласный.

— Хорошо! Колхоз заплатит тебе за все десять пудов. Согласен? — сказал Николай Иванович.

— Не согласный.

— Ай какой же вы канительный! — девица покачала головой.— Вот у вас записана дуплянка. И просите вы за нее два пуда?

— Ну?

— А ведь она старая и без крестовины.

— Зато она липовая... Не токмо что на телеге, под мышкой унесешь куда хочешь... вместе с пчелами. Ставь хоть посередь леса, хоть на поле. А крестовину срубить — плевое дело.

— Дед, у нас в музее и пчел-то нет! — крикнула девица.

Дядя Петра подозрительно посмотрел на нее:

— Тогда зачем же вы дуплянку торгуете?

— На обозрение выставим.

Дядя Петра опять часто заморгал и уставился вопросительно на председателя:

— Какое это еще обозрение? Протокол составлять будут, что ли?

— А тебе не все равно, куда выставят твой хлам?

— Какой это хлам? — насупился дядя Петра.— У меня стан кляновый. А челнок из красного дерева. Еще век проткет.

— Ага, так в городе и ждут твой стан. А то там портки не на чем ткать,— усмехнулся Николай Иванович.— Ты вот стан продаешь, а за подножку к нему отдельно просишь два пуда. Это ж нечестно!

— Дак я же сам покупал все по отдельности. В двадцать втором годе заплатил за стан десять мер проса, а за подножку сорок аршин холста отвалил... А за воробами в Сапожок ездил.

— Ну, кончай канитель, дядя Петра! Бери десять пудов, а не хочешь — скатертью дорога. У меня тут и без тебя забот полон рот.

— Я те говорю — за один стан десять мер проса отвалил,— упрямо повторял свое дядя Петра.

— То были двадцатые годы, а теперь шестидесятые... Разница, голова! — всплеснула руками девица.

— Как был он стан, так и остался. Какая ж разница?

— Ты и при коммунизме, видать, не расстанешься со своим станом. Вот они, корни частной собственности! — девица посмотрела с укором на председателя.

Тот уклончиво разглядывал тетрадный листок.

— Коммунизм коммунизмом, а война случится — без стана не обойтись,— словно бы оправдывался дядя Петра.— Сколь мы в войну холстин поткали? Да и теперь, кабы не запрет, и одеяла ткали б, и тик.

— У вас что же здесь, фабрика ручного труда была? — спросила девица.

— Да ну, какая там фабрика! Так, артель ткачей-надомников при колхозе. Тик на матрасы ткали,— ответил Николай Иванович.— Четвертый год как запретили... Промышленное производство. Нельзя.

— А теперь в зиму мужики в отход идут. Это что ж, лучше? — сердито спрашивал дядя Петра.

— Как в отход? Что это значит? — девица опять требовательно смотрела на председателя.

Но отвечал дядя Петра:

— На заработок идут, на сторону. Кормиться надо. Нам платят на трудодень грош да копу. Вот и отходят.

— А кто больше нас платит? — спросил Николай Иванович.

— Я говорю про отходников,— сказал дядя Петра.

— Ах, это шабашники! — радостно догадалась девица.— Вы тоже шабашник?

— Нет, я уж отшабашил.

— Ты будешь продавать или нет? — спросил Николай Иванович.

— Двадцать пять пудов пашеницы или пятьдесят рублей деньгами,— твердо ответил дядя Петра.

— Нет, столько я не смогу заплатить,— сказала девица.

— Тогда пусть сам музей приезжает,— сказал дядя Петра, вставая.

— Ага, жди. Завтра явится к тебе турус на колесах,— усмехнулся председатель.

— Вот видите, какой вы неуступчивый,— девица тоже встала.— А бабка Еремкина бесплатно отдала нам платье кашемировое, фату и гайтан.

— То тряпье, а это струмент,— нехотя пояснил дядя Петра.— Кабы жива была моя старуха, и она бы вам, может, чего отдала задаром. Да, вчерась вы по радио объявили, чтоб туфли подвенечные принесть. Вот!— дядя Петра вынул из кармана старые парусиновые туфли на резиновых подошвах.— Берите. За рупь отдам.

— Да это ж обыкновенный ширпотреб! — девица прыснула и передала туфли Николаю Ивановичу.— Я же просила рукодельные туфли, расшитые. Старинные!

— А эти чем не рукодельные? И старинные...

— Ну чего ты мелешь? Их же при Советской власти выпустили,— сказал Николай Иванович.

— А тогда что ж, не выпускали таких?

— Тогда был, во-первых, Петроград! А здесь смотри — клеймо! Красный треугольник. И написано — Ленинград.

— Он и есть Петроград.

— На, читай!

Дядя Петра читать не стал, сунул в карман туфли, тяжело пошел к двери. Но у порога все же обернулся, переминаясь с ноги на ногу, спросил:

— А плуг вам не нужен?

— Иди к черту! Или я в тебя чернильницей запущу... — не выдержал Николай Иванович.— И вы идите. Хватит с меня и своих забот,— выпроводил он и девицу в клетчатых штанах.— Ну и денек начался! То бык, то дядя Петра... Севка, заводи машину! — крикнул Николай Иванович из окна.

Возле машины Николая Ивановича поджидала все та же музейная девица. Но теперь с ней рядом стоял приземистый, тугощекий парень в кедах и с фотоаппаратом на животе.

— Ну, что еще? — сердито спросил Николай Иванович, подходя.

— Николай Иванович, дорогой! Пожалуйста, не сердитесь,— она прямо на цыпочки поднялась, того и гляди обнимет да расцелует.— Оказывается, у вас кулечный промысел сохранился? Кули рогожные ткете. Прямо чудеса!

— Чего же тут расчудесного?

— Ну как же? Рогожи! Это ведь один из древнейших промыслов на Руси... Сохранился в девственном виде, так сказать. Эта находка для нашего музея. Я вот и фотокорреспондента пригласила.

— Спартак Ласточкин,— представился парень с фотоаппаратом на животе.

— Для вас находка, а для меня вся эта канитель может потерей обернуться.

— Почему?

— Потому что запрещают колхозам промыслами заниматься. Тик у нас отобрали. Шуметь станете — и кули прикроют.

— Почему же?

— А чтоб мы только в земле ковырялись, не глядели бы по сторонам.

— По-моему, это абсурд. Если промысел выгоден для вас, занимайтесь на здоровье,— сказал Спартак Ласточкин.— Вы меня просто заинтриговали. Надо посмотреть.

— Ну что ж, садитесь,— угрюмо, но покорно сказал Николай Иванович.— Что же вам показать? — спросил он в машине своих навязчивых гостей.

— Сперва плоды, так сказать, промысловых усилий. Что это вам дает? — сказал Спартак Ласточкин.

— Севка, давай на скотный!

«Волга», ныряя на дорожных ухабах, резво выкатила в поле. За оврагом, на пологом взъеме, в строгом порядке потянулись вдоль села коровники, телятники, свинарники... дворы, дворы. Каменные фундаменты, бревенчатые

стены, рифленые, серые, как речные плесы, крыши. И конца не видать.

— Это все на кули построено,— сказал Николай Иванович.

— На рогожи? — удивилась девица.

— Да, на рогожи. Только за прошлый год мы продали этих кулей на двести тысяч рублей.

— А кто же их покупает?

— Те, кто рыбу ловит. Все! От Белого моря до острова Сахалина.

— Невероятно! — воскликнул Спартак Ласточкин.— Везите нас в избу. Покажите, как ткут эти богатства.

— Давай в село! — приказал шоферу Николай Иванович и, обернувшись назад, неожиданно для себя стал откровенничать: — А кредиты не дают нам на покупку мочала. Говорят — неплановое производство. Неположено! Значит, мы вроде бы подпольщики. Просто смех! И агента своего держим в Башкирии. Мочало закупает. И платим выше кооперативных цен. Дерут с нас сколько хотят. И вагоны не дают нам для перевозки сырья. Так мы по праздникам перевозим, когда дорога разгружается. А в заявках на вагоны вместо мочала пишем — зерно. Мочало нельзя. Ни-ни... Непланово!!

— Невероятно!— подтвердила девица из музея.

Машина остановилась возле крайней избы. На бревнах у завалинки грелся на солнышке сухонький дед с жидкой, землистого цвета бороденкой.

— А вот и ткач,— сказал Николай Иванович, вылезая из машины.— Евсеич, наладь-ка нам свою орудию!

— Это можно. Проходите в избу.

Евсеич пошел впереди, шаркая кирзовыми сапогами. Глядя на его узкую согнутую спину, на его морщинистую сухую шею, Спартак Ласточкин сказал, усмехаясь:

— Чего уж ему ткать! Хорошо хоть, что своим ходом идет.

— Это мои главные кадры. Опора! — ответил Николай Иванович.— У меня триста человек пенсионеров и всего тридцать молодежи.

— Невероятно! — воскликнула девица.

В избе их встретила бойкая старушка с рыхлым, раздавшимся на все лицо носом, в домотканом переднике, перетянутая поперек живота, точно сноп.

— Ай, гости дорогие! и чем мне вас угощать-потчевать? Да и откель же вы такие хорошие будете? Уж и не

знаю, куда пристроить вас,— певуче причитала она и хлопала руками по бокам.

— Дед, да чего ж ты рот разинул? Натяни-ка основу поскорее! — крикнула она совсем иным тоном.— Покажи людям свою снасть-то!

— Это мелянок верхний. А вот — нижний,— пояснял Евсеич и подвязывал на веревках две длинных палки.— А посередь берда. Мочалу, значит, натягиваем. Которая лучше, на основу идет. А похуже — уток.

Подвесив к потолку свою нехитрую снасть, Евсеич начал набирать из пучка мочало для утка и загонять его билом. Горьковато и пряно запахло липовой свежестью, и в воздух полетели мочальные хлопья.

— Уж как он работал-то! — умилялась хозяйка, глядя на своего старика.— Била-то, бывало, ходенем ходила в руках. Глазом не усмотришь.

— Он еще и теперь молодец. Давай, давай!— сказал Николай Иванович.

— Нет уж, хватит... Отдавал свое.

Евсеич повернул вспотевшее острое, птичье лицо, с минуту молча и рассеянно смотрел на гостей, тяжело дыша, будто прислушиваясь к чему-то своему:

— Ноне во сне видел — быдто наро-оду в избу навалило. Думал, отпевать меня станут. А вон что, оказывается. Вы пришли.

— Что у вас болит? — спросил его Ласточкин.

— Нутро,— ответил Евсеич и, помолчав, добавил: — Все нутро болит.

— Он докторов боится,— озорно поглядывая на Евсеича, сказала хозяйка.— Боится, как бы его в больницу не положили.

— Чаво там делать, в больнице? Вон — осень на дворе. У нас дров нет, а ты — в больницу,— говорил свое дед.

— Зачем тебе дрова-то? Небось и до зимы не доживешь!— все более резвилась хозяйка.

— А то что ж, и не доживешь,— согласился Евсеич.— Поработал, слава тебе, господи. С двадцать четвертого года все кули тку.

— А пенсию вам платят? — спросил Спартак Ласточкин.

— Тринадцать рублей по инвалидности.

— У нас колхозная пенсия,— пояснил Николай Иванович.

— Сколько же вы зарабатываете? — спросила девица из музея.

— А вот считайте,— вступился Николай Иванович.— Платим им по шестнадцать копеек за куль. Кулей восемь соткете за день-то?

— Чаво там восемь! — укоризненно ответил старик.— Кулей шесть осилим со старухой вдвоем.

— Вдвоем?! — отозвалась бодро хозяйка.— Да я одна боле натку. С места не сойтить, натку. Нук-те!

Она села за этот примитивный станок и ловко начала петлять плоской билой.

— Хватит уж резвиться-то! — остановил ее председатель.

— А не тревожьте ж меня ради бога! Дайте уточину доткать,— она кокетливо избоченилась и, глядя на гостей через плечо, просительно затараторила: — Ай, с барыни десятоцук да с вас по пятацук!.. — и, довольная своей прибауткой, весело рассмеялась.

— Один момент! — поднял руку Спартак Ласточкин.— Вот в такой позе мы вас и спроектируем на бумагу. Музей любит радостный современный труд. Как раз то, что надо.

Он раскрыл фотоаппарат и засуетился вокруг старухи.

— Рублей тридцать зарабатывают в месяц на двоих — и то хлеб,— сказал Николай Иванович.— Дело-то верное. Но вот беда — не финансируют нас под кули. Непланово! Осенью нам нужно заготовить сто тонн мочала. Значит, требуется тысяч семьдесят рублей. Но банк не дает нам взаймы под это дело. Ведь выплатим через три-четыре месяца. Где же нам занимать деньги? Дело требует оборота. А если мы не закупим с осени мочало, значит,— труба.

— А знаете что? — участливо посмотрел на него Ласточкин, взял Николая Ивановича под руку.— Мы вас посадим на скамью рядом с Евсеичем. На фоне станка... А? Маленькое производственное совещание. Жанр!

— Нет! — Николай Иванович отступил к порогу.— Вы меня извините, но больше не могу с вами. Некогда.

Он протянул руку девице из музея:

— Спасибо за участие!

Она цепко обхватила его пятерню:

— Спасибо вам! Вы нам клад открыли. Мы еще что-нибудь поищем из реквизита. Ведь это настоящий рогожий промысел... Колоссально!

Николаю Ивановичу вдруг стало не по себе: «Мотаюсь я бог знает с кем»,— досадливо подумал он. И жаль стало времени, потраченного на эту девицу в клетчатых штанах и на этого упитанного тугощекого корреспондента. И себя стало жаль: «Лезу я со своей нуждой ко всякому встречному-поперечному. Ну, кому это нужно?»

Он поспешно вышел во двор и впервые за сегодняшнее утро почувствовал жару. Воздух был томительно-душный и недвижный. Небо затянуло какой-то белесой сквозной поволокой, словно тюлевой занавеской задернуло. Сквозь эту кисейную муть солнце выглядело красным, как раскаленная сковорода. Николай Иванович лопатками, плечами, бритой головой почуял эту влажную тяжесть жары. «Эка парит! Дождю не миновать»,— подумал он.

Куры и те сидели в тени возле завалинки, раскинув крылья, тяжело и часто дыша, словно и они поджидали дождя.

А на бревнах, на самом солнцепеке, задрав локти кверху, положив кулаки под голову, спал Севка. Глаза он прикрыл козырьком кепки и так храпел, что стоявший неподалеку от бревен теленок тревожно поводил ушами, готовый в любую минуту дать стрекача.

Николай Иванович ткнул Севку в бок:

— Эй, сурок! Интересно, что ты ночью делал?

— А! — Севка приподнялся на локте и ошалело глядел на Николая Ивановича.

— Походя спишь, говорю. Чем ночью занимался?

— Звезды считал.

— Ага. Сквозь девичий подол.

Севка хмыкнул и спрыгнул с бревен:

— Куда поедем?

— Подальше от этих чертей. Жми в Пантюхино.

IV

Пантюхино было самым дальним селом колхоза «Счастливый путь». Чтобы попасть в него на машине в летнее время, надо было сделать дугу километров в шестьдесят. А напрямую — лугами да лесами, хоть и половины того расстояния не было, не проедешь даже и посуху. Дорога, накатанная в луговую пору, обрывалась на низком берегу извилистой речушки Пасмурки. Далее

езды не было — болотистая пойма, покрытая кочками и ольхой, тянулась до самого Пантюхина. Старые мостки изопрели, гати затянуло. И остался только длинный дощатый настил для пешеходов, называемый почему-то «лавой».

Николай Иванович ехал в Пантюхино с надеждой — просидеть там до дождя. А дождь хлынет — и Басманов не страшен. Тогда можно и в правление возвращаться.

— В объезд поедем или через луга? — спросил Севка.

— Давай через луга. Кабы дождь не пошел. Засядем на дороге-то. А по траве и дождь не страшен.

Севка хоть и был отчаянный гуляка и пьяница, но машину водил осторожно. По ровному летит сломя голову, но стоит подойти ухабу, как он замирал перед ним, словно лягавая перед куропаткой. Так и потянется весь, готов лбом продавить смотровое стекло, и съедет в любой ухаб машина, по-собачьи на брюхе сползет.

— Ты бы еще сам под колесо лег,— подзадоривал его Николай Иванович.— Не то вдруг засядет.

— Ну уж это — отойди проць! Как говорят в Пантюхине,— отвечал обычно Севка.

Николай Иванович хоть и был почти вдвое старше Севки, но относился к нему по-приятельски. Вместе обсуждали и председательские нужды, и Севкины любовные похождения, и водку пили вместе. На немыслимо скверных сельских дорогах проходило у них полжизни. И немудрено, что роль председателя и роль шофера делились у них поровну на двоих. На двоих, кроме «Волги», был у них еще «газик» и полный набор шанцевого инструмента. Они не столько ездили по этим дорогам, сколько копались, вытаскивая свой «газик». Стало быть, и работа была у них одна на двоих.

Оба они представляли тот тип русского человека, которого не удивишь плохими дорогами и в душевное расстройство не приведешь. Скорее наоборот — они принимали эту виртуозную езду по колесникам и колдобинам как особый вид охоты или развлечения: «Ну и ну... Выкрутились! По этому поводу и выпить не грех».

Зато какие богатые возможности проявить смекалку, изобретательность! Сели в лесной луже — часа два рубят лес, сооружают нечто вроде крепостного ряжа, потом суют вагу под дифер и, кряхтя, вывешивают машину. «Ах, славно поплотничали!» Или где-нибудь в поле лягут на бугор прочно, «всем животом», и долго ведут подкоп

под машину; копают по всем правилам саперного мастерства, копают, лежа на боку, словно под огнем противника. И потом уж, где-нибудь в заезжей чайной вспоминают с удовольствием: «Хорошо покопали!» — «Хорошо! Только земля холодная... зараза!»

Они ехали по лугам, по травянистой, похожей на две параллельных тропы дороге. Петляли мимо дубовых и липовых рощиц, мимо серебристых зарослей канареечника и осоки на болотах, и вдоль затейливых изогнутых озер-стариц с прибрежными желтыми пятнами кувшинок, с темно-синей щетиной камыша. На высоких берегах, почти над каждым озером стояли длинные шеренги покрытых травой шалашей, дымились костры, чернели закопченные котлы на треногах. Это были все станы дальних, погоревских. Свои колхозники шалашей не строили — ночевать ездили домой, а обед варили — котлы вешали прямо на оглобли. Свяжут оглобли чересседельником, поднимут повыше да подопрут дугой, на чересседельник вешают крючки с котлами. По этим высоко поднятым оглоблям Николай Иванович еще издали безошибочно узнавал — свои стоят или погоревские.

И председательскую «Волгу» узнавали еще издали; бабы опускали грабли наземь, и все, словно по команде, приставляли руки козырьком ко лбу; а мужики застывали с вилами в руках — зубья кверху, как с винтовками «на караул»; а те, что стояли на стогах, как на трибунах опускали руки по швам. Все напряженно ждали: заедет сам или мимо пронесет.

От ближних станов бросились наперерез «Волге» двое верховых. Они скакали по высокой, по брюхо лошадям, траве, так что конских ног не видно было, отчего казалось, что они плывут, только локтями отчаянно махали и каждый придерживал рукой кепку на голове.

— Останови! — тронул Севку за плечо Николай Иванович.

Когда верховые вылетели на дорогу, в ногах у лошадей оказались еще две косматых собаки. Они с хриплым лаем завертелись возле машины, подпрыгивая и злобно заглядывая в стекла кабины. Николай Иванович высунулся в дверцу:

— Ну что?

— Николай Иванович, погоревские стадо запустили на наши луга. Сено в валках потравили! — верховые говорили вдвоем сразу, обступив с обеих сторон машину.

Николай Иванович узнал в одном из них объездчика по прозвищу — Петя Каченя. Это был громоздкий и сырой малый лет тридцати с припухшими веками, с красным не то от солнца, не от водки лицом. Он сидел охлябью в мокрых штанах и босой.

— А ты чего без седла ездишь, печенег? — сердито спросил его Николай Иванович.

— Да не успел оседлать.

— Что, бреднем рыбу ловили? А в седле за водкой кто-нибудь уехал?

— Да ее и рыбы-то нету,— Петя Каченя уклончиво косил глаза.

— Лазаешь тут по озерам, а у тебя луга травят! Где потрава?

— На Липовой горе.

— Акт составили?

— Да я еще не видал. Вон, Васька сказал... Подпасок с Пантюхинской мэтэфэ,— Каченя кивнул на своего напарника.

Васька, конопатый подросток, сидел так же в мокрых штанах и босой.

— Хороши сторожа! Мокроштанники! К вечеру чтоб акты на потраву были в правлении. Иначе я вас самих оштрафую. Поехали! — обернулся Николай Иванович к Севке.

Собаки снова залились злобным лаем и частым поскоком долго бежали возле передних колес «Волги».

До Пантюхина председатель так и не добрался. Возле самой «лавы» — длинных дощатых мостков, в болоте лежал на боку трактор «Беларусь». Видны были только колеса — переднее маленькое и заднее огромное; они лежали как спасательные круги на мутной воде. Рядом, уткнувшись лицом в кочку, наполовину в воде валялся тракторист. Кто его вынул из затопленной кабины? Сам ли выбрался и дальше отползти не хватило силы? А может, изувечен до смерти при падении трактора?.. Нашлись добрые люди, оттащили в сторонку да и оставили в воде. Не все ли равно, где лежать ему теперь?!

Николай Иванович и Севка вылезли из машины, невольно остановились в скорбном молчании. Вдоль Пасмурки от лугов ехала, стоя на телеге, широкоплечая баба в подоткнутой юбке, с оголенными мощными икрами. Она крутила над головой концом вожжей и настегивала лошадь.

— Вот и за трупом едут,— сказал Николай Иванович.— И куда его черти несли?

Трактор оставил грязный след на старой дорожной эстакаде, обрывавшейся в болоте сгнившим мостиком. След затейливо извивался, как две ползущие из болота черные змеи.

— Эх, дьявол, зигзагом шел! — с восторгом заметил Севка.

— Надо посмотреть, наш, что ли? — сказал Николай Иванович.

Севка зашел по воде к передним колесам, засучил по локоть рукава, поболтал руками в воде — номер хотел нащупать.

— Нет, не могу определить.

— Может, тракториста узнаем? — Николай Иванович взял грязную тяжелую руку тракториста, стал нащупывать пульс.

— Да он курит! — крикнул Севка.— Вот бегемот!

Николай Иванович даже вздрогнул и руку выпустил:

— Брось шутить! Нашел место...

— Да ей-богу курит. Смотри!

В углу рта у тракториста, прижатая к кочке, торчала папироска.

— Отверни ему рожу-то! Дай посмотреть — наш, что ли? — крикнула баба с телеги, остановившись возле болота.

Николай Иванович приподнял обеими руками голову тракториста. Это был совсем еще молодой, перепачканный грязью и мазутом парень.

— Погоревский! — разочарованно махнула рукой женщина и повернула обратно лошадь.— Но!

— Да подождите! — крикнул Николай Иванович.— Может, на станы его свезти надо. Сам-то не дойдет.

— Проспится — придет. Пить поменьше надо,— сказала баба.

— Да что за черти занесли его сюда?

— В Пантюхино за водкой ехал,— ответила женщина.

— Здесь же дороги нет.

— Ему теперь везде дорога... Море по колено...

Николай Иванович взял тракториста за плечи и сильно потряс.

— Мм-э-эм,— коротко промычал тот и открыл розовые глаза.

— Ты как сюда попал? — спрашивал Николай Иванович, стараясь удержать тракториста в сидячем положении.

— Обы-ыкновенно,— ответил тракторист и посмотрел так на Николая Ивановича, словно забодать его решил.

— Оставь его,— сказал Севка.

Николай Иванович выпустил пьяного, и тот снова уткнулся носом в кочку.

— Вот она, молодежь-то нынешняя... С чертями в болоте ночует! — Женщина стегнула лошадь, закрутила концом вожжей над головой.— Нно, милай! — и с грохотом покатила прочь.

— Сто-ой! Вот шалопутная... Чего ж с ним делать? — спросил Николай Иванович.

— Да ну его к черту! Поехали,— сказал Севка.

Но сюда, уже заметив председательскую «Волгу», шли от дальних стогов пантюхинские бабы. Шли без граблей, с закатанными по локоть рукавами, все как одна в платках, и на некоторых, несмотря на смертную жару, были натянуты шерстяные носки. Николай Иванович пошел к ним навстречу.

— Что ж вы, горе не беда? Человек в воде валяется, а вы и ухом не поведете? — сказал Николай Иванович, подходя к бабам.— Хоть бы трактор вытянули.

— А он не наш... Погоревский!

— На чем его вытащить, на кобыльем хвосте, что ли?

— У них, видать, спросу нет на трактора-то... Намедни один их трактор неделю проторчал в затоне.

— Они рыбу ловить приезжали на тракторе.

— Жарынь... Кому работать хочется?

— Это что! Вчера на пожарной машине прикатили на рыбалку. Перепились все... У них и сети стащили.

Бабы обступили председателя полукругом и наперебой корили погоревских, Николай Иванович посмеивался, подзадоривал их:

— Поди, сами вы и стащили сети. Не побоялись подолы-то замочить.

— Пастухи! — радостно всплеснув руками, подсказала проворная старушка в облезлом мужском пиджачке.— Эти «шумел камыш» играют, а те на другом берегу в кустах сидят. Эти наигрались да уснули. Те сети стащили, а колья от сетей в костер погоревским положили. Пусть мол, погреются на заре.

— Смеху что было!..

— Озорники, вихор их возьми-то!

Смеялись дружно... В Пантюхине воровство сетей считается простой шалостью. Потом все бабы враз заговорили о деле, ради чего они и побросали грабли, увидев председателя.

— В столбовской бригаде вчера ячмень давали?

— Давали,— ответил Николай Иванович.

— По сколько? По два пуда на едока?

— По два.

— А нам когда дадут?

— Чем Пантюхино хуже Столбова?

— Завтра и вы получите.

— А чего-то говорят, будто из района запрет поступил?

— Не давать, мол, колхозникам ни грамма зерна, пока с государством не рассчитаются!

— Значит, столбовским дали, а нам нет?

— Тогда пускай они и работают.

— А мы и на работу не пойдем!

Николай Иванович поднял руку, и шум утих. «Вот тебе и бабье радио! И когда только узнать успели?» — подумал он. Запрет на выдачу зерна колхозникам и в самом деле поступил от Басманова. Но Николай Иванович запер эту бумагу в сейф. И все-таки выдали «секрет».

— Я вам сказал, что завтра получите. А нет — наплюйте мне тогда в глаза.

— Ой, Николай Иванович! Смотри, нас много... Заплюем!

— А може, слюна у кого ядовитая? Глаза лопнут.

— Никола-а-ай Иванови-и-ич! — вдруг, покрывая бабий гвалт, ухнул кто-то со стороны речки хриплым басом.

Все оглянулись; там, на дощатой «лаве» стоял Терентий, сторож со скотного двора, и махал рукой. За разговором никто не заметил, как прошел он всю «лаву» и теперь стоял на самом конце, широко расставив ноги в резиновых сапогах, как будто в лодке плыл. Терентий был стар и худ, синяя распоясанная рубаха просторно висела на нем, как на колу.

— Ну, чего машешь? — крикнул ему председатель.— Иль сам не можешь подойти?

— Не могу! Далее поручня нет! Боюсь оступиться... Упора в ногах нету-у.

— Говори оттуда! Чего тебе?

— Басманов тебя разыскивает... В правлении сидит!

— Кто тебе сказал?

— Мяха-аник! Из клуба... Послал за тобой.

— А что он сам не прибежал?

— Грит, некогда. Аппарат разбирает.

— Я ему ужо разберу.— Николай Иванович длинно и затейливо выругался.— Ну, ладно, бабы, работайте! — и повернул к машине.

Но перед ним выросла сутулая широкоспинная баба Настя Смышляева. На ней был темный, в белую горошинку платок, повязанный плотно и низко, по самые глаза. Глядя куда-то в ноги председателю, она глухо и безнадежно спрашивала:

— Как же насчет паспорта, Николай Иванович? Иль моя девка пропадать на ферме должна?

— Пока у нас на фермах никто еще не пропал. И черти вроде не таскают людей. Вы вот до старости дожили. И ничего! Крепкая.

— Обо мне-то уж Арина мало говорила,— сказала Баба Настя.— А ей двадцать один год. Пожить хочется.

— Ну кто ей не дает? Пусть живет себе на здоровье.

— Ей замуж пора. А за кого она здесь выйдет? Небось других отпустил... Вон Маньку Ватрушеву.

— Так у Маньки аттестат, голова! Она среднюю школу окончила. В институт поступила. А твоя дочь прошла четыре класса да пятый коридор.

— А чем она хуже других? Дай паспорт! Хоть на фабрику устроится.

— Да не могу же я всех отпустить из колхоза! Кто же тогда землю останется обрабатывать? Небось вы-то недолго продержитесь. Вон, посмотри на своих подружек-то.

— Настя! Ну что ты человеку дорогу загородила? Отойди проць! — крикнул кто-то из толпы.

— А мне что, подружки? Мне дите устроить надо,— упорно стояла на своем баба Настя.— Дай паспорт!

— Да не могу я, голова! Прав у меня таких нет. Севка, заводи машину! — Николай Иванович обошел бабу Настю и крикнул бабам на прощанье: — Вы хоть из болота вытащите тракториста.

И уехал.

— А зачем его тащить? — сказала Дуня-бригадирша.— Он в воде-то скорее проспится. Чай, не зима.

— И то правда. Пошли, бабоньки!

V

Басманов был всего на три года моложе Николая Ивановича, но на вид в сыновья ему годился. Этот был и сед, и лыс, оттого брил голову, а Басманов еще черноволос, подтянут, с жарким взглядом желтых монгольских глаз на широком скуластом лице. Обоим им перевалило за сорок; но Николай Иванович и телом раздался, и осел на месте, а Басманов круто шел в гору.

Десять лет назад и тот, и другой начинали свой руководящий путь председателями колхозов. Николай Иванович был до этого директором школы, а Басманов инструктором райкома. Упряжка-то была у них одинаковая, да тягло разное. Если Николай Иванович тянул битюгом, упорно глядя под ноги, в землю, то Басманов сразу рысью пошел и ноздри держал по ветру. Он первым в области кормокухни построил. Первым коров обобществил... Первым построил кирпичные силосные башни. И хотя потом коров снова роздали по колхозникам, а кирпичные башни за ненадобностью растащили по кирпичику на печи, Басманов был уже далеко. За новые прогрессивные методы был выдвинут в председатели райисполкома. Он шел рысью, не сбиваясь, как хороший бегунец. И та пыль, которая поднималась за ним, не достигала и хвоста его. Пыль опадала на дорогу да на обочины, а Басманов шел вперед. Он отличился и на должности председателя рика — три с половиной плана по мясу сдали. Орден повесили на грудь Басманову, повысили в секретари райкома. В новый район послали — поднимать, подтягивать. А в тот район, где он хозяйничал, спустя полгода тоже новых руководителей прислали — «поднимать и подтягивать». И Басманов «поднимал»... Первым в области травополье уничтожил, все луга распахал. А когда начался падеж скота, трех председателей колхозов поснимал с работы, Басманова же послали на учебу.

Теперь он возвратился дипломированным, получил самый большой район. И все говорили, что Басманов здесь не засидится... К прыжку готовится.

Николай Иванович и раньше сталкивался с Басмановым. Года три назад, когда тот был секретарем соседнего райкома, они сцепились на областном активе. Басманов выбросил лозунг: «Поднять всю зябь в августе!» И на соцсоревнование всех вызвал.

— Ну, какую же зябь поднимет Басманов в авгу-

сте? — спрашивал с трибуны Николай Иванович.— Кукуруза еще растет. Свекла тоже... И картошку копать рано. Овса теперь нет, а проса — кот наплакал. Из-под чего же зябь собирается поднимать Басманов?

Но Николая Ивановича осудили за «демобилизующее» настроение. Предложение Басманова было принято и объявлена кампания «по раннему подъему зяби».

Теперь Басманов вроде бы и не напоминал о той стычке, но руки при встрече не подавал Николаю Ивановичу — здоровался кивком головы.

Николай Иванович застал Басманова в правлении. Несмотря на жару, на нем был серый дорогой костюм и белая рубашка с галстуком. Он сидел за председательским столом и сердито отчитывал стоявших перед ним Тюрина и Брякина.

— Наконец-то! — перевел Басманов взгляд на вошедшего Николая Ивановича.— Вас целый день собирать надо... Расползлись, как овцы по выгону. Тоже мне руководители! Никто не знает, где прячетесь.

— Нам не от кого прятаться,— сказал Николай Иванович, проходя к столу.

Он сел с торца и заметил, как недовольно дернулись широкие брови Басманова и сдвинули бугор на переносье. «Думал, что и я навытяжку встану перед ним,— догадался Николай Иванович.— Но уж это — отойди проць!»

Басманов был настолько сердит, что даже и кивком головы не поздоровался.

— Кто вам позволил разбазаривать государственный хлеб? — теперь Басманов глядел только на председателя.

— Мы таким делом не занимаемся.

— Как то есть не занимаемся? А кто вчера выдавал ячмень колхозникам?

— Мы выдавали.

— Вот это и есть прямое разбазаривание государственного хлеба.

— Пока он еще не государственный, а наш, колхозный.

— Когда рассчитаетесь с государством... Что останется, будет вашим.

— Рассчитаемся! Можете быть спокойны.

— А вы меня не успокаивайте! — повысил голос Басманов.— Пока не рассчитались с государством, не имеете права выдавать хлеб на сторону!

— Колхозники не посторонние.

— Да вы понимаете или нет, что в этом году неурожай? Погодные условия плохие!

— Это вон у погарёвских. У нас урожай неплохой.

— Значит, на соседей вам наплевать?

— У них своя голова. Пусть она и болит от неурожая.

— Я знаю, психология у вас индивидуалистов. Но колхоз не единоличное хозяйство. И если вы не хотите считаться с интересами страны, то мы вас заставим.

— Считаемся с интересами страны... Потому и выдаем зерно.

— Выдавайте, когда положено. Вы подаете дурной пример другим. Понятно?

— Мы сами определяем, когда это положено.

— А не много ли вы на себя берете?

— Ровно столько, сколько законом позволено... И постановлениями партии.

— Вон вы как понимаете дух последних постановлений! Может быть, вы и руководящую роль партии теперь не признаете?

— Партию оставьте в покое.

— В таком случае, от имени райкома партии я запрещаю вам производить преждевременную выдачу зерна!

— У нас выдача своевременная. Примите это к сведению.

— Хорошо! Тогда решим на бюро, какая у вас выдача — своевременная или нет. Сегодня извольте явиться к пяти часам в райком. А теперь ответьте еще на один вопрос: почему вы не жнете пшеницу?

— Рано... Да и комбайны на ячмене.

— Все в округе половину в валки уже уложили, а у вас — рано. Район позорите! Из-за вас в хвосте плетемся. И потом — раздельный метод уборки еще никто не отменял.

— А у нас жаток лафетных нет.

— Но я же вам прислал одну жатку. Почему она не работает?

Николай Иванович посмотрел на Брякина и Тюрина; те в свою очередь переглянулись, и Тюрин чуть заметно подмигнул председателю. «Ох и жулики! Уже успели»,— подумал Николай Иванович не без удовольствия и сказал:

— У нее колеса нет.

— Как нет? Я же ее только вчера прислал!

— Не знаю. Говорят, по дороге отвалилось.

— Но уж это слишком! — Басманов встал.— Покажите мне жатку!

Через минуту две палевых «Волги», по-утиному переваливаясь на дорожных ухабах, подымая пыль, катили в поле.

Николай Иванович еще издали определил по тому, как задрался один конец лафета, что жатка без колеса. Он вылез из машины и вместе с Басмановым подошел к жатке. Колесо было отвинчено второпях — даже две гайки валялись тут же. К дороге шел широкий в клетку след от колеса. «Вот идиоты! Приподнять колесо не смогли!» — выругался про себя Николай Иванович.

Басманов сразу определил, что колесо было не потеряно по дороге, а отвинчено здесь, на месте. Да и трудно было не определить этого.

— Все ясно! — сказал он, сумрачно глядя на Николая Ивановича.— Сработано с умыслом. Но мы выясним, чьих рук это дело. Завтра же пошлю сюда следователя и участкового...

Не попрощавшись, сел в машину и крикнул на ходу:

— Не забудьте на бюро!

Николай Иванович достал из широкого кармана широких серых брюк платок и стал деловито, сосредоточенно обтирать голову. Севка осмотрел след от снятого колеса и сказал:

— Сам Тюрин с Брякиным и снимали.

— Почему?

— Рубах побоялись замарать, потому и катили колесо по земле.

— Дураки! — устало выдохнул Николай Иванович.

— Куда теперь? — спросил Севка в машине.

— Крой домой! Только не мимо правления, а с нашего конца въезжай в село. Не то меня еще кто-нибудь подцепит.

Но и на «собственном» конце села Николаю Ивановичу не удалось проскочить беспрепятственно. Неподалеку от крайнего дома Панки-почтальонши, обочь дороги в колхозной картошке паслась здоровенная свинья. Со двора, из-за приотворенной калитки выглядывала тетка Вера, Панкина мать.

— Останови машину!

Николай Иванович растворил дверцу и поманил тетку Веру:

— Ну, ты чего выглядываешь? Или в прятки с кем играешь? Иди сюда!

Тетка Вера, позабыв бросить прут, умильно улыбаясь, пошла по картошке. На ногах у нее были короткие валеные коты. Зацепившись за высокую ботву, один кот спал с ноги. Тетка Вера нагнулась за ним и только тут заметила в руке прут. Она присела, украдкой поглядывая на председателя, незаметно положила прут в борозду, а коты взяла в руки и, босая, легкой рысцой потрусила к машине. Так, прижимая коты к груди, остановилась между свиньей и председательской машиной. Поздоровалась, слегка поклонившись:

— Здравствуйте, Николай Иванович!

— Чья свинья? — спросил председатель.

— А кто же знает! — бойко ответила тетка Вера.— Сама вот гляжу... Дай-ка, думаю, выгоню с картошки. А тут вот и ты как раз подоспел.

— Значит, не твоя свинья?

— Ни, ни! Моя же ма-а-хонькая. Вот такая,— тетка Вера присела, показывая ладонью на вершок от земли.— А эта ж вон какая зверина. Черт-те знает откелева!

— А не врешь?

— Ей-богу, правда! Не моя... Знала бы — и сказала. Я ж тебя люблю, как сына. А вот Тюрина терпеть не могу. Это ж не человек, а самый что ни на есть боров. Своих свиней на колхозную картошку выгоняет, а моего поросенка и на траву не велит.

— Последний раз спрашиваю — чья свинья?

— Аж честное слово, не ведаю.

Севка ткнул Николая Ивановича в бок:

— А вот мы определим.

Он вынул из-под сиденья ружье, вылез из машины:

— Сейчас застрелю ее к чертовой бабушке... тогда и хозяин найдется!

Севка остервенело крутнул на себе кепку, сбил козырек на затылок и приложился, наведя ружье на свинью.

— Ой, стойте!.. Сто-ойте!..— тетка Вера бросила коты и, раскинув руки, побежала было к свинье, но обернулась и так же, с раскинутыми в сторону руками, пошла на Севку.— Стойте!

Севка опустил ружье. Тетка Вера повернулась к избе:

— Па-анка! Па-а-анка!

В избе открылось окно, высунулась взлохмаченная Панкина голова.

— Чего тебе? — но, увидев председателя, снова скрылась.

— Да кто ж это свинью со двора выпустил? Ты, что ли?

— Нету-у! — отозвалось из дома.

— Ох, окаянные! Это все те, кто за письмами к нам ходит. Я ж тебе говорю, брось ты эту почтовую работу! Только один грех от нее. И свинья пропадет задаром. Как есть пропадет. Говорю тебе, ступай работать в колхоз. Не то Тюрин со свету нас сживет.

— Ну, хватит! — остановил ее Николай Иванович.— За представление тебе спасибо. А за потраву Тюрину уплатишь.

— Да какая там потрава? Она и со двора не успела выйти как следует. Схватилась я в разу-то — нет свиньи. Гляжу — вон она. И ты как раз едешь... Ты погоди-ко, погоди!

Но Николай Иванович махнул рукой, и «Волга» покатила.

— Приготовь «газик». Кабы дождь не пошел...— сказал Николай Иванович.— Прямо тошно... От жары, что ли, или так от чего.

ЕВГЕНИЙ НОСОВ

В чистом поле за проселком

Кузница стояла у обочины полевого проселка, стороной обегавшего Малые Серпилки. С дороги за хлебами видны были только верхушки серпилковских садов, сами же хаты прятались за сплошной стеной вишняков и яблонь. По безветренным утрам над садами поднимались ленивые печные дымы, сытно, запашисто отдававшие кизяком и хмызой. Летом оттуда на гречишную цветь, огибая дымную кузницу, со знойным гудом летели пчелы. Осенью же, когда после первых несмелых утренников недели на две устанавливалось задумчиво-кроткое бабье лето с голубооким небом и русоволосыми скирдами молодой соломы, из серпилковских садов далеко в поле проникал горьковато-винный запах яблочной прели, и на все лады неумело и ломко кричали кочетки-сеголетки.

Из всех строений со стороны проселка видна была одна только семилетняя школа. Несколько лет назад ее построили взамен старой, изначальной и сильно обветшавшей углами. Поставили ее на задах деревни, на ровном муравистом выгоне, и теперь она чисто белела на темной зелени садов, а при восходе солнца полыхала широкими и ясными окнами.

Кузница же была выстроена у проселка еще в стародавние времена каким-то разбитным серпилковским мужиком, надумавшим, как паучок, поохотиться за всяким проезжим людом. Сказывают, будто, сколотив деньгу на придорожном ковальном дельце, мужик тот впоследствии поставил рядом с кузницей еще и заезжий двор с самоварным и винным обогревом. И еще сказывают, будто брал он за постой не только живую денежку, но не брезговал овсом, ни нательным крестом.

В революцию серпилковцы самолично сожгли этот заезжий двор начисто. Распалясь, подожгли заодно и кузницу. Однако вскорости смекнули, что кузницу палили зря. Тем же временем расчистили пожарище, прикатили

новый ракитовый пень под наковальню, сшили мехи, покрыли кирпичную коробку тесом, и с той поры кузница бессменно и справно служила сначала серпилковской коммуне, а потом уже и колхозу.

Правда, был случай, имеющий самое непосредственное отношение к этому повествованию, когда кузница в Малых Серпилках вдруг умолкла. Нежданно-негаданно помер кузнец Захар Панков. А надо сказать, что Захар Панков был не просто кузнец, а такой тонкий мастер, что к нему ездили со всякими хитроумными заказами даже из соседних районов. Бывало, лопнет в горячей работе какая деталь в тракторе — механики туда-сюда: нет ни в районе, ни в области такой детали. Всякие прочие запчасти предлагают, а такой точно нету. Они к Панкову: так, мол, и так, Захар, сам понимаешь, надо бы сделать... Повертит молча Захар пострадавшую деталь (виду он был сурового, волосы подвязывал тесьмой по лбу, борода смоляная на полфартука, точь-в-точь как старинный оружейник, но в современной технике толк вот как знал!), даже иной раз зачем-то в увеличительное стеклышко поглядит на излом. Ни слова, ни полслова не скажет, а только бережно завернет деталь в тряпочку и опустит в карман. Тут уж и без слов понятно: раз взял, стало быть, выручит. Да и не только поглядеть на Захарову работу, а даже издали послушать было любо. Как начнут с молотобойцем Ванюшкой отбивать — что соборная звонница: колоколят молотки на всевозможные голоса. И баском и заливистым подголоском. Праздник, да и только в Серпилках! Особенно по весне, перед посевной: небо синее, чистое, с крыш капает, теплынь, а они вызванивают на весь белый свет... Сколько помнят Захара, все годы провисел его портрет на колхозной Доске почета. И когда помер, не сняли. Навсегда оставили.

Похоронили Захара честь по чести. В Серпилковской школе даже занятия были отменены. Три его медали (он на войне служил в саперах) школьники несли на красных подушечках...

Той же осенью призвали на воинскую службу Ванюшку. Совсем осиротела кузница, стоит в чистом поле с угрюмо распахнутыми воротами. Серпилковцы, привыкшие к веселому перезвону молотков за садами, чувствовали себя так, будто в их хатах остановились ходики. Сразу стало как-то глухо и неуютно в Серпилках: очень уж не хватало им этого перестука на выгоне. Да и из хозяйствен-

ного обихода выпала кузница: ни отковать чего, ни подладить. Сильно жалели серпилковцы, что в свое время не приставили к Захару какого-нибудь смышленого мальца, чтобы усвоил и перенял тонкое Захарово искусство. И вдруг с пустых осенних полей через сквозные облетевшие сады до Серпилок явственно долетело: «Дон-дон-дилинь... дон-дон-дилинь...»

II

Зазвонило, затюкало глухим темным вечером, в канун Октябрьских праздников, когда серпилковцы еще не укладывались спать. В каждой, почитай, хате бабы запускали тесто на пироги, ощипывали кочетов или разбирали поросячьи ножки на завтрашний холодец. Так что многие услыхали этот неожиданный перезвон в поле и, высыпав во дворы, слушали, не зная, что и подумать.

Но прежде других странный стук молотка в ночи за деревней услыхал Доня Синявкин, сухонький, беспорядочно волосатый дедок, у которого бороденка росла не сплошняком, а пучками. Даже на узком утином носу, на самом его заострении упорно и неистребимо пробивался сивый жесткий кустарничек. За эту пучковатую поросль Доню Синявкина окрестили «квадратно-гнездовым», или попросту Квадратом. Будучи одиноким человеком (впоследствии к нему приедет из города племянница Верка), в хате которого от самой смерти старухи некому было печь пирогов и студить холодцы, дед Квадрат в тот день с самого утра начал обходить Серпилки и поздравлять односельчан с наступающим праздником. Делал он это на старинный манер христославия: открывал дверь, стаскивал у порога шапку и, кашлянув для верности голоса, тотчас начинал забубенной скороговоркой:

— С праздничком вас, люди добрые, мир и согласье вашему дому, быть пирогу едому, яичку крутому, сальцу — смальцу, чарочке в пальцы...

Пропевши такие слова, Квадрат поясно кланялся в красный угол и присаживался на лавку.

Правда, серпилковцам было не до Квадрата: белили хаты, выколачивали перины, возились со стряпней. Однако в двух, не то в трех домах дедок все же зацепился, всласть набеседовался о том о сем и к вечеру был в самом благовеселом расположении души. Тут бы ему и отпра-

виться спать, но, проходя мимо хаты председателя колхоза Дениса Ивановича, не смог преодолеть искушения на минутку заскочить к нему, потому как очень уж уважал Дениса Ивановича.

«Кого тогда и поздравлять с праздничком, ежели не Дениса Ивановича!» — почтительно сказал сам себе Квадрат и толкнул калитку.

В хате было жарко топлено, празднично пахло едой, на столе ворохом высилась горка кучерявой, только что обжаренной капусты для пирога. Жена Дениса Ивановича, сдобная, крутобедрая Дарья Ильинична, возилась у дежи, сам же Денис Иванович, в чистой исподней рубахе, с очками на носу, сидел тут же, подле капусты, и, пощипывая серебряный ус, читал районную газету, а точнее сказать, разглядывал сводку. Когда Квадрат вошел и затянул было свою «быть пирогу едому, яичку крутому», Денис Иванович в самый раз ударил по газете пальцами на манер того, как если бы стряхивал с нее комашку, и сказал, усмехнувшись, но, однако же, и в сердцах:

— Вот ведь сукины дети! Ну и ловкачи!

— Ты кого так? — спросил дед Квадрат, в знак приветствия потрогав хозяйку выше локтя, поскольку кисти рук у нее были заляпаны горчично-желтым тестом.

— Да россошинский «Верный путь»,— отложил газету Денис Иванович.— По сводке у них вся зябь поднята, а я давеча проезжал — до сего дня заовражье не тронуто. А вот, поди ж ты, на второе место по району выскочили! Ну и ловкач этот Посвистов!

— Сказывают, Тимирязевскую академию кончал,— вставил Квадрат.— И еще штой-то...

— Тимирязевская тут не виновата.

— Дак и я ж говорю,— поспешно согласился Квадрат.— К ученой голове еще должен быть порядочный доклад от себя лично. Не та шинель, что пуговицами блестит, а та, что греет. Вот хоть тебя, Денис Иванович, взять. Образования у тебя почти что никакого. На живом деле да на людях сам себя образовывал. А хозяйством правишь куда с добром.

— Гм...— кашлянул Денис Иванович и загородился газетой.

— Все сыты и справны, и Серпилки наши, слава те господи, не прорежены бегами да вербовками,— продолжал гомонить Квадрат, подсаживаясь к жареной капусте.— Я вот нынче проходил: любо-дорого поглядеть,

какая у нас деревня. Хаты белые, окошки протертые, плетни не проломлены скотиною на манер Россошек.

— Ну и долдон ты, я погляжу,— сказал Денис Иванович.— У кого, может, хаты и побелены, а твоя опять рябая, как лепарда. Соседку попросил бы обмазать, что ли... Людей бы посовестился.

— Обража, ей-бо, обража,— заморгал бесцветными веками Квадрат.— Я ведь к чему? Вот ты меня поругал, а мне приятно. От хорошего человека и замечание приятно послушать. Потому как ты настоящий хозяин нашей жизни. И не столько образованием, сколь сердцем что к чему угадываешь.

— Ну ладно, будя...— поморщился Денис Иванович.— Не люблю... закуси лучше.

— Закушу, закушу,— кивнул Квадрат, поглядывая, как Дарья Ильинична, убрав со стола капусту, взамен выставляла из шкафчика тарелки со снедью и графинчик с морозовым узором и рябиновыми ягодами на дне.— Опять же и колхоз наш получше ихнего называется: «Нива»! А то «Верный путь»... Это в Россошках-то верный путь? Прошлой зимой тринадцать теленков издохло... С названиями, я тебе скажу, надо поаккуратней. Чтоб смущения потом не получалось...

— Закуси, закуси... Что впустую языком молоть...

Всего только две рюмочки рябиновки и выпил дед Квадрат, однако уже начал было и задремывать за разговором. Денис Иванович, сунув босые ноги в сапоги и накинув ватник, сказал:

— Осовел ты, Квадрат, пойдем доведу...

И вот, когда они проходили мостком у старой школы, с которого, если бы не Денис Иванович, дедок не преминул бы оступиться впотьмах, в это время и долетел до Серпилок странный перезвон.

— С-слышь? — навострился дедок и поднял в темноте палец.

Постояли, послушали: из-за темных, окостенелых, осенних садов, из глухой полевой темени еще отчетливей, чем прежде, донеслось: «Дон-дон-дилинь-дон... Дон-дон-дилинь-дилинь...»

— Ей-бо, в кузне это...— определил Квадрат.

— Какого лешего...— возразил Денис Иванович.

— Секи мне голову — в кузне!

— Кому это приспичило ночью да еще под праздник?

— А вот и гадай...

— Чепуху мелешь, дед.

— Нет, ты послухай. Вон энти два глухих удара — это он по заготовке молотком тюкает, по раскаленному... по мягкому... потому и глухо... Ты послухай... А энтот, со звоном, то уж он по наковальне...

— Кто это он? — спросил Денис Иванович.

— А вот, должно, он и есть...

— Да кто он, черт тя дери! — озлился Денис Иванович.

— Кто, кто... Може, сам Захар тюкает... — понижая голос до шепота, знобко выдохнул дедок.

— Тьфу! — сплюнул Денис Иванович.

— Его подчерк. Слышь, легкость-то руки какая. Не работает, а благовест вызванивает...

— Спятил ты, что ли?

— Помер-то он прямо за работою... Разрыв сердца вышел. Говорят, осколок от войны близко к сердцу сидел... Прибежали — он лежит замертво, а сошник от культиватора еще на земле дымится. Вот как довелось помереть человеку!

— Человеком был — человеком и помер,— сказал Денис Иванович.

— Вот я и говорю: восстал Захар с погоста за незаконченным делом.

— Однако ты хватил сегодня,— сказал с досадливой укоризной Денис Иванович.— Зря я тебе подливал рябиновки.

— Ты меня хмелем не попрекай... Кузня без него совсем осиротелая осталась... Никакого ни стука, ни грюка не слыхать... Никто его дела не подхватил... Вот он, может, и поднялся... Забота человека одолела...

— Ну это ты... того...— буркнул Денис Иванович, однако стук молотка в темном осеннем поле — ни луны, ни просяного зернышка в небе — показался ему странным и даже стал раздражать своей реальностью, на которую не приходило никакого объяснения.

— Гм,— сказал Денис Иванович так, как сказал бы в его положении норовистый бык, увидевший на дороге красную тряпку. Как человек, не терпящий никаких загадок, он добавил со всей решительностью:— А вот мы сейчас поглядим!

Денис Иванович сошел с мостика и направился в темный проулок, что резал Серпилки поперек и выводил в поле.

Квадрат, однако, замешкался на мостике.

— Денис Иванович,— позвал он.— А может, не надо мешать? Пусть себе тюкает...

— А вот мы разберемся! — упрямо твердил в темноте проулка Денис Иванович.

— Погодь, можа, народ шумнуть?

— Нечего тут. Тебе лишь бы шуметь. Идем, говорю!

Дедку, возбудившему себя всякими предположениями, очень уж захотелось в теплую хату, но, поборов в себе такое желание, он все-таки спустился с мостка и сторожко последовал за Денисом Ивановичем, для верности окликая:

— Идешь, Денис Иванович?

— Да иду. Где ты там?

— Я к тому, что... Идешь ли?

III

Выйдя за сады и чувствуя, что теряет последнюю связь с Серпилками, уютно пахнущими в темноте теплыми, настоянными хлевами, дедок остановился, пяля глаза в черную пустоту, в то место, где должна была стоять кузница. Но строение совсем не проглядывалось, будто его вовсе и не было. Зато с еще большей явственностью, обдавшей дедка колючим холодом, доносилось это таинственное «дон-дон-дилинь...». Он даже уловил носом запах того самого дыма со сладковатой тухлинкой, который при живом Захаре Панкове полевой ветер доносил до Серпилок. И уже рисовалось ему, как в закопченном нутре брошенной кузни молчаливо и сосредоточенно стучит молотком Захар и на его лбу, перехваченном тесемкой, красным взблеском играет отсвет горнила... Но впереди упрямо крошили зяблевые комья сапоги Дениса Ивановича, и дед Доня, окликнув еще раз председателя, побежал за ним мелкой трусцой.

Между тем стук молотка в кузнице прекратился. Теперь они шли к чему-то, безмолвно затаившемуся в ночи.

— Денис...— негромко позвал Квадрат.

— Чего?

— Бегишь-то больно швыдко... Погодь...

Денис Иванович приостановился.

— Угораздил ты меня, ей-богу.

Денис Иванович не отвечал.

— Настырный ты... ужасть! Тюкает, ну и пусть себе тюкает...

Сошлись вместе, постояли.

— Затихло что-то...— сказал дедок.

Поле затаилось в глухой осенней неподвижности. Не было даже видно огней деревни, спрятавшейся за садами. Только крепко, свежо пахло нахолодавшей соломой да еще сладким кузнечным дымом.

— Денис... Гля-ка...

— Вижу.

Впереди проступил проем кузничных ворот, слабо, призрачно подсвеченный изнутри.

— Пошли,— твердо сказал Денис Иванович.

— Ты, Денис, как хочешь, а я тут постою...

Денис Иванович фыркнул и пошел один. Было слышно, как сердито и упрямо топали его сапоги. Через некоторое время черная коренастая фигура Дениса Ивановича замаячила в освещенных воротах и исчезла в глубине кузницы.

Прошли долгие минуты тишины и безвестности. Дед Квадрат, онемев и напрягшись, готовый задать стрекача, ожидал, что вот-вот в кузнице что-то загремит, рухнет, Денис Иванович выскочит опрометью, а вослед ему полетят лемехи и раскаленное железо. Но время шло, ничего не обваливалось, а Денис Иванович исчез, будто вошел в преисподнюю. Мелко покрестив кадык щепотью, дедок прокрался к воротам и, прячась за створкой, заглянул вовнутрь.

На столбе, подпиравшем кровельную матицу, висела керосиновая коптилка — пузырек с кружалкой сырой картошки, сквозь который был продернут ватный фитиль. Красновато-дымный шнур огня и копоти ронял тусклый и ломкий свет в закопченную темноту кузницы. В горне среди шлака малиновым пятном догорал, остывая, уголь... Денис Иванович стоял у наковальни и, оттопырив губы в тусклом серебре усов, задумчиво вертел в руках какую-то железяку, и по тому, как он ее перекидывал из ладони в ладонь, будто печеную картошку, было видно, что железяка эта еще не совсем остыла.

— Денис Иваныч...— окликнул из-за ворот дедок.

— Ну?

— Никого... нетути?

Денис Иванович не ответил, продолжал вертеть в руках поковку...

— А ведь уголья в горне горят... Стало быть, кто-то...

Тут рот Квадрата онемел и остался раскрытым, будто в него вставили распорку. В углу, за тесовым сундуком, в который старый кузнец Захар складывал свой инструмент, дедок узрел чьи-то ноги, обутые в стоптанные кирзовые сапоги. Даже пупырышки разглядел на подошвах.

— У-у... у-у — произнес дедок и вытянул трясущийся палец в сторону ящика.— У-у...

Денис Иванович, сощурясь, склонив голову набок, долго глядел на торчащие головки сапог, потом подошел к сундуку, запустил за него короткопалую руку и вытащил на свет за балахонистый ватник насмерть перепуганного и по-кутячьи обмякшего мальчонку.

— Ты кто такой? — спросил он.

— М-Митька я...— захныкал малец и заслонил свою треугольную, с остреньким подбородком и широким лбом рожицу длинным, обвислым ватным рукавом.

— Какой такой Митька?

— Это Агашки сорванец!— тотчас взъерепененным воробьем залетел в кузницу Квадрат.— Агашки проулочной, у которой грушу молоньей расшибло... Ах ты, чирий подштанниковый. Это ты тюкал? Я т-те...

Дедок проворно ухватил оттопыренное Митькино ухо и стал его накручивать, как если бы это была ручка сельсоветского телефона.

— Я т-те покажу, разбулдяй сыромятный, как народ смущать! Люди Октябрьскую революцию собрались отмечать, а он, стервец, тюкает... Я т-те потюкаю...

— Это не я-а-а! — заголосил мальчонка.— Я только мехи качал... Это все Аполошка...

— Я и Аполошке ухи накручу!

— Погоди ты,— отпихнул дедка Денис Иванович.— Сразу и уши откручивать. Аполошка, где ты тут?

— Вылазь немедля! — выкрикнул Квадрат.

— Ну, я...— глухо долетело откуда-то сверху.

С поперечины под самой крышей свесились похожие на утюги солдатские ботинки, из которых торчали портянки, а потом уже заголившиеся мальчишеские ноги. Обметая многолетнюю сажу, с дегтярно-черной матицы спустился неуклюже-длинный, вислоплечий Аполошка, старший Митькин брат. Конфузливо подшмыгивая носом, Аполошка уставился себе под ноги. Большой вислый нос его был покрыт угольной копотью.

Денис Иванович с любопытством и даже как будто с удивлением оглядел ребятишек.

— Чистые сапустаты! — подсказал дед Квадрат.

— Погоди, не лотоши,— поморщился Денис Иванович и спросил Аполошку, повертев перед его закопченным носом найденной на наковальне железякой.

— Ты ковал?

— Я...— отворачиваясь, сознался Аполошка.

— Это что ж такое будет?

Аполошка промолчал.

— Это дышляк,— сказал за него малец.

— Что за дышляк?

— Это что колеса вертит,— быстро заговорил Митька, заблестев непросохшими глазами.— Мы тут паровоз делали. И все обратно положим, как было...

Митька с поспешностью подскочил к груде железного хлама и вытащил оттуда самоварно блеснувшую артиллерийскую гильзу крупного калибра.

— Это вот котел самый... Куда воду наливают... Мы вот тута дырку заклепаем, и котел будеть... А тут колеса... Пар сначала пойдет здеся, потом здеся и здеся...

Денис Иванович еще раз оглядел «котел» и поставил на наковальню.

— Ты вот что, Аполошка... Паровоз — это ладно... Ты мне скажи: болт отковать сможешь?

Аполошка перемялся ботинками.

— Ну что ж молчишь? Экий ты козюлистый!

— С нарезкой? — глядя куда-то в сторону, спросил Аполошка.

— Как положено.

— Если с нарезкой, то плашки надо.

Говорил он медленно, тягуче, словно брел по вязкой топи и с превеликим трудом выволакивал слова-ноги.

— А ты откуда это знаешь, что плашками?

Аполошка поддернул носом, и даже что-то презрительное промелькнуло в его сумрачном чумазом лице.

— А как же?

— Гм...— пожевал губами Денис Иванович.— Ладно, делай пока без нарезки.

— Простого болвана?

— Давай простого.

— Сейчас прямо? — недоверчиво спросил Аполошка.

— Сейчас и валяй.

— Дак какой надо? На три четверти, на пять восьмых или какой?

— Валяй на три четверти.

Аполошка потянул из вороха железа длинный прут и кивнул Митьке:

— Ну-ка, качни.

Митька с радостной готовностью подскочил к мехам, схватил за ремешок, перехлестнутый за деревянную вагу над головой, и повис на ремешке обезьянкой, задрав кверху сапоги. Оттянув рычаг, он снова ступил на землю и ослабил ремень.

IV

Внутри горна, над шлаком, что-то загудело, зашипело, малиновое пятно остывающих углей живо брызнуло искрами и засинело огоньками. Аполошка пошурудил огонь и сунул прут в угли.

Красный летучий отсвет озарил Аполошкин подбородок, мослатые скулы, бугристый лоб, все, что было упрямого в этом нескладном подростке, оставив в тени лишь его раздумчиво-синие, широко распахнутые глаза. И от этого озарения, а может, и от чего иного, невидимого, загоревшегося в самом Аполошке, он враз как-то повзрослел, сурово построжал, будто заказанное ему дело прибавило целый десяток лет. Оно и всегда так: серьезная работа старого мастера молодит, юнца — мужает.

Придвинулись к огню и дедок с Денисом Ивановичем, стоят, смотрят, как Аполошка клещами поправляет, нагартывает на огонь уголь. И глядели они на Аполошкины руки, на длинные в сивой окалине клещи, на гневно ревущий огонь так, будто отродясь ничего диковиннее и не зрели. То ли ночь тут смешала все понятия, то ли сам Аполошка удивлял — ведь огурец зеленый, опупок,— а поди ж ты! Но скорее всего оттого завороженно стояли старики, что никогда не привыкнет человек смотреть с мертвым сердцем на то, как калится, краснеет металл в жарком нутре горнила, на самое изначальное ремесло свое, прошагавшее с ним всю людскую историю, начиная от бронзы, и породившее все прочие хитроумные обращения с металлом.

— А ну, примай паровоз! — крикнул Аполошка так, будто это не был Агафьин Аполошка, в огороде которой молнией разбило грушу, а сам огненный бог, свершавший

свое таинство в ночи. Дедок вздрогнул и, подчиняясь спешности дела, мигом подлетел к наковальне и смахнул паровоз. Аполошка выхватил из горна бело-желтый, почти прозрачный прут, истекающий светом и жаром, припадая на хромую ногу, шагнул к наковальне, очертив в темноте ослепительную полудугу. Черная Аполошкина тень изломанно пронеслась по стенам и потолку кузницы.

— Зубило! — крикнул Аполошка, и белки его сверкнули в темных провалах глазниц.

Митька бросил мехи, подхватил зубило на длинном держаке, приставил его к пруту, спросил Аполошку только взглядом: «Здеся?» — и Аполошка, кивнув, одним взмахом молота отсек конец прута. Тут же подхватил отрубленный кусок клещами, поставил его на попа, часто, торопко затюкал по концу молотком, осаживая прут и поворачивая клещи то вправо, то влево. И при каждом повороте пускал удар вхолостую, по наковальне, вызванивая ту самую паузу, то веселое кузнецкое «дилинь», непременное для всякого порядочного мастера, во время которого он успевает мгновенно оценить сработанное, прицелиться и поправить поковку. Живой, податливый металл, рассыпая колкие звезды, послушно, стеариново осел и утолщился и, остывая, помалиновел.

Сунув опять заготовку в горн, Аполошка кивнул своему подручному, тот, бросив зубило, метнулся к ваге. И пока тяжко сопели где-то над головой мехи и гудел огонь, выплевывая из горна раскаленную угольную крошку, Аполошка снова был молчаливо-суров и строг лицом, как хирург.

— Шестигранник или на четыре угла? — обернулся он погодя к Денису Ивановичу.

— Давай на шесть.

Аполошка выхватил болванку, сноровисто огранил, поправил в обжимке и швырнул в корыто с водой.

Денис Иванович выхватил еще парившую поковку и внимательно оглядел, можно сказать, даже обнюхал ее со всех сторон.

— Да, болт...— сказал он.

— Нарезать? — спросил Аполошка.

— Не надо. Верю.— И, повернувшись, протянул болт дедку.

Квадрат принял штуковину обеими руками, долго держал ее в пальцах за концы, поворачивал и все качал головой.

— Поди ж ты...

— Дядя Захар за один нагрев болт делал,— сказал Аполошка, глядя куда-то в угол.— А я два раза грел...

— Ишь ты... какой,— покосился на него Денис Иванович.— А колесо ошинуешь?

— Ошиную.

— И концы сваришь?

— Дядя Захар показывал... А так — не знаю...

— Показывал, говоришь?.. Гм... Ну, а сошник?

— Культиваторный?

— Он самый.

— Можно и сошник. Только сталь хорошая требуется. Рессорная.

— Ты мне пока так, одну форму.

— Один не оттянешь. С молотобойцем надо.

— А ну, давай, попробуем,— сказал Денис Иванович и, захваченный азартом живой и горячей кузнецкой работы, ее древней и дивной затягивающей силой, добавил молодцевато:

— Поищи-ка Ванюшкин молот. А ты, дед, покачай нам, а то малец умаялся.

Дедок ухватился за вагу, а спустя минуту, разойдясь, расстегнув шубейку и по-мальчишески заблестев глазами, говорил под тяжкие, воловьи вздохи мехов:

— Вот, Денис, штука-то какая... Гляжу я, нету на русской земле, которая хлеб родит... нету ничего приветнее для души... окромя, когда деревенская кузня гомонит молотками... Вот и ракеты теперь пошли и все прочее... А все ж таки кузня — всему голова... Как хочешь...

— Ты давай качай, качай, старый! — буркнул Денис Иванович.

— Да уж стараюсь... Раздуваю... А я было подумал: опосля Захария кончилась у нас династия... Ан переняла́сь... Поросло семя...

V

Долго еще в предпраздничной ночи долетал до Серпилок спор молотков. Стучали они то сердито и торопко, то со звонкой веселостью. Всполошенные серпилковцы никак не могли взять в толк, что происходит там, в чистом поле, какая такая открылась непонятная всеношная перед са-

мым Октябрем. Прибежавший на деревню Митька запальчиво рассказывал:

— Ой, что делается! Сам Денис Иванович куеть... Ватник снял, в одной исподней рубахе... Перемазался — ужасть... Денис Иванович куеть, а Квадрат качаить... Денис Иванович Аполошке: «А это сделаешь?» — «Сделаю».— «А это?» — «Сделаю»... Аполошка не сдается ни в какую. Все экзамены повыдержал. Сколь всего понаковали — ужасть!

— Да ты-то куда опять? — спрашивали Митьку.— Мать вся избегалась.

— А! — махнул спущенным рукавом малец.— Скажите ей: мол, некогда... Послали за водой. И за куревом.

ВАСИЛИЙ РОСЛЯКОВ

Красные березы

Тогда, восемнадцать лет назад, он не сразу вспомнил и не сразу ответил.

— Великанов? — переспросил он.— Трофим Иванович?

В машинном зале тупо вибрировал бетонный пол. Была пора молотьбы, и все четыре агрегата стояли под нагрузкой.

Мы осмотрели станцию изнутри и снаружи. Она понравилась мне. Издали она напоминала современную степную крепость, хотя я знал, что современных степных крепостей не бывает.

— Великанов? Трофим Иванович? — Он поморщил мясистый лоб, но припомнить не смог.

Когда Сергиевская ГЭС была построена, к нам, в редакцию газеты, пришла странная рукопись. Раскроенные мешки из-под цемента были прошиты с одной стороны шпагатом, так что получалась тетрадь, только очень огромная. В этой тетради то карандашом, то разными чернилами, но одним и тем же корявым почерком была написана поэма-хроника о сооружении межколхозной Сергиевской ГЭС имени Сталина.

Страницы поэмы гремели, как листовое железо.

В редакции долго потешались над этой реликвией, но ответить автору так и не пришло никому в голову. Виновата в этом была диковинная форма рукописи, а возможно, и то, что стихи в ней из рук вон были плохи:

Чтобы гнать вперед прогресс,
Строим Сергиевскую ГЭС,
Сметем невежества мы бич,
Как завещал родной Ильич.

В поэме имелось все, что должно было иметься в ней по тем временам: и пафос строительства, и хвала вождю, и даже критика отдельных недостатков, в особенности критика лентяев и прогульщиков, а также нерасторопных снаб-

женцев. Но, кроме того, в ней чувствовался искренний голос малограмотного человека. Эта искренность задела меня глубоко. И когда на следующее лето заехал я на Сергиевскую ГЭС, первым долгом решил найти автора.

— Великанов? — еще раз, но уже безо всякой надежды переспросил директор Сергиевской ГЭС.

— Он поэму написал...— начал было подсказывать я, но директор не дослушал и перебил меня обрадованным, веселым смехом, так что щеки его и подбородок заколебались. Он смеялся над собой, над тем, что не мог вспомнить этого Великанова.

— Трошка-писатель,— смеялся директор. Потом он перестал смеяться и тихо, даже раздумчиво сказал: — Первым ударником был на земляных работах. А сам-то в-вот такой! Два раза в неделю по нашей радиосети читал поэму. Что написать успеет за счет сна, то и читает. Артистов не надо!

Директор помолчал и, как бы удивляясь чему-то, прибавил:

— А верно ведь, Великанов Трофим Иванович. В «Красных березах» бригадирит...

Я подумал, между прочим, что красных берез не бывает. А когда мы тряслись на директорском мотоцикле по разбитому проселку, я постарался все же представить себе красные березы. Правда, из этого ничего не получилось, даже на закате солнца они оставались белыми. Но почему же тогда они красные?..

Мы перевалили еще один бугор, и полевая даль снова открылась перед нами, и проселочная дорога открылась. Она бежала вниз и внизу, перед новым подъемом, упиралась в деревню, в зеленый островок посреди желтых полей.

Мотоцикл остановился перед деревянным полуразбитым мостком. Директор огляделся и свернул направо, вдоль ручья. Слева были избы, почерневшие, с оползающими соломенными крышами. Они были разбросаны беспорядочно и укрывались под зелеными шапками ветел. Но директор свернул направо, вдоль ручья, потому что здесь были не избы, а домики, протянувшиеся строгим рядком, в линеечку, и казавшиеся от этого не такими ветхими. И главное, что было здесь,— это березы. Белые и стройные, стояли они в две шеренги, как пионеры перед поднятием флага. Они были так неожиданны здесь, что не вязались ни с чем, что находилось вокруг: ни с горбатой степью, ни с земным лугом по ту сторону ручья, ни с со-

ломенными избами, что слева от мостка, ни даже с выстроенными в линеечку, но уже обветшавшими домиками. Вызывающе молодо стояли они, как пионеры перед поднятием флага.

Когда мы въехали в эту аллею, в глазах зарябило от белого света.

В аллее было пусто. В бригадной конторе тоже никого не было. Вообще здесь не видно было ни одного живого человека, только по лугу, на той стороне, неторопливо шла женщина в ярком халате. Нездешняя, видно, городская.

Потом из соседнего двора выглянул парнишка. Он зыркнул туда-сюда, не решаясь, в какую сторону ему направиться. Директор окликнул его, справился о бригадире.

— Не,— сказал паренек и в свою очередь крикнул старушке, сидевшей перед одним из домиков и не замеченной нами в шевелящейся солнечной мгле: — Ба! Писателя не видала? Не! — снова крикнул он в нашу сторону.— На ригу ступайте.

Хотя я уже слышал от директора, «писатель» в устах мальчика удивил меня не меньше, чем эти березы.

Мы пошли в ту сторону, куда показал парнишка. За мостом поднялись на горку, а там, за купами ветел, увидели небольшой ток с конной молотилкой. Четыре клячи, запряженные в крестовину, ходили по кругу, вращая тяжелый, сколоченный из дерева барабан. Молотилка была маленькая, немного побольше веялки, но шуму от нее было как от большой.

На току было почти безлюдно. Погонщик с кнутиком да трое-четверо взрослых. На подаче, потроша снопы, стоял бородатый дедок, а за соломенной пылью мелькало два-три бабьих платка.

— На хутор побег,— сказал нам старик подавальщик. А когда мы повернулись было уходить, он крикнул вдогонку: — На одном месте ждите, а так не догоните, хоть цельный день бегайте.

На хуторе, и верно, не застали мы «писателя» и поэтому вернулись к своему мотоциклу и стали ждать на одном месте. И я опять подумал, войдя в березовую аллею: откуда же взялось это чудо, две шеренги этих молодых и веселых берез? И веяло от них непонятной грустью, может быть, потому, что они были слишком молоды и никак не вязались с окружающим миром и слишком напоминали тех, кто поставил эти березы в такие стройные, устремленные в будущее шеренги. Хотелось увидеть тех молодых и чистых,

как эти березы, людей, может, давних комсомольцев, вернувшихся с гражданской войны. Но их не видно было здесь, аллея и этот поселок были безлюдны.

Наконец мы увидели его. Я сразу догадался, что это он. От рубашки до портков как бы продубленный весь, он бойко, чуть не вприпрыжку, двигался без дороги, прямиком через кочки, колдобины, дождевые промоины, через застарелую грязь, через пыль, через чахлую травку. Он двигался толчками, как маленький трактор.

Заметив нас, он круто повернул навстречу. Приблизившись вплотную, остановился как вкопанный. Остановился, но мотора не выключил, он выключил только скорость, а моторчик его работал, и глаза на дубленом и заросшем илистой щетиной лице тоже работали. Что-то в них вспыхивало, менялось, перестраивалось, глаза его были полны неисчислимых забот.

Он остановился как вкопанный и тут же, не выбирая места, опустился на травку, вернее, сложился в удобную для сидения позу, подобрав под себя босые ноги.

— Садитесь,— сказал он,— в ногах правды нет.

Мы переглянулись с директором. И неловко, и вроде бы даже ни к чему было садиться вот так сразу там, где стояли. Но хозяин предлагает, и гости обязаны садиться. Потоптавшись немного, мы сели. И только теперь он поздоровался, протянул нам по очереди черную и корявую руку.

— Умаялся,— сказал он совсем не умаявшимся голосом.— А вас, Федор Михайлович, я сразу признал.

Директор улыбнулся.

— Я тоже, Трофим Иванович. Только вот фамилию запамятовал. Товарищ, спасибо, подсказал.

— До войны звали Трошка-коммунар, с войны стал Трошкой-писателем. А по фамилии редко кто меня знает.

— Вот именно,— неизвестно к чему сказал директор.

Я смотрел на черные пятки Трофима Ивановича. Они были совсем черные, чугунные, с трещинами, как тракторные шпоры.

— Вы, Трофим Иванович, поэму сочинили,— сказал я,— и мне хотелось познакомиться с вами, поглядеть...

— Показал бы,— перебил он,— да райкомовцы увезли ее, когда еще ГЭС открывали.

— Я читал ее,— сказал я.

Трофим Иванович взглянул на меня все еще занятыми чем-то глазами и спросил:

— И какое будет мнение ваше?

— От души написали,— не сразу ответил я.

— Народу нравилось,— подтвердил директор.

— По нужде сложил, для поднятия духа. А так, по правде сказать, какой я писатель, грамоты маловато,— начал скромничать Трофим Иванович. Но видно было, что ему приятно слушать и разговаривать о своем сочинении. Дубленое лицо его в илистой щетине стало мягче, глаза потеплели, одна за другой уходили из них неисчислимые его заботы.

И тогда он сказал:

— Что же мы сидим тут, зайдемте ко мне.

Домик его стоял рядом с бригадной конторой. Когда мы вошли во двор, Трофим Иванович обернулся к нам, сказал:

— Беспорядок у меня, правда. Один живу, как сурок.

Сначала пробрались мы через темные сени, заваленные рухлядью, через спертый дух курятника. Из-под ног испуганно шарахнулись куры. Потом вошли в жилую часть, где тоже хозяйничали куры. Трофим Иванович еще раз извинился за беспорядок.

— Один я, старуха сбежала к сыну в город. Присаживайтесь, а я соображу чего-нибудь.— Он на минуту задумался: *чего бы такое сообразить?* — *Вот я вам,— сказал* он,— яишенки сейчас, глазуньи,— и кинулся по углам, распугивая кур, собирать яйца.— Еще тепленькие, прямо из-под их.

Мы осмотрелись в полутемной комнате. Колченогие стулья, кровать с матрацем и подушкой без наволочки, деревянные лавки и стол — все было обляпано закаменевшим и еще свежим куриным пометом. Садиться было некуда, и мы толклись вокруг стола.

В сенях пошипел немного примус, и вскоре Трофим Иванович явился с полной горячей сковородой. Он поставил глазунью, рукой смахнул свежий помет со стульев и пригласил нас к столу.

— Хлеба нет, еще не смололи. Ну да ничего, и так можно.

Не знаю, как директор, а я глазунью эту ел только из приличия, чтобы не обидеть хозяина. И еще смотрел я сквозь мутное окно на эти белые-белые березы.

— Трудновато вам, Трофим Иванович, без старухи,— сказал Федор Михайлович.

— Бабы,— беззлобно отозвался он,— чего с них возьмешь.

Он ел с аппетитом и, хотя мне трудно было в это поверить, был весел и словоохотлив.

— Бабы нет,— говорил он, не переставая жевать,— это полгоря. Беда наша в людя́х. Людей прямо нету, одни старики. Старики бы еще ничего, а то старухи. Стариков двое всего: кузнец да я. И на молотилке кузнец, и в кузне он же. И сам мотаюсь туда-сюда. Нету людей, хоть караул кричи, а так все полбеды, перетерпим. Там, у буржуев, скажи ж ты, безработица, а тут нехватка в людя́х. Хоть караул кричи.

Он выскреб остатки глазуньи, крякнул и лукаво подмигнул Федору Михайловичу:

— Чекушечку бы к этому, да лавки своей нету, а в сельсовет далеко. Ну, ничего, другой раз.

Сковорода осталась на столе, а мы вышли на улицу, к этим березам. Тут он стал поглядывать по сторонам, и в глазах его одна за другой опять стали появляться неисчислимые его заботы.

— Заглядывайте,— сказал он,— другой раз чекушечку припасу.

— Березки у вас хороши,— сказал я, чтобы сказать ему что-нибудь приятное.

— Коммунарки. Когда Ленин ушел от нас, мы тут коммуну сорганизовали,— похвалился Трофим Иванович.— Поселочек поставили, березки высадили. Начали коммуной жить. Мода была на все красное: красное утро, красный пахарь, красный партизан. Все красное. Мы посадили березки и коммуну назвали «Красные березы». Принялось название, живет...

— А коммуна? Распалась?

— Отменили,— сказал Трофим Иванович.— Не ко времени были коммуны. Отменили их.

Федор Михайлович печально приглядывался к Трофиму Ивановичу, что-то хотелось ему сказать, но он только приглядывался и ничего не говорил. Потом невольно вырвалось у него:

— Трофим Иванович, а не думаешь ли ты к сыну, в город?

— Кхе,— сказал Трофим Иванович,— хватит там одной старухи, да и тянуть тут некому... Не годится к сыну,— партейный я, Федор Михайлович.

Опять он посмотрел по сторонам и протянул нам черную руку.

— Ну, я побег. Заезжайте, чекушечку припасу, стишки почитаем, у меня во сколь понаписано

Трофим Иванович стреканул от нас по бездорожью, через ручей, через кочки, колдобины и дождевые промоины, через застарелую грязь, через пыль, через чахлую травку, отталкиваясь черными шпорами. Ни дать ни взять трактор. Бойкий такой чумазый тракторишко.

Белым светом мельтешило перед глазами. И по всей аллее шевелилась в кружевных пятнышках солнечная мгла и, как пионеры перед поднятием флага, стояли березы.

Сметем невежества мы бич,
Как завещал родной Ильич.

Прошло восемнадцать лет, и я спросил:

— А Трошка-писатель? Как он?

— Трофим Иванович помер.

— Не может быть!

— Ну как же. Помер. Отжил свое и помер.

— А березы?

— А что с ними станется? Стоят...

Красные березы стоят.

АБРАМОВ ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1920—1975). Родился в деревне Веркола Архангельской области. Автор многих книг прозы. За трилогию «Пряслины» удостоен Государственной премии СССР.

Очерк «Вокруг да около» впервые опубликован в журн. «Нева», 1963, № 1.

АСАНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1906—1974). Родился в деревне Бигичи Пермской губернии. Автор сборников рассказов и повестей, в том числе «Волшебный камень», «Уголь чужой стены», «Богиня победы», «Катастрофа отменяется».

Рассказ «Чужой человек» впервые опубликован в журн. «На рубеже», 1954, № 6.

ВИКУЛОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Родился в 1922 г. в деревне Емельяновка Вологодской области. Автор сборников стихотворений, поэм, очерков, в том числе: «Черемуха у окна», «Против неба на земле», «Ив-гора», «Только пять дней».

Очерк «Дорогой ценой» впервые опубликован в книге очерков «Свежие пласты». Вологда, 1964 г.

ДОРОШ ЕФИМ ЯКОВЛЕВИЧ (1908—1972). Родился на Украине, в Елизаветграде (Кировоград). Автор сборников очерков и рассказов, в том числе «Деревенский дневник», «Дождь пополам с солнцем».

Очерк «Иван Федосеевич» впервые опубликован в библиотеке журн. «Огонек», 1954, № 6.

ЗАЛЫГИН СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ. Родился в 1913 г. в Башкирии, в деревне Дурасовка. Автор многих книг прозы, в том числе повести «На Иртыше», романа «Соленая падь», за который был удостоен Государственной премии СССР, романов «Комиссия», «Южно-американский вариант», «После бури».

Рассказ «Красный клевер» впервые опубликован в журн. «Партийная жизнь», 1955, № 21.

МОЖАЕВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ родился в 1923 г. в селе Пителино Рязанской области. Автор многих книг прозы, в том числе повестей «Из жизни Федора Кузькина» («Живой»), «Тонкомер», «Полюшко-поле», «История села Брёхово», «Полтора квадратных метра», романа «Мужики и бабы».

Рассказ «Дождь будет» написан в 1965 году; впервые опубликован в сборнике «Старые истории» (Москва, «Современник», 1978).

НИЛИН ПАВЕЛ ФИЛИППОВИЧ (1908—1981). Родился в Иркутске. Автор многих книг прозы, в том числе повестей «Жестокость», «Испытательный срок», «Знакомое лицо», «Через кладбище». За сценарий фильма «Большая жизнь» удостоен Государственной премии СССР.

Рассказ «Знакомство с Тишковым» впервые опубликован в журн. «Знамя», 1955, № 9.

НОСОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ родился в 1925 г. в Курске. Автор многих книг прозы, в том числе повестей «Шумит луговая овсяница», «Мост», «Не имей десять рублей», «Усвятские шлемоносцы».

Рассказ «В чистом поле за проселком» впервые опубликован в газ. «Советская Россия», 1966, 1 мая.

ОВЕЧКИН ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ (1904—1968). Родился в Таганроге. Автор многих книг прозы, в том числе — «Гости в «Стукачах», «С фронтовым приветом!», «Районные будни», а также пьес, созданных по мотивам названных произведений.

Общее название публикуемых здесь глав из книги очерков «Районные будни» принадлежит составителю. Впервые очерки были напечатаны в журн. «Новый мир», 1952, № 9 и там же, 1954, № 3.

ПЛАТОНОВ АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ (1899—1951). Родился в Воронеже. Автор многих книг прозы, в том числе рассказов и повестей «Епифанские шлюзы» «Происхождение мастера», «В прекрасном яростном мире», «Ювенильное море», «Котлован», романа «Чевенгур».

Рассказ «Ветер-хлебопашец» впервые опубликован в журн. «Дружные ребята», 1944, № 4.

РОСЛЯКОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ родился в 1920 г. в г. Прикумске Ставропольского края. Автор многих книг прозы, в том числе рассказов и повестей «Один из нас», «Грустно-весело», «Солома для ноктюрна», романов «Витенька» и «Последняя война».

Рассказ «Красные березы» впервые опубликован в газ. «Известия», 1964, 1 авг.

ТЕНДРЯКОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ (1923—1984). Родился в деревне Макаровка Вологодской области. Автор многих книг прозы, в том числе повестей «Не ко двору», «Ухабы», «Чудотворная», романов «Свидание с Нефертити», «Покушение на миражи».

Очерк «Падение Ивана Чупрова» впервые опубликован в журн. «Новый мир», 1953, № 1.

ФОМЕНКО ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ, родился в 1911 г. в Чернигове. Автор сборников очерков и рассказов, в том числе «Дело чести», «Обыкновенные люди», романа «Память земли».

Рассказ «Ночь секретаря» впервые опубликован в журн. «Дон», 1960, № 4.

ЯШИН АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ (1913—1968). Родился в деревне Блудново Вологодской губернии. Автор многих книг прозы и поэзии, в том числе — «Совесть», «День творенья», «Вологодская свадьба», «Земляки». За поэму «Алена Фомина» удостоен Государственной премии СССР.

Рассказ «Рычаги» впервые опубликован в альманахе «Литературная Москва», 1956 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ДОРОГОЙ ЦЕНОЙ...

(Писатели середины XX века о русском крестьянстве)

Составитель
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ СЕНЧУРОВ

Редакторы *Л. М. ИСАЕВА, В. В. КАБЛУКОВ*
Художник *И. М. СУВОРОВА*
Художественный редактор *А. Ю. НИКУЛИН*
Технический редактор *Л. Б. ДЕМЬЯНОВА*
Корректоры *Г. В. Селецкая, Г. П. Панова*

ИБ № 5329
Сдано в набор 13.03.89. Подписано к печати 24.08.89. Формат 84×108/32. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 21,84. Усл. краск.-отт. 21,84. Уч.-изд. л. 22,63. Тираж 200 000 (1 з-д 1—100 000) экз. Заказ 119. Цена 1 р. 30 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Книжная фабрика № 1 Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.